

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

4

НОВЫЙ МИР

2001

4



2001

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

В 2001 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;

Рассказы;

ИВАН АХМЕТЬЕВ. Вот до чего дожил (стихи);

СЭМЮЭЛ БЕККЕТ. Мерсье и Камье (роман; перевод с английского Михаила Бутова);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

АЛЕКСЕЙ ЗИКМУНД. Герберт (повесть);

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

АННА МАТВЕЕВА. Восьмая Марта (повесть);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА. Ничего лишнего (стихи);

ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия; Высоцкий (главы из книги);

ГЕННАДИЙ НОВОЖИЛОВ. Другие жизни (рассказы);

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Такая вот любовь (рассказы);

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Очаровательное захолустье (повесть);

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы (эссе);

ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин (повествование в рассказах);

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. Спасение (из наследия);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;

ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам (параллели);

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Гостиница «Океан» (повесть);

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаньч (повесть);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Фрагменты книги «Музыкальный запас»: композиторы, проблемы, случаи;

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ. Срок годности (эссе);

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Лапландия (история одной болезни);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Мальчик и девочка (роман);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛИЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА, СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА;** стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА ОШЕРОВА, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2001 году: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2001 года — 270 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на 2001 год по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР КУЛЛЭ — Послесловие к первой любви, стихи	7
ДМИТРИЙ БЫКОВ — Оправдание, роман. Окончание	12
ВЛАДИМИР САЛИМОН — Долгожданный покой, стихи	67
ЮРИЙ БУЙДА — Степа Марат, рассказ	70
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ — До синих гор, стихи	75
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть третья (1982 — 1987)	80

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

Священник АЛЕКСЕЙ ГОСТЕВ — Церковный взгляд на общественное оздоровление. К принятию «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»	142
---	-----

ПОЛЕМИКА

Священник ВЛАДИМИР ВИГИЛЯНСКИЙ — Новое исследование по старым рецептам	156
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА — Русский читатель над японским романом	165
МИХАИЛ ГОРЕЛИК — Проекция Борхеса	183

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Виктор Мясников. Два полуострова — остров	188
Валерий Сендеров. Уход преподобного Симеона	191
Мария Ремизова. Не напрасно	194
Сергей Ларин. Ценою жизни	197
Филипп Дзядко. Филологические раскопки	201

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	204
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	212

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- М. Д. ДАНИЛОВА — Несколько штрихов к октябрьским дням 1917 года
в Ярославской губернии 220

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

- Книги (составитель Сергей Костырко) 223
Периодика (составитель Андрей Василевский) 226
SUMMARY 240

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
АНАТОЛИЯ КИМА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ КАЗАХСКОГО ПЕН-КЛУБА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
**НИКОЛАЯ КОНОНОВА,
ВЕРУ ПАВЛОВУ,
АЛАНА ЧЕРЧЕСОВА**
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ ПРЕМИИ
ИМЕНИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА, УЧРЕЖДЕННОЙ
АКАДЕМИЕЙ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ
И РОСБАНКОМ!

Уважаемые работники библиотек!
Многие наши постоянные читатели не могут себе позволить
выписывать журнал «Новый мир» на дом, а у редакции
нет возможности рассылать журнал на бесплатной, благотворительной
основе. Поэтому просим вас заблаговременно оформить подписку
на журнал «Новый мир» на вторую половину этого года.
Наш индекс 70636 в «зеленом» Объединенном каталоге
«Подписка-2001».

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации при посредничестве Российской Государственной библиотеки выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России 1000 экземпляров журнала «Новый мир».

ВИКТОР КУЛЛЭ

*

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

* *
*

Как ни странно, но я научился
отдавать предпочтенье уму...
Выпил водочки — и подлечился
и уже ничего никому
не имею сказать в назиданье.
Просто что-то курю невпопад,
фисгармонией легких — рыданье
превращая в ночной зоосад.
Под завязку запутан клубочек —
мне уже не распутать его.
И сопливый, с мороза, грибочек —
исключительный символ того,
что насмешники и постояльцы
обретают подобье семьи,
что не лягут холодные пальцы
на горячие веки мои...
Мне попелось; и пыльная завязь
запечатала алчущий рот,
возрождая высокую зависть
к тем, кто больше уже не споет.
Мне воздалось дотла, до испода
грубой ткани, и стало вдомек,
что горячее слово «свобода»
заменяется горестным «Бог»;
что надменная крепость кристалла
растворяется в грешной крови
долгой жизни, которая стала
послесловием к первой любви.

Carmina

Первая строчка, строго говоря, наугад
ставит на место Бога глиняный агрегат,
коему безотрадно собственное перо —
лишь бы себе обратно заполучить ребро.

Вроде хвоста кометы, скунса etc.,
первая строчка метит шельму. Значит, пора

клянчить себе отсрочку — как бы инкогнито.
После последней строчки будет сам знаешь что.

Место и время. Дистих избран как озорство.
Соблюсти их единство тяжелее всего.
Видимо, для кентавра стойка и хлыща
слаще венок из лавра, нежели из плюща.

Кажется слишком пресен искус рифмы низать,
томик последних песен, ставших тому назад
лозунгом опоздавших (время такой шутник!),
попросту не издавших вовремя первых книг.

Значит, пора вместиться без остатка в тетрадь,
как-нибудь отшутиться, попросту доиграть —
сделав плохую мину при никакой игре —
эту свою саггип'у о не своем ребре.

Это большое тело столько-то лет тому
пело, когда хотело, вглядывалось во тьму
и отвечало лаской лицам, склоненным над,
или зубовным лязгом — перечню их утрат.

Автор, послушный телу, данному задарма,
не выбирает тему — тема идет сама.
Автор, покорный слову, сказанному Самим,
внидет в его основу, сделав слово своим.

Тешься победой мнимой! Тягостен, как вино,
даже приход любимой. Поздно, но так оно
и происходит: в бронзе давнего неглиже
город тебе подбросил очередной сюжет.

Музыка отлучилась в я-не-скажу-куда.
Попросту облачилась формой живого льда.
Старый и мудрый мастер, молча сменив окрас,
предпочитает маске зеркало без прикрас.

* *
*

Как после запоя
оставшись в живых,
отчетливо помню:
гранитные львы

за нами следили
почти без вражды.
Мы вновь проходили
вдоль мертвой воды,

слепившие
новую жизнь по уму.
Но страсть, ослепившая
годы тому,

скорее уснула,
а не умерла.
И ты намекнула,
точней, предрекла,

что нервы ни к черту,
что сходим с ума
и наш обреченный
застывший роман,

что шкуру мне выжжет
подобно клейму, —
коррида, где выжить
дано одному.

Она получилась
на годы, сестра.
Она изловчилась
расцветивать страсть

навроде мулеты.
Рогатым тельцам
милее
во всем доходить до конца,

хотя б попытаться...
Как ловко, дружок,
ты в танце,
успев отступить на шагок,

серебряной сталью
прервешь мои сны.
Ты тоже устала
от этой войны.

Разящую руку
возблагодаря,
я рухну
на белый песок января

как истинный торо.
Уже не вина
ту легкость, с которой
не помнишь меня.

* *
*

Оле.

Мне страшно оттого, что страшно.
Как в перевернутой воде,
такой смешной и бесшабашный
иду, с иголки одет.
На мне шикарная обнова,
и все в сиреневом дыму.
Я до смешного, до смешного

не верю больше никому
за исключением Вас. Но это
упавший на ребро пятак —
такая старая примета,
что мне простится так и так,
что мне не сбудется ни крохи
из вожеленного тогда,
пока прикинутые лохи
играли табудабуда,
пока не стану тем, кем все же
не очень-то хотел. Но вот
в костюме из потертой кожи
чужая девочка ревет,
и этой ноющей занозы
никто не в праве врачевать...
Но слезы женщины, но слезы,
в которых ты не виноват.

И все-таки не приукрашу:
тот спился, та разведена...
Ну почему хоть эту чашу
не в силах не испить до дна?
Ну почему остаток жажды
я лишь на то употребил,
чтоб мучить тех, кого однажды
почти без памяти любил?
Без ревности, без вожеленья,
без жалости (моя вина!) —
с каким-то светлым сожаленьем
перебирая имена.

* *
*

Как жена на овечьей шерсти
у порога сынов волчицы
почитает за дело чести
обернуться подобьем птицы
судьбоносной, как с полуслова
понимаемая подколка
возвращает под власть бывшего
ощетинившегося волка —
посмотрела с косым прищуром,
по-особому закурила
и, довольная первым туром,
машинально перехитрила
самое себя. Белой сажей
падал снег над ночным трактиром.
Дверь овита холодной пряжей
и намазана волчьим жиром.

Я вступил по праву юродства
в полусумрак чужого неба,
где черты рокового сходства
с отстоявшимся веком не бо-
лезненной подоплеки
происшедшего между нами...

Так судьба отмеряет сроки,
так глагольными временами
метят время островитяне
там, где мы опускаем руки.
Но в твоём хитроумном плане
не предвиделись эти звуки.

Я не знаю, как ты терпела
в этой комнате с грязным полом,
хлеб с яичным привкусом пепла
запивая свирепым пойлом,
как вообще довелось навскидку
распознать, из какого сора
протянул между нами нитку
грозный промысел Режиссера.

Этот страх — раствориться в теле,
не минуя стыда Господня, —
может быть, повторится с теми,
кто заменит нас. Но сегодня
лепестками нежнее пепла
осыпаются наши числа,
где не то чтобы не успели,
но уже не имело смысла.

Сонет

Твоя удача будет при тебе,
когда моя постылая свобода
прочтется как «последняя свобода» —
и станет дымом в городской трубе.

Дай Бог, чтоб в изнурительной борьбе,
которую ведет твоя природа
с моей, — ты не жалела сумасброда,
мурчащего свое нименибе,

который прожил задом наперед
почти-что-жизнь. И более не врет.
Полуглухой к суду и укоризне,

смиренно наблюдает в свой черед,
как курочка по зернышку клюет
последние крупички этой жизни.



ДМИТРИЙ БЫКОВ

*

ОПРАВДАНИЕ

Роман

6

Э то здесь, чувствовал Рогов, и все сходилось: в большом селе Чистом, куда надо было идти три километра пешком от разъезда Камышинского, он не провел и часа, а уже понимал, что теперь наконец нашел. Все сходилось с описаниями Кретова: кругом лес, о живших в нем когда-то людях здесь разговаривали неохотно, и пейзаж был самый что ни на есть соответствующий легенде, в которой Рогов уже не сомневался ни на секунду: величественно и мрачно. Впрочем, возможно, виноват был странный красновато-бурый цвет вечернего неба и неприветливость старика, у которого Рогов остановился. Дом был старый, крепкий, пахнувший сложно и сборно, — тут жило много народу, и каждый оставил в этом запахе что-то свое. Теперь старик перебивался один, но присутствие многих людей странным образом законсервировалось и еще ощущалось — такое бывает в бревенчатых домах. И по тому, как старик себя вел, трудно было предположить, что он одинок: в нем не чувствовалось ни слабости, ни тоски, ни надлома. Рогова он пустил без особенной охоты, и даже отданные вперед за три ночлега деньги никак не изменили его настроения: постоялец дал щедро — три бумажки по сто тысяч, — но старик только сунул их на полку, в книгу, названия которой Рогов не разглядел. Почитать в доме вообще было мало что — несколько старых «Работниц» да древний «Справочник агронома», еще довоенный, скалдинских времен. Забавно, если Скалдин его видел, уходя из Чистого и останавливаясь здесь.

Ужинать сели не по-деревенски поздно, в девятом часу. Старик, видно, ел только к ночи и только чтоб уснуть, — на сытое брюхо он чувствовал сонливость. Над столом горела голая, слабая желтая лампочка. По углам лежали тени. Старик ел молча, на электроплитке сипел чайник. Рогов полил картошку постным маслом, окунул в соль черемшу и отрезал себе черного хлеба. Втайне он надеялся, что старик поставит выпить и разговорится, да и расслабиться хотелось — он все-таки устал, добираясь. Но хозин не пил — старовер, да и только.

— А что, Николай Акимыч, — спросил Рогов, приступая к чаю и выкладывая из рюкзака пакет пряников, — нет ли тут поблизости поселения? Я слышал, ссылали...

- Ходят люди, — неопределенно сказал старик.
- Далеко?
- Я откуда знаю... Они к нам не заглядывают.
- Что же, в лесу ходят?
- Бывает, и в лесу.
- А что за люди?

— Не знаю.

Рогов понял, что ловить тут нечего, и подивился, как крепко вбит был в хозяина страх. Вся секретность давно кончилась, но он, видимо, все еще боялся проболтаться. Надо было попробовать зайти с другого конца:

— Дед у меня тут жил, примерно ваших лет.

— Может, и жил, — бессмысленно ответил хозяин.

— Сослали его сюда.

— Это когда ж сослали? К нам не ссылали. — Старик смотрел на него в упор с крайним недружелюбием.

— В тридцать девятом, — сказал Рогов. Пора было идти ва-банк.

— Я с двадцать четвертого, — подозрительно сказал старик, — никого тут не ссылали. Ты думаешь, раз в Сибирь, так и к нам? Сибирь большая.

Рогов не нашелся, что на это ответить, а в объяснения входить побоялся. Это выглядело бы как попытка в чем-то оправдаться перед хозяином, хотя никакой вины Рогов за собой не знал. Задавать же вопросы о селе: сколько народу, да чем живут, да платят ли в преобразованном колхозе — он не собирался: из собственного опыта ему было известно, что разговоры эти у сельских жителей чаще всего вызывают злость. То ли они понимали, что Рогов в действительности интересовался совсем другими вещами, то ли им неприятно было лишний раз признаваться в нищете и развале.

После некоторого молчания старик заговорил первым. Он не взял роговских пряников, допил свой чай, хрустя твердым желтым рафинадом, и опять усталился на гостя.

— Ты что ж, деда ищешь?

— Ищу. — Рогов не отвел взгляда.

— И откуда знаешь, что он тут? Писал, что ли?

— Не писал, а так... косвенно догадываюсь.

— Сказал, что ли, кто?

— Да, человек один. — Рогов не хотел раскрывать всего. — Он тут геологом работал и... в общем, видал его.

— Где видал-то?

— В лесу.

— Смотри ты... — Старик впервые улыбнулся, впрочем, без всякого веселья. — Лесовик он, что ли, дед-то твой?

— Не лесовик, — зло ответил Рогов. Ему не нравилось, что старик без всякого повода так явно к нему недоброжелателен, да еще и издевается над Скалдиным. На секунду у него мелькнула мысль, что это Скалдин и есть и что любой старик здесь теоретически мог быть им, но уж деда-то он узнал бы. Николай Акимыч не имел ничего общего с человеком на фотографии из дела, да и выглядел он слишком молодо, слишком хорошо даже для своих лет. Деду было куда больше.

— Ты вот что. — Старик зачем-то оглянулся на дверь. — Ты жить живи, я не запрещаю, ты мне не в обузу. Но мой тебе совет: в лес не ходи. Знаю я, какого ты деда ищешь.

— Какого? — встрепенулся Рогов. — В чем дело-то?

— А в том. Ты меня дуришь хочешь? Другого кого дури. Так вот я тебе скажу... без этих ваших... У нас тут прямо говорят. В лес не ходи. Не то тут место, чтобы в лес тебе ходить. Пойдешь искать — и такое найдешь, что сам не думаешь. Во. А дуришь меня не надо, меня много кто дурил. Ищи их теперь.

— Слушайте, Николай Акимыч. — Рогов разозлился всерьез. — Вы мне начистоту — я вам начистоту. Я слышал, что моего деда, которого взяли в тридцать восьмом, выслали сюда. Должны были расстрелять, а вместо этого выслали. И что таких, как он, было много. Поэтому я его ищу. Понятно это? И не надо мне приписывать чего ни попадя. У вас тут золота нет и нефти тоже, искать нечего.

Старик посмотрел на него внимательно, с выражением, которого Рогов не понял: то ли издевательским, то ли сострадающим.

— Ты что ж, думаешь, их всех не расстреливали, а ссылали?

— Не всех. Некоторых.

— Я думал, в это только тогда верили. Да и то дураки. Я уж думал, перевелись такие.

Рогов не стал отвечать на это. Старик помолчал.

— В общем, мое дело сказать. Кого ты там ищешь — не моя печаль. Но в лес не ходи. Не те тут места, чтобы новый человек один в лес ходил.

У Рогова мелькнула мысль, что старик набивает себе цену и просится к нему в проводники.

— Может, вы меня сводите? — спросил он.

— Ты со мной шуток не шути! — прикрикнул вдруг хозяин с такой яростью, которой Рогов, при всем стариковом недоброжелательстве, никак не мог предположить в нем. — С другими шути, дома у себя! А у меня со мной не шути!

— Да я не шучу, вы же сами сказали...

— Что я сказал, я сам знаю! Хочешь идти — иди, твое дело. Не жалуйся потом.

Старик встал из-за стола и вышел на крыльцо курить. Рогов пошел укладываться. В душном бревенчатом доме ему долго не спалось, а когда он заснул, сон был беспокойный — все время снился какой-то складной летательный аппарат, который он носил в рюкзаке и доставал по мере необходимости, когда надо было перелететь на небольшое расстояние; аппарат представлял собой что-то вроде складного стула со множеством шестеренок под сиденьем. Надо было сесть на этот стул и резко потянуть вниз, до упора, черную металлическую рукоятку — тогда аппарат взлетал и с заводным металлическим стрекотом несся низко над лесом. Сон был цветной, в черно-лиловых тонах, и черно-лиловым был островерхий, еловый лес. Но, взлетев в очередной раз, Рогов почувствовал, что сделал какую-то непоправимую теперь ошибку — то ли недостаточно сильно оттянул рукоятку, то ли забыл собрать руль, — как бы то ни было, теперь не он задавал направление, а стрекочущий аппарат нес его по собственной воле. Рогов помнил во сне, что эта воля сильно расходилась с его собственной, что ему надо было совсем не туда, что он вообще, может, собирался повернуть к дому, — но теперь сделать было уже ничего нельзя. Внезапно его перевернуло, он почувствовал, что летит теперь вниз головой — да, собственно, не летит, а падает. Аппарат медленно, как осенний лист, опускался вместе с ним куда-то в лес, в черную густоту деревьев, расступавшихся по мере падения; в лесу были поляны, а между ними колодцы, и последним усилием — кажется, мысленным — можно было не угодить в колодец, а с поляны попытаться стартовать снова, но Рогов, уже просыпаясь от ужаса, успел понять, что аппарат не взлетит больше никогда. Это был не тот лес, из которого можно улететь, и даже не тот, из которого удастся уползти.

Он проснулся в тягостном недоумении: одним из самых стойких, детских его предубеждений была уверенность в том, что, если летаешь во сне — значит, растешь. Расти ему было поздно. Ни счастья полета, ни обрывающегося, колотящегося ужаса падения он не испытывал очень давно, но вот смутное и тягостное чувство человека, зашедшего не туда, было ему знакомо. Сон тем и был страшен, что это чувство, подспудно отравлявшее ему две последние недели, вышло наконец наружу и могло быть названо. Это не был страх неизвестности или неуют в непривычных местах, но именно сознание того, что его отнесит дальше и дальше от цели и что самой цели нет, что она выдумана, и выдумана плохо. Иногда спросонок он спрашивал себя, что делает здесь, но зеркальце, кретовское зеркальце под подушкой на все отвечало ему. Он нащупал его и сейчас, подумал мель-

ком — не показать ли Николаю Акимычу, — но тут же отменил эту мысль. Николай Акимыч был не тот человек, чтобы показывать ему зеркальце.

Черная тишина мерно тикала: шли стенные часы, слава Богу, без боя, — видимо, давно испорченные. Время они еще показывали, а бить разучились. В крошечной темноте, держась за стену, Рогов выполз на крыльцо. Ночь была холодная, с множеством крупных августовских звезд. Как всегда в холодную ночь, все они были яркие и одноцветны — того бело-голубого оттенка, каким в нашем сознании всегда обладает либо очень холодный, либо очень горячий предмет. Рисунок созвездий был не знаком, сдвинут: Рогов с трудом нашел «дубль-ве», искать ковш пришлось дольше, а на краю неба уже был различим серебристый мазок, всегда видимый осенью. Только очень чуткий глаз разглядел бы там четыре звезды ромбиком и пятую у одной из его вершин. Про себя он называл этот мазок змеем, имея в виду бумажного.

Ни в одной избе вокруг не горели окна, не слышалось даже собачьего лая во дворах. Молчал и лес, ни звука не доносилось оттуда. Его черная зубчатая стена казалась монолитной: черней, непроглядней дымно-синего неба, она впервые испугала Рогова по-настоящему.

«И бездна нам обнажена», — вспомнил он. Ночью не следовало принимать решений, доверять ночным настроениям тоже было нельзя. Но именно сейчас он, как никогда, захотел домой. Даже в армии Рогов не испытывал ничего подобного. Еще немного — и он расплакался бы, как потерянный щенок или ребенок, плачущий ночью об этом щенке. Надо вернуться, говорил он себе вслух, чтобы успокоиться. Вернуться и оставить все это или приезжать не в одиночку. Почему я поехал один? Потому ли, что это только мой долг и мое дело? Но мало ли что может случиться, я же с самого начала знал, что направляюсь в глушь. Мало ли как меня встретят, никакие пароли не спасут. Он озяб и передернул плечами. Да, но кого мне было брать с собой? Друзей, которым можно стопроцентно доверять, у меня нет. Я совершенно один. Раньше это состояние его радовало, теперь мучило. Он чувствовал невероятное сиротство здесь, в Богом забытом углу, под крупными звездами. Раньше звезды вызывали у него легкую, сладостную грусть, как что-то прекрасное и недосыгаемое, но теперь они были грозны, и даже не то что грозны, а невыразимо равнодушны. Чужим было все: старик, изба, лес, небо. Все жило своей жизнью, которая никак не пересекалась с роговской. И с чего я взял, что они меня примут? У них точно та же, отдельная, жизнь, которая давно не связана с миром живых. Все их связи тысячу лет как перерублены. Он зашел не туда, но зашел уже так далеко, что не мог просто так вернуться.

И куда ему было возвращаться? Эта мысль проявлялась в сознании по мере того, как он все полнее просыпался и трезвел, и над испуганным его телом с его животными страхами постепенно брал верх рассудок. Рассудок расставлял все по местам и устанавливал привычные ориентиры. Он спрашивал: что дома? Дома был круг жизни, из которого не находилось выхода; женщины, которым нужна была только нянька; слабость и жалкость, следы которых он находил повсюду; мать, по которой он скучал все время, но с которой не мог ладить, пока не разобрался в себе. А разобраться в себе — значило найти причину того, что здесь происходило сорок лет назад, потому что просто так жить с этим он не мог. Следовало либо откатиться от всякой человечности, признав высшую логику, либо вернуться в теплую и скучную, захлавленную жизнь, в которой ему ничего было делать. И он посмотрел на звезды уже как равный, но в небе ничего не изменилось.

Обняв себя за плечи, он еще некоторое время постоял среди двора, потом пошел спать. Старик следил за ним в окно, но Рогов не обратил на него внимания.

Теперь он шел по лесу и все отчетливее понимал, что заблудился, но странно: когда ночью, в относительной безопасности, он проснулся и вышел на крыльцо — ему было страшно под бело-голубыми звездами, а теперь, в неизвестном и буреломном лесу, где на много верст вокруг, казалось, не было человека, он не чувствовал страха. Может, дело было в дневном свете, еще ярком, хотя его часы показывали половину пятого, а может, в том, что лес он любил с детства. Самоубийством было в одиночку идти в тайгу, где мог встретиться зверь, мог потеряться путь, но он чувствовал, что идет верно, словно чей-то взгляд в спину подталкивал и направлял его. Кроме того, у него была краюха хлеба, банка тушенки, был нож, спички, было, наконец, зеркальце.

Лес вокруг него был странен — Рогов всегда иначе представлял себе тайгу. Деревья росли то густо, то редко, часты были бурые поляны, засыпанные хвоей, встречались острова чистого березняка — они всегда казались Рогову просветом, выходом, потому что на даче березы росли вдоль опушки, и он так и привык — раз березы, значит, дом близко. Но здесь он шел по тропе, впадавшей то в березняк, то в осинник, и она все глохла; вдруг он обнаружил, что идет без дороги. Пошел было назад, но, видно, взял левой. Тропа потерялась, хотя сколько бы ни было вокруг бурелома, сколько бы ни громоздились мертвые, поваленные стволы, местность не выглядела дикой. Правда, и привычных для подмосковного грибника примет человеческого пребывания не было, это-то его и смущало поначалу: он никогда еще не бродил в лесу, где не валялись бы ржавые железки или пластиковые стаканчики. Здесь человек не оставлял никаких следов, разве что странные метины на стволах, иногда свежие, иногда заплывшие, метрах в полутора от земли. Но это мог быть и зверь в конце концов. Остановился, поглотал кору, пошел дальше. Какой зверь? Этого он не представлял. Лось, что ли? В метинах не было никакого смысла: бессистемно раскиданные по осиновым и березовым стволам горизонтальные надрезы, ничего больше. Попадались грибы — размокшие и перестоявшие; впрочем, несколько отличных подберезовиков Рогов пропустил с сожалением. Иногда лес принимался шуметь, но вообще день был тихий и ясный, напоминающий золотую осень. Паутина липла к лицу. Компас у Рогова был, и он знал, что возвращаться в случае чего — если начнет темнеть, а он так и не найдет ни поселка, ни тропы — надо будет строго на запад.

Пролетел самолет. Розовеющий след его был Рогову надеждой и утешением, он доказывал, что где-то есть привычный мир, а кроме того, сама блестящая точка самолета в небе над лесом напоминала про обложки «Юности», которые он в изобилии видел у Кретова на чердаке. Самолеты летали и над их дачным лесом: неподалеку располагался военный аэродром. Этот длинный след словно явился из старых фильмов о геологах, о кострах с пением под гитару, о вырубке просек, о высоковольтных линиях в тайге. Всякий раз, когда он в лесу слышал звук заходящего на посадку самолета или просто видел в небе белую газовую полосу, тянущуюся за еле различимой и неспешно движущейся точкой, — это напоминало о быстрых и ненадежных, но веселых временах. И Рогов повеселел.

Никаких звуков, кроме его собственного дыхания и шагов да периодических негромких разговоров с самим собой, чтобы не чувствовать одиночества, в лесу не было. И вдруг — сразу после того, как он проводил глазами самолет, — в ушах у него раздался быстрый и неразборчивый женский шепот, словно кто-то в самое ухо ему произнес непонятную фразу; несколько раз в ней настойчиво повторялось одно и то же слово. Странно было не только то, что он слышал явственный, хоть и непонятный шепот в пустом лесу, странно было то, что шепот этот, раздававшийся у самого

уха, не был похож на обращение, скорее на заклинание. Кто-то бормотал сам с собой, и это было еще странней, чем сам звук чужого голоса рядом.

Рогов вздрогнул и огляделся: как раз в это время залепетала над ним осина, и галлюцинация получила простое, почти скучное объяснение. Он, однако, испугался не на шутку: все эти одинокие хождения пора было кончать. Он сверился с компасом и решительно двинулся на запад, хотя и без компаса видел, куда садилось солнце. Рано или поздно он выйдет на тропу, до темноты наверняка.

Но не сделал он и пяти шагов, как шепот повторился, по-прежнему явственный; теперь не было даже спасительного сомнения насчет того, не лиственный ли это лепет. К тому же и ветер стих, ни один листок не шевелился над головой Рогова. Фраза, которую произносил голос, была короткой, но повторялась как минимум трижды, правда, без настойчивости, а вот именно так, как бормочет себе под нос сумасшедший, словно заговаривая, забалтывая самого себя. Почему Рогов решил, что голос женский, он не ответил бы и сам: наверное, виновата была жаркость и какая-то подспудная влажность шепота, который он чувствовал словно в глубине собственной ушной раковины. Он резко оглянулся — и опять не увидел ничего. Бормотание повторилось, он зашагал быстрее. Это было похоже и на молитву, и на заговор, и на заклинание, но больше всего напоминало бесвязное бормотание во сне.

Через десять минут быстрой ходьбы Рогов испугался всерьез: места были незнакомые, зарубки на стволах повторялись все чаще и были теперь разной формы: извилистые, тильдой, или прямые, парные, параллельные; один раз ему померещилось что-то похожее на стрелку. Он точно здесь не проходил. Утешив себя, что раньше петлял, а теперь идет напрямик, но не переставая корить себя за беспечность в тайге, с которой шутки плохи, он пошел дальше, но ужас, подобный тому, который он испытал однажды в море, отплыл слишком далеко от берега при небольшом начинавшемся шторме, уже напоздал откуда-то снизу, словно поднимаясь по ногам. К тому же и темно. Самым же страшным, тем, в чем он себе не признавался, было непроходящее ощущение чьего-то взгляда, который подталкивал его в спину. Впрочем, теперь он не подталкивал, а с тайным злорадством наблюдал, что Рогов будет делать.

Он оглянулся. Снова тот же звук!

Невидимая струна повисла в воздухе. Рогов чувствовал невероятное напряжение, готовое вот-вот разрешиться. За ним следили, и следили недоброжелательно, как старик за ужином. Черт бы побрал старика с его предупреждениями! На всякий случай Рогов вынул зеркальце и показал его по-прежнему пустому лесу. Ничего не изменилось.

— Этак я с ума сойду, — сказал он громко и вслух.

Хрустнула ветка. Он стремительно обернулся на хруст: никого. Часы показывали половину шестого, но времени, казалось ему, прошло много больше часа: он приложил часы к уху. Тиканье их показалось ему оглушительным.

Темнело быстро, как всегда бывает в лесу. Розовое небо начало густо лиловеть, Рогов приметил и первую звезду. Он разговаривал с собой теперь безостановочно, надеясь отогнать галлюцинацию, но и звук собственного голоса казался ему странным. Сердце у него колотилось, как у загнанного зайца. Между тем впереди завиднелся просвет, и Рогов ускорил шаги. Вероятнее всего, он выходил к Чистому, только не совсем там, где вошел. Он и при возвращении из дачного леса обычно брал левее или правее, может быть, подсознательно желая разнообразия. Впереди определенно было жильё: ему казалось даже, что он чувствует запах дыма.

Но вместо жилья перед ним была широкая поляна, почти идеально круглая. Напротив Рогова стоял незнакомый мужик в болотных сапогах. Мужик смотрел выжидательно и как будто не без злорадства. Над плечом

его выступал ствол ружья, на голове была бесформенная кепка. Что-то еще странное было в этой фигуре, но что именно, Рогов не успел разглядеть.

— Вы не скажете, как выйти к Чистому? — спросил он срывающимся голосом.

Человек молчал, и Рогов подумал было, что везет же ему на бессловесные встречи, но тут из кустов с разных сторон вышли еще двое, тоже в темном, с ружьями, в бесформенных шапках. Четвертый и пятый так же одновременно подошли к Рогову сзади. Он почувствовал их приближение и резко обернулся, но оба, не говоря ни слова, схватили его за руки и вернули их. Рогов согнулся и сдавленно крикнул:

— Вы что? Я из Чистого... пустите... вы что...

Человек в центре поляны сделал жест рукой. Рогова подвели к нему. Держали крепко — он не мог даже толком оглянуться и рассмотреть тех, кто его вел. Только теперь он разглядел, в чем заключалась другая странность в облике молчаливого хозяина, — он был тут, видимо, за старшего, — у него не было бровей, вместо них тянулись шрамы. Когда Рогова подвели совсем близко, он заметил, что на левой кисти у странного человека не хватает двух пальцев.

Прокаженные, с ужасом понял он. Колония прокаженных, прячущихся в тайге. Вот о чем предупреждал старик.

Старший дернул шеей — это, видимо, был условный знак, — и двое других, так и стоявшие у кустов, из которых вышли, приблизились и обыскали Рогова. Стащили рюкзак, забрали нож, остальное попихали обратно. У Рогова мелькнула последняя надежда.

— Посмотрите в нагрудном кармане. — Он попытался подбородком указать на карман.

Когда его обшупывали и обхлопывали, на зеркальце не обратили внимания. Старший сделал шаг к Рогову, вынул зеркальце, посмотрел, коротко кивнул и спрятал обратно.

— Откуда? — спросил он тихо и хрипло, как человек, давно не говоривший вслух.

— Геолог один... дал. Завещал.

— Сам откуда? — с раздражением уточнил вопрос старший. Рогов так и не понял, сработало зеркальце или нет.

— Из Москвы, — ответил он, ненавидя себя за страх.

— Здесь зачем?

— Я ишу... — Он замаялся. Он и в самом деле не определил даже для себя, как называть тех, кого выслали сюда в тридцать восьмом. — Сосланных.

— Зачем?

— Здесь был мой дед... кажется, — ответил Рогов.

— Кого привел?

— Я один. А кто вы?

На этот вопрос не последовало никакого ответа. Станный человек долго и молча разглядывал Рогова. У Рогова, впрочем, был теперь шанс в свою очередь разглядеть его. Он не решился бы определить возраст старшего: ему могло быть и сорок, и шестьдесят. Рогов никогда не догадывался, что отсутствие бровей может так изменить лицо, сделать его почти инопланетным, хотя и природные данные у этого землянина были хоть куда. Лицо длинное, желтое, без единой горизонтальной морщины, с младенчески чистым лбом, но с двумя глубокими вертикальными складками, тоже похожими на шрамы, вдоль щек. Самым же удивительным было выражение, которое Рогов никак не мог приписать одной своей поимке: это было выражение странной радости, отдаленно схожее с тем, которое на самых последних безумных фотографиях было у Ленина. С таким же выражением смотрел на новобранца один из самых жестоких дедов его роты, сержант, необычайно изобретательный по части унижений. Если остальные припахивали новобранцев традиционно, не утруждаясь выдумыванием

преднамеренных унижений (такое выдумывание требовало наблюдения за жертвой, знания ее слабых мест и страхов), то у сержанта Гамалеева не было других развлечений, кроме самоцельного, сознательного и тонкого измывательства. Жертва в первый момент не могла себе представить, что кто-то может всерьез получать удовольствие от подобных развлечений. Сержант Гамалеев был персонажем сказочного толка, почти героем детской книжки — клинический случай зла, сознающего себя и наслаждающегося собой. Чувствовал ли он себя сверхчеловеком, заставляя того же Массалитинова рвать письма от девушки, которые тот хранил в тумбочке, или в подробностях высказывая несчастному Чурилину все, что он думает о его матери, приехавшей в часть после одного из особенно печальных его писем? В последнем случае, кстати, вся прелесть пытки заключалась в том, что Чурилин чувствовал себя соучастником преступления, то есть тоже как бы издевался над собственной матерью, потому что три человека его держали, и ничего сделать с Гамалеевым он не мог, а плевать ему в лицо было бы слишком мелодраматично — это значило бы опозориться окончательно. Чурилина, кстати, из части в конце концов перевели, но единственное письмо, полученное от него в роте с нового места, свидетельствовало о том, что там ему еще хуже.

Так вот: допустить, что Гамалеев мечтал об одной сверхчеловечности, Рогов не мог. Он, не вступаясь за жертв и не участвуя в пытках, внимательно наблюдал за сержантом и догадывался, что получаемое им удовольствие было другого рода. Гамалеев всерьез изучал пределы человеческой природы и Божьего терпения. И то и другое оказывалось безграничным. Простых избиений или заурядного дедования вроде приказа постирать хебе для таких экспериментов было недостаточно. В результате рядовой Масленов, «дух», не прослуживший и трех месяцев, ногами лупил своего слабейшего сопризывника Громова, потому что иначе Гамалеев со свитой измордовал бы его самого, — и Гамалеев, чистый, строгий идеалист, в эту секунду с наслаждением погиб бы под обвалившимся потолком или принял в себя испепеляющую Божью молнию, но Господь бездействовал, Громов повизгивал, а Масленов ощущал себя почти ровней дедам и входил в раж (и потому особенным наслаждением было сразу же после этого заставить его отжиматься на очке). О таких утонченных испытаниях (которым Гамалеев подвергал, конечно, не столько «духов», сколько совсем другого духа) никто из участников этого глобального эксперимента не догадывался, они и в книжках не читали ни о чем подобном, и потому Гамалеев был для них персонажем именно сказочным: в жизни ведь очень немногие делают зло из чистого, идеалистического желания злодействовать. Зло обычно делается из лени или корысти, со множеством самооправданий. Гамалеев был особая статья, хотя, возможно, его демонический вызов Господу диктовался на самом деле заурядным врожденным садизмом и неумением ему противостоять. Но как бы то ни было — поверить в реальность столь чистого, незамутненного образца последовательной и упорной античеловечности жертве поначалу было трудно, особенно если она была малообразованна и вообще попала под призыв, спустившись с гор за солью. И вот при виде этого-то недоумения, неверия в реальность происходящего — «неужели это со мной, неужели это может быть вообще» — на лице Гамалеева и появлялось то же выражение скрываемой, как бы стыдливой радости, с какой развратник смотрит на новую пассию, оказавшуюся девственницей. Он со своей стороны тоже почти уже не верил, что такое бывает. Нечто подобное этой стыдливой радости, в которой сливались презрение, обожание и предвкушение, Рогов увидел на лице старшего — и по-настоящему пожалел, что сунулся в Чистое.

— Глаза, — бросил старший с тем великолепным презрением, без которого не обходится ни одна пытка, и Рогову завязали глаза.

Дальше его чрезвычайно грубо и сильно толкали куда-то, продолжая держать за руки сзади. Он не задавал вопросов, понимая, что лучший для него вариант сейчас вообще никак себя не обозначать. Прошло не меньше получаса, когда вместо хвойной подстилки и скользкой листвы он ощутил под сапогами утоптанную, твердую почву. Ему вспомнился рассказ Кретьова про плац посреди тайги. Но и по этому плацу его водили минут десять, прежде чем вся процессия остановилась. Рогов услышал скрип двери: видимо, старший вошел куда-то доложить о нем. Еще минуты три все ждали. Наконец Рогову пригнули голову и втолкнули в жарко натопленное помещение. Здесь пахло нагретым деревом, как в сауне.

— Вот, — сказал старший, стоявший, судя по голосу, где-то поодаль. — Деда он ищет.

— Отпустить, — произнес вяловатый старческий голос. — Да глаза развяжите ему, теперь-то что...

Стоявший сзади развязал тугую повязку, и Рогов, жмурясь, встряхнул головой. В помещении, куда его привели, было полутемно, а в окне, против которого он стоял, застыла уже сплошная чернота: видать, проходили они долго. На самодельном, грубом столе горела керосиновая лампа, к которой сидевший у стола старик потянулся, чтобы сделать язычок огня подлиннее. Он внимательно рассматривал Рогова, а у того перед глазами плыли звезды: повязка была туговата, и теперь он мало что различал.

Все же видно было, что у стола, сбоку, сидит в таком же самодельном, грубом, но удобном кресле очень бледный старик, с бритым скопческим лицом и глазами, которые казались угольными, — да и где было разглядеть сослепу, при одной керосиновой лампе. За верность догадки Рогов не поручился бы, но старик, казалось, пребывал в некотором недоумении. Во всем облике его была важность и привычка к власти, но как эту власть употребить применительно к Рогову, он явно не понимал. Молчание затягивалось, старик слегка барабанил пальцами по столу и покачивал головой. На вид ему было за семьдесят. Рогов заметил, что ростом он был мал, телом довольно сух и с виду слаб.

— Ты, Василий, иди, — сказал наконец старик. — Орлов своих забери. Мне Андрона хватит. — (В углу, на лавке, сидел еще один крупный, толстый мужик, но лица его Рогов не видел.) — Потолкуем с новым, какой такой дед.

Василий усмехнулся и вышел. За ним протопали двое, только что державшие Рогова. Двое других из группы, видимо, ждали снаружи. Роговский рюкзак лежал на столе, уже распрошенный; жалкие его внутренности ни у кого интереса не вызвали.

— Помяли они тебя? — ровным голосом спросил старик, когда дверь закрылась. Сесть он не предложил, да и не на что было — всей мебели в комнате была андроновская лавка, стул и стариково кресло. Очевидно, сидя со стариком не разговаривали. Он был тут главный, столь главный, что старшинство Василия над своими было иллюзорно по сравнению со стариковским старшинством над всеми.

— Не очень, — честно ответил Рогов.

— Зла не держи, им положено. Это охрана наша, — не меняя тона, блекло сказал главный. — Говори, чего тебе надо.

Вместо ответа Рогов достал зеркальце и показал старику. Тот протянул руку, взял его и повертел. Рогову показалось, что на лице его мелькнула та же растерянность, что и в первый момент: надо было как-то отреагировать, но он не совсем понимал как. Наконец он кивнул, как и Василий на поляне, и вернул зеркальце.

— А все-таки кто тебе сказал? — спросил он, по-прежнему не меняя голоса, так что Рогов так и не понял, поведал ему о чем-то кретовский пароль или нет.

— Мне о вашем поселении рассказал один человек, который был тут в сорок восьмом, — решил прямо признаться Рогов. — Я думаю, что здесь был и мой дед. И вообще я хотел... посмотреть, если это можно.

— Померещилось твоему человеку, — сказал главный. — В сорок восьмом тут одни волки бродили. Он волка встретил, ему и показалось со страху. Что за человек?

— Геолог.

— Геологам и не то кажется. Что смотреть хочешь?

Рогов не нашелся, что ответить. Он и себе не отвечал, чего тут ищет, настолько ясно было ему самому, что он ищет в Чистом какой-то другой жизни; но как было это объяснить человеку, живущему этой самой другой жизнью, он не представлял.

— Дуют четыре ветра, волнуются семь морей, — продекламировал он, решив выкладывать все. — Все неизменно в мире, кроме души моей.

Старик приподнял бровь, но ничего похожего на узнавание Рогов не заметил на его белом лице.

— Говоришь ты складно, а закона не знаешь, — сказал он наконец. — На будущее запомни: когда со мной говорят, стоят смирно. Ну да с тебя три дня спросу не будет: живи, смотри. Если за эти три дня поймешь закон — будешь жить, не поймешь — пеняй на себя. Три дня у нас человек присматривается, грехи за ним записывают, но не наказывают. На четвертый все, в чем ты грешен, тебе припомнится — будут наказывать наравне со всеми. Андрон, — старик обернулся к толстяку на лавке, — запиши за ним: не стоял смирно. — Он вновь оборотился к Рогову: — Как зовут тебя?

— Вячеслав.

— Андрон, запиши за ним: неполный ответ. Надо говорить: «Меня зовут Вячеслав» — или: «Мое имя Вячеслав», — как тебе больше нравится, но отвечают мне полно. Меня зовут Константин, и я здесь за старшего. Выше меня только закон, и закона я слушаюсь, как все. Спросить ни о чем не хочешь?

— А закон... где-то можно ознакомиться с законом? — спросил Рогов, не желая больше делать ошибок.

— Андрон, — повернулся Константин в темный угол, где ворочался толстяк, что-то записывая в смутно белевшую амбарную книгу. — Запиши ему второй неправильный ответ. Ты мне не ответил; я спросил: «Спросить ни о чем не хочешь?» Надо отвечать: «Хочу», или: «Я хочу», или: «Да, я хочу», или: «Я хочу спросить», — как тебе нравится. Тогда я говорю: спрашивай. Тогда ты спрашиваешь. Ты спросил неправильно и нарушил закон. Тем не менее я тебе отвечу: закон можно понять или не понять. Он слишком велик, чтобы его можно было записать. Записывают не законы, а их приложения к разным случаям. Мы не можем предусмотреть все случаи, поэтому не записываем закон. Если ты его поймешь, будешь жить. Еще о чем-то спросить хочешь?

— Нет, — ответил Рогов, продолжая стоять по стойке «смирно».

— Этот день не в счет, тебя привели вечером. Три дня присматривайся, на четвертый будешь как все. Теперь пойдем, мы нынче хороним новоказненного Гавриила. Заодно посмотришь на похороны, у нас это редко.

Старик встал, оказавшись выше, чем предполагал Рогов, и прямо на свою белую рубаху набросил ватник, висевший тут же на прибитой к стене толстой, гладко отполированной сухой ветке. Сзади поднялся Андрон: Рогову стоило большого труда не отшатнуться при виде его лица. Лица, собственно, не было — сплошные узлы и бугры, свежие и старые шрамы и единственный глаз, циклопически смотревший из всего этого мясного меса. Угадывались и нос, и подбородок, но все было в красных вздутях. Да, это прокаженные, понял Рогов, прокаженные, у которых не осталось ничего иной жизни и никакого развлечения, кроме как предельно регламентировать свою жизнь и наказывать непокорных. Господи, неужели они заразят и меня? Но ведь проказа не всегда заразна, бывали случаи, когда люди находились рядом с ними годами — и ничего... Андрон был в черной рубахе и старых тренировочных штанах. Он был огромен и напоминал гору.

— Ты сегодня гость, прямо со мной пойдешь, — объявил Рогову Константин.

Это, видимо, считалось исключительной честью. Через три дня Рогов перестанет быть гостем, станет как все и будет подвержен любым наказаниям, но теперь у него был зыбкий статус нового человека, сомнительная привилегия гостя, чья расплата отсрочена. Константин был единственным, на ком Рогов не замечал никаких увечий — по крайней мере видимых. Впрочем, в стране слепых и король кривой — было вполне естественно, чтобы над этой коммуной прокаженных властвовал здоровый.

— Виноват я, папа, — густо, неразборчиво, словно с кашей во рту, проговорил Андрон. — Я сперва подумал, что ты не возьмешь его, а ты его взял. По закону я не мог про тебя так думать, а я подумал. Записать мне?

— Подойдешь к старосте и скажешь, — с легким раздражением ответил старик. — Что тебе на себя писать, ты что, не запомнишь? Пошли...

Старик подтолкнул Рогова, они вышли, и Рогов впервые смог осмотреться. Под теми же холодными и ясными звездами, под которыми он переждал прошлой ночью приступ тоски и слабости, на идеально утоптанной, твердой площадке среди леса, стеной обозначавшегося вокруг в радиусе доброго километра, стояли семь или восемь больших бревенчатых домов. Рогов, памятуя кретовский рассказ, ожидал увидеть именно бараки, но тут же понял, что в новом, добровольном своем отшельничестве обитатели Чистого наверняка должны были обзавестись более цивильным жильем. Избы казались огромными, грозно-прочными; света не было ни в одной. Людей Рогов различил только возле самой дальней избы, около которой попыхивали красные папиросные огоньки и угадывалось движение небольшой, человек в двадцать, толпы. Кто-то входил, кто-то выходил.

К этой дальней избе они и направились. Рогов подумал было, по своему обыкновению, что сейчас последний его шанс бежать: Андрон шел сзади, но миссия его была, по всей видимости, охранять старика и прислуживать ему, да если он и бросится за Роговым вслед в темный лес — что он там различит единственным глазом, среди ночи? Но здесь люди какие-никакие и жилье, — там же был холод, ощущавшийся все острее, да и рюкзак-с теплыми вещами, ножом, спичками остался в стариковой избе. Рогов мало верил, что нашел тех, кого искал, но кто бы они ни были — надо было по крайней мере получить новый и неожиданный опыт. И потом, сколько он себя помнил, попытка бегства всегда оставалась для него лишь теоретической возможностью, своего рода утешением для испуганной души. Он спрашивал себя иногда: а если бы его дед знал, что за ним завтра придут, — стал бы убегать или нет? Ведь всегда есть возможность шагнуть в сторону, ночью выйти из дома, взять билет на поезд, уехать в глушь, в Тмутаракань, спрятаться там... Многим, как он знал, страна представлялась такой же глухой толщей, как ему — ночной лес: там можно спрятаться, переждать, пересидеть бурю. Но никто не уходил, все тряслись в ожидании ночных звонков — и не потому, что на новом месте трудно было устроиться, а новый человек обратил бы на себя внимание: была еще такая глушь, где и устраиваться было не надо, и на новых людей не обращают внимания — живи себе, никого не трогай... Шага в сторону никто не делал исключительно потому, что слишком сильна была вера в неизбежность, должность происходящего: таков был заведенный порядок, игра по правилам. Наказание в этой игре входит в правила и не предполагает вины, — виной же является нарушение правил, отход от них, и уж отошедшему не будет никакой пощады. Тот, кого возьмут ночью, еще может доказать свою невиновность, но тот, кто сбежит, не должен рассчитывать на снисхождение, если попадется. А если не попадется — значит, в игре от его бегства сдвинется какой-то такой винтик, от которого в итоге разрушится вся система, и это будет хуже любого наказания. То, что происходило с Роговым сейчас, тоже было должным, — не зря же какая-то сила со-

рвала его с места и погнала из уютной Москвы, которая теперь выглядела несуществующей, в глухие леса, в деревню уродов, на похороны казненного. Хотя какой смысл имела казнь в поселке, где каждый здоровый мужчина наверняка на счету?

Чем ближе они подходили к избе, тем отчетливее был виден свет сквозь глухие, почти без щелей, ставни. Свет этот казался особенно ярким в густой тьме и словно распирал избу изнутри. Стоявшие на крыльце люди, которых Рогов не рассмотрел, стремительно расступились перед Константином. Старик поднялся на крыльцо, подталкивая перед собой Рогова. Сзади протопал Андрон. Видимо, ждали только их: курившие затоптали папиросы и без единого слова поднялись следом.

В избе пахло сырым деревом и горячим свечным воском, пол был устлан хвоей. Весь дом состоял из крошечных сеней и огромного, просторного, ярко освещенного помещения с забитыми окнами: помимо ставней, изнутри все три окна были забраны щитами, сколоченными из грубых серых досок. Горело множество свечей: и привычных, церковных, гладко-коричневых, и самодельных — витых, перекрученных, неровных, а то и вовсе состоявших из плоски с расплавленным воском и длинным, угрем плавающего в ней фитиля. У дальней стены на таких же грубых и серых козлах стоял свежеструганый, белый, любовно и заботливо сделанный гроб — кошунственно-затейливая листовенно-ягодная резьба покрывала его, и вообще в этой сырой и просторной избе он выглядел самым светлым и праздничным предметом. В гробу, укрытый по самую бороду линялым ватным одеялом, лежал седой мужик лет сорока пяти — возраст его Рогов мог определить единственно по крепкому и почти дородному сложению: мужик был, судя по всему, гол; по бутристым безволосым плечам и груди не без живописности были разложены длинные, черные с сединой космы и почти сплошь седая борода. На плечах виднелись следы побоев — как показалось Рогову, от бича, недавние, едва запекшиеся. Свежий труп, свежие раны, свежий гроб — Рогов сам подвиглся тому, что именно это определение просится и к мужику, и к антуражу; одно только линялое одеяло снижало праздничность картины. Новоказненный Гавриил имел выражение надутое и тупое. Рогов редко видел покойников, но в лице каждого замечал тайну — или покой, или невыразимое презрительное равнодушие, вот уж подлинно несовместимое с жизнью, как писали в медицинских заключениях о травмах и ранах. Если новоказненному Гавриилу что-то и открылось в последние его микросекунды, зрелище это преисполнило его такой важности, такого запоздалого достоинства, словно он всю жизнь догадывался именно о том, что увидел, и подтверждение собственной прозорливости даже на смертном одре было ему важнее, чем эта новая реальность. Впрочем, возможно, он просто никогда не считал себя достойным рая, а увидев рай, первым делом напыжился от гордости. Каким именно способом казнили этого могучего бородача, Рогов не понял: странгуляционной полосы не было видно из-за волос и бороды, да и вряд ли перед повешением кто-либо стал бы полосовать приговоренного кнутом, — а никаких увечий, кроме шрамов на плечах, издали видно не было.

В светлом помещении Рогов вдруг и сразу перестал бояться, он и вообще не боялся покойников, скорее жалея их — отыгравших свое, оставленных той силой, которая одушевляла мир и вот отвернулась от них. Они сделали что-то такое, что от них требовалось, и внимание невидимых хозяев переключилось на других, — какой смысл интересоваться законченными вещами? В загробную жизнь Рогов тоже не верил ни секунды: она полностью обесмысливала земную. Реализоваться следовало на отведенном пятакче.

Вышло так, что, подталкиваемый Андроном, он оказался на самой середине избы и здесь остановился, не решаясь подойти ближе. Чуть поодаль, сунув озябшие руки под мышки, стоял Константин: при ярком све-

те было видно, что ему никак не меньше семидесяти пяти, а может, и хорошо за восемьдесят. При этом белые волосы его были густы и аккуратно расчесаны на прямой пробор. Прочих Рогов видел смутно, да и мудрено было разглядеть их — почти все мужчины заросли бородами, немногочисленные женщины стояли в платках, повязанных низко, над самыми глазами. Все были в ватниках и кирзовых сапогах — впрочем, чистых: видимо, по торжественному случаю.

— Погляди, погляди, — прогудел Андрон, подталкивая Рогова в спину. — Так же вот лежать будешь.

— Почему? — обернулся Рогов.

— Все так лежать будем, — вздохнул Андрон.

Рогов пожал плечами и ничего не ответил. Старик подождал, пока все зайдут в избу и встанут вдоль стен: набилось человек семьдесят.

— Все ли? — спросил он, почти не повысив голоса.

— Все, — ответил кто-то от двери.

— Ну, начнем, что ли, — произнес Константин все так же ровно, выходя на полшага вперед, к гробу, — и чем ближе он к нему подходил, тем с каждым шагом громче делался его ровный голос. — Гавриил, солалерник наш, — (при слове «солалерник» у Рогова вздрогнуло сердце — он тут же перестал сомневаться, что достиг наконец цели), — знал закон — и отступил от закона; отступил от закона — и соблюл закон; соблюл закон — и отлетел от закона.

В дальнейшей его речи, более всего похожей на паутину или, верней, на ус телескопической антенны, где каждая фраза общим звеном соединялась с предыдущей, Рогов немедленно запутался и перестал видеть хотя бы тень смысла. Он поразился только тому, как может старик помнить весь этот двадцатиминутный бубнеж, в котором все вертелось вокруг закона: отступил от закона, исполнил закон, исказил закон; иногда глаголы повторялись, но с неправильной периодичностью, которая окончательно лишала рационального зерна эту странную молитву. Рогов попробовал считать, глядя в пол: вот «преступил» прозвучало через три слова, вот «исказил» промелькнуло через пять, вот появилось вовсе уже странное «распустил закон», «испустил закон», — но Константин строил свою речь строго, явно по заранее заготовленному чертежу, и через пятнадцать минут этого словоплетения Рогову стало уже казаться, что, если тот ошибется, недоплетет, пропустит глагол, рухнет и изба, и гроб, и лес. И напротив, правильное, в строгом соответствии с законом повторение слов про закон могло каким-то образом если не оживить голого Гавриила, то препроводить его в мир иной максимально гладким образом. Бог не упоминался ни разу, и ни разу Константин не повернулся лицом к собравшимся, — он так и стоял у гроба, опустив голову и внятно произнося слова. Закончил он так же внезапно, как начал: «Раздражил закон — и умилиствовал закон, умилиствовал закон — и принял закон, принял закон — и вместил закон», — и на этих словах внезапно развернулся, встав лицом к толпе. Рогова поразили его застывшие расширенные глаза.

Но не успел Константин повернуться, как сзади, от дверей, взлетел звонкий до пронзительности женский голос — Рогов машинально поднес руки к ушам; оборачиваться было бесполезно — сзади монолитно, тесно стояла темная сырая масса, и он все равно никого не разглядел бы в ней. Голосившей было лет сорок, судя по визгливости и надсаде, а может, и меньше — кто знал, быстро ли тут старели.

Везут бревно семь коней,
 Семь не увезут — восьмого припрягут,
 Восьмого припрягут — второго не уймут,
 Второго не уймут — налево не пойдут,
 Налево не пойдут — чужого не возьмут,
 Чужого не возьмут — другого не поймут,

Другого не поймут — дороги не примнут,
Дороги не примнут — подковы не погнут,
Подковы не погнут — шелкову не порвут...

Дальше смысл опять потерялся, и Рогову показалось, что повторы эти нужны только для того, чтобы, повторяя очередное звено, плакальщица успела придумать следующее. Ни пресловутого закона, ни логики во всем этом странном плаче, размеренном, как свист военной флейты, уловить было нельзя — соблюдалась лишь рифма, а потом исчезли и слова, превратившись в кашу слогов, созвучий, организованных только внешне: «Корова баламут — подова роговут, подова роговут — заслова калабут, заслова калабут — угова забарут...» Здесь вступили два мужских голоса, частящих и причитающих на одной ноте: «Шел кузнец — нес песец, нес песец — плел борец, плел борец — пал боец, пал боец — стал отец...» Рогов перестал вдумываться и только ждал, когда это кончится. Но до конца было далеко — вступали все новые голоса и вносили новые ритмы: слово было не более чем материалом, строительным кирпичом. Рогову подумалось про радения, но на радениях бичевали друг друга, бились и падали, — здесь же стояли неподвижно, истово выкрикивая непостижимую ахинею, прерывая ее в четко определенный момент и словно передавая другим эстафету обряда. Сам обряд, видимо, заключался только в смене ритмов, то есть в чисто внешнем следовании какому-то давно утраченному канону; на канон указывали осмысленные, как будто ясные первые строчки каждого нового плача, Рогов даже знал фольклорные прообразы этих текстов — о бревне, о кузнеце, — но стоило плакальщикам начать, как от оригинала оставался только размер да фонетический рисунок, соблюдавшийся с бессмысленной строгостью.

— Вышиб дно и вышел вон, — снова заговорил от гроба Константин, — выпил дно и выжег вон, видел дно и выпил вон, вытер дно и вытек вон...

Он остановился (внезапность остановки, как догадался Рогов, входила в правила) и опустил глаза; это означало конец какого-то одного этапа церемонии и начало нового. Установилась неподвижная тишина. Константин снова посмотрел на толпу, перебегая взглядом по лицам. Рогов стоял чуть впереди прочих, сзади — неподвижный Андрон, словно запрещающий оглянуться.

— Гавриил стал преступником и перестал быть преступником, — спокойно сказал старик. — Все мы знаем, в чем его проступок, и все мы знаем, что до его проступка нам нет дела. Пусть в мире считают, что есть тяжкие проступки и легкие проступки: мы знаем, что всякий проступок есть проступок и за любой можно карать равно. Кто преступил в малом — преступит и в большом, кто преступил в большом — преступал и в малом. В мире не знают, но мы знаем. — (Рогов понял, что миром называлось все, кроме поселка.) — Казнь совершилась, порядок водворен. Гавриил ошибся в счете, недосчитался двух деревьев и казнен бичеванием. Если бы он украл или убил, он не смог бы преступить закона сильнее, чем сделал это. Но теперь он чист, и мы снова зовем его братом. Время. Кто ответственный?

— Павел, — хрипло сказал мужской голос.

— Поможешь Гавриилу убраться, — буднично распорядился старик. — У нас новый, нового поставите на довольствие и спать определите к Павлу в избу. Павел, объяснишь ему правила на первые дни. Расходимся.

При этих его словах голый Гавриил сел в гробу, откинул линялое одеяло и спустил неожиданно худые, покрытые язвами ноги. Из-за спины Рогова вышагнул рослый мужик и протянул ком одежды — Гавриил без тени стыдливости принялся натягивать черные трусы, старые брюки, розовую байковую рубаху. Все его тело было исполосовано старыми и свежими рубцами. Рогов смотрел на него оцепенев.

— Так он живой? — спросил он, обернувшись к Андрону и чувствуя в нем чуть ли не единственную свою опору в этом рехнувшемся мире.

— А ты думал, мертвый? — широко улыбнулся Андрон, показывая ровные, крепкие нижние зубы и полное отсутствие верхних. — Где ж народу напасешься. У нас до смерти не казнят.

Толпа шумела, расходясь; Гавриил, наскоро одевшись, уже схватил метлу и подметал пол, еще двое мужиков, странно потоптавшись у гроба, словно примериваясь, как бы половчей взяться, снимали его с козел. Лишь приглядевшись, совершенно обалдевший от всего увиденного, Рогов заметил, что у каждого из работников нет одной руки — у одного левой, у другого правой. Гроб они снимали, стоя друг к другу спинами. Вдруг, приплясывая и кривляясь, к ним подскочил малорослый мужичонка — скуластый, бледный, косоглазый; он все словно приседал, упершись руками в бока, и мелко частил:

— Гаврилушко, Гаврилушко, поделом, поделом! Мало тебе влупили, мало, мало! — Он вприсядку ходил вокруг Гавриила, картинно-широкими движениями подметавшего пол, путался под ногами и гримасничал: — Тебя били, а ты ветры пускал! Тебя били, а ты пердел! Уперднулся, Гаврилушко! В другой раз не так бить будут! Андронушко, запиши ему!

Рогов был уверен, что вот сейчас Гавриил врежет мужичонке, но тот все продолжал мести, стараясь не задеть дергающегося уродца.

— А где новый-то, новый-то! — закричал вдруг юродивый, останавливаясь и оглядываясь. Раскосый взгляд его наконец уперся в Рогова. — Справный малый, справный, справный! Надолго нам его хватит! — Он снова пошел вприсядку, теперь вокруг Рогова; от него кисло несло.

— Николка, отвяжись, — не оборачиваясь и не повышая голоса, сказал ему от двери Константин. — Он первый день, не вошел еще.

— А и не войдет, дедонька, по глазам вижу — не войдет, не войдет! Где ж ему войти! — Николка хлопал себя по коленям и ляжкам, ходя вокруг Рогова, как цыган вокруг лошади. — Быть ему на палках, быть на рогульках!

Рогов почувствовал к этому приплясывающему уроду такую внезапную, редко когда в жизни испытанную ненависть, что замахнулся было, но Николка отпрыгнул с визгом:

— Дедонька, накажи его! Напиши ему! Николку трогать нельзя! Николку не трогают! Напиши ему! — и завыл так, что Рогов снова захотел заткнуть уши пальцами.

Константин, уже выходя и по-прежнему не оборачиваясь, бросил:

— Николку не трогают. Тебе Павел объяснит.

— Я объясню, — густым басом сказал рослый мужчина, отделяясь от стены; он, очевидно, ждал этого момента. В голосе его была радостная готовность, особенно испугавшая Рогова: так, верно, один людоед делится с другим сведениями о своем аппетите, стараясь при этом, чтобы будущее жаркое получше слышало этот нежный, воркующий разговор. — Все ему сейчас объясню. Пошли со мной, новый! Да, слышь, помни: когда зовут, отвечай по имени: «Слышу, Павел!» Закон такой. Понял, нет?

— Понял, Павел, — послушно ответил Рогов, уже сообразив, что за первые три дня он должен любой ценой найти лазейку для бегства.

Вглядываться в лицо Павла он боялся, но когда наконец заставил себя поднять глаза — отшатнулся: человека с вырванными ноздрями он видел впервые. О подобных вещах ему случалось только читать. Павлу было на вид лет тридцать, и ясно, что изуродовали его никак не в застенках Верховного, — стало быть, пытки в Чистом продолжались; да, в сущности, чем и могли заполнять свой досуг люди, чья жизнь была подчинена непрерывной закалке и проверке? Только теперь Рогов понял, что те, кого он искал, обречены были проводить свою жизнь в непрерывном взаимном

мучительстве, испытывая друг друга на прочность и знание закона: все остальное не имело смысла, да они и не умели уже ничего другого.

— Пойдем. — Павел ласково взял Рогова за плечо и повернул к выходу. В дверь просачивались остатки толпы — кто с костылем, кто с палкой, кто натягивая шапку, кто простоволосый, с непременными длинными и грязными патлами.

— Нет закона трогать новых, — прогудел Андрон. — Руки прими от него. Пишу тебе.

— Ах нет, нет, нет, Андрон! — застонал Павел, вихляясь и хватаясь за голову; Рогов сразу понял, что он придуривается, но не разобрал зачем. — Ах, Андрон, не пиши мне! Не буду, Андрон!

— Нет закона, чтобы меня упрашивать. Пишу тебе на завтра палки, — сказал Андрон. С тетрадью он не расставался: свернутая в трубку, она крепилась у него в специальной петле под мышкой, к ней была пришпилена обгрызенная шариковая ручка образца еще семидесятых, казалось, годов. — Ступай, не показывайся.

— Пошли, пошли, — протянул Павел, держа на всякий случай руки в карманах.

Рогов вышел на холодный воздух. Он боялся, что, как только они с Павлом останутся без Андронова присмотра, тот окончательно распояшется и набросится на него с приставаниями ли, с кулаками ли, — и потому, сам себя ненавидя за трусость, он несколько раз оглянулся в надежде, что Андрон идет за ними. Как ни ужасен тот был, для него все-таки существовал закон. Павел, однако, вел себя смирно; он подталкивал Рогова к дальней избе, а Андрон уже спешил в другую сторону — нагонять Константина.

Теперь Рогову ничего не оставалось, как идти с Павлом к длинному бараку, к которому уже тянулись еле различимые впереди группки по три-четыре человека; шли в молчании, только вспыхивали огоньки папирос. Павел ничем себя не обозначал. Рогов ожидал инструктажа, но, видимо, некоторая пауза для нагнетания страстей входила в условия игры: жертва должна была дозреть в страхе и неопределенности. Скоро пришли: как и в главной избе, служившей, видимо, для скорбных и праздничных сборов (если здесь вообще бывали другие праздники, кроме того, которому Рогов только что был свидетелем), ставни были наглухо закрыты. Сквозь щели не пробивалось никакого света.

Рогову надоело молчать и ждать. Он уже понял, что в ближайшее время нарушит закон не раз и не два, а потому надо пользоваться трехдневной безнаказанностью и задавать как можно больше вопросов.

— Где я спать-то буду?

— Сейчас покажу, — неожиданно спокойно и почти дружелюбно ответил Павел. — Тока у нас нет, сам видишь, а свечей мы зазря не палим. Заходи.

Рогов вошел в помещение, где возились и укладывались обитатели барака, общим числом, как мог он оценить приблизительно, до двадцати. В нос ему ударил запах немытого тела и сырой одежды: сукна, шерсти, — так пахло в ротной сушилке после кросса под дождем. Павел посветил зажигалкой.

— Вот тут будешь спать. — Он указал место в углу. — Со мной рядом покуда. Куда тебя после карантина определят — пусть решает Константин, три дня буду тебе показывать, что к чему, и если въедешь в закон — авось жив будешь.

В этих словах Рогову померещилось утешение. Он подумал даже, что Павел втайне не желает ему зла и, глядишь, поможет в случае чего бежать, — но слишком раскрываться перед ним Рогов не спешил. Все тут было обманчиво, и за дружелюбием могла скрываться новая ловушка; да и бежать было рано. Так и не понятно было, нашел ли он, что искал.

В середине барака, на полу которого все и разлеглись, подложив одежду, тюфяки или спальные, стояла большая железная печь, и около нее бодрствовал дежурный. Время от времени он подкладывал дрова, потом снова и снова брел по проходу между двумя рядами лежавших, от стены до двери. В казарме такой проход назывался «взлетной полосой».

— Сейчас спи, с утра поведу показывать, как живем. Ложись, на вот тебе укрыться. — Он безошибочно, в полной тьме, взял откуда-то с невидимой полки суконное солдатское одеяло и пихнул его Рогову в руки. Вокруг них молча укладывались, откуда-то уже доносился храп.

— А если на двор ночью?

— Подойдешь к дежурному, попросишься на двор. Там он тебе покажет, за домом. Смотри драпануть не вздумай: сегодня такой патруль ходит — ни одного ребра не оставят, в мешок превратят.

— Да я и не собираюсь...

— Мне дела нет, что ты собираешься, не собираешься... Язык не распускай.

Больше всего Рогова поражала внезапность этих переходов: от симпатии Павел стремглав переходил к ярости, как вот сейчас, и Рогову стало уже казаться, что это тоже входит в правила игры, как в правила дзэна входит внезапный удар палкой.

Он безропотно лег на деревянный пол. Глаза, как водится, постепенно привыкали к темноте, но смотреть было не на что, кроме дежурного, расхаживавшего взад-вперед по «взлетной полосе»; время от времени тот подходил к одному из спящих и светил ему в лицо карманным фонариком, иногда толкал ногой слишком расхрапевшегося; кто-то вышел на двор и вернулся. Павел лежал рядом, дыша почти бесшумно: спал или караулил? Рогов заснул нескоро, и сон его был душен, тяжел.

Проснулся он как от толчка: в помещении было по-прежнему темно, но в полуоткрытую дверь проникал серый пасмурный свет. Утро против его ожиданий начиналось не с общего подъема и построения, а с побряхтываний, ругательств и стонов: каждый вставал сам по себе, иные еще лежали, натянув на голову одеяла или закрывая лица шапками, оберегая остатки сна. Дисциплина вообще была нестройной, и это более всего поражаало Рогова в первый день: закон с его бесчисленными иезуитскими тонкостями, которыми обставлялся каждый шаг, не предполагал ни идеальной чистоты в бараках, ни единообразной одежды. Если целью поставлено максимальное мучительство себя и других, мелочи вроде чистоты или распорядка дня никого занимать не могут, но это Рогов понял только к вечеру. К вечеру он вообще многое понял.

Теперь, при свете дня, он мог наконец рассмотреть весь лагерь. Вырубленная и вытопанная площадка среди леса была много больше, чем показалось ему ночью, — большое, ровное пространство, на котором нетесно стояли десять деревянных строений. Самым маленьким из них была Константинова изба, срубленная из толстого бруса, самым большим — барак, в котором давеча отпевали недоказанного Гавриила. На дальнем краю площадки, за бараками, Рогов разглядел высокий деревянный помост, предназначенный, как показалось ему сначала, для публичных выступлений. Ели в деревянной столовой стоя, начерпывая кашу с тушенкой из больших бачков, похожих на армейские, — и, как в армии, перекуривали после каждой еды. Завтракали сразу после подъема: Рогов увидел группки обитателей поселка, тянувшиеся к столовой от трех других бараков. Общее число лесных жителей он оценил только вечером — многие, как выяснилось, не ходили есть; всего в бараках жило человек восемьдесят. На вчерашнюю церемонию не явился патруль да несколько больных.

Перловки с тушенкой каждый накладывал себе вдоволь (Рогова особенно заинтересовал вопрос, где взяли консервы, — но, видимо, местные

жители частенько захаживали в Чистое, доезжали и до самого Омска, только выпускали туда не всех, а уже проверенных). Хлеба было мало — своего, видимо, не пекли, да и где в тайге будешь сеять-веять-молотить; этими словами Рогов, не сильный в сельском хозяйстве, определял для себя все земледельческие работы. Для желающих на отдельном столе стояло несколько мисок с овощами — грубо накрошенные горькие огурцы и бледные помидоры, посыпанные крупной крупитчатой солью. Все это, видимо, росло на огородах, темно-зеленой полосой видневшихся за помостом. После завтрака, завершившегося желтым чаем без сахара, Павел повел Рогова как раз туда.

— Сбор каждый вечер там, — показал он на квадратный, ограниченный колышками плац перед помостом. — Там и казним.

— Что, каждый вечер?

— Не, казним по праздникам. Вчера праздник был — новолуние. Каждый вечер казнить никакого интереса. В будни так — по мелочи. Когда палки-рогульки, когда порка, когда дыба. — Он хохотнул. — Да ты не бойся, у тебя еще два дня.

— Павел, а с законом где-то можно... ознакомиться хотя бы?

— Ежели ты за три дня поймешь закон, так тебе не надо с ним знакомиться. А ежели не поймешь, то тебе и никакое знакомство не поможет. Ты пойми, садовая голова, закон не писан, закон вот тут должен быть. — Он ткнул себя пальцем в покатый лоб. — Сам откуда?

— Из Москвы.

— Эх тебя занесло! Что ж ты сюда-то собрался?

— Посмотреть, — осторожно ответил Рогов.

— Рассказал кто? Вроде некому, у нас московских не было... Кроме Константина, конечно, но он уж лет сорок в Москве не был.

— Геолог один говорил.

— Откуда ж тут геолог? Разве, может, слух до них дошел... Не, у нас с самой Москвы еще не было. Были всякие, из Новосибирска были, с Алтая были, с Кулунды...

— А сам ты откуда? — Рогов вполне был готов к окрику: «Язык не распускай!» — или: «Сегодня мы спрашиваем!», но услышал вполне дружелюбное:

— С Казахстана я. Там жить не стало возможности, казахи все отняли, с работы погнали... Ну, я и поехал в Омск к брату, а тут про Константина услышал. Про него всякое говорят, но вообще уважают... Ну и поехал.

— И как?

— А как? Живем... — неопределенно ответил Павел.

Они дошли до помоста, на котором Рогов вблизи разглядел огромную колоду — именно такова в его представлении была плаха. Рядом возвышался невысокий, крепко вбитый в землю глаголь, правда без петли. Тут же была будка, похожая на дачный сортир и явно рассчитанная на одного.

— Ну, главное все вечером увидишь, — небрежно пояснял Павел, — а тут огороды. Земля славная, родит хорошо... Садоводов не трогают, их трогать нельзя. Садоводов всего пять. Их казнить можно, а наказания им не пишут: на них же земля, работа, кроме них некому...

Отвоеванная у леса почва и впрямь была плодородна: Рогов с изумлением увидел арбузные плети, а на них — небольшие, но вполне кондиционные с виду арбузы. Густо росла петрушка, высоко возносились желтые соцветия укропных соцветий, перла из земли огромная морковь, небольшими тугими вилками белела сквозь темную зелень внешних листов капуста.

— Где ж воду берете? — спросил Рогов. Он не заметил вокруг ни пруда, ни водокачки.

— А река недалеко, ты не видал, что ль? Как же ты шел?

— Я не сам шел, — усмехнулся Рогов. — Вели меня, глаза завязали...

— Вон там река, метров двести. За лесом. Константин около нее и велел строить.

Рогов слышал о таких таежных реках, похожих скорее на ручьи, но сам ни разу их не видел. Больше всего он жалел сейчас о том, что не вышел к реке в своих вчерашних скитаниях: русло вывело бы его, он знал — идя вдоль реки, не заблудишься. Главное теперь было — попасть к реке, но туда в одиночку, ясное дело, нового человека не пустили бы, да и патруль... Он не понимал одного: если на каждое новолуние кого-то забивают до полусмерти, а каждый вечер мучают по сокращенной программе — почему не сбегают остальные? Или тут охраняют каждого? Хотя откуда взять столько охраны? Впрочем, он начинал уже догадываться о целях этого странного поселения, но пока представлял их смутно, боясь верить собственной догадке. Больше всего ему хотелось спросить, как они со своими жалкими печками и щелястыми бараками выживают жестокой, континентальной омской зимой, — но это-то мучительное выживание как раз не противоречило его догадке.

— А давно ты тут? — спросил он Павла.

— Третий год езжу, — непонятно ответил тот.

Сами бараки явно были выстроены не в тридцатых, — уж как-нибудь Рогов отличил бы тогдашнюю постройку от сравнительно недавней. Вообще от тех времен в поселке, где преобладали люди в возрасте от тридцати до пятидесяти, остался, по-видимому, один Константин. Впрочем, надежда сохранялась — Рогов видел пока далеко не всех.

— Пойдем детский лагерь покажу. — Павел подтолкнул его в сторону небольших домиков у самого края леса.

Рядом с домиками шатким плетнем была выгорожена большая, примерно двадцать на двадцать метров, площадка. Когда они подошли к ней — от помоста до лагеря было шагов пятьсот, — Рогов разглядел через забор, что дети в ватниках и дешевых старых куртках занимаются чем-то похожим на зарядку. Никаких детей на вчерашнем отпевании не было, но, с другой стороны, брать их на подобные мероприятия, к тому же поздние, действительно не было резону.

Зарядка происходила в молчании, и мужчина лет сорока, в старом спортивном костюме, без видимых увечий, показывал упражнения. Впрочем, показывал он одно, а дети делали совершенно другое, каждый свое. Роднила все эти упражнения только их абсолютная бессмысленность: тренер стоял на одной ноге, поджав другую, сводя и разводя в стороны руки, согнутые в локтях. Его тощая фигура напоминала цаплю, бьющую крыльями, только очень ритмично и невозмутимо. Детей было пятнадцать, Рогов сразу подсчитал их, — все разного возраста, от восьми до пятнадцати примерно лет, и каждый выполнял свое, некрасивое, монотонное и бессмысленное движение. Иной кружился волчком, иной, отставив одну руку в сторону и опустив вдоль тела другую, переступал на месте вправо-влево, иной отжимался, подчас просто падая на землю и некоторое время так лежа (ведь холодно, ужаснулся Рогов), или хлопал себя по ляжкам, по плечам, по ушам — и вновь, в другом порядке, повторял резкие хлопки.

— Надолго они так?

— До обеда, — пожал плечами Павел.

Тут тренер резко подпрыгнул, приземлился на обе ноги, развернулся на сто восемьдесят градусов и, стоя задом к детям, непристойно нагнулся, коснувшись земли пальцами тощих рук. Теперь Рогов видел, что у него нет уха. Никто из детей даже не смотрел на тренера, движения каждый менял, как и когда хотел, и на Рогова с Павлом оглянулись всего два или три человека. Остальные казались целиком поглощенными бессмысленной гимнастикой.

— А что толку-то им так дергаться?

— Освобождаются. Пока голову не очистишь, закон не поймешь.

— Может, и мне попробовать? — расхрабрившись и уже позволяя себе некий вызов, спросил Рогов.

Вместо ответа Павел вдруг резко ударил его в глаз. Первым побуждением Рогова было немедленно дать сдачи, но Павел был явно здоровее, да и понимал, что пленнику рисковать не след. Был, правда, риск, что теперь Павел подумает, будто с ним все можно, — но сразу ставить себя, как называлось это во всех замкнутых коллективах, он не решился.

— Ты чего, в чем дело? — отпрыгивая и сам ненавидя себя за жалко-суетливую интонацию, выкрикнул он.

— Вот твоя гимнастика, — неожиданно спокойно ответил Павел. — Пойдем пасеку покажу.

Пока они снова шли на другой конец поселка, к пасеке, в голове Рогова промелькнула тысяча способов отомстить и бежать, но все они были покуда малоисполнимы. У него отобрали нож, да он и не слишком представлял себе, как бы стал им орудовать; завалить Павла ударом кулака было нереально, оглушить сзади невозможно — тот все время шел позади и словоохотливо, уже без всяких роговских расспросов, объяснял назначение лагеря.

— У нас, вишь ты, с детьми многие, ну нельзя ж их в общие бараки, вот и живут в лагере. Опять же много беспризорщины в городе, — которые знают, те и свозят их сюда. Они у нас живо в закон въезжают.

В этом Рогов не сомневался, но вслух ничего не сказал. Он иногда щупал глаз, под которым набряк фингал. Павел ударил его далеко не со всей мочи, но и этого хватило. Можно, конечно, было сказать ему, что новых не трогают, — но это, видимо, и не называлось «трогать». Это было именно что-то вроде инициации, после которой Павел сразу стал дружелюбнее, или гимнастического упражнения, только во взрослом варианте местной гимнастики.

Навстречу попались трое, тащивших тяжелое бревно. Среди них Рогов узнал Андрона.

— Павел, что шапки не ломаешь? — спросил Андрон. — Пишу тебе!

Все трое синхронно остановились, сбросили бревно. Павел торопливо сдернул синий вельветовый берет, но Андрон уже доставал из-под мышки свою тетрадь. Он старательно вписал туда несколько слов (Рогов разглядел, что наверху страницы стояло красивое, красной ручкой выведенное «Павел Баташев», — видимо, на каждого была заведена своя страница) и снова спрятал тетрадь под мышку, после чего скомандовал:

— Возьми!

Зачем и куда они несли бревно, Рогов не понял: никакого строительства вокруг не наблюдалось. Пасека раскинулась вдоль опушки метров на двести: несколько больших ульев, между которыми расхаживал в брезентовой робе рослый бородач, отвечающий за все это хозяйство. Рогов почти не удивился, увидев, что все лицо его заплывло и опухло от множества пчелиных укусов, от которых тут, вероятно, не принято было предохраняться.

— Здоров, Михаил! — крикнул ему Павел еще издали. — Нового веду!

— Покрестить его, что ли? — бодро спросил Михаил, и у Рогова не возникло сомнений в характере предстоящего «крещения».

— Нет, он на карантине пока! Так, покажешь ему...

— Это можно, — гостеприимно проговорил искусанный Михаил; он вообще был мужик уверенный, и казалось, что эта-то уверенность, красная, ядовитая, его и распирает, так что с каждым укусом он словно все больше преисполнялся самовлюбленностью. Причина, должно быть, была еще и в том, что пасечник жил отдельно от всех, вне бараков, на отшибе, и в отличие от прочих имел право жить с женой: изба его, несколько косякокая, но крепкая, стояла тут же. Жены, правда, нигде не было видно, но по намекам, которыми он обменивался с Павлом, Рогов успел понять, что пасечник женат недавно и жену привез из города. Дело на пасеке было поставлено отлично: ничего не понимая в пчеловодстве, Рогов не мог не

отметить основательности ульев и не оценить меда; три куса сот Михаил поднес ему на алюминиевой тарелке.

— Прямо как знал я, — сказал он радостно. — Баба мне говорит сегодня: дай медку! А я в ответ: нет, мать, погоди, быть гостю! Чую нового! Он когда же пришел?

— Вчера, — ласково отвечал Павел. Интонация его, когда он говорил о Рогове с другими обитателями поселка, становилась снова той же самой ласковой, воркующей, и какая-то тайная гордость за Рогова звучала в ней — так хозяйка хвалит сына-отличника или удавшийся пирог. — Его вчера привели, он и на отпевании был. Зря ты не пошел.

— Не положено, — вздохнул Михаил.

— Да ладно, — махнул рукой Павел. — Ты на сколько отпеваний отлучен?

— На четыре, — жалобно протянул Михаил, вмиг растеряв всю уверенность.

— И сколько еще?

— Еще одно...

— Да простил бы он тебя. В следующий раз сходи.

— А когда теперь?

— Эх, Михаил, — сказал Павел. — От людей отбил, ничего не знаешь. Сегодня вечером Петька представление покажет, стало быть, и конец ему.

— Петька-то? — Пасечник усмехнулся. — Это погляжу. Это стоит того.

До обеда Павел показал Рогову склады, сказав, что закон запрещает к ним приближаться всем, кроме женщин — дежурных по кухне; рассказал, как назначаются дежурные по поселку и патруль (каждому приходилось заступать по два раза в месяц), а напоследок повел к женскому барачу. Мужских было два, женский — один, и запах в нем стоял как будто более слабый, но и более отвратительный, чем в том, где спал в эту ночь Рогов. Он замечал иногда и в больницах, где ему случалось по разным поводам недолго лежать в молодости, что вонь женских палат — другая: более тонкая, но и более мерзкая. Подспудно Рогов знал и то, что увидит в женском бараче нечто куда более страшное, чем видел до сих пор в мужских: он знал и то, что женщины, часто бывая не в пример прекраснее, отважнее и талантливее мужчин, точно так же превосходят их и в падении, небрежении, невежестве, — и даже женское уродство страшней и как-то кощунственнее мужского. Женщин в поселке не было видно — только одна попала на глаза Рогову на глаза, когда они с Павлом ходили к помосту. Женщина — вероятно, дежурная по кухне — вышла из лесу с коромыслом. Свободные от дежурства, догадался Рогов, весь день проводили в бараче; по здешним законам, видимо, допускалось и особое, дополнительное мучение — строго раздельная жизнь.

В бараче было душно. Одни шили, другие вышивали или вязали, третьи, сидя на крыльце и вдоль стены, перетирали с сахаром облепиху. Внутри барака, где тоже топились железная печь, многие были полудеты, и приход двух мужчин не заставил их ни смутиться, ни прикрыться. Со стыдливостью в Чистом вообще обстояло странно.

Рогов инстинктивно отводил глаза. Его не встретили ни глумливыми усмешками, ни подначками, — рассматривали спокойно и просто, как экспонат, видимо, прикидывая, каков он будет, когда и на него начнут распространяться общие правила; поскольку единственной радостью обитателей поселка было наблюдать за мучениями друг друга, каждый житель Чистого тут же соображал, каков будет Рогов на дыбе или на рогульках (рогульки он представлял себе смутно, и как выглядит наказание ими — не знал). Только один взгляд он почувствовал кожей — взгляд, полосувший его, как узкое лезвие. Рогов уставился в тот угол барака, откуда блеснул темный глаз, горячо скользнувший по нему: невысокая девушка в низко повязанном платке, согнувшись, сидела на лавке, протянувшейся вдоль стены, и что-то бормотала, покачиваясь. Рогов вслушался: ему померещи-

лось, что из угла доносится тот самый жаркий шепот, который слышался ему тогда в лесу.

— Марака... карака... барака... тарака... — бормотала она с ударением на втором слоге, опустив голову, повязанную грязно-белым платком, и сцепив перед собой пальцы. Но вдруг, словно почувствовав его взгляд, подняла лицо и посмотрела на него исподлобья, прямо, с вызовом.

Он испуганно заметил, что у нее один глаз — один, но огромный, черный и влажный, как ягода; вторая глазница была прикрыта дряблым веком. На вид ей было лет двадцать пять, лицо смуглое и скуластое — треугольное лицо с маленьким коричневым ртом. Что-то притягивающее и пугающее было в ее птичьем, круглом глазе, и странная связь была между Роговым и ею — он понял это сразу и в тот же миг вспомнил, что в странной фантазии, пришедшей ему по поводу Имы Заславского, тоже была любовь к одноглазой троцкистке. С ним часто бывало такое, он знал за собой эту способность угадывать будущее, на первый взгляд абсурдное и непостижимое, — самые бредовые догадки, которые он боялся даже додумывать до конца, вдруг сбывались в его судьбе, и не зря же пришла ему в голову эта одноглазая! Теперь она сидела напротив, нацелившись в лицо ему своим единственным глазом, и он понимал, что забрел в эти края не без ее тайного участия.

— Пошли, — подтолкнул его Павел. — В женский барак нашим ходу нет, только новым показываем — чтоб знали, куда ходить не след.

Они вышли на свет. Рогов посмотрел на часы — было уже два.

— Часы не положены, — важно сказал Павел и протянул за ними руку в полной уверенности, что Рогов безропотно повинуется.

Часы было жалко — дорогие, купленные в Чехии, — но Рогов и впрямь их отдал. Это почему-то вызвало у Павла скептическую ухмылку.

— Не въедешь ты в закон, — покачал он головой, и Рогов так и не понял, относилось ли это к тому, что он не отдал часов сразу, или к тому, что отдал их теперь.

Обедали долго, все той же тушенкой — правда, теперь с водянистой намятой картошкой; выдано было несколько арбузов. После молча курили. К Рогову никто не подходил, словно пребывание в карантине делало его заразным, зачумленным и доступным только для Павла. Рогов понимал, что на этот и ближайшие два дня попал в полную зависимость от Павла, и боялся того, чем все это могло закончиться. Павел же охотно разговаривал с остальными, но Рогова не упоминал: обсуждали в основном предстоящее шоу Петра. Судя по всему, посмотреть было на что. Самого Петра видно не было: из реплик Павла следовало, что тот готовится, уединившись в будочке около помоста. Шоу предполагалось через три часа после обеда, и время, особенно без часов, тянулось для Рогова невыносимо медленно. Из курилки, представлявшей собою деревянный, типа караульного, грибок возле столовой, все постепенно начали расходиться. Больше всего Рогова занимал вопрос — куда деваются люди из поселка днем: они сходились для вечернего сбора или для жирной консервно-крупяной трапезы, но на утрамбованной территории лагеря Рогов со своим гидом за все предобеденные три часа встретил только Андрона с тремя помощниками, несших непонятное бревно. В лагере никто не работал: лишь женщины, судя по всему, так и сидели в бараке, штопая свою и чужую одежду или заготавливая затируху. Все бросали окурки в железное ведро, стоявшее под грибом, и уходили в разных направлениях — иногда поодиночке, иногда по двое-трое. Одни исчезали в бараках, другие в лесу: стало быть, выход за территорию поселка на работы был разрешен.

Глядя на этих людей, уходивших решать свои таинственные дела, Рогов испытывал все более глубокую тоску: такую же тоску он чувствовал всегда, попадая в новые места, где люди уже живут заведенным порядком, а ему в этот порядок еще только предстоит войти. Вот так же чувствовал он себя,

оказавшись в новой школе после переезда — то был восьмой класс, — или впервые проснувшись в армии, в учебке, куда он прибыл с последней партией. Все уже маршировали, бегали, что-то таскали, — они же, последняя троица только что обскубанных тупой машинкой новобранцев, только пришивали погоны к хебе. Их посадили как раз в ротную курилку и предоставили самим себе; иногда кто-то из «духов», прослуживших уже неделю-другую, забегал к ним и с видом прожженного, опытного знатока предупреждал, что скоро придется вешаться. Кругом кипела жизнь, какая-никакая, они же были выброшены из всякой. Подшиваться надо было так, чтобы между стежками не проходил палец. Шить Рогов не умел. Но тоска происходила не только от этого и даже не от этой отдельности от всех, которая в другое время Рогова бы обрадовала, — а главным образом от того, что все это было преддверием новой и ужасной жизни, в которую будет вовлечен и он. Любые переходные и межеумочные времена вообще всегда были для Рогова мучительны — он любил определенность, и даже солнечный осенний день заставлял его в душе кричать: скорее бы! Скорее бы началась мерзость зимы с ее темными утрами и тотальной враждебностью человеку — враждебностью, которую он и так чувствовал во всем, но летом она маскировалась, а зимой бывала обнажена: если убивать, то лучше сразу и честно.

Вот и теперь, сидя в курилке, он мучился больше всего оттого, что пока присутствует в аду туристом, а через три дня натурализуется, и тогда непостижимые правила преисподней распространятся и на него. Плохо быть отдельно от всех, но хуже будет со всеми, — это он понимал, и душа его выла.

— Павел, а что они все делают? — решил он спросить, потому что не мог больше молчать.

— Да кто что. — Павел сплюнул. — Время проводят. Одни деревья метят, другие считают. Гавриил вон сбился — видал, что было с Гавриилом? Ну, по дереву работают по мелочи... Иногда пилят, валят... Мышцу качают...

— А кто задания дает?

— Да в начале сезона Константин определяет, где кому быть, — они там и торчат. Только дежурных назначают да вот с новичками в карантин. Меня часто на карантин бросают — я закон хорошо знаю. Всосал.

Рогова озадачили слова о начале сезона, но входить в детали он не стал, даром что Павлу, казалось, нравилось болтать. Рогов ничего не понимал в настроениях Павла. На глазах сбывался один из самых страшных кошмаров его детства — путешествие с безумным спутником; кошмар этот возникал чаще других и заставлял его вскакивать с колотящимся сердцем. Ему снилось, что он бродит по пустому закатному городу, как правило, по Москве, по каким-то ее районам, на которых она тогда для него кончалась, и по мере расширения географии его поездок — к родне, к друзьям, к репетитору — изменялся и пейзаж сна, пока действие его наконец не переместилось в реальные окраины и пригороды вроде Новопеределкина. Был болезненно-красный закат, солнце уже село, но все небо было в алом тумане, и жарким, пыльным вечером он бродил и по городу с сумасшедшим спутником (реже спутницей), не зная, как от него отвязаться. Самое страшное заключалось в том, что спутник был непредсказуем — мог засмеяться, мог наброситься, и приходилось его все время заговаривать, причем с какого-то момента тот переставал слушать начатую историю и только смотрел на Рогова в упор, как умеют смотреть сумасшедшие, — с бессмысленной подозрительностью. Так они кружили и кружили, пока спутник вдруг не лез в нагрудный карман за чем-то невыносимо страшным — но за чем именно, Рогов никогда не успевал досмотреть. Больше всего на свете он боялся безумия — чужого, потому что о своем и подумать не мог без дрожи.

— А зачем считать деревья? — спросил Рогов.

— За вопрос «зачем», вообще говоря, по закону бичевание, — сказал Павел с мрачным удовлетворением. — Имей в виду.

— Что, запишешь мне?

— Во время карантина не пишут. А вот ты себе где-нибудь запиши.

— А еще какие вопросы нельзя?

— По ситуации, — расплывчато ответил Павел. На лице его заиграло что-то похожее на вдохновение: видимо, он действительно хорошо знал и любил закон. — Иногда, например, нельзя спрашивать: «Как дела?» При ясной погоде нельзя спрашивать: «Что мне сегодня делать?» При пасмурной погоде нельзя про патруль: кто, мол, в патруле да когда я дежурный? При северном ветре нельзя спрашивать, который час.

— Так ведь часы запрещены, — полувопросительно произнес Рогов, потому что погода была пасмурная, а мало ли какие слова нельзя произносить при такой погоде.

— Ну, — рассудительно кивнул Павел. — Запрещены. — (Он сделал паузу, словно придумывая объяснение.) — Но это только в карантине, а после карантина кой-кому разрешены. Мне, например, можно — но только при условии, что у меня будут свои. Видишь, у меня свои. — Он вынул из кармана часы Рогова и невозмутимо показал ему.

Тень догадки мелькнула в голове Рогова — на секунду ему показалось, что он ухватил самую суть закона, — но тут же все потонуло в прежней мути.

Неожиданно — он всегда появлялся неожиданно — из дальнего барака (второго мужского, мысленно окрестил его Рогов) выскочил Николка и стремительно понесся к столовой. Ни на завтраке, ни на обеде его не было, видимо, он ел отдельно и вообще обладал привилегиями.

— Что, Павлушко, — кричал он издали, — не все сожрали, не все смолотили? А? Не все новый пожрал? Здоровый малый, здоровый, здоровый, брюхо-то набил! — Он закружился вокруг Рогова. — Пожрешь, потом отработаешь, всем отработаешь! Полюбujemyся, полюбujemyся новым! — Он еще попрыгал, зловонно дыша на Рогова, а потом отскочил в сторону и боком побежал к столовой, все косясь на курилку.

— А Николка что делает? — спросил Рогов.

— Что хочет, то и делает, — пожал плечами Павел. — Он на таком положении, что ему только Константин указ. Николка Божий человек, блаженный.

Рогов затруднялся представить себе Бога, у которого такие люди, но другого Бога здесь, видимо, не знали.

— И что, его трогать нельзя?

— Трогать нельзя, жаловаться на него нельзя, спорить с ним нельзя. В нем закон и есть. По закону, скажем, воровать нельзя. Но ежели Николка сворует, то ему можно. Кому другому — нельзя, а ему можно.

— И что ж вы его терпите?

— Мы не терпим, — вдруг озлился Павел. — По закону он нужен. Без него закон неполный. В Николке соль земли. Богоносец он, понял ты или нет?

— Бого-кто? — спросил Рогов, откровенно издеваясь. Ему начало всерьез надоедать все это, а злоба у него всегда изгоняла страх, как жажда забивает голод.

— Богоносец! — рявкнул Павел. — «Бого-кто!» Это ты бого-кто, чумоход болотный, а Николку не трожь! Из него все вышли, от него сам Константин зависит! Им повелевает, но от него и зависит. Глас Николкин — глас Божий. Тут все во имя Николкино. Для кого иначе-то?

Снова что-то знакомое мелькнуло Рогову во всех этих сочетаниях — глас Николки, вышли из Николки, во имя Николкино, — но ум его в Чистом мутился, и мысль снова потонула в страхах и тоске.

— Все уж видели, — раздумчиво между тем сказал Павел. — Разве сви-нарник тебе показать... Пошли посмотрим. — И они направились к краю поселка, забирая левее помоста.

Свиньи, общим числом двенадцать, толкались и хрюкали в загоне. Только что двое одноруких чистовцев, которые накануне снимали с козел гроб новонедоказанного Гавриила, приволокли им из столовского барака огромный котел объедков, оставшихся с обеда. В котле, в отвратительной жиже, хлюпали арбузные корки, куски хлеба, каша с жирным мясом. Котел был встречен взрывом хрюканья и визга. Свиней содержали чисто, но свинья грязь найдет — загон был вытопан и вымешен полусотней копыт, и в этой пыли, которую после каждого дождя, вероятно, развозило в липкую кашу, валялись две самые толстые, уже не в силах подняться.

— Свинья — зверь простой, а умный, — с непонятной гордостью за свиней сказал Павел. — Знает, когда жрать несут.

— Когда резать будете? — спросил Рогов, чтобы что-нибудь спросить.

— До холодов всех порешат, — с такой же гордостью, но уже, видимо, не за свиней, сказал Павел. — Каких поедим, каких продадим. Надо тебя Прову показать. Пров!

На зов из крошечной слепой избушки вышел низкорослый мужик лет тридцати, с желтым, одутловатым лицом и мутными глазами. Рогов по привычке искал у него увечья, но не нашел — видимо, что-то под одеждой, вроде Гаврииловых шрамов.

— Кто звал? — спросил он равнодушно, но Рогов за этим равнодушием, за бегающими глазами навывкате уже чувствовал дикую злобу, искавшую только повода.

— Я звал, — радостно сказал Павел, предчувствуя, видимо, развлечение. — Нового показать привел.

— Ты, что ли, новый? — все так же ровно, но в высшей степени пренебрежительно, словно Рогов принадлежал к безнадежно низшему сорту, спросил Пров. — А? Чё молчим, новый?

Это обращение на «мы», имитирующее разговор с ребенком, Рогов хорошо знал по армии: что буреем, воин?

— А что с тобой говорить-то? — спросил он, начиная закипать.

— А чё ты чёкаешь-то? — незабытым, столь знакомым тоном безнаказанной шпаны спрашивал Пров. За Провом явно был опыт шестерки, долго наблюдавшей подобные инициации в качестве рядового члена команды, — команда, верно, стояла полукругом, пока пахан производил ритуальный опрос, служивший прелюдией к долгому и изощренному измывательству. — Ты чё чёкаешь-то, чё? Чё ты чёкаешь, ты? — И он ткнул Рогова в грудь кривым пальцем.

Павел стоял у загона, отвратительно скалясь. Рогов ощутил ненавистный холод в желудке, словно ледяной кулак сжимался там.

— Карантин, — сказал он, ненавидя себя за подлое желание прикрыться здешним законом. — Что ты лезешь, я в карантине.

— В карантине, ну и чё? — невозмутимо повторял Пров, наступая на него. — И чё? И трава не расти?

— Пров, новых не трогают, — подал голос Павел, но явно исключительно ради проформы, рассчитывая на изобретательный ответ.

— И чё? — спросил и его Пров. — А про число сегодня ты помнишь? Какое седня число? Седня двадцать пятое число. — И снова повернулся к Рогову, продолжая наступать на него. Число было двадцать первое, это Рогов помнил. — Карантин ему. Закон он выучил. Закон тебе, да? Говно жрать — твой закон. А? Чего молчим-то? А? — И Рогов, не успев увернуться, получил тяжелый, неожиданной силы удар в челюсть; рот сразу наполнился кровью.

Этого ему хватило, чтобы мобилизоваться: он ненавидел прелюдии, ожидания, подготовки, но после первого удара страх исчезал, и тогда Ро-

гов действовал четко — на зависть шпане. Никогда не тренируясь, не занимаясь никакой борьбой, считая ниже своего достоинства изучать приемы самообороны, Рогов чувствовал иногда такую душную ярость, что оттащить его от жертвы бывало непросто. В армии он так дрался всего единожды, когда сержант выбросил из его тумбочки материнские письма; инцидент стоил ему пяти и потом еще пяти нарядов по роте, но сержанта никто не любил, и большая часть роты была на роговской стороне. Так что драться Рогов не умел, а вот убить, вероятно, в известном состоянии мог бы.

— Убью, сука! — взвыл Пров, еле успевая заслоняться от града ударов, но Рогову этот визг только прибавил прыти. Он и ноги пустил в ход, и Пров уже встал на одно колено, закрывая только голову, а потом и вовсе упал, — но тут Рогова сбил с ног прыгнувший на него Павел.

— Ты что, тебе ж конец теперь! — заорал он. — Оставь его, ты, чума бешеная! Он же свинарь, тебе за свинаря знаешь что будет?!

— Убери, убери его! — стонал Пров, катаясь по земле. Сквозь шум крови в ушах Рогов слышал бешеный топот и хрюканье, доносившиеся из загона. Он оглоушил бы и Павла, но начал уже выдыхаться, да и Павел был здоров.

— Ты что, — уже мирно продолжал Павел. — Свинаря кто же трогает? За свинаря по закону тебе шкаф, да после шкафа три дня самому за свинаря. — Рогова особенно раздражало, что Павел произносит «свинаря» с ударением на «и», но сил злиться у него уже не было: как всегда после приступа ярости, он чувствовал только опустошение.

— Что за шкаф? — спросил он равнодушно.

— Теперь узнаешь, тебе через три дня сразу шкаф. И учти, свинарь в любом случае пишется: в карантине ты, не в карантине...

— Лично ему шкаф сделаю, — плюясь красным и поднимаясь с кряхтением, говорил Пров. — Лично, гад буду, лично!

— Ладно, — широко улыбаясь, сказал Павел. — Познакомились. Пошли обратно, скоро сбор большой. Пров, ты пойдешь Петра-то посмотреть?

— Не видел я твоего Петра, — сплюнул Пров.

На обратном пути Рогов спросил Павла:

— Слышь, а почему за свинаря пишут в карантине? Три дня же, Константин говорил.

— Три дня, пока закон не всосешь, — с прежним дружелюбием отвечал Павел. — А раз на свинаря полез, значит, ты закон всасывать начал. Глядишь, у тебя на второй день карантин закончится.

— Понятно, — сказал Рогов. — А сколько он у тебя был?

— А тебя скребет? — оскалился Павел, с прежней внезапностью переходя к злобе.

— Скребет, а чё? — вопросом на вопрос ответил Рогов.

— Смотри ты, — проговорил Павел с подобием уважения и чуть ли не любования в голосе. — Еще чуть — и совсем всосешь. Я все три дня всасывал, даже в книжку писал — то-то надо, то-то нельзя... Константин увидел книжку, мне потом груша была.

— Полная груша-то? — спросил Рогов, полагая, что груша — что-то аналогичное крантам.

— Была бы полная — жив не был бы, — сплюнул Павел. — До половины раскрыли.

Рогов, не в силах представить себе грушу, замолк. В оставшиеся до сбора полтора часа он валялся на траве под присмотром Павла и, кажется, даже задремал ненадолго — настолько все было нереально и так он устал от этого.

Сбор был главным событием дня: кто в чем — в старой военной форме, в тренировочных костюмах древнего образца, в ватниках и болоньевых куртках, в грязных китайских пуховках жители Чистого тянулись к помос-

ту. Откуда они только не брались: из леса, из бараков, из столовой, из-под земли; Рогов наконец увидел, что пятеро копали яму, явно слишком большую даже для братской могилы. Она располагалась на краю площадки, за Константиновым бараком, и смысла в ее рытье было не больше, чем в таскании бревна. Земля, выброшенная из ямы, видимо, тут же разбрасывалась и разравнивалась: насыпей Рогов не видел.

Из своей избы вышел Константин с неизменным Андроном — сам в чистом длинном пальто, доходившем ему до пят, Андрон — во вчерашнем тулупе. Свежело, Рогов попросил у Павла разрешения сбегать в барак за рюкзаком, но одного его, естественно, никто отпускать не собирался. Они дошли до барака, Рогов натянул свитер. Павел с явным нетерпением топил:

— На сбор не опаздывают. Ты знаешь, что тебе после карантина будет за опоздание на сбор? Палец, не меньше.

Что такое все эти груши и пальцы, Рогов уточнять не хотел. Он пробыл в поселке меньше суток, а ему уже до смерти надоело метаться между страхом и злобой: других состояний — просветлений, озарений, благодати — он и не предполагал тут. Последние сомнения мог развеять сбор — главное, видимо, что он должен был тут увидеть. Но самой страшной была мысль о том, что только такая жизнь, всецело подчиненная сложному и изощренному закону, и могла стать уделом обитателей подлинного Чистого или их наследников: ни в чем, кроме усложнений закона и кар за его несоблюдение, смысла для них быть уже не могло. И поскольку Рогов нигде в мире не видел ничего подобного этому поселению, оставалось признать, что его-то он и искал — и не мог бы найти ничего другого, потому что лишь непрерывное самоограничение со все новыми изощрениями могло представлять интерес для человека, прошедшего Верховную проверку. Такой человек должен был обожествлять принципы и в принцип возводить любую мелочь, регламентировать каждый чих и за несоблюдение регламента в мелочах карать так же, как за убийство, например, — ибо с точки зрения человека, выдержавшего полгода пыток и не сдавшегося, разницы между ошибкой, проступком и преступлением по определению нет.

Но что такое закон, думал Рогов, идя со всеми к помосту, — что такое закон, который он, по словам Павла, начал уже понимать — и понимать, если верить Павлу, после нападения на свинаря? Впрочем, чему здесь можно было верить... Все было обманкой для нового человека, и пройти по этому минному полю, не подорвавшись, не смог бы и самый тренированный провидец. Закон двадцать пятого числа, бывшего к тому же двадцать первым; северный ветер; чудесное превращение чужих часов в собственные; неприкасаемый Николка, груша, палец, палки-рогульки, три сезона — все сливалось в один затяжной, бессмысленный кошмар, и подобрать к нему единый код было по определению нельзя; только отсутствие кода могло быть единственным законом — но в этот миг его отвлекли. Он так сосредоточился на собственных мыслях, что не заметил, как одноглазая подошла к нему и тронула за рукав. От нее шел тот же тонкий, тошный запах женского барака, но она покрасилась — и что самое отвратительное, покрасила не только губы и щеки, но даже грубо, как на тюремном вечере самодеятельности, размалевала веки; особенно ужасно было сморщенное синее веко отсутствующего левого глаза. А ведь она молода, мелькнуло у Рогова, молода и была бы хороша, будь при ней оба глаза и пропади куда-нибудь эта боевая раскраска.

— После сбора приходи, со мной пойдешь, — тихо сказала она, наклоняя к его уху и чуть не касаясь его губами; он узнал влажный, жаркий шепот, который вчера на закате морочил его в лесу.

— А этот? — Он кивнул на Павла.

— Этот ничего тебе не сделает, я с ним договорюсь. Как будет отбой, час выжди. Часы взяли?

Рогов кивнул.

— На. — Она быстро сунула ему крошечные женские часики с браслетом. — В десять.

— А ты?

— Я себе еще возьму, я староста барака. — В голосе ее зазвучала начальственная гордость. — Что, не ждал?

Рогов пожал плечами.

— А патруль?

— Ты не понял? — Во взгляде единственного ее глаза читалось явное разочарование. — Нет никакого патруля. На тебя случайно напоролись, там наши деревья метили. Что ж ты тормозной-то такой, новый? Мне ж Пашка сказал, ты вроде продвинулся.

— Когда он успел? — удивился Рогов.

— Нам много время не надо. Ты бы спал побольше. — Она хихикнула и отстала.

Тут же к Рогову подпрыгнул Николка.

— А, новый, новый! Петра посмотришь, Петра посмотришь! А потом сам, а потом сам! Внимательно смотри, пригодится!

— Пошел ты, — сказал Рогов.

— Сам пойдешь, сам пойдешь! Андронушко, запиши ему!

Но Андрон был уже далеко впереди, и было ему не до Николки. Он давал последние наставления четверке мрачных людей, окруживших пятого, связанного. Разглядеть его толком за широкими спинами охранявших Рогов не сумел — видел только, что толстый; в Чистом вообще было на удивление много дородных. Помост пока стоял пустым; потом двое вынесли на него кресло — для Константина, догадался Рогов. Догадывался он и о том, кто был Константин, и понимал даже, почему его однополчанин с такой смесью ужаса и омерзения, словно увидев выходца из ада, бежал от лейтенанта Сутормина в сорок восьмом году. Как будто прочитав его мысль, Константин обернулся в его сторону и кивнул — не ему, а своим мыслям; потом пальцем подманил Андрона и что-то шепнул ему, подобострастно нагнувшемуся. Андрон направился к Рогову, и тот со стыдом и омерзением почувствовал, как потеют руки и снова ледяная рука сжимает желудок. Двадцать пятое число: карантин больше не охранял его. Он не был застрахован ни от одной из местных казней. Господи, подумал он, что ж я не остался с ними, с теми? Господи, сделай меня деревом, травой, тропой, Господи, спрячь меня от человека!

— Пойдем, — пробасил Андрон. — Константин возлюбил тебя, вспомнил. Говорит, поставьте нового, чтобы лучше видно было.

— Свиляр! Свиляр! — закричали в толпе, снова с ударением на «и». Рогов понял кое-что, и это кое-что его не обрадовало.

Между тем постепенно темнело, пасмурный свет мерк. Константин тяжело поднялся на помост и медленно опустился в кресло. Андрон пять раз звучно хлопнул в огромные ладони, — видимо, это заменяло бой курантов. Воцарилась тишина. Еле-еле покрапал дождь, но тут же стих.

— Собратья, — тихо и скрипуче выговорил Константин. — Сегодня мы в первый раз казним двух новопосвящаемых, Алексея и Елисея, удушаем сестру нашу Анну, предавшую нас, и в последний раз прощаемся с братом нашим Петром, превысившим меру терпения нашего. Время позднее, погода серая, — поторопимся. Андрон, подымись да прочти.

Всего, что происходило затем, Рогов старался не видеть, но не мог ничего с собой сделать и время от времени смотрел: искушение было сильно, хоть он и понимал темную, подземную природу этого искушения. Страшное возбуждение владело им, и только одно оправдание могло быть у этого возбуждения — он так до конца и не верил в реальность происходящего. Между тем происходящее было реально: двое дюжих выволокли на по-

мост бледного, онемевшего от ужаса молодого парня, который трясся и повисал у них на руках.

— Новопосвящаемый брат наш Алексей! — возгласил Андрон. — Преступление: выбросил окуроч между полуднем и первым часом пополудни. Наказание через отрубление. Свиляр, делай свое дело.

— Стой, стой. — Константин поднял руку и остановил церемонию. — Не задерживай, да не гони. Надо слово сказать. Говори, Алексей, свиляр-то у нас дело знает, он успеет.

Но Алексей не мог не только говорить — он еле стоял. Рогов снова опустил глаза, однако хорошо успел разглядеть его белое лицо, длинные рыжие кудряшки, забранные в хайратник, и широко раскрытые серые глаза. Парня этого гораздо проще было представить в хипповой коммуне или программистской, допустим, тусовке; смотрелся бы он и у толкиенистов. Алексей немного похватал ртом воздух, оглядел лица, скользнул и по Рогову, который нет-нет и взглядывал воровато на помост. Прошло около минуты.

— Пу...пу...пустите меня, я передумал, — очень тихо сказал Алексей.

В толпе заплодировали. Рогов наконец оглянулся: на всех лицах был написан жгучий интерес и непритворное наслаждение.

— Молод. — Константин поощрительно улыбнулся. — Молод, но перспектив не лишен. Ничего, еще обучится, — пальцев много. Приступаем, брат свиляр.

На помост вскочил Николка, который, конечно, не мог пропустить зрелища. Он закружил, захопотал вокруг плахи, приговаривая:

— Мало тебе, мало тебе, Алексеюшка! Запишите ему — плохо просит, плохо просит! А ты окурками не швыряйся, не швыряйся!

Никто не осаживал Николку, напротив — такой образ действий, судя по всему, был в поселке привычен и вызывал горячее одобрение.

Двое, державшие брата Алексея, с силой подтащили его к плахе и положили на нее левую руку новоказнимого. Алексей завизжал, как резаная свинья. Менее всего Рогов мог представить себе, что сам он станет делать в подобной ситуации, которая запросто могла ему предстоять уже на следующий день: во-первых, есть вещи, которых не отретируешь, ибо в экстремальных положениях все происходит наоборот, против обычной логики; во-вторых, реальности происходящего верить было невозможно. Кругом был девяносто шестой год, август, Восточная Сибирь, — и тем не менее свиляр размахнулся, с радостным хеканьем опустил топор, визг Алексея оборвался, и мгновение спустя что-то шлепнулось на помост. Пров тут же подскочил к упавшему предмету, поднял его и показал толпе: Рогов понял, что имел в виду Павел, говоря о казни «палец». Понятно, тут же подумал он: нарушений множество, жиней не напасешься. А пальцев вон сколько, считая те, что на ногах. Интересно, что сделали однурукие. Не иначе, чихнули во время церемонии. Алексей тихо плакал, повизгивая; двое быстро и привычно бинтовали ему левую руку. Свиляр сунул отрубленный палец в карман. Послышались приветственные крики.

— Оттяпали, оттяпали! — кричал Николка. — Небось обделался, верно уж обделался! — Он скатился с помоста по ступенькам, не решаясь спрыгнуть по малости роста и, как догадался Рогов, робости натуры. Рогов охотно убил бы его. Теперь он почти не сомневался, что смог бы это сделать, и более того — что этот поступок мог бы стать главным оправданием его жини.

— Порадуемся за новонаказанного брата нашего, — тихо и тепло сказал Константин. — Каждый из нас знает, какое умиление снизошло сейчас на душу его. Живому пройти через казнь и с новой силой вернуться к жини, отвергнуться от братьев своим неслышанным проступком и вернуться в их прощающие объятия — есть ли другой рай, возлюбленные? Поприветствуем брата Алексея!

Сзади бешено захлопали. Павел закурил. Рогов дал себе слово проследить, куда он денет окурок.

— Брат Елисей! — басом возгласил Андрон. — Преступление: не выбросил окурка между двенадцатью и часом пополудни. Окурок спрятан в карман, обнаружен братом Евгением. Наказание через отрубление. Осложнение: просил не записывать ему. Наказание через плюновение.

— Приступай, свинарь, — разрешил Константин.

Елисей, видимо, был лагерник со стажем, ибо шел уверенно, его даже придерживали сзади, чтобы не так рвался вперед, к самому интересному. Свинарю поднесли пучок какой-то травы; он взял ее в рот и медленно начал жевать, тяжело двигая челюстями.

— Говори, Елисей, — сказал Константин, вновь жестом останавливая Прова.

— Сознаю тяжесть греха моего и умоляю простить хотя бы после испупления, — бойко отбарабанил Елисей.

— Ты бы сверх формы что-нибудь, — поморщился Константин. — В другой раз, Андрон, напиши ему. Нельзя же все по образцу, тебя люди слушают.

— А если не по образцу. — Елисей расправил плечи. — Если не по образцу, а от сердца... тогда я так скажу: семь дней дали мне между проступком и казнью, и все семь дней боялся я, что будет со мною. А сейчас не боюсь, братья, потому что все будет уже сейчас! Смерти бояться — это, я скажу по-простому, все одно, что бабу драть и бояться кончить! Вот что я вам скажу, и разрешьте мне, как любимому герою моего незабвенного детства, самому скомандовать: руби меня, свинарь!

— Андрон, — неприязненно сказал Константин, чувствуя, видимо, что толпа не знает, как реагировать на дерзкую, слишком гладкую речь. — Запиши ему самоволие с отсрочкой на две недели, наказание через кислоту. Оно, конечно, есть закон: казнимому перед казнью не писать, но есть и другой закон: самоволия не поощрять и в казнимом; за преимуществом второго закона противоречие решается в его пользу. Теперь приступай, свинарь.

Снова на помост выскочил Николка:

— Своевольничать, своевольничать! Плюновение совершу, плюновение совершу!

Двое так же приложили к плахе руку несколько опешившего Елисея, Пров хекнул, Елисей коротко взвыл, потом выждал паузу и наконец заорал долго и мощно, на одной ноте, запрокинув к небу искаженное лицо. Его ловко перевязали, потом вдруг резко вывернули руки, и он нагнулся, перестав орать от неожиданности.

— Плюновение! — объявил Андрон; Пров подошел к Елисею и смачно выхаркнул ему в лицо травяную жвачку. Рогов зажмурился и принялся тереть лицо — щеки, веки, — чтобы погасить приступ тошноты.

Елисея сволокли вниз и швырнули под помост, где он тут же скорчился на боку в позе эмбриона. Теперь он орал беззвучно — широко раззявлив рот, не смея или позабыв утереться. Палец аккуратно положили рядом с ним. Выполнив все это, двое вернулись на помост.

— Павел, — обратился Рогов, временно уговорив себя, что все-таки видит сон. — Ты прости уж, что отвлекаю...

— А? — переспросил Павел, совершенно поглощенный зрелищем.

— Я спросить хочу: один бросил окурки, другой не бросил. А пальцы обоим рубанули. Закон это объясняет как-нибудь?

— Ну а как же. — Павел заплевал окурки, положил его в рот и, пожевав немного, проглотил. — Закон все объясняет. Один — Алексей, другой — Елисей. Ежели бы Алексей окурка не выбросил, так ему бы ничего не было, хоть он все карманы окурками набей, хоть ватник ими сожги. А ежели бы Елисей, примерно сказать, окурки выбросил, так ему бы даже поощрение было. Ага, поощрение. Видишь, какой закон у нас? Закон у

нас всеобщий, — непонятно, но с удовлетворением закончил Павел. — А сейчас самое как есть интересное пойдет.

Под помостом суетился Николка, поплеывая в лицо Елисею.

— Сестра наша Анна, — сухо сказал Константин, когда стих возбужденный гул, — снова предала нас третьего дня, покинув лагерь ночью. Наказание через удушение.

Рогов изумился было, почему объявить о наказании Анны решил сам Константин, не доверив Андрону, — но все понял, едва Анна, точно на эстраду, взбежала на помост. Анной звали одноглазую старосту барака, ту самую, которая звала его из лагеря ночью. Если старосте барака за ночную отлучку грозит удушение, подумал Рогов, мне и вовсе башку оттяпают. К тому же если удушение настоящее (проступок был посерьезнее окурка, и он вполне допускал, что хоть одна казнь на каждом сборе может оказаться реальной) — тогда предложение Анны встретиться с ней ночью приобретало занятный смысл. Эта мысль несколько расшевелила отупевшего Рогова: он знал за собой эту счастливую способность тупеть в минуты сильного страха или опасности: подлинный ужас догонял его потом. Так отходил наркоз, и эта боль, быть может, бывала еще и побольнее той, от которой он был избавлен благодаря счастливому свойству психики.

Двое, которые сначала тащили Алексея, а потом вели Елисея, встали рядом с Анной; она присела на плаху. Третий выскочил откуда-то сзади с длинным мокрым полотенцем. Еще одна пара — неизменные двое одноруких — внесла на помост носилки и спрыгнула вниз, рядом с отпрянувшим Роговым. Рогов, однако, с ужасом ловил себя на том, что возбужден не на шутку и на удушение Анны посмотрит с большим интересом.

— Делай! — скомандовал Андрон.

Анна сняла платок и оказалась темной шатенкой с блестящими, хорошо промытыми волосами. Свиляр подошел сзади и взял ее за руки. Двое (их Рогов мысленно прозвал «двое из ларца», в отличие от пары безруких, обозначенных им как «двое без ларца») захлестнули вокруг ее шеи мокрое полотенце, свели его концы и принялись закручивать, как закручивают белье. Скоро побежала вода, лицо Анны побагровело, она несколько раз царапнула по помосту каблуками высоких грубых сапог. Рогов жадно смотрел на нее. Полотенце закручивалось все туже, Анна уже с трудом дышала и наконец несколько картинно уронила голову набок; «двое из ларца» с видимым трудом крутанули полотенце еще пару раз, выжав несколько тяжелых капель, и тут же размотали его. Рогов не видел, в сознании Анна или нет: единственный глаз ее закатился, и она не шевелилась. Общими усилиями ее положили на носилки и снесли под помост.

— Притворяется, — уверенно сказал Павел. — Я Аньку знаю. Они плохо давят: она только забалдела — эти и кончают. — (У Рогова хватило еще мерзости, которой он тут же устыдился, обратить внимание на двусмысленность.) — Вот я ее давил, голыми руками, — у нее настоящий кайф был. Она рассказывала, что ангелов видела. Говорит — все в искрах. Меня вот дави не дави, я никогда ангелов не увижу.

— Петр! — звучно и празднично объявил между тем Андрон, и Рогов услышал сдержанный гул одобрения. Шоу Петра, по всей видимости, было кульминацией сбора, тем более что Константин назвал казнь Петра последней, ибо терпение солдагеров было истощено.

На помост втолкнули толстого и рослого малого со связанными руками; ватник его был распахнут, виднелся тельник. Лицо у Петра было откровенно бандитское, пухлое, небритое, и для довершения приклатненности облика он был по всему телу сизо татуирован и подстрижен под бобрик; низкий лоб собрался в морщины.

— Развяжите, — милостиво кивнул Константин. — А ты, свиляр, готовься: голову рубить — не то что палец. Это всего третье, кажись, обезглавливание у тебя?

— Четвертое, — поправил свинарь.

— Андрон, запиши ему возражение... Приступай, Петр.

— Прости, Константин, — густо и убедительно сказал Петр. — Ведь так вот всегда: покаешься, потом подойдет под сердце — и опять грешишь. Не хотел я тебе согрубить, видит Бог, не хотел.

— Ты Бога-то не поминай, — с видимым удовольствием произнес Константин, которому разыгрывание этой пьесы перед небольшой, но страшно воодушевленной аудиторией доставляло приятнейшие минуты. — Ты кайся, тебе секунды остаются.

— Соколик мой, горностаек! — закричал Петр, падая на колени с гулким стуком; помост содрогнулся. Лежавшие под ним Елисей и Анна, однако, не отреагировали. — Светик мой, семицветик! Ножки тебе буду целовать, дай еще раз мамыньку увидеть. Как же я помру, не увидевши мамыньки! — Причитания его приобретали все более надрывный характер, составляя удивительный контраст со специфической внешностью. — Мамынька глазыньки проглядит: где-то мой сынок непутевый? Пощади, отец родной, заставь век Бога молить!

Что-то подобное я слышал или читал, подумал Рогов. Он сам дивился, как у него хватает сил и гнусности спокойно, с некоторым даже эстетизмом анализировать происходящее. Впрочем, никак иначе ко всему этому и нельзя было относиться — сборы явно были давно и хорошо отрежиссированы, и Рогов каким-то краем сознания понимал, что зывают они в конце концов именно к его эстетическому, а никак не к нравственному чувству — особенно если учесть, что преступление Петра не оглашалось, да и вряд ли имело значение. Но где-то я это определенно читал, снова подумал он. «Князь Серебряный»? «Доктор Живаго»? Про мамыньку точно из «Живаго», про ножки — из одного горьковского рассказа, где убивали конокрада; поразительно начитанная публика!

Петр между тем совсем уж картинно мотал головой, стоя на коленях, и раскачивался всем телом из стороны в сторону. Слезы были самые настоящие, и чем каменнее выглядело спокойствие Константина, которому начинал уже, кажется, надоедать затянувшийся пролог зрелища, тем более подлинное отчаяние читалось на лице Петра: он, видимо, начинал понимать, что теперь ему действительно ничто не поможет.

— Ладно, — сказал наконец Константин. — Неинтересно. Связывайте его, ребята, обратно, да и порешим поскорей. Ужинать пора.

— А-а-а! — взвыл вдруг Петр, вскакивая с колен и одним прыжком отдаляясь от края помоста, к которому, напирая сзади на Рогова и жарко дыша, подалась толпа. — Жестокие, жестокие! А-а-а! Ой, не троньте меня! Всех убью, один останусь! — Он вдруг выхватил из рукава необыкновенно длинную и острую заточку и несколько раз рассек ею воздух вокруг себя. Свинарь, стоявший сзади, бросился было к нему, но Петр его заметил — почувствовал, видно, дрожь досок, — стремительно обернулся и кулаком вломил свинарю промеж глаз; тот, уже получив сегодня от Рогова и еле запудрив кровоподтеки на лице, отлетел метров на пять и чуть не рухнул на землю. Пользуясь общим замешательством, Петр спрыгнул с помоста назад, к огороду, и, пнув кинувшегося ему наперерез садовника, дернул в лес. В сгущающейся темноте августовского вечера там ему едва ли угрожала погоня.

Сдержанное «А-а-ах!» прокатилось по толпе.

— Ушел, — густо сказал Андрон. — Пишу себе.

Толпа замерла, не зная, как реагировать. Молчание тянулось минуты две; Константин не оборачивался и не вставал из кресла. Голова его была опущена, и молчание не предвещало ничего хорошего.

— Слабовато Петька отработал на этот раз, — пренебрежительно, сквозь зубы, сказал Павел. — С пистолетом лучше получилось. Но у него

Константин отобрал пистолет, потому что он в тот раз Макара ранил по настоящему.

— Так что ж, он уйдет? — тупо спросил Рогов. — Не ищут же...

— Да кому он нужен, его искать. — Павел широко, сладко зевнул, но тут же испуганно прикрыл рот рукой. — Искать еще. Завтра припрется как милый. У него же специализация такая — побег, больно причитает хорошо. Его еще ни разу не казнили. Приговаривают каждую неделю, а казнить не казнят. Он побег показывает. Один раз прямо из петли убежал — подговорил Григория, тот веревку успел подрезать. Ну сюрприз был! Сегодня он так, не в ударе. Было время — все плакали, как он просил. В ногах валялся. А потом все равно сбегал. Это у него для подзавода распорядок такой — сперва просит-молит, потом пиф-паф! Или вот с заточкой, как сейчас. Один раз со спицей бегал, у баб спер. Изобретательный, зараза. Но вообще лениться стал: конец сезона, что ты хочешь.

— И что? — спросил Рогов. — Он завтра вот так спокойно вернется?

— Если зверь не заест, — кивнул Павел. — Да какой тут зверь? У Петьки наверняка нора вырыта, или шалаш он себе поставил — ночь просидит, а утром вернется. Он же не хочет бежать, куда ему бежать? Это ему Константин такую работу определил, а так он даже не отлучился отсюда за три сезона на моей памяти ни разу. Бегаёт тут поблизости ночью, иногда баб пугает — стонет там в лесу всяко... А к утру всегда тут, жрать-то хочется. Он знаешь как жрет? Но Константин велел ему не жалеть: у него, говорит, ампула нервное...

То единственное, в чем на миг мелькнула подлинность, оказалось главной обманкой. Петр не был ни мучеником, ни беглецом. Со странной смесью отвращения и умиления посмотрел Рогов на Константина. Да, сомневаться нельзя было: это он, последний, кто остался от первого поколения чистовцев. Кто угодно из обитателей поселка мог оказаться потомком его деда — двоюродным дядькой, троюродным братом самого Рогова; Павел, кстати, вполне годился в троюродные братья. Что еще им оставалось тут делать? Какие другие развлечения были доступны людям, которых все время проверяли и мучили, пока они не поняли, что это единственное занятие, к которому в конечном итоге сводятся все остальные? Стоило ли развлекаться, ссориться, любить, если предельным выражением жизни, ее наиболее насыщенной формой была казнь, сочетавшая в себе и подспудный эротизм, и соблюдение сложного закона, и чувство справедливости, и элемент воспитательного развлечения для наблюдателя? Что было интересного, кроме казней, что более предельное мог измыслить человеческий мозг и что еще было делать людям, чьи родители ушли от мира? Все казалось бы мало тем, кто жил тут, в тайге, без комфорта и электричества: нужна была острая и напряженная жизнь, и ничто, кроме непрерывного самомучительства, такой остроты не давало. Да, он в Чистом, сомнений не было. Кретов не врал про изображения пыток, которые видел в местном боевом листке. Интересно только, почему они замазали надпись «Дома никого нет» и куда девались скамейки, стоявшие раньше на плацу. Впрочем, тогда, вероятно, не было помоста, а скамейки нужны были для того, чтобы высидивать бесконечно длинные партсобрания и политзанятия. Теперь вместо них были сборы, то есть казни, — это короче, а главное, динамичнее. Мучительство — единственное, что никогда не надоест.

Константин сидел все так же неподвижно, свесив голову на грудь. Андрон подошел к нему, нагнулся и заглянул в лицо. Рогов не успел даже заподозрить, что старик помер во время представления: все-таки Петр умел рвать душу. Конечно, смерть старика мало огорчила бы Рогова, хотя без того тут запросто могла начаться смута, в которой не поздоровилось бы ему первому. Но больше всего он испугался того, что теперь никто не расскажет ему про деда. Константин, однако, был живехонек. Он просто

уснул. Андрон потряс его за плечо, и старик поднял белую голову, мутным взглядом обводя толпу. Нитка слюны свисала с губ. Он был все-таки очень стар, страшно сказать, как стар.

— Расходимся, братья, ужин, — спокойно сказал Константин и вновь свесил голову на грудь. Андрон бережно подхватил его и, как ребенка, понес в резиденцию. Сзади «двое без ларца», симметрично покачивая пустыми рукавами, несли кресло.

Ужин прошел в сдержанных обсуждениях побега Петра и в спорах, во сколько ждать его завтра; кто-то назойливо выпрашивал, отчего не идет Елисей — он мужчина крепкий, от плюновения никто еще не умирал...

— А чего Анну не отпевают? — спросил Рогов у Павла.

— Чего ее отпевать, это разве казнь? Бережет ее Константин, любит. Больно хорошо ногами скребет, только отрубается быстро. Рассказывает потом — закачаешься. Что она там видела и все дела.

— И что, многое видела?

— Жри давай. — Перемены настроения у Павла были мгновенны.

Нет, положительно главного воспитателя-карантинщика, старого медведя Балу, знатока закона, что-то связывало со старостой женского барака. Он был в нее влюблен, — может быть, даже взаимно, — и уж точно оказывал ей услуги, которые при желании можно было расценить как любовные: душил голыми руками, доводил до состояния, в котором она видела ангелов... Непонятно, зачем ей мог теперь понадобиться новый человек. Но судя по тому, что она не скрыла от Павла своего намерения встретиться с ним ночью, — как любовник Рогов ее не интересовал.

— Павел, — Рогов переменял тему, — скажи, ты тут никого по фамилии Скалдин не знаешь?

— Не-а, — покачал головой Павел, набив полный рот хлебом с маслом; сверху, по маслу, он размазал смоченный в чашке чаю сахар.

Так многие делали в армии, и зрелище было отвратительное. Рогов предпочитал свой кусок сахара давить между двумя столовыми ложками. Впрочем, сейчас у него вообще не было аппетита.

— Никого по фамилиям не знаю, — добавил Павел, прожевав. — У нас не принято. И я только три сезона...

— А раньше? Многие тут раньше?

— Есть, — неопределенно ответил Павел. — Но фамилии один Константин знает, а тебе к нему до конца карантина обращаться нельзя. — Допив чай из алюминиевой кружки, Павел склонился к уху Рогова: — Про ночные походы твои я ничего не знаю, ничего не слышал. С Анькой ночью лучше не ходить, но раз позвала — иди: в карантине не отказываются. Только смотри, чтоб не знал никто. В карантине выбор хороший. — Он понимающе гыгыкнул. — Не пойдешь — шкаф, пойдешь — груша.

— Слышь, Павел. — Рогов снова осмелел, втайне обрадовавшись тому, что Павел по ночам с Анной не ходит. — А куда свиньяр пальцы денет?

— Известно куда, — усмехнулся Павел. — Свиньям скормит. Свиньи все сожрут.

После ужина разошлись по баракам. Рогов глянул на часики: четверть девятого. Он так устал и так был полон увиденным, что заснуть поначалу не мог — не отпускало возбуждение, и все та же ледяная рука нет-нет да и сжимала желудок при мысли о том, что он тут пленник, что вывести его отсюда некому. На Павла в этом смысле полагаться было нельзя — выслушает, покивает сочувственно да прямо Константину и сдст. С послезавтрашнего дня на него, якобы уже все насчет закона усвоившего, но так ничего и не понявшего, этот самый закон начинал распространяться, а потому для бегства оставался один день — завтрашний.

Он все-таки засыпал потом, но ненадолго, урывками. Прежде интересовавшая или пугавшая чужая воля, в полном распоряжении которой он

был, внушала ему теперь ненависть. Никто не смеет держать его черт-те где, да и все эти фокусы с казнями... Те закалялись и проверялись, эти развлекаются. Нет, бежать, бежать, одна надежда, что Анна выходит из поселка по ночам. Может быть, это лунатизм, а может, тоска по любви, но она куда-то исчезает ночью; а может, ей просто хочется нормальной еды, а не вечной этой жирной тушенки с водянистыми овощами. Тогда она точно бежит в деревню — хотя бы за хлебом; отсюда и тамошние слухи о таинственных людях. Может быть, она в этот раз и возьмет его с собой, хотя он решительно не понимал, чем мог заслужить ее благосклонность. Стопроцентной уверенности в ее доброжелательности не было, но относительно других была стопроцентная уверенность, что еще и сдадут. Не пой-дешь — шкаф, пойдешь — груша.

Но если было даже полшанса бежать из этого вымечтанного Роговым места, следовало попытаться; и каждые полчаса он просыпался и рассматривал часики. Стрелки их слабо светились (знала, что дать!) и показывали девять, полдесятого, десять... Рогов ощутил даже желание угреться, посещавшее его всегда, когда уют бывал непрочен: ничто не делает одеяла таким теплым, как необходимость вставать! В армии, помнится, когда дневальный будил его на смену в наряд по КПП или в столовую (кухонный наряд вставал на час раньше роты), Рогов давал себе слово в Москве ставить будильник каждую ночь на полчетвертого, самое сонное, по его наблюдениям, время, — чтобы с тем большим наслаждением понять, что идти никуда не надо, и снова завалиться спать. Он так и не успел эту идею осуществить — и не успеет никогда, подумал он, если не вырвется отсюда.

Без четверти одиннадцать он встал, предупредил дежурного, ходившего между дверью и печкой взад-вперед с выражением тупым и сонливым, соврал, что идет до ветру («Знаешь куда?» — «Знаю»), и вышел на холодный воздух.

Тучи закрывали небо, прятали месяц и звезды; поднимался ветер. Рогов не мог взять рюкзака, чтобы дежурный ничего не заподозрил, но перед выходом натянул второй свитер. Жалко было оставлять сумку, свою, родную вещь, в чужих руках; все тут были ему трижды чужими, больше того — иными, иноприродными; но он должен был представлять себе, что ищет. Выбора у чистовцев, как и у него, не было. Дети несчастных, свезенных сюда насильно, они обречены были стать такими — вечная дисциплина, вечная проверка, вечная охота на новых, чтобы не иссякал материал...

Рогов поднял воротник куртки и поспешно, широкоими шагами пошел к женскому барaku, но тут не пойми откуда, как всегда, выскочил Николка.

— Новый сбежит! — заорал он невыносимо визгливым голосом. — Почти сбежал, уже бежит! Поднимайтесь, люди, свежее мясо уходит!

Рогов, начисто забыв о Николкиной неприкосновенности, со всего размаха ударил его в нос.

— Нет такого закона, чтобы бить Николку! — отчаянно завизжал юридивый.

— Нет такого закона, чтобы всех бить, а одного не бить, — сказал Рогов и добавил ему, уже под глаз: — Нет такого закона, чтобы ублюдков не трогать. Нет такого закона, чтобы их терпеть!

Николка тут же замолчал и взглянул на Рогова в непостижимом восторге, в его глазах, один из которых стремительно заплывал, Рогов прочел почти преклонение.

— Во въехал! — прошептал юридивый, показывая большой палец. — Всосал закон, въехал, въехал... Превышай, просто превышай, вот тебе и весь закон... Они тебе — нет такого закона, а ты им — нет такого закона, чтобы не было такого закона! И вообще. Ай, понял! Ай, понял! — И он укатился в никуда, как и появился ниоткуда.

Тут-то все части головоломки и сложились у Рогова в целую картину. Он понял, что никакого закона нет, не будет и никогда не было, а единственная цель жителей поселка — не соблюдение закона, а достижение максимума возможной муки при минимальном, чисто формальном ее оправдании. Эта мысль мелькала у него и раньше, но не оформлялась словесно: да, конечно, никакого режима тут нет! И большого закона, закона Империи — тоже никогда не было, ибо он полон юридических бессмыслиц и противоречий, и единственная его цель во все времена — максимально изобретательно мучить всех, ибо в противном случае человек превращается в медузу без костяка. Мучительство было единственным способом дать человеку сверхличную цель — ведь в благополучии он способен был заботиться только о личной, а человек устроен так, что на метр семьдесят он прыгнет, только если планка поставлена на метр девяносто; в случае же отказа от планки очень скоро начинает переступать ногами на месте — вот тебе и все прыжки.

Только под пытками открывалась истина, все прочее заслоняло ее. Так было во всем, в большом мире тоже: закон давно ничего не регламентировал. Он предписывал систему пыток, частичных казней и прочих способов взаимного мучительства, а правила поведения — Бог с ними, их можно было преступать по двадцать раз на дню. Правда покупалась дешево, как никогда: достаточно было сказать любому прохожему: «Нет такого закона, чтобы шаркать», — и ты делался его господином, пока он не понимал, что отзыв на этот пароль: «Нет такого закона, чтобы лезть». Чем глупее и мерзее вещь, которую ты про него сказал, тем больше шансов на успех, на жестокое порабощение: и шпана, когда воспитывала хлюпика, и власть, когда боролась с диссидентами, начинали примерно с одного и того же: посмотрите на себя! Следовал нелицеприятный анализ внешности героя, внимание акцентировалось на грязном, несвежем белье; если бы диссиденты в ответ замечали следователю, что да, они в несвежем белье и перхоти, но у него-то гнилостно пахнет изо рта, — как знать, быть может, это превышение ошеломило бы следователя так, что он рухнул бы со стула или выпустил диссидента. «Нет такого закона, чтобы ты тут существовал», — на каждом шагу напоминала страна. «Нет такого закона, чтобы ты открывала пасть», — так должен был выглядеть законный ответ.

Теперь он действительно понял. Теперь на утверждение, что при северном ветре четного числа нельзя начинать сморкаться с левой ноздри, Рогов всегда мог ответить, что согласно приложению это допускается, потому что сегодня пасмурно; а вот вы нарушаете, серьезно нарушаете — вы вчера в ковбойке были, ай-яй-яй, по воскресеньям — в ковбойке, позор! Пункт пятнадцатый статьи тридцать восьмой, не помните? Как же! Там за это вплоть до сами знаете чего... Никакого критерия, кроме готовности идти все дальше и дальше и наконец расплатиться жизнью, пока не изобретено.

Вот я и один из них, подумал он. Вот я и знаю закон. Единственный закон, по которому жила найденная им элита нации, да и самураи, делавшие все возможное, чтобы обставить свою жизнь максимумом запретов и при малейшем их нарушении совершить ритуальное самоубийство: говори и делай что хочешь, лишь бы мука твоя была максимальна. В ней — единственная гарантия значимости того, что делается с тобой. Поначалу, может быть, какой-то закон и впрямь регламентировал их жизнь, но за шестьдесят лет, прошедших со дня основания Чистого, ситуация не то чтобы выродилась, но логически дошла до желанного абсурда, до естественного предела. Соблюдение оказывалось не так важно, как нарушение; и если пытки так и так составляли главное занятие чистовских, то логично было постепенно сделать их самоценными, а повод — чисто формальным. Жизнь присутствовала здесь в своем предельно концентрированном выра-

жени, благая сущность наказания выступала в химически чистом виде, сама по себе, не омраченная поводом, предлогом, торговлей... Смешон и глуп загробный мир в представлении тех, кто видит его этаким гигантской небесной бухгалтерией: ты сделал, и тебе воздалось. Нет, очистка души, ее возгонка осуществляется вне зависимости от твоих грехов, — да и чем ты виноват, если, родившись, пришел в мир, где все начинает пытаться тебя с первого дня? Никто не волен никого судить, ибо ни один человек не лучше другого; никто не волен поставить над другим закон, но всякий волен мучить всякого, ибо только это дает человеку почувствовать, что он живет. И любовь была острее в постоянном соседстве ужаса, и равенство гарантировалось само собой, когда и староста барака, и последний юродивый во всякий день могли стать жертвами свинаря на глазах у толпы; и усвоившим закон считался именно тот, кто бросался на неприкосновенного — на шута-юродивого, на палача-свинаря... Исполнение закона начиналось с посягательства на закон, текст загробной службы не имел никакого смысла, ритуал соблюдался ради соблюдения ритуала...

Ай да Константин! Рогов искренне восхищался им в эту минуту. И хотя ночной, мучительный телесный страх боли и постоянного дискомфорта внушал ему, что такая жизнь не для него, — он ясно понимал, что мечта его, мечта о справедливом мире, где люди заботятся не только о жратве, — осуществилась тут. Правда, без всякого искусства, без какого бы то ни было просвета, — но все искусство ушло в пытки, а разве пытка не есть концентрированное выражение той же литературы, которую Рогов еще имел наивность любить? Что делает литература? Транслирует чужой опыт, чаще всего опыт боли. Пытка транслировала тот же опыт, давая почувствовать себя то средневековым колдуном, то советским партизаном. Если где-то в мире еще существовала интенсивная жизнь с концентрированной, невыносимо сгущенной любовью, страхом и надеждой, — это было здесь, в Чистом, и только потомки любимых питомцев Верховного могли до такого додуматься. Вот откуда была физически ощутимая густота бытия в фильмах тридцатых годов и в музыке, скажем, сороковых.

В Чистом пошли дальше: они начисто отказались от унылых, рутинных занятий вроде хлебопечения или сталелитья, к минимуму свели заботы о прокорме, весь день посвящали нарочито бессмысленной деятельности, раскрепощавшей ум... «Вот твоя гимнастика», — вспомнилось ему. Что ж, не худшая гимнастика. Да и разве перенесение бревна или копание ямы менее осмысленны, чем долгая и унылая, изо дня в день, работа на прокорм, на унитаз, работа, от которой никому ни жарко ни холодно, работа, после которой наливаешься пивом у телевизора и проваливаешься в сон? Чистое потому и было Чистым, что являло собой пример предельно очищенной жизни, в которой все условности были отброшены, все механизмы обнажены; жизнь во всей ослепительной наготе, графическая модель, косточка без персика — вот что они устроили в сибирской тайге, уважительно расступившейся перед великим и бессмысленным страданием — единственным, что отличало человека от прочих тварей. Смысл жизни был не в зарабатывании денег на хлеб, не в строительстве домов, которые рано или поздно обречены рухнуть, не в сочинении книг, количество которых, множась, совершенно уничтожало значение новых; смысл жизни был не в истреблении себе подобных, не в захвате чужих земель, не в жалкой, животной по своей сути борьбе за существование, — он был в причинении и переживании боли, бессмысленной и бесполезной, то угнетающей, то возвышающей душу. Боль была поставлена во главу угла — не тупая боль избиваемого животного, но высокая метафизика наказания, перед лицом которого все равны; боль утонченного мучительства, боль-катарсис, боль-облегчение! Этот поистине сверхчеловеческий замысел имел единственный недостаток — он был слишком высок; но когда-нибудь дозреют же все!

Восхищенно замерев перед этой ледяной абстракцией, Рогов не замечал ни усиливающегося ветра, ни глухо гудящего в отдалении леса. Ежели бы теперь внезапно расчистилось небо и проступила ясная темно-синяя твердь, звезды, отрастающий ноготь месяца — это как нельзя больше соответствовало бы внезапной и ослепительной ясности в его душе. Но ничего подобного не произошло — природа не терпит спецэффектов.

Анна с небольшим рюкзаком за плечами ждала его у крыльца, ежась и притоптывая, пристукивая сапогом о сапог. На кончике носа у нее блестяла капля: холодно, товарищи, холодно!

— Ты б еще подольше! — шепотом крикнула она. — Кто-нибудь видел?

— Дневальный только... — О случае с Николкой Рогов умолчал.

— Ну, дневальный у вас сегодня тупой, — спокойно сказала Анна. — Ладно, пошли. — И быстро пошла к лесу. Рогов еле поспевал за ней.

— Мы куда? — спросил он, когда они подошли к первым деревьям.

— Выведу тебя. Убьют тебя наши, больно ты прям для них.

Рогов чувствовал одновременно и безумное облегчение, и почти невыносимое презрение к себе: только что ему открылась высшая, истинная жизнь — и он оказался так позорно не готов к ней! Но ничего, у него будет еще время охладеть к земным соблазнам и вернуться сюда.

— Скажи, — спросил он, — не знаешь ли ты кого здесь по фамилии Скалдин?

— Откуда мне знать. — Она не обернулась, уверенно и быстро идя между высоких стволов. — Мы по именам общаемся, имена сами себе даем. Я тоже не всю жизнь Анной была.

— А давно ты тут?

— Шестой сезон. Как аборт сделала, мне сказали, что детей уж не будет. Я жить не хотела. Константин встретил, привез. Ох же, думаю, и дура была! Жизнь-то вона где. Я и не видела жизни-то. Константин хитро меня взял — утешать не стал. Хочешь вешаться — вешайся, говорит, но что ж добру пропадать. Пусть хоть люди посмотрят. Ну и привез сюда, а там втянулась.

— Постой, — не понял Рогов. — Ты где с ним встретилась?

— А в Омске. Его у нас многие знают. У него вся милиция, все газеты — свои, везде дружки. Не то б давно сюда ментов навели или телевизионщики понаехали. А нам зачем? Тутушняя жизнь не для всякого.

— Так он что, в городе живет? — Рогов даже остановился.

— А что такого? — Она посмотрела на него через плечо. — Мы все в городах живем, сюда на сезоны выезжаем. С июля по сентябрь: раньше — гнус, клещ, дальше — холодно. Ты в тайге поживи без электричества, зимой-то.

— Жили же люди...

— Ну да. Агафья Лыкова. Она пусть и живет, мы не староверы.

— Это да, — усмехнулся Рогов. — Вы новые.

— К нам отовсюду приезжают, — гордо продолжала она. — Только с Москвы еще не было. Ну, не всем и говорят, не всех и берут... А тебя я приманила. Слыхал, как я на поляну тебя вывела?

— Слыхал шепот какой-то.

— Так я ж и шептала. Я в тот день деревья метила — гляжу, мальчик хорошенький. Думаю, дай приманю, побалуюсь напоследок. Скоро в город, кому я в городе нужная? Скучные все. И наши все — сам видел, какие, с ними не разбалуешься. Один Пашка безносый туда-сюда... Сам попросил ноздри ему порвать. Да у нас почти каждый сам себе назначает. Алеша вот опозорился вчера: сам же предложил палец рубить. Никто его силком не тащил. Смысла захотелось. Смысл — он-то не для всякого...

— Стоп, стоп. — Рогов снова остановился по вечной своей неспособности соображать на ходу. — Так что ж, это поселение... не с сороковых тут?

— Не, поселение с сороковых. Большая, знатная секта была. Как раз староверы. Строго жили, себя блюли. С коммунаками — ни-ни, все сами по себе. Хозяйство было: коровы, козы... Потом раскол у них случился. Что это, я не знаю, всегда так бывает, — она подняла к нему лицо и требовательно уставилась смородинным глазом, — как кто отколется от основного, так тут же и внутри себя раскалываться начинает? Это, наверное, самая радость — раскалываться-то; кто раз попробовал, тот уж не то что с другой компанией, а и с человеком не уживется. Константин их расколол. Закон их ему не понравился. Грубо живете, говорит. Ну и ушел со своими, рядом построился. Те потом к людям вернулись, а Константин стал из города людей набирать. Многие ездили, да не все выдерживали. Постепенно костяк подобрался — человек шестьдесят; иной и по три сезона не ездит, как вот Василий, а потом опять потянет сюда — ну, он и снова к нам. Всех тянет. Я уж и не знаю, куда б делась, если бы не Костино.

— Костино? — переспросил он.

— Ну да, Костино. Сам Константин так назвал, в свою честь. Он же закон-то открыл.

— А Чистое?

— Чистое — это деревня тут, тупорылая, — засмеялась Анна. — Боятся они нас. Три тут деревни: Белое, Голое да Чистое. Про Голое — верно, а две другие — такое все черное, такое грязное... Как живут люди — не поймешь. Зачем живут, для чего живут...

— Скажи, — протянул Рогов, до которого доходило медленно: слишком много полных поворотов кругом за один день, — так Константин не сидел при Сталине?

— Ну откуда ему было сидеть. Он у староверов вырос, не воевал даже. Тут в Камышинском боялись их трогать, в военкомате-то районном. Они своих не выдавали, ну, их и не трогали. Не то б пожгли тут все — я тебе говорю, суровая же секта была.

Она замолчала. Минут десять шли молча, продираясь через бурелом; признаков жилья не было. Рогов всерьез перепугался — Анна говорила непонятные, всю его стройную систему перевернувшие вещи. Вдруг она безумна? Путешествие с сумасшедшим из старого его сна повторялось который уж раз за сутки.

— А куда мы идем-то? — стараясь придать голосу как можно больше беззаботности, спросил он.

— Говорю же, выведу тебя, — отвечала она не оборачиваясь; но в голосе ее клокотал теперь какой-то призыв, предвкушение. — Скоро уж, скоро.

А ведь в систему Чистого, подумал Рогов, вполне вписывается такой ход: отведет меня от всех и будет мучить одна; какая ей знакома любовь, кроме мучительства? А если я, допустим, скручу себя и сумею-таки ударить, даже оглушить женщину, то куда я отсюда денусь? Мне и днем отсюда не выйти, не то что ночью.

— Скоро, скоро, — повторила Анна, и еще через пять минут беспорядочной, быстрой, петляющей ходьбы им открылась небольшая круглая поляна, в середине которой смутно виднелся скособоченный дом.

— Изба охотничья, — сказала Анна, наконец оборачиваясь. — Сама нашла. Тут будет жить.

— Ты же меня хотела в Чистое вывести! — крикнул Рогов.

— Эх, новый, новый. — Анна покачала головой. — Никогда ты в закон не въедешь. Закон ведь что? Обманка. Только так в суть-то и влезают. Привыкнешь, что все тебе врут, — ну и начнешь за обманной маской вещей различать их истинный облик. — Она заговорила как по писаному,

пересказывая, вероятно, проповеди Константина. — Вот пошел ты со мной, думал: я тебя так возлюбила, что к людям выведу. Верно, выведу, да только не к людям, а от людей. Был ты общий, а станешь мой. Когда ж мне и побаловаться-то? Про эту избу никто не знает, нас не найдут. Жратвы я сюда натаскала загодя — на месяц хватит, ты ж знаешь, это не первая отлучка моя... Вот и еще консерв принесла, — она скинула рюкзак, — дрова есть, печь тут исправная... Поживем, побалуемся. Надоешь — выпущу. Или тут брошу. Зачем ты мне нужен, когда надоешь. Вишь, как оно все выглядит? А ты небось напридумал себе: любовь, побег... Да никакого нет побега, вот тебе весь побег твой. И деваться тебе некуда: убьешь меня — сам не выйдешь. Пошли.

Анна резко распахнула скрипучую дверь, взяла откуда-то спички, заветила керосиновую лампу, подошла к печке. Сквозь сени, полные сырм, гнилостным запахом старого дерева, Рогов прошел за ней. В избе было грязно, сыро, в крошечное оконце выведена труба железной печки, у стены — широкая лавка, ближе к окну — стол. Под столом грудой были навалены консервные банки: судя по их количеству, готовилась она основательно, планируя провести с ним не меньше месяца.

— Слушай, — все еще не мог смириться он. — Так это поселение сам Константин и выстроил?

— Почему сам. Люди с ним пришли, они построились. А тот поселок староверов, секта-то, он и посейчас цел, пустой стоит. Километра два от нас, может, три...

Туда, верно, и забрел Кретов, с ужасом догадался Рогов. Увидел пустые бараки и решил, что это лагерь Верховного. А это брошенная секта. Значит, ничего нет, и только что открывшаяся ему правда нового мироустройства была собственным его вымыслом? Значит, ездили сюда, как на турслет, только с пытками?

— Слушай, Анна, а руки этим... что всегда парой-то ходят... за что отрубили?

— Не поняла, — сказала Анна с ударением на «о». — Не поняла. Каким, что плаху несли, что ль?

— Ну.

— Ой, чудак ты человек! — залилась она. — Ой, новый, да когда ж ты въедешь-то! Ты что ж думаешь, тут руки рубят? Тут пальцы-то не всякий день рубят. Инвалиды сюда ездят, вот и все. Им среди наших увечных проще, они не такими убогими себя чувствуют. Вот и вся недолга. Нешто тут человек бы выжил, без больницы-то, если бы ему руку отрубить? Это из Омского общества инвалидов, их много у нас... Богатые есть. Ты склады наши видел, тушенку ел? Чтоб к Константину попасть, большие деньги платят, еду привозят. Где еще такого повидашь, чтобы живую бабу душили? — Она засмеялась. — Есть любители, есть...

— А глаз тебе тоже... здесь...

— Глаз мне муженек мой выбил, когда мне еще девятнадцати не было, — с ненавистью сказала Анна. Переход от доброжелательности к ожесточению совершался у нее, как и у Павла, мгновенно. — Избил меня, глаз повредил, ну и удалили глаз. По лицу бил, сволочь, царство ему небесное, прости Господи. — (Об участии муженька Рогов расспрашивать не стал.) — Живот не трогал — знал, что беременная, ребенка хотел. А я и сделала аборт, да только не его, а себя наказала. Мне теперь никогда ребеночка не иметь, а мне только ребеночек и нужен. Уж я воспитала бы его...

Уж ты воспитала бы его, подумал Рогов. Ох, ты и воспитала бы его!

Анна меж тем затопила печь, куда были заблаговременно сложены сухие березовые дрова; крошечный домик наполнился дымом, но вскоре его вытянуло.

— Есть хочешь? — спросила она. — Чайку, может? Нет? Ну, тогда выпей. Вот, фляжку я тебе взяла. Думаешь, легко у нас тут выпивку достать? Ан достала, для милого дружка и сережку из ушка.

Вполне допуская, что при здешней системе обманок во фляге может быть что угодно, вплоть до мочи, Рогов отвинтил крышку мятой солдатской фляги и хлебнул: нет, ничего, обычный свекольный самогон, он пивал такой на практике, собирая в Белоруссии свидетельства о партизанской войне после четвертого курса. Там он, кстати, и узнал, как распахивались белорусские деревни за партизанские вылазки. Самогон был хорош.

— Ладно, присосался. — Анна с раздражением отобрала флягу. — Всем бы вам одного.

— А вам — другого, — добродушно ответил он.

— А нам — другого, — вдруг улыбнулась она. — Начинаешь, начинаешь въезжать-то понемногу... Ну, сейчас согреется в избе, да и ляжем. Раздавайся покуда.

Мысль о том, что ему придется лечь с ней, что она для этого и притащила его сюда и будет теперь требовать исполнения этой повинности не раз и не два, вызвала у Рогова новую вспышку злобы. Мало ей было отнять у него только что обретенную веру в существование и обретение настоящего Чистого, мало того, что вымечтанный им образчик новой жизни оказался, по сути, туристским лагерем с садомазохистским уклоном, — теперь он должен был еще и ублажать ее! Может, если долго ее бить, она покажет дорогу? Да нет, она привычная, битье ей только в радость... Он вырвал у нее из рук фляжку и сделал еще два больших глотка.

— Ну что? — Он поставил фляжку на стол и схватил Анну за плечи. — Любитесь будем? А? Любитесь будем? — Он сам за собой заметил, что стал повторять слова, как Николка: это здорово подзаходило.

Единственный глаз Анны заморгал, как ему показалось, испуганно.

— Ты что, ты что, — забормотала она.

Весь страх прошедших суток, все разочарование, все отчаяние — все поднялось в нем. Повторяя: «Любитесь будем, да? Любитесь будем?», он срывал куртку, кофту, юбку с ее покорного, но крепкого тела, — он чувствовал, каким сильным было это чистое, гладкое тело сибирячки; и даже сырой запах дома не забивал здорового, жаркого запаха этого тела — от нее пахло потом, и ромашкой, с которой она мыла блестящие волосы, единственное свое украшение, и женским желанием. Груды были маленькие, горячие, с длинными сосками, живот сильный и твердый, все тело было таким жарким, что казалось смуглым, да он и не видел его толком во тьме избы. Если не замечать сморщенного века и не помнить, как она его украла из одного плена в другой, с ней можно было иметь дело, особенно после свекольного самогона — тем более, что в такие минуты зрение Рогова как бы размывалось, он старался не вглядываться, чтобы не увидеть чего-то, что сразу погубило бы любое возбуждение. Такие детали есть, и потому он фиксировал взгляд на шее, на плече.

Да, она могла и умела вызвать желание, даром что была груба, проста, лжива, — грубость и ложь были женские, а тело молодое, девическое, и можно было забыть о ее вранье и глумливом смехе. Но не помнить о том, как она увлекла его из константиновского плена в свой, как обманом заманила туда, откуда уж вовсе нельзя было бежать, — он не мог, а потому сильно и грубо мял ее тело, с отвращением понимая, что ей только того и надо. Она и сама не отставала, кусала его рот, царапала спину. Лавка была узка, они свалились на пол, и он долго, зло, как никогда прежде, вбивался в нее на полу; почувствовал, что подступает, с другой бы начал сдерживаться, чтобы продлить ей удовольствие, но тут не стал — невелика барыня. Она полежала молча, стиснув зубы и выравнивая дыхание. Он лежал рядом на животе, и сон одолевал его.

— Слабоват, — сказала она. — Ну да ничего, время будет, притремся. Рогов, впрочем, не поручился бы, что это не приснилось ему. Ветер шумел за окнами. Не было сил противиться сну, больше похожему на обморок.

Он проснулся внезапно, с необыкновенной ясностью в голове и легкостью в теле. Сел на лавке: огромный месяц за окном стоял так низко, что едва не упирался нижним рогом в стекло. В его ртутном белом свете ясно виднелись обесцвеченные стволы, листья, травы. Видимо, ветер разогнал тучи. Анна спала на боку, по-детски подложив под щеку сложенные ладони. Рогов слышал ее хрипловатое дыхание.

Мысль о побеге явилась естественно и мгновенно: уходить надо было теперь, пока месяц еще не выцвел и сон ее не истончился перед рассветом. Стараясь двигаться неслышно, Рогов встал, подхватил с пола сумку с едой (Анна дорогу знает, не пропадет, ему нужнее) и вышел из домика.

Лес был светел, и в сиянии месяца все выглядело нереально четким, как пестрые картинки на изнанке век. Странно, но Рогов отлично знал теперь, куда идти. Месяц стоял на юго-западе, Чистое было на востоке. Минут пять он шел среди высвеченных стволов и вдруг увидел перед собой широкую поляну; на поляне стояла изба — та самая, из которой он только что вышел, — а в ней спала Анна. Он знал это, даже не заходя внутрь: в ушах у него снова раздался тот же самый жаркий голос, что и позавчера (Господи, неужели позавчера?), в день, когда он заблудился в лесу. Но теперь это было не заклинание — теперь это был смех, не ликующий и не злорадный, а ровный, тихий смех, смех шепотом.

Рогов кинулся дальше, миновав поляну, побежал наискось от месяца, опускавшегося все ниже. Он стоял теперь прямо над лесом, неестественно огромный. Шарахаясь от него и натываясь на стволы, Рогов бежал те же пять минут и снова выбежал на поляну, и снова безрадостный смех раздался в его ушах.

Месяц висел теперь плашмя, как белое крыло, и занимал собою полнеба. Не разбирая дороги, не соблюдая направления, Рогов ломился через лес, натываясь на кусты, путаясь в неожиданно выросшей траве, — но снова безрадостный смех звучал у него в ушах, и силуэт дома на поляне в ртутном свете виднелся еще издали. Этот белый свет затоплял лес, белый свет с черного неба. Дверь дома открылась, и так страшно было то, что должен был увидеть Рогов на пороге, что его подбросило на лавке, и на этот раз он проснулся действительно.

Белый свет пасмурного дня заливал дом, и смертельная скука была в этом пасмурном дне, как и во всяком позднем, больном пробуждении. Анна спала на боку, по-детски подложив под щеку сложенные ладони. Мысль о побеге... нет, все это уже было. Мысли о побеге приходят главным образом во сне. Рогов сел на полу и обхватил голову руками. Анна зашевелилась, потянулась и села рядом, не глядя на него. Лицо у нее было одутловатое, опухшее со сна, старое. На тело он старался не смотреть. Она встала, привела в порядок одежду, вынула откуда-то из складок юбки круглое зеркальце — точь-в-точь такое, как у него, — посмотрелась в него и поправила волосы.

— Откуда у тебя оно? — сипло спросил Рогов.

— У всех такое, Константин сказал носить, — удивленно ответила она. — Как же без него?

И действительно, с удивившим его самого спокойствием подумал Рогов. Как же без него? Отрежут ухо, рассекут бровь — надо же полюбоваться. Вроде татуировки у дикарей: поглядеть хоть, за какую красоту терпел.

— Ну? — спросил он. — И что теперь будем делать?

— Как что? — спросила она так презрительно-равнодушно, что он, решивший уже ни одной новой обманке не дивиться, все-таки изумился и обиделся. — Домой пойдешь.

— В Чистое?

— Зачем в Чистое? Нешто у тебя там дом? Откуда пришел, туда и пойдешь.

— Как я пойду, я дороги не знаю?

— Что тут знать-то, три километра. Я тебе покажу, в какую сторону. Неужто не дойдешь? За руку тебя вести?

— Но ты же вчера говорила...

— Мало что я говорила. Не место тебе тут. Нам такие мальчишки без надобности.

Господи, подумал Рогов. Вдруг это и было испытание, вдруг ее подговорил Константин?

— Это что же, он тебе присоветовал меня так проверить? — спросил он с ненавистью.

— Дурак ты, дурак, — равнодушно сказала она. — Вижу, мальчик гладкий, отчего не поиграть. Поиграла, и ладно. Мальчик как мальчик. Нечего тебе делать с нами, хилый больно.

Только тут он испугался ее по-настоящему. Конечно, все это нужно было понять с самого начала. Зачем он ей, и какая ей нужна любовь — после той безумно напряженной жизни, которая шла в поселке? Там, где каждый день творится произвол, и страх, и мука, там, где каждый день казнь и всегда не до конца, — какая ей еще любовь? Любовь в этих местах только такой и может быть — на одну ночь, с бесчисленными обманками. А наутро надо рвать любую связь, потому что только боль и дает еще им всем почувствовать, что они живут. Как он мог купиться? Ведь один знакомец как-то в сильном подпитии говорил ему: в любви самое ценное — разрыв, помнишь про страсть к разрывам, так вот, она действительно манит, потому что только разрыв и дает тебе почувствовать, что любовь была. Раньше, говорил он, я ненавидел разлуки, теперь тороплю их, как могу. Прощания, расставания разные — мирные, бурные, яростные, — только они и дают доказательство, что я жив. Вот она, их любовь, и только такая любовь могла быть в настоящем Чистом, если оно было где-то и когда-то. На все про все сутки, а дальше опять пальцы рубить.

Он встал, застегнул рубашку, достал из нагрудного кармана зеркальце: недоуменное, по-детски обиженное небритое лицо смотрело на него.

— Ладно, иди, — скучно сказала она. — Тут тебе напрямую полчаса ходу. Шагов через сто от дома выйдешь на тропу, она тебя приведет.

— К Константину? — не удержался он. — У вас ведь все тут... с двойным донышком...

— Больно нужен ты Константину, — отвернулась Анна.

Надо было что-то сказать на прощание, что-то злое. Он вспомнил закон. Закон в том и заключался, чтобы все время превышать уровень чужой мерзости, отвечать на него мерзостью десятикратной, — но что он мог сделать? Сказать, что у нее рожа опухшая, что изо рта пахнет? Еще как-нибудь ударить горбатого по горбу? Он знал, что для таких слов она неуязвима, да он и не сказал бы таких слов. Ударить ее? Да, пожалуй, он мог бы ее ударить. Но доставить ей большей радости было нельзя, только того она и хотела — может быть, и сознательно провоцировала его. Он представил себе ее блаженно закотившей единственный глаз и передернулся от омерзения.

И все-таки Рогов нашел последние слова.

— Ладно, — сказал он, стоя у двери. — Бывай здорова, желаю тебе счастья, здоровья хорошего. Мужа доброго и детей побольше. Дети — они, знаешь, главное.

— Мразь! — Яростный черный глаз уперся в него.

— Бывай здорова, — повторил Рогов и спустился с крыльца.

Через час он был в Чистом, а еще через два часа — в Камышинском.

РЕКОНСТРУКЦИЯ-3

— Холод — это наша есть жизнь, — прочувствованно сказал бородастый. — Окружи себя холодом, и будешь ты победитель природы. Теплое и хорошее — оно что? Оно фьють. — Он показал глазами вверх, то ли указывая таким образом на эфемерность всего теплого или хорошего, то ли давая понять, что все теплое по вечному своему физическому свойству должно вознестись туда. — Сначала все холодное и плохое, а потом оно победит, и тогда можно смотреть, можно говорить.

Старик выцепил Скалдина из множества попутчиков в разболтанном жестком вагоне на второй день пути. Скалдин — чуть ли не единственный на весь вагон — ехал без спутника, без семьи, и старик, возможно, решил его развлечь по своим понятиям; а может, безошибочным чутьем психа угадал, что здесь если и пошлют, то по крайней мере не сразу.

— Теперь другое: зачем ты выплевываешь из себя? Ты харкнул, и вот тебя покинул грамм силы. Я трое суток могу не лить, не класть, и тогда во мне такая сила, что вот смотри! — Сумасшедший вытащил из кармана бахромчатых штанов гвоздь, изогнутый буквой «зю», и с легкостью разогнул его. Согнут он, вероятно, был для предыдущего собеседника.

— Паршек знаешь кто? — спросил он Скалдина и сделал паузу, словно ожидая ответа.

— Не знаю, — сказал Скалдин. — Ты, наверное.

Они стояли в невыносимо грязном и душном тамбуре — два огромных человека, почти ровесники, оба выглядящие много старше своих лет. Скалдин — сухой, с ровно-коричневым строгим лицом, широкий в кости, одетый в темные, хорошего покроя брюки и защитного цвета рубашку, — и второй, босой сумасшедший, лет сорока пяти, по скалдинской прикидке, но кажущийся дедом-лесовиком или некрасовским богатырем Савелием из-за огромной пегой бороды, кучерявой и нечесаной; волосом он вообще порос густо — ситцевая рубаха с оторванными рукавами позволяла видеть бугристые плечи и толстые руки, сплошь заросшие рыжим, местами седеющим каракулем.

— Паршек есть водитель нового пути, — назидательно сказал старик. — Паршек идет туда, куда не все идут. Паршек под немцем был, Паршека немец проверял. В мотоциклетке катал, вишь ты. А что мне мотоциклетка? Я и в двадцать градусов босой ходил, и в двадцать пять босой ходил. Хотели в проруби спытать, но лень стало вертеть прорубь. А Паршек им не сказал, Паршек только Сталину скажет. Это подарок на тридцать лет советской власти. Послезавтра приедем, буду ходить, смотреть, как чего. Может, Агафьюшка поможет. Везде есть Божьи люди, и в Москве есть Божьи люди: они Паршека знают, прямо к Сталину приведут. Ты думаешь, он Божьих людей не слушает? А я так думаю, что Божьи люди все ему говорят, иначе как бы ему в голову вошел такой ум? Такой план великий как бы ему в голову вошел? Он сам понимает, он на холодное опирается. Всех приморозит. Вот тебя подморозил, и ты смотри какой стал, какой хороший, для всех удобный. Только выплевываешь зря. Теперь скажи мне, детка, что ты кушаешь?

— Что есть, то и кушаю, — усмехнулся Скалдин. Любопытно было послушать психа — в его словах шевелился темный, не вполне понятный, но в принципе уловимый смысл.

— Э, так не годится, так не будет твоя заслуга, — покачал головой бородастый. — Твоя заслуга, победа твоя будет, когда ты с пятницы до воскресенья ничего кушать не будешь, — тогда ты будешь господин природы. Мне природа сама все в голову подает, я давно понял. Ты помнишь, дитё вчера плакало? Я в руки взял — сразу заснуло дитё. Ты слушай: с пятницы

никогда ничего, а в воскресенье выйдешь голыми ножками на снег, встанешь, два раза проглонишь...

— Чего проглону? — спросил Скалдин, от души забавляясь.

— Что проглонишь — слюни проглонишь, не перебивай. Проглонишь, а потом всем людям пожелай добра. Скажешь: люди мои, люди, желаю вам счастья, здоровья хорошего. Вот, детка, а потом иди и кушай все, что тебе захочется. Можешь покурить даже, если совсем нет терпеху. Если терпеху нет, вообще многое можно: вредней себя одолевать-то. Мудрость природы есть в чем? — Как большинство пророков, старик предпочитал излагать свое учение в виде ответов на собственные вопросы. — Мудрость природы есть в том, чтобы самому все захотеть, что тебе не хочется. И тогда ты будешь господин природы.

Скалдин подумал и рассудил про себя, что лучшего подарка к тридцатилетию советской власти сделать было нельзя.

Он еще несколько раз выходил с бородатым в тамбур; в общем вагоне не было никакой возможности разговаривать: жара, вонь. В Омск их в тридцать девятом везли зимой, и мучились они тогда в степи, наоборот, от холода, — но тот вагон был королевским по сравнению с этим. Видно, совсем они стали не нужны, если распускали их по одному и денег выдали ровно на месяц скудной жизни да на дорогу домой самым дешевым поездом. Правда, был у Скалдина теперь орден.

Кроме общения с господином природы, развлечений в поезде не было. Вагон был густо набит плотной людской массой, ехали какие-то казахи, какие-то чучмеки в халатах, — Скалдин встречал чучмеков на войне, воевали они плохо. Злость в них была, но тупая, и просыпалась, только когда у них свои же что-нибудь крали. Если бы у них что-нибудь украли немцы, о, чучмеки были бы неуправляемы, — но увы. Воевали вообще плохо, это Скалдин вынужден был признать: без чистовцев, да без мелединцев, да без новосибирского ударного батальона, в который свезли упорствующим со всей средней России, они бы со всем своим пространством проиграли войну не раз. Идиот Жуков полагал, что войны выигрываются кулаком и криком, идиот Власов — ненавистью к жидам; поразительные люди были эти советские генералы, и ежели б не Грохотов, прошедший через Меледино и негласно руководивший обороной Москвы, а потом блеснувший при Курске, — не видать бы Верховному теперь ни Москвы, ни Берлина. Но Верховный сам был из сидельцев, понимал в этом деле и в тридцать восьмом году все успел. Идея большого фильтра была хорошая идея.

Скалдин был замечен еще под Москвой и Грохотову лично известен, ему открывалась бы славная военная карьера, но из людей, прошедших фильтр, Верховный предпочитал не выращивать крупное начальство. Поначалу Скалдин очень обижался, но теперь понимал, что и здесь была мудрость — жестокая, конечно, но всякая мудрость жестока. Они свое дело сделали, для новой войны хватит новых, фильтр работал, а слишком хорошо воевать и расти по службе чистовским и мелединским не след. В мирное время в армии должны служить идиоты, иначе, не ровен час...

Нет, о мести Скалдин не думал, и переворот его не соблазнял. Но слишком большое количество профессионалов в армии опасно для страны, где все решает один; идея с двумя армиями — мирной, тупой, и резервной, из смертников, — имела свои плюсы. Другое дело, что теперь ему вовсе не улыбалось встраиваться в мирную жизнь, потому что он знал уже цену этой мирной жизни и своим довоенным трудам; кому охота растить хлеб, который будет спален или потоптан при первой же атаке — а атак будет еще ого-го... Какая разница, что жрать человеку; лучше, если бы он мог совсем не жрать.

До войны Скалдин был не то чтобы глуп, но избыточно доверчив. Что говорить, в нем была корневая сила, славная сельская закваска, которая и позволила ему выжить в тюрьме, потом в Чистом, потом под Москвой, под Курском, под Варшавой. (Дальше Польши их не пустили: боялись перебежек; ну, перестраховщики! Да дорвись они до того мира, нешто они стали бы встраиваться в него? Всем бюргерам жирные их глотки бы перервали, да и только.) Да, так вот, сила была, а ума не было. Занимался черт-те чем. Пшеничка. Пшаница, как уважительно говорил учитель его, Михайлов, тоже хороший мужик и тоже дурак. До войны Скалдин занимался, как бы сказать, тончайшим слоем, называвшимся то наукой, то культурой, — в общем, маслом на бутерброде, кремом на торте, и к истинной жизни, откуда и шла его корневая сила, все это не имело никакого отношения. Не будь фильтра, так бы и прожил.

Он отчетливо помнил миг, когда условности отступили, словно оставшись в другой жизни: последние добольничные дни помнились ему смутно, разве что страшный гнет бессонницы, сумеречной реальности, в которой слова вдруг теряли значение. Ему показали потом запись того, что он говорил на последнем допросе: решительно непонятно было, как он мог это говорить. «В людях понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Иголка, шило, нож, топор, пила, молоток, рубанок, шприцы. Корова, лошадка, коза, овца. — (Ему, верно, казалось, что следователь показывает какие-то картинки, надо называть, что на них, иначе примут за сумасшедшего). — Ухват, курица, утка, гусыня, индюшка, соловей, щегол, синичка. Лошадка копытом бьет, дождик сверху льет, знать, погода плохая. А вода в ванну нальется, надо садиться купаться. Вон корову поят. Нога моя меняется в боли, рука меняется в боли. Почты долго нет, а хотелось бы почитать, тут есть какой-то секрет. Прочитано мне и с моих слов записано верно».

Когда он очнулся в больнице, ничего не было понятно; просто было чувство, что все хорошо, спокойно. Вошла красная в белом, принесла прозрачное; дала пить — горькое. Вошел белый в белом, сказал обычное: ну-с, ну-с, как-с. Огромное облегчение, хотя слов «огромное облегчение» тоже еще не было. На сломанной правой руке был гипс, поили горьким три раза в день, на ночь сладким, с утра кислым. Слова он вспомнил на удивление быстро, но вот понятия некоторые так и не вернулись. Например, приходил следователь, желто-зеленый в белом; следователь — потому что так следует, следует, чтобы он приходил. Спрашивал про пшеницу. А я не знаю, какая пшеница, зачем ее растить, когда всем известно, что пшеницу земля родит сама. Спрашивал про академию: а зачем академия, когда сам человек знает, сколько нужно, а больше ему для жизни не нужно? Восстанавливался он теперь на удивление быстро. Больше ни о чем не спрашивали. Однажды доктор, это ведь был он — белый в белом, сказал: вот все бы так. Но не у каждого можно вызвать реактивный психоз. Этот после психоза словно шкуру сбросил, а под ней оказался идеальный солдат.

Конечно, к идеальному солдату вернулась потом вся память, и что говорить — это было больно, больно. Но ощущение излишности, избыточности всего, чем он жил, — какой-то любви, какой-то семьи, какой-то науки, — не оставляло его. Какая наука, когда с человеком так просто сделать все, что угодно? Положим, любовь к прекрасному, о которой так много говорил в Чистом один ленинградский искусствовед. Именно любовь к прекрасному, утверждал он, позволила ему выжить, выстоять и ничего не сказать. Ему казалось, что, сознаваясь в небывших грехах, он тем самым оскорбит прекрасное, которое до такой степени ему доверялось, что позволяло себя исследовать. Значит, плохо били, сказал тогда Скалдин; в Ленинграде вообще плохо бьют. Надо укреплять кадры. Теперь, он слышал, уже взялись. Поднес спичку к холсту — и все твое прекрасное. Все крем на торте, масло на бутерброде. Величие их страны в том и было, что она научилась отсекавать лишнее.

— Но только масло и делает его бутербродом, — поджав губы, заметил искусствовед.

— Хлеб надо жрать, — сказал тогда Скалдин. — Вы думаете, искусство делает вас человеком, любовь делает вас человеком... Червем они вас делают, только и всего. Человек — это то, чего нельзя отнять; вместе с жизнью разве что. Я говорю о советском человеке, понятное дело.

Подъезжая к Москве, бородатый в последний раз наставлял Скалдина в тамбуре:

— Значит, отпиши мне, я вернусь к себе в Чувилкино и буду ждать. Напиши, как пошло, какое теперь твое есть счастье. Помнишь, как не кушать?

— Помню, — улыбнулся Скалдин. Псих был единственным человеком в поезде, который не вызывал у него отвращения, и если вдуматься, не такой уж он был псих.

— И ножками, ножками по снегу чаще. Надо сознательно искать холодное и плохое, не богатству учиться, а бедности. Все у себя отними, и ты будешь господин. Понятно говорю?

— Понятно, — кивнул Скалдин. Сумасшедший говорил дело.

— Вот, — удовлетворенно кивнул Паршек. — А я потому так понятно говорю, что мне сама природа шепчет. Ну, желаю тебе счастья, здоровья хорошего.

— И тебе счастья, здоровья хорошего, — ответил Скалдин и крепко пожал ему руку.

Эта фраза Бог знает почему привязалась к Рогову еще в самолете на Омск, где он читал в «Московских новостях» яростную статью Дворкина. Теперь он никак не мог от нее избавиться.

Скалдин сам не знал хорошенько, зачем едет в Москву. Надо было поводить семью, может, помочь чем-то. Жить с женой он, конечно, теперь вряд ли смог бы: Марусю он помнил слабой, нежной, и сделать из нее человека было практически невозможно — все в ней было человеческое, ничего сверх. Была еще дочка, можно попытаться хоть из нее воспитать человека, настоящего человека без предрассудков, выучить ее ничего не хотеть, чтобы ничего не терять, — но только при условии, что Маруся не будет лезть. Работу ему обещали, он умел теперь многое. Грохотов, которого взяли в Московское управление Октябрьской железной дороги небольшим, но влиятельным начальником (армейскую карьеру, естественно, обрубали уже в сорок пятом), обещал в случае чего содействие. И то сказать, на транспорте много чего следовало подтянуть, — вот вам наглядный пример, опаздываем чуть не на полсуток. Надо будет обратиться, Грохотов вспомнит. Он написал из Москвы одному Скалдину, как только устроился: сжато, конечно, без эмоций, как и должен писать настоящий человек настоящему человеку.

Нет, их не переселили; по крайней мере эта милость была их семьям оказана. Их и не взяли. Один молоденький еврей на полном серьезе уверял, что все семьи взяты, чтобы уж никто не ждал дома. Глупости. Человек — хозяин своих чувств, и если ему надо забыть, что кто-то ждет дома, он забудет без всяких усилий государства. Надо самому себе быть государством, это и значит быть государственным. Еще бы не хватало, чтобы ты стал настоящим солдатом, арестовывать всю твою семью. Нет, его семью, конечно, не тронули. Он попросил Грохотова проверить, и тот проверил: жена работала на ЗИСе, бывшем АМО, Катя училась в школе; прислал и телефон — Г1-16-29. До войны телефона не было.

Заявляться сразу не нужно. Скалдин позвонил из автомата.

Трубку взяла старуха, которой он не помнил (ее вселили в сорок шестом вместо уехавшего к родителям в Куйбышев соседа Зингермана; Зин-

герман вдруг решил бросить перспективную работу в Музее Революции и поехал на Волгу, якобы собирать материал о революционном движении, а на самом деле просто сбежал, надеясь пересидеть там новые надвигающиеся чистки; Рогов это знал от матери, а Скалдин не знал). Он попросил позвать Марину, ее не было, хорошо, тогда Катю, Катя была.

— Снегурка, — начал он, сердясь на себя за это прозвище, нечего пудрить ребенку мозги нежностями, но надо было произнести пароль, что-то безусловно опознаваемое. — Мама дома?

— Нет, она на работе, — сказал почти Маринин, но еще более нежный, слабый голосок, домашний, как байковый халат.

— А когда она будет?

— Часов в шесть, — испуганно ответила девочка.

— Катька, — желая ее подбодрить, сказал Скалдин. Он машинально отметил, что сердцебиение усилилось совсем чуть-чуть — вот что значит владеть собой. Конечно, страна позаботилась о солдатской жене и ребенке, что же тут удивительного? Это была особая, новая страна, она не бросала своих солдат, и потому ее стоило защищать. Суровая, но любимая страна. — Катька, я тут должен маме кое-что передать. — (Наверняка у них трудности с деньгами, пусть знают, что он приехал не пустой.) — Мы с ней должны увидеться, но я пока не могу к вам прийти. Хочу кое-что сделать. Я сейчас у друга, не могу долго занимать телефон. Скажи маме, что я буду ждать ее сегодня на Почтамте в восемь часов вечера.

Почтамт он придумал давно, еще в Чистом. Хорошее место, лучшее для встречи: много людей, светло, празднично. Все ждут писем, отправляют письма. Он все-таки жалел, что в Чистом не бывает писем, хотя, естественно, умел подавлять подобные импульсы. Встретиться вне дома было необходимо, чтобы сразу избежать неловких ситуаций: вдруг он придет и увидит там другого мужчину, он не просил Грохотова проверять еще и это, человек занятой, для чего же обременять. Да и как проверишь. Надо испытать Марусю, придет ли: если придет, значит, ему можно в дом. Может оказаться, что заявляться сразу еще по каким-либо причинам неудобно; и вообще — удачная разведка есть уже половина боя. Холод — это наша есть жизнь. Вот неотвязная фраза!

— Я все передам, — робко сказала девочка. — А когда... когда можно будет...

— Я скоро приду, — весело уверил ее Скалдин. — Ты как учишься?

— На отлично, — ответила дочь дрожащим голосом.

— Вот и очень хорошо. Ну, до свидания.

Он повесил трубку и только теперь ощутил, как голоден, какой прекрасный солнечный день в Москве, как радостно начало осени, а вместе с нею и трезвых, сильных холодов Родины, проверяющих на подлинность все живущее. Он задержался в Омске, ожидая ответа от Грохотова, — не хотел ехать наобум лазаря, — и в Москву прибыл только пятого сентября; жильем в Омске его готовы были обеспечивать долго, выслужил, и он прожил у тихой хозяйки две недели, ожидая подтверждения из Москвы. Как выяснилось, Грохотов не обманул.

Кафе — роскошь, денег мало; он направился прямо в гастроном близ трех вокзалов, новый, до войны его не было. Во всем этом новом московском великолепии была доля и его труда. Да, тяжеловато, несколько избыточно, хотелось бы большей аскезы; но в столице можно позволить себе царственную пышность. Прочая страна и так жила аскетически, — он видел, знал. Холод — это наша есть жизнь.

— Сарделечек килограммчик, — ворковала женщина прямо перед Скалдиным.

Он простоял в очереди за своей бутылкой кефира и полубуханкой пеклеванного уже полчаса, и от недавней гордости не осталось и следа. Мос-

ква жрала, Москва вырождалась. С кем мы будем побеждать? А ведь если нам еще воевать и строиться, нужны настоящие люди, неужели всех перековывать? Никаких кузниц не хватит!

— Яичек десяточек, — и долгая, долгим недоеданием воспитанная нежность к еде звучала в ее невыносимом голосе. — Яички свеженькие у вас?

Интересно, какой ответ она ожидала услышать? Голос ее был влажен, в нем звучало отвратительное гортанное бульканье, сырой подспудный призыв; и еда, которую она выбирала, по консистенции была этому голосу под стать. Разумеется, яички она произносила как иички, даже — йийички.

А ведь по-настоящему-то не голодала, подумал Скалдин. Он легко отличал людей, хлебнувших лиха хотя бы неполным хлебом: беда придавала им не то чтобы благородства — из иного дерева не выточишь ферзя, — но хотя бы минимальную сдержанность. Эта же была говорлива: она могла теперь поговорить, долго и с наслаждением позаказывать. Скалдин не терпел и барственности, жалкого снобизма бывших, который теперь только и мог проявляться в ресторанах да магазинах (он помнил еще довоенное, дочистовское — до всего — посещение ресторана с Марусей, их единственный поход в «Рыбацкий», что близ Курского): отвратительную манеру подзывать официанта, манеру, в которой сочеталось презрение к лакею и вместе с тем тайное подмигиванье (оба из *тех*), связь с ним — паляча с жертвой: принесите ветчины, но проследите, чтобы ветчина была настоящая. Сволочь, тебе бы брюквы. Но эта крайность — уменьшительно-ласкательное обожание, преклонение перед едой, жалкая попытка выбрать из того никакого ассортимента, который возник после отмены карточек, — была еще отвратительнее. И он еле выдерживал злобу, душившую его. Эта же злоба душила его внука Рогова, стоявшего теперь в очереди в продовольственном магазине «Березонька» напротив гостиницы «Юбилейная» в Омске. Женщина перед ним неумоимо перечисляла:

— Шпроточек баночку... пожалуйста, сырочку еще... хороший сырочек? — (Сырочек был один, пресный «Адыгейский», больше похожий на слежавшийся творог.) — Хлебушка, пожалуйста, батончик... маслица паечку...

Вас бы в Чистое, думали дед и внук, всех бы вас в Чистое. Человек был везде, человек стоял в очередях и давился в транспорте, человек занимался решением своих копеечных проблем и переваливанием их на окружающих, все было человеком, человека не должно было больше быть. Человека развелось невероятно, нечеловечески много. Его надо было отфильтровать, сжать, прокипятить в десяти водах — да не так, понарошку, как в Константиновой коммуне, а так, чтобы великое общее дело заслонило все его частные интересы, чтобы он думать забыл про свое здоровье и погоду, чтобы ему навсегда расхотелось «йийичек». Скалдин не помнил, как достоял эту очередь.

И как очутился на Арбате, он тоже не помнил.

Он потом себя уговаривал, что разведка есть разведка, нельзя же не узнать хотя бы, как они живут. Двор его дома был тот же самый, прежний. Марина вернется только в шесть, сейчас пять. Он поднялся по лестнице, по которой спустился в декабре тридцать восьмого. Прибитый им ящик для почты висел на своем месте. Вот, порадовался он. Была война, бомбежки, черт знает что, а ящик висит. Хорошо сделанная вещь есть хорошо сделанная вещь.

Я вернулся, рапортовал он лестнице, чувствуя уважение к ее крепким ступенькам и грязным, но целым, выстоявшим стенам дома. Я ушел и вернулся, вот я здесь, крепкий, не погнувшийся. Вы целы, я цел. Я знал, что вернусь сюда, и докладываю: вот — я — здесь, по слову на ступеньку. И никакой одышки. А ведь сорок. И почти никакого сердцебиения. Разумеется, звонить в дверь он не будет. Он просто показывает этой двери, что цел.

(Если бы мать знала, что он за дверью, — что сделала бы она? Выбежала бы к нему навстречу, повисла на нем? Нет, едва ли. Скорее всего с таким же бешено бьющимся сердцем, с расширенными сухими глазами замерла бы с той стороны, боясь пошевелиться.)

Так они постояли друг против друга. Потом одновременно повернулись и пошли каждый своим путем: Скалдин во двор, Катя — читать про Смутное время.

Во дворе Скалдин уселся на скамейку (новую, раньше не было), закурил и стал смотреть на детей, играющих в песочнице, и на молодую мамашу с мальчиком лет пяти, сидевшую на соседней лавочке. Мальчик ползал по лавочке и не хотел слушать стихи, которые мать ему читала по толстой синей книге. Скалдин прислушался.

Ночь идет на мягких лапах,
Дышит, как медведь.
Мальчик создан, чтобы плакать,
Мама — чтобы петь.

Отгоню я сны плохие,
Чтобы спать могли
Мальчики мои родные,
Пальчики мои.

Ну зачем вот все это — мальчики, пальчики?! Зачем все это? Кого они, в конце концов, растят? Есть же, например, Аркадий Гайдар... Скалдин отвернулся.

Сын окрепнет, осмелеет,
Скажет: «Ухожу».
Красный галстучек на шею
Сыну повяжу...

И прилаженную долю
Вскинет, как мешок,
Сероглазый комсомолец,
На губах пушок.

Ну да, да, это уже ничего.

Налепив цветные марки
Письмам на бока,
Сын мне снимки и подарки
Шлет издалека.

Заглянул в родную гавань
И уплыл опять.
Мальчик создан, чтобы плавать,
Мама — чтобы ждать.

Ну, а кто же возражает против такого порядка вещей?

Вновь пройдет годов немало...
Голова в снегу;
Сердце скажет: «Я устало,
Больше не могу...»

И, бледнея, как бумага,
Смутный, как печать,
Мальчик будет горько плакать,
Мама — будет спать.

Господи, что же это такое?! Это надо было остановить немедленно!

А пока на самом деле
Все наоборот:
Мальчик спит в своей постели,
Мама же — поет.

И фланелевые брючки,
Первые свои,
Держат мальчишкины ручки,
Пальчики мои.

— Что, что, что это такое?! — заорал Скалдин. — Что вы делаете, что?! Что это у вас, что?!

Перепуганная молодая женщина показала ему синий переплет: «Избранное» Веры Инбер.

— У этого же автора есть прекрасные стихи! — кричал Скалдин. — «Пулковский меридиан», «Путь воды»! Что вы делаете, чему вы учите детей! Ведь этим детям убивать, этим детям умирать! Это растление, как вы не понимаете, что все это растление! Вы не должны учить его всему тому, что потом придется сдирать, как кожу!

Женщина в ужасе подхватила мальчика и убежала, оставив книгу, дети из песочницы бросились врассыпную, кого-то унесла мать, только что беседовавшая с соседкой. Двор опустел, а он все кричал, да не кричал уже — хрипло лаял, и пока не поднес руку к лицу, не понял, что рыдает.

Он не плакал никогда, никогда не плакал. Может быть, он и теперь не плакал: погода испортилась, стал даже покрапывать дождь. Конечно, это был дождь.

Отсюда надо было уходить, да и Маруся, вероятно, скоро придет. Был соблазн посмотреть на Марусю и уж потом следом за ней отправиться к Почтамту, но зачем, не надо — он пройдет пешком, один, он развеется. Скалдин с трудом поднялся со скамейки и сделал два шага, но вдруг почувствовал, что ноги не держат его.

Он тяжело сел прямо на бортик песочницы и стал пальцами царапать, разгребать песок — влажный с краю, в центре защищенный грибом. Боль в подушечках пальцев и под ногтями должна была отвлечь от разрастающейся, раскаленной боли в груди.

Пальцы его наткнулись на какой-то небольшой твердый предмет: он вытащил его, поднес к глазам (вдруг стало темнее, нет, все-таки погода сильно испортилась) — и узнал первую игрушку, которую купил дочери: это был целлулоидный пес с большими ушами, красный, с белыми глазками, словно удивленными какой-то непомерной обидой: вертикальные, овальные, зрачки внизу.

Скалдина взяли, всех взяли, а тех, кого не взяли, еще брали; прошла война, убили несчитанное количество человек; Скалдин освобождал концлагерь, видел, что там творили с людьми, и понимал, что не будь Большой проверки — его страна не устояла бы против такой машины; горели дома, в руинах лежали города, умерли Свенцицкий, Гусев, Копосов, Балаболин, Харламов, Патин, Чибисов, Коломейцев, Говорунов, Балаян, Крохин, Петрухин, Лоренц, Касатиков, Кружевецкий, — а целлулоидный красный пес лежал в песочнице, дожидаясь, пока он придет сюда. Вот что было долговечней всего.

Боль становилась невыносимой. Совсем стемнело: должно быть, усиливался дождь. Скалдин разжал руку. Через полчаса та самая молодая мать, которую он испугал, вспомнила, что забыла под дождем книгу — хорошую, новую книгу, купленную накануне в книжном магазине напротив арбатского «Арса» за пятнадцать рублей. Промокшая книга дожидалась ее на скамейке. Станный мужчина, наверное, уже ушел. Но он не ушел, он лежал в песочнице, на боку. Вызвали «скорую», оказалось — поздно. Впрочем, сказал врач, с самого начала было поздно.

А может, он выжил и все случилось иначе? Может, он просто не захотел видеть жену и дочь, понимая, что мирная жизнь уже не для него? Стал военным, нашел Грохотова, после разоблачения культа попал в армию ин-

структором? Или уехал к сумасшедшему в Чувилкино и помогал ему проповедовать, что холод — это наша есть жизнь? Или вернулся в Чистое вместе со всеми и создал с ними новую коммуны — без принуждения, на добровольных началах, где все они вместе поддерживали форму на случай, если завтра война?

А пса, наверное, выкопали дети, кому же, кроме детей.

Ничего не знал теперё Рогов, едущий в третье Чистое.

8

Люди ушли недавно. Это чувствовалось во всем — казалось, в печке найдется горячая каша; но каши не было, а так — полная иллюзия живого присутствия. Рогов ходил из дома в дом, осматривая вещи, ища следы. У каждой двери он сначала стучался, спрашивал: есть ли кто, — и, не дождавшись ответа, входил.

Но это было то, то самое. Здесь уж сомневаться было нельзя. Третье Чистое, в которое Рогов ехал через большую узловую станцию Крутихино и потом еще добирался пешком, вернуло ему надежду. Был божественно ясный день и божественно красивый лес, золотой на просвет, и в лес вела хорошо убитая, ровная тропа, по которой, верно, часто ходили.

С самого утра Рогов чувствовал беспричинный восторг. Третье Чистое, куда он поехал для очистки совести, с самого начала обещало наконец разгадку: что ж, что два раза не повезло, в третий он не промахнется. И все словно подманивало, объясняло, обещало: сделай следующий шаг — а там и откроется, там и откроется...

В избах было пусто, но обстановка — деревянные столы, табуретки, старые серванты — была на месте. По России было бесчисленно оставленных деревень, но в этой теплилась жизнь — запустением не пахло. Конечно, взглядишь он чуть пристальней, отрешись хоть на миг от веры в то, что цель его так близка, — он заметил бы и паутину в углах, и пыль на столах, и выгнившие кое-где бревна, но он так долго искал жизнь и смысл там, где давно не было ни того, ни другого, что не вглядывался. Было чувство, что люди ушли только для того, чтобы выманить его, чтобы он поспешил за ними по тропинке, уводящей в лес, — так живописно она лежала среди поля, так манила в золотой березняк метрах в пятистах от деревни. И Рогов, обойдя все десять изб, направился по тропе.

День сиял, словно медленно оттаивая, наливаясь прощальным теплом. Лес, казалось, играл с ним — то приближался, то отдалялся. Наконец он вошел в редкий поначалу, быстро густеющий березняк; тропа не сужалась, она по-прежнему уверенно вела его к цели. Он словно чувствовал на себе доброжелательные, радостные взгляды и все ближе, все уверенней пробирался к цели долгого путешествия.

Ведь возможна красота и вне человека, возможен и человек, вымахавший выше себя самого! Все говорило об этом: восхитительная гармония, мягкость, чистота; только на фотографиях в старых календарях мыслим был такой августовский, зелено-золотой лес, небо такой глубокой, невероятной синевы, стволы такой яркой.

Впереди завиднелся просвет: большая, идеально круглая поляна, вся покрытая пестрым разнотравьем. Рогов различал бесчисленное множество цветов, разросшихся столь буйно и густо, что удивительно было, откуда в лесу вдруг это полевое пиршество. Тропа подводила к самой поляне и исчезала, словно цель пути была здесь наконец достигнута. У цели следовало помедлить.

— Здравствуйте! — крикнул Рогов.

Эхо отозвалось ему — или то было не эхо? Он вспомнил вдруг, где видел такую поляну. Точно так выглядело земляничное место, куда привел его Кретов и куда он потом никогда не мог добраться сам. Вот ведь до-

брался! Он верил, что, преодолевая время и пространство, старик показал ему тогда будущее — но, пока не исполнились сроки, в это будущее не было пути. Вспомнив о Кретове, чей дух, наверное, ликовал теперь, сопутствуя ему (и впрямь кто-то словно подталкивал в спину), Рогов достал из кармана зеркальце и послал солнечный зайчик направо, налево, вперед!

Гармонический, светлый, свободный мир ждал его — мир новых людей, спасших землю, вырастивших в тиши и тайне поколение таких, каким случайно вырос он, Рогов. Дивная, немислимо прекрасная жизнь начиналась в этом раю, куда до него не мог попасть никто, — заколдованный замок ждал своего открывателя.

И, счастливо хохоча, он шагнул на поляну; сперва шагнул, потом побежал, побежал, побежал — и не понял, как очутился по грудь в ледяной жиже, засасывавшей его глубже и глубже. Просто цветы оказались вдруг у самого лица, а потом холод поднялся по ногам.

Громадное, идеально круглое болото простиралось вокруг него. Лес казался невообразимо далеким. Цепляться за сочные, хрустко ломавшиеся стебли было бесполезно, руки путались в них. Не прошло и трех минут, как он ушел в ледяную жижу по горло, пытался, но не мог и кричать. Тонкий сип выходил из груди, и, молотя руками по зыбкой поверхности, он только глубже уходил в черноту, в подпочву, в изнанку царственной роскоши, благоухавшей вокруг.

То живое и теплое, что одно только и было Роговым, отличая его от ледяного и замкнутого мира вокруг, уходило в бездну, в царство бешеного и бездумного роста, в пространство распада, где не было мысли, совести, памяти — ничего не было. То человеческое, что мечтал он преодолеть, — преодолевалось наконец. И некого было звать на помощь — потому что проваливался он в себя, в собственное оправдание проверок, смертей, мясорубок, в собственное признание их великого тайного смысла. Смысл был здесь, под ним и вокруг, — все, что он принял и оправдал, поглотило его.

Опускаясь, задыхаясь, в последнем напряжении теряя остатки рассудка, повредившегося еще год назад, незаметно для всех, как сошла когда-то с ума его несчастная бабка Марина, — он ничего не понимал. Он не успел понять — и с чего ему было понять, — что старик Кретов завещал ему талисман, с которым не расставался во всех поездках, — карманное зеркальце, ничего особенного; подарок одной подруги, случайный роман много лет назад. Кретов не воевал, потому что сидел, вышел только в сорок шестом, спасся чудом: чертежники были в дефиците, а чертил он мастерски. Неучастия своего в войне простить никогда не мог, хотя так и не знал, кого следует винить; как знать, может, без посадок и войну б не выиграли. Версию о проверке он выдумал именно в своем подневольном КБ, когда надо было чем-то занять голову. Иногда потом забавлял друзей и возлюбленных, многие говорили, что и сами догадывались.

Как-никак, стране он послужил: после освобождения оказался востребован как геолог, искал и находил нефть. Зеркальце путешествовало с ним по Сибири с сорок девятого года. Любовь не сложилась: вернувшись из последней экспедиции, он увидел на пыльном столе в запущенной комнате записку: «Дома никого нет» — и все понял. А вот талисман, оставшийся от нее, выручал. Значит, все-таки любила. После семьдесят второго он жил на пенсию, работать уже не мог: посадил здоровье и в лагере, и в экспедициях, развлекался тем, что читал газеты, подчеркивал от нечего делать ляпсусы и повторы. Например, если на одной странице случались два одинаковых заголовка.

А стихи про четыре ветра и семь морей были напечатаны в 1934 году в «Сибирском следопыте». Книжный мальчик Кретов и книжный мальчик Сутормин оба любили этот журнал. Кретов выжил, Сутормин — тоже. И книжному мальчику Име Заславскому повезло больше, чем его родителям. Но Скалдина, седого, сумасшедшего Скалдина, расстреляли в январе три-

дцать девятого года, и Бабеля расстреляли, хотя другу-правдисту Козаеву так не хотелось в это верить. Могли расстрелять и Соловьева, дальнего ленинградского родственника роговского отца. Но ему повезло: дело, которое ему клеили, оказалось чересчур дуто: он должен был целиться из своего окна в товарища Жданова, когда тот проезжал по Староневскому, но окно его квартиры на Староневском, вот незадача, выходило во внутренний двор. Он отделался десяткой и был так счастлив, так счастлив, все время с тех пор был счастлив, и, уже вернувшись, улыбался всем детям, а в случае хорошей погоды посылал им солнечных зайчиков. Не было в Ленинграде более счастливого человека. Он думал, что это Бог его спас, что во всем происходящем был великий изначальный замысел: всех пересажать и перестрелять, а его отпустить, чтобы был в Ленинграде счастливый человек.

9

Нам осталось досказать немного.

Нам осталось рассказать, кто, собственно, позвонил Кате Скалдиной в тот день, пятого сентября, когда дети у них во дворе выкопали из песочницы красного целлулоидного пса.

Шестнадцатилетний племянник-хромоножка Марининой начальницы, Натальи Семеновны, которую взяли незадолго до Скалдина, оговорил себя, чтобы попасть к тетке, но оговорил так неумело, что к расстрелянной тетке, слава Богу, не попал и получил только пять лет. Следовательно его пожалел и, конечно, отпустил бы, но мальчик пришел сам, и отпустить его было нельзя.

Он отсидел, выучился на фельдшера, выжил, срок истек в сорок третьем, держали до конца войны, но выпустили со стандартным поражением в правах «минус десять»; это значило, что десять крупнейших городов страны для него закрыты, и он поселился в Смоленске, просто потому, что врач, с которым он подружился в лагере, жил там и обещал его устроить.

В сорок шестом он приехал в Смоленск, в сорок седьмом устроился, в сорок восьмом женился. У него были теперь небольшие деньги: он работал медбратом в местном госпитале, начинал уже думать о высшем образовании, ведь он отсидел, искупил, могли принять в Смоленский мединститут. Ему нравился город с его знаменитым собором, с холмами, с католической строгостью, проступавшей в местных православных храмах, с добрыми светловолосыми девушками, с дружелюбным кружком местной интеллигенции. Два года он сидел тихо, на третий решил отдать один долг.

Дело в том, что перед самым его приходом к следователю — перед последней и отчаянной попыткой выручить тетку — он попытался пойти к ней на работу, поискать заступников, свидетелей ее сказочной добросовестности, но там от него шарахались, как от прокаженного. А ведь Наталья Семеновна помогала всем этим девушкам, хотя и была с ними строга, и одну отговорила от аборта, деликатно ссужала деньгами, хотя сама нуждалась... Только один человек выслушал его, напоил чаем и пожалел, и это была Марина Скалдина, чей муж скоро разделит участь его тетки.

Теперь он был не тот бедный мальчик с нервным тиком, а красивый, уверенный в себе мужчина, пусть хромой, пусть по-прежнему с легким подергиванием века, — но он выжил, прошел через многое, научился не бояться, драться, зашивать раны. Таким он мог показаться Марине Скалдиной. Теперь он мог ей помогать, был в госпитале на хорошем счету, и со времени его освобождения прошло два года — можно было попробовать хоть раз выехать в Москву и встретиться с единственным человеком, не предавшим и пожалевшим его. Он позвонил по межгороду — телефон помнил все десять лет, — Марины не было дома, дочка в школе, но старуха-соседка подтвердила, что они по-прежнему живут на Арбате. В конце концов, чем он рисковал? Многие освобожденные жили в Смоленске, у многих

было минус десять, и все ездили в Москву — ничего, обходилось. Один даже был в Большом театре, слушал «Евгения Онегина» с Лемешевым. Как-никак, с войны прошло три года — паспортные проверки на улицах становились все реже, а от милицейского патруля в центре он легко убежал бы, отлично помня город. Центр, говорят, берегли — не перестраивали.

И вечером четвертого сентября, сказав молодой жене, что через день вернется, а сейчас поедет навестить однокурсника, племянник-хромоножка сел в поезд, а утром вышел в Москве. Он вез Марине денег и две банки маринованных грибов — теща отлично мариновала грибы. Букет он решил купить перед встречей.

Он растворился в московской толпе, погулял по городу, дождался, пока школьники пойдут из школ, позвонил Марининой дочери (он помнил, что в семье ее называли Снегуркой, и решил воспользоваться этим прозвищем, чтобы девочка не испугалась) — и узнал, что Марина придет с работы к шести. Просто так заявляться к ней домой было опасно — все-таки мало ли, вдруг заинтересуется старший по квартире, проверит документы у позднего гостя, а у него в паспорте минус десять. Скрипучий голос старухи ему очень не понравился. Встретиться лучше всего было в нейтральном месте — например, у Почтамта: и в центре, илюдно, и не ошибешься.

Он зашел в маленькую пивную на Трубной, пропустил пару кружечек, с наслаждением оглядывая посетителей, слушая их московский говор. В Смоленске так не говорили, хотя акцент тамошних жителей был почти неопределим. Тик у него стал как будто сильнее, чаще, как всегда при сильном, хотя бы и радостном волнении. Особенно понравился ему высокий молодой военный за соседним столиком, настоящий красавец. Военный был с девушкой, шутил, обсасывал гвардейские усы. После войны стало гораздо больше хороших людей. Воздух как-то очистился.

Военный этот был штатный осведомитель и покупал таким образом свободу (попался на растрате казенных денег в своем полку, где служил начальником финчасти), да заодно и получал некоторое количество денег на посещения московских пивных в обществе девушек. Ему сразу показался подозрительным нервный тип с нервным тиком, и когда племянник Натальи Семеновны вышел из пивнушки, медленно направляясь к Кирова, капитан Советской Армии попросил девушку подождать, а сам добежал до ближайшего постового, назвал человека, которому раз в месяц докладывал обо всех разговорах, предъявил свой паспорт и указал на подозрительного прохожего, который, прихрамывая, удалялся по Бульварному кольцу, с трудом одолевая подъем.

Постовой поблагодарил, быстро вызвал наряд, и дальше племянник-хромоножка шел в сопровождении двух оперативников в штатском, которым тоже показалась подозрительной и его хромота, и то, что он все время озирался по сторонам.

Он шел и дышал воздухом влажного московского вечера: покрапал дождь, расцвели зонты. Улыбка не сходила с его лица, и даже участвовавшее подергиванье щеки не портило настроения. Это был его город, и толпа в нем была его, дружественная, она бы не выдала. Он шел отдать долг женщине, которая помогла ему когда-то, — шел выживший, сильный, помнящий добро.

Почтамт был совсем рядом, за углом. Он посмотрел на часы: осталось пять минут. Медленно, предвкушая счастье, улыбаясь дрожащим лицом, по мокрому асфальту, сиявшему отражениями фонарей, двинулся он к освещенному подъезду.

Тут-то его и взяли.

Чепелево — Москва.

ВЛАДИМИР САЛИМОН

*

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОКОЙ

* *
*

Хлебопашество и скотоводство.
Отчий край.

Не хочу мирового господства —
так и знай.

Либо поле под паром.
Либо лес над рекой.

Со своим самоваром
долгожданный покой.

* *
*

Прошлогодняя трава,
кажется, была права —
постепенно
превращаясь в сено.

Стала вязкою — липучей,
духовитой — пахучей,
жаркою — горячей.
Жеребьячей и телячьей.

* *
*

С вершины холма до подножья
бесчисленных жертв бездорожья
останки заметны повсюду.

Любой механизм превращается в груды
железа за долгие годы.
В труху превратят его вешние воды.

Салимон Владимир Иванович родился в Москве в 1952 году. По образованию — педагог. Первые стихотворные публикации — в конце 70-х годов. Редактор журнала «Золотой век». Лауреат поэтической премии Романской Академии в Риме. Автор восьми поэтических книг. Стипендиат Альфа-банка и Московского литфонда 2001 года.

Исхлещет дождем или снегом завалит.
 Но это — нисколько меня не печалит.
 Меня беспокоит другое.

То, как Левитана
 преследуют мысли о вечном покое.
 Как Блока волнует дыханье духов и тумана.

* *
 *

Что в сердце эхом отзовется —
 калитки стук иль скрип колодца?

Лодчонка, набок накреньясь,
 одним бортом черпает грязь.
 Того гляди — уйдет под воду.

Как будто снова в моду
 вошел суровый стиль:
 поднялся ветер,
 закружилась пыль.

* *
 *

Поселок весь в снегу.
 На противоположном берегу —
 иное дело.
 По крайней мере водокачка уцелела.

Она стоит понуро.
 Ее мускулатура
 ослабла с некоторых пор.
 Вдруг слабнуть стал воды напор.

Иссякли силы родника —
 поникли крылья мотылька,
 который миллионы лет
 без усталости летел на свет.

* *
 *

Под собственным весом,
 под ржавым железом
 обрушится дом.
 Мы в мусорной куче отыщем потом
 обрывки, осколки, обломки
 Рождественки и Божедомки.

Когда перекресток
 трамвайная линия пересекла,

почувствовал сразу по звону стекла
к окну подошедший подросток.

Он мог целый день у окна простоять,
а после, садясь, брал большую тетрадь.
В амбарную книгу построчно
записывал все, что увидел, по-снайперски — скупое и точно.

* *
*

Куручка-ряба яичко снесла.
Грохнула об пол его со стола
мышка, бежавшая мимо.

Кара небесная неотвратима.
Снег или дождь застилает глаза,
зорко следят за тобой небеса.

Каждый твой шаг под контролем —
лесом идешь или полем
или бежишь с полотенцем в руке
по незнакомой тропинке к реке.

Нету убежища в мире жестоком.
Вечно преследуем будешь всевидящим оком.

* *
*

Не Бог весть что,
но кто бы
подумать только мог —
духовные особы
по снегу прыг да скок.

Те, у которых лапки тонки, —
оляпки, жаворонки.

Дрозды
волочат по земле хвосты.

По всей Руси монастыри
облюбовали снегири.
Синицы —
кладбища и темницы.

* *
*

Изрядный довесок —
дремучий подлесок,
местами куда как река
глубока.

Но что дополняет весомей namного
пейзаж деревенский? Дорога!
Дорога,
которую в поте лица
протопал с начала и до конца.



ЮРИЙ БУЙДА

*

СТЕПА МАРАТ

Рассказ

Возвращавшийся домой после смены кочегар бумажной фабрики Степа Марат успел выхватить из-под скорого поезда Нату Корабельникову, сам при этом лишившись обеих ног до колен. Женщина хоть и была здорово пьяна, но все же раздобыла в ближайшем саду тачку, на которой возили навоз, и доставила Степу в больницу, где доктор Шеберстов остановил кровотечение, наложил швы и отправил пострадавшего в палату, а Нату — отсыпаться, не обращая внимания на ее настойчивое требование пристроить где-нибудь Степины ноги в хромоных сапогах, временно вставленные в тачке.

Утром, опохмелившись «мурашкой» — пузырьком муравьиного спирта, вылитого на хлебную горбушку, Ната явилась в больницу просить у Степы прощения.

— Не, — довольным голосом отказал Степан, — ходи непрощенная, так и быть.

— Как же? — растерялась Ната. — А с ногами что делать?

— Холодец свари, — приказал Степан. — Как выпишут, заявлюсь на пузырь под холодец. Сапоги вот жалко: десять лет носил, а все как новые скрипят.

— Больно? — плаксиво спросила Ната.

— До свадьбы заживет. Я же тебе говорю: приду на холодец. Гони самогона к свадьбе — гульнем. Опять жаль: плясать тебе за двоих придется. Но только чтоб без мышей мне!

Ната согласно закивала, плохо соображая, на каком она свете, и пошла домой ставить брагу.

О прошлом ее никто ничего не знал. Когда она пьяная вывалилась на вокзальный перрон из московского почтово-багажного, то, прежде чем спросить, как называется городок, выплюнула мышь, которую держала во рту двое суток, спасаясь от зубной боли. Она устроилась в городскую прачечную, мужчин почему-то сторонилась, хотя среди женщин, регулярно просыпавшихся в своих постелях рядом с мужьями, вполне сошла бы за свою. Пила она в одиночку. А когда жизнь становилась совсем неведомою, раздобывала где-то крошечного мышонка и несколько дней носила его за щекой, как леденец.

Степа, получивший прозвище из-за службы на легендарном линкоре, был рослый и чубатый детина, утверждавший, что у настоящего мужика нос, кадык и член должны быть одного размера, — однако ни с одной из жен своих не ужился. «Казацкий закон какой? Кони сыты, бабы биты — это порядок». — «Ты ж не казак!» — кричала обиженная и разозленная

Буйда Юрий Васильевич родился в 1954 году в Калининградской области. Закончил Калининградский университет. Автор романов «Дон Домино», «Ермо», «Борис и Глеб», многих повестей и рассказов. Лауреат премии Аполлона Григорьева. Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.

очередная жена. «Нет. Но подраться люблю. Я ведь как дам в морду — в больнице пролежишь столько, сколько другие — в могиле». По праздникам он надевал бескозырку с надписью «Марат» на ленте, белую рубашку с гюйсом, украшенную медалями и орденами, и расклешенные брюки, в каждой штанине которых могли бы уместиться три Стены. Выпивал он редко, но с размахом. На спор с пяти шагов струей мочи попадал точно в горлышко пивной бутылки, наполняя ее доверху в два приема, выждав отстоя пены. После третьего стакана водки свистом останавливал птицу в полете и гасил спичку выстрелом из «кормового орудия». Других талантов за ним не замечалось.

Ната хоть и переживала случившееся и думала часто о Степе, но, конечно, никак не ожидала, что после выписки он и впрямь к ней заявится — на руках, благо жила она неподалеку от больницы. Открыв задницей дверь, он кувыркнулся на пол и вспрыгнул на диван.

— Где холодец? — строго спросил он. — Наливай!

— Сейчас, сейчас, — засуетилась Ната. — Ты вот пока выпей да закуси брусничкой, а я горячего приготовлю...

Научившийся в больнице от скуки задавать медицинские вопросы, Степа опростал стакан, но, прежде чем бросить в рот горсть брусники, поинтересовался:

— От чего ягода? От головы, живота либо от зубов?

— Бабка на базаре говорит, что от почек и от явлений.

— Ну, раз от явлений... — Степа пожевал бруснику. — Наливай по новой. И сама прими, чтоб руки не дрожали: сейчас заявление писать будем.

— Куда? — с ужасом спросила женщина, жалея, что под рукой нет мышонка.

— Чтоб нас расписали мужем и женой, — объяснил Степа. — Ну! — И каленым кочегарным басом пропел во всю глотку:

С той же светлою душой
Я стою перед тобой!

Через две недели они стали мужем и женой, а когда Степин старинный приятель осторожно поинтересовался, каково ему теперь, Марат продекламировал с пафосом:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
И яйцо одно не трется,
И не надо сапога!

И уже без пафоса сказал:

— Мне теперь, Колька, сразу двоих сапог не надо — а ты еще спрашиваешь, хорошо мне или плохо!

Когда же Буяниха однажды заметила, что напрасно Степа старался, спасая от гибели пьяницу, да еще ценой собственного здоровья, Марат со-страдательно ответил:

— Завидую твоему аппетиту, подруга: ни одной ложки говна не пропустишь. Не иначе вечно жить хочешь.

После неожиданного замужества Ната пить меньше не стала, и хотя Степан ее об этом не спрашивал, однажды призналась, что напивается от страха перед каждым очередным пассажирским поездом, прибывающим из Москвы.

— Страшный, конечно, город, — согласился Марат. — Однако до нас пока доедешь, весь страх растрясешь.

— Этот не растрясет, — уныло возразила Ната. — Только не этот.

Степан внимательно посмотрел на нее, но промолчал.

В тот день, когда пассажир с московского скорого — мягкая шляпа, мягкое улыбочливое лицо, долгополый светлый плащ-пылевик и серые перчатки тонкой кожи на костлявых руках — появился к ним в дом и Ната тотчас принялась собирать чемодан, Марат сидел на диване и мастерила бумажного голубя.

Наконец Ната щелкнула замками чемодана и со вздохом выпрямилась, не глядя на мужа.

— Садись, — велел он, не отрываясь от дела, — я тебе пока развода не давал.

Из-под мягкой улыбочливой маски молчаливого незнакомца вдруг поперли кости и желваки. Ната сжалась, схватилась за чемодан.

— Иди-ка сюда, шляпа, — поманил приезжего Степан, и когда тот, сжав кулаки, шагнул к дивану, ловко схватил его правой рукой за нос. Спрыгнул на пол и, не выпуская вражьего носа, из которого уже вовсю хлестала кровь, ползком-прыжком дотащил мычащего, невольно опустившегося на четвереньки гостя до двери. — Жаль, ноги у меня нет, чтоб тебя чин чинарем проводить. Дверь видишь?

Гость замычал.

Левым указательным пальцем Степан, сжав губы, с маху пробил дверную доску насквозь. И только после этого отпустил окровавленный нос.

— Назад вернешься только через эту дырку, — сказал Степан. — Но сперва постучись, чтоб я успел дверь на ключ запереть.

Стеная и всхлипывая, мотая головой из стороны в сторону, незнакомец выполз за дверь, которая тотчас захлопнулась за ним, стукнув гостя по пяткам с такой силой, что он вылетел на крыльцо и скатился по ступенькам во двор.

— Думаю, после такого «до свиданья» он больше не скажет «здрасьте», — сказал Степан. — Налей, что ли, а то даже устал.

Ната бегом принесла ему стакан самогонки и со страхом уставилась на Степино бесстрастное лицо. Пожав плечами, он выпил, выдохнул и взревел басыщем:

Я был батарейный разведчик,
А он писаришка штабной.
Я был за Россию ответчик,
А он спал с моей женой!

Пожевав горбушку, сказал:

— Выкинь из головы этого писаришку. Ты у меня как мышь за щекой. И учти, я бью всего два раза: второй — по крышке гроба.

В голосе его было столько убедительности, что ее хватило бы гробов на пять. А может, и на десять.

Вечерами она вывозила его к реке на прогулку в детской коляске, кое-как приспособленной для взрослого человека без ног. «Мотор бы какой — хоть на пердячем паре, — ворчал Марат. — А то катаюсь, как будто я какой-нибудь рикша богатый».

На берегу он замолкал и смотрел на реку, облака, деревья и небо с таким выражением на лице, что Ната от страха не выдерживала и говорила:

— Это река, Степа.

— Ну! — восторженно откликнулся муж.

— А это небо...

— Ну и ну! А звезды когда — так и вообще!

В голосе его звучало такое восхищение, словно он только что обрел зрение после долгих лет полной слепоты.

Однажды по пьянке она забыла его на берегу, а когда утром прибежала похмельная виниться, Степан сказал:

— Рассвет был, Натка, — ну и ну! Это — *это!* А вообще давай своих детей заводить.

— Не будет у меня детей, Степа, — ответила жена. — Никогда.

— У тебя не будет — значит, будут у нас.

И они, осилив и перекричав все комитеты и комиссии, усыновили двоих детдомовских мальчишек, ровесников Вовку-первого и Вовку-второго.

Детьми, однако, Степа вовсе и не занимался. Понаблюдав за тем, как он учит парнишек мастерить проволочных зверей с пружинкой, способных хватануть кого-нибудь алюминиевыми зубами за задницу, и бумажных голубей с секретом, которые почему-то даже в безветренную погоду могли парить в воздухе по два-три часа, Буяниха проворчала:

— Ты своим детям не отец, а самый настоящий римский папа!

— Брысь, исчадие чада! — не поднимая головы, откликнулся Степан. — Вовка, привяжи ей к хвосту крысу!

Полистав школьные учебники сыновей, с отвращением отбросил книжки в сторону.

— Флора, фауна, родные просторы... У нас вместо всего этого — квадратные метры да огород с кротами и родиной-смородиной.

— Флора — это растительный мир, — важно пояснил Вовка-первый. — А фауна — животный.

— Тебе мать дала денег на парикмахерскую, а ты их на мороженое спустил. Вот заведется в твоей флоре фауна — дустом буду выводить! Где твой укол совести? И твой!

Мальчишки со вздохом достали из карманов булавки и ткнули себя в ладони.

Степа просыпался до рассвета и тихо лежал, глядя в окно на медленно поднимающееся солнце. Ему казалось, что светило с большим трудом преодолевает какие-то невидимые или неведомые преграды, чтобы всплыть над крышами домов и кронами деревьев. Стоило краешку солнца показаться над липами, как Степа протягивал к окну мускулистые руки и, изнемогая от напряжения, помогал яркому диску как можно скорее занять свое место на небе. Работенка была потяжелее, чем шесть часов кряду кидать лопатой уголь в топку. Когда Ната просыпалась, он лежал рядом — тяжело дыша, с набухшими венами на руках, весь в поту, с таблеткой валидола, тайно сунутой под язык.

— Тебе плохо? — вскидывалась она. — Или сон дурной приснился?

— Да нет, — хитрил Степа. — Спать хочу — невтерпеж, а в туалет сходить лень, вот моча и выходит через кожу.

Но жена все же застучала его, и Степа, взяв с нее клятву молчания («Кто узнает — в психушку отвезут»), рассказал обо всем как на духу. Подумав, Ната мудро решила, что надо же Степе хоть чем-нибудь свою безногую жизнь наполнять — одним мытьем посуды да прополкой грядок жив не будешь, — и согласилась, что подъем солнца вручную — дело, безусловно, важное, трудное, полезное и почти что героическое. Не то что закат: вниз-то солнцу легче легкого катиться. Однажды она, однако, по забывчивости — штопала детский носок — попросила Степу подержать солнце на месте, чтобы она до темноты успела управиться со штопкой. Муж помог. Сообразив, что произошло, Ната прошептала со слезами:

— Как бы я хотела родить от тебя. Ну хоть десяток ребятишек.

— Этих бы прокормить.

Но скрыть удовольствия от Наткиного признания — не смог.

— Весным весна! — заорал Степа, выбравшись на крыльцо. — Пора родные просторы копать!

Спустя несколько часов Ната нашла его лежащим без рубашки в огороде на краю вскопанного участка земли. Кожа его покраснела от солнца,

а когда с большим трудом удалось оторвать ладонь, с силой прижатую к груди, все увидели четкий белый отпечаток его пятерни, под которым больше не билось сердце.

Три дня, пока Марата не похоронили, солнце не покидало небес, замерев на указанном ему Степой месте. Тайну этого чуда Ната никому не открыла. Надорвался бывший кочегар, когда-то обладавший здоровьем, которого хватило бы на пять больниц. Или даже на десять.

Вдова часто навещала его могилу, и пока сыновья ползали между оградями в поисках мышонка, она тихонько напевала одно и то же:

С той же светлою душой
Я стою перед тобой...

И снова, и снова, и снова — пока наконец ребята не приносили ей крошечную мышку...



ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ

*

ДО СИНИХ ГОР

Гражданская война

Еще Господь и не творил Земли,
А уж война кипела там, вдали.

Не чуждые сражались племена,
Нет, то была гражданская война.

Войной был полон безграничный край,
Но вот Господь построил тесный Рай.

И узкие поставил Он врата,
Чтобы смутилась злобных суета.

Потом Он далеко раздвинул сад,
Так далеко, что не достанет взгляд.

И меньше стали смертные враги,
Чем колкие корпускулы пурги.

Но та пурга, желанью вопреки,
Звенит над сединой моей щеки,

И голос слышен мне из дальних сфер:
«Ты кто? Ты комиссар иль офицер?»

Смерть демиурга

Это лава, теряя остатки огня,
Вспоминает минувшие дни,
А бредущего кончилось тление дня,
На дорогах сырые огни.

Скрыто новое счастье по новым домам,
Вышло новое зло на разбой,
И рассеяна мудрость по многим томам,
И ее не захватишь с собой.

Встали тени на белом квадрате стены
 Для Пунической новой войны,
 С Ганнибалом пришли боевые слоны,
 Смотрит время привычные сны.

Вот и крайний в строю затрубил элефант,
 И глашатай читает указ:
 «И зарытый, и пущенный в дело талант
 Пусть предъявит на общий показ!

Мы узнаем, умел он смирить дурака
 И одернуть творящего зло
 Или чаще его затекала рука,
 А струя вырывала весло».

Но судимый ответит, что время темно,
 А пространство лишь щель между скал,
 Вспоминая родное песчаное дно
 Той реки, где он в детстве нырял,

Вспоминая беспечный полет мотылька
 В снопе света, пронзившем сарай,
 Зная: узки врата, а душа велика,
 Трудно будет ей втиснуться в рай.

И поэтому выроют яму они
 И уйдут в предрассветной тоске,
 Там и будет душа все грядущие дни
 Громоздиться в посмертном песке.

Им ведь нужно еще покорять города,
 Перед ними года и года,
 Будет белая птица кружиться всегда
 Здесь, над горестным местом суда.

* *
 *

Когда палач Сансон,
 Чтоб угодить толпе, от гильотины
 Отпавшую взял голову мужчины
 Иль женщины (какой ужасный сон!)
 За волосы, чтоб не испачкать руки
 Горячей кровью, льющейся из жил,
 Еще не пережившую все муки,
 Где гаснувший еще рассудок жил, —
 Ее он как подарок предложил
 Глазеющей толпе — любуйтесь, суки!

А если лыс
 Был убиенный, так что неухватно,
 Тогда проснись, пробормочи невнятно,
 Что ужин был тяжел,
 И вот — дурные сны.
 Поправь еще подушку у жены
 И дальше спи — спокойно и приятно.

* *
*

Кому повем чувство потери,
Что я в сердце несу,
Слава вам, вежливые звери,
Уступающие друг другу дорогу в лесу.

Мы тут принимаем таблетки рвотные,
Читая газеты, заходя в интерсеть,
А они, разумнейшие животные,
Убивают столько, сколько сумеют съесть.

Мы тут меряемся дворцами,
Спорим, какие у кого праотцы,
А они без киллеров убивают сами,
О, благородные храбрецы!

И потом уходят, качая хвостами,
И им решительно все равно,
Был ли кто-нибудь за кустами,
Снимали ли их в кино.

На смерть Александра Величанского

Умер поэт-недотрога,
Отсвет, сошедший от Бога
На голубую кайму
Губ, не пришлось мне увидеть,
Дождь не хотел нас обидеть —
Хлынул — спасибо ему.

Так уложите гвоздику
Ближе к застывшему лику,
Белье лягут цветы
Данью последнему дому,
Скоро к кому-то другому
Ангел слетит с высоты.

Небо яснее, и строго
Август глядит из чертога,
Над облаками венцы,
Все мы из той же судьбины,
Все — непрядущие крины,
Боле трава, чем косцы.

Вновь копыеносный Егорий
На придорожный цикорий,
Синие на лепестки,
Рушит копыта крутые,
Вытопчут нас не впервые,
Вырастем вновь у реки.

Похороны Добра

Мы хороним Добро,
Мы огромную вырыли яму,
Мы хороним Добро
Всенародно, открыто и прямо.

Злато и серебро!
Теплый вечер и вольные нравы,
Мы хороним Добро,
Мы свободны, разумны и правы!

Мы хороним Добро,
Горе всем обделенным и сирым,
Злато и серебро
Будут царствовать ныне над миром.

Злато и серебро!
На дела и советы мы скоры,
Мы хороним Добро,
Правьте нами, злодеи и воры.

Гибни то, что старо,
Мы счастливые глупые дети,
Мы хороним Добро,
Больше нет ему места на свете.

Гибни то, что старо,
Для тебя мы могилу отрыли,
Мы хороним Добро,
Сколько раз мы его хоронили!

Пастухи

Когда в необоримый миг
Засвищет птица-тишина,
Когда, ее заслышав крик,
Ты оторвешься ото сна,

С лугов лазурных пастухи,
Одеты в душные меха,
Придут и встанут у реки,
Погода вешняя тиха.

Теперь окончен с жизнью спор,
И мы с тобой теперь одни,
Ты видишь искры и костер,
Горят в огне бывшие дни.

Вот короба тоски, трухи...
Погода вешняя суха,
Плывут в реке твои грехи,
Горит небесная труха.

Сегодня мы в урочный срок
Сожжем в костре былые дни,
Ты тоже знаешь свой урок,
Накройся шубой и усни.

Не просто место для тоски
Тот мир, где птица-тишина
Открыла черные зрачки
И с криком вырвалась из сна.

И был ты плох, и был хорош,
Настанет ночь, и кончен спор,
А завтра с нами ты пойдешь
До синих гор, до синих гор.



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

(1982 — 1987)

Глава 11

ИСПЫТАНИЕ ПОШЛОСТЬЮ

Были в моей жизни испытания — нищетой, травлей в детском возрасте, войной, тюрьмой, смертельной болезнью, потаённой жизнью, славой, травлей всесоюзной, бездомностью, изгнанием с родины — кажется, немалый ряд? Но ещё в этом ряду сперва не хватало пошлости. Постепенно — напозла, напозла и она.

Пошлость — любимое оружие низости, когда ей недоступно прямое насилие. Да и — вдобавок к нему. На многих, осуждённых советской властью, подмешивали ещё и зловония, и первый мастак был Ленин — как нагадить, «исшельмовать» (его слово) противника. Нет, раньше него — Маркс. Да и вообще в политике; и сколькими пошлостями громяют современные избирательные кампании.

Так и меня, в начале 70-х годов в СССР, не решаясь арестовать, обмазывали в поддельно-иностранных статьях и на закрытых сборищах лекторы — чем же, как не пошлостью? Ведь спорить на высоком уровне им нечем. А когда пришлось выпустить меня из лап, то и вдогонку опять — чем же другим? — фальшивками, низкими сплетнями, потом направляемыми книгами — моей первой мстительной жены, Ржезача, Тюрка, затем хвостатого Флегона. А дальше — верен был расчёт ГБ: уже без всякого управления охотно прильются к потоку этой пошлости и новоэмигрантские добровольцы, и западные, со страстями вовсе и не политическими, а, увы, низко человеческими, по своему уровню.

Так именно и случилось: много их нашлось, череда не прерывается и по сей день. А уж выплеснуть в публичность — труда не составит: всегда найдётся пресса распушенная, отбросившая ответственность, все словеса которой что и есть, как не — пошлость, пошлость, измельчение, оглупление.

Летом 1978 был в СССР приготовлен (но почему-то не пущен в ход) тираж книги Ржезача*. И в том же самом году в Восточной Германии (но я ещё

© А. Солженицын.

Первая часть «Очерков изгнания» Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» напечатана в «Новом мире», № 9, 11 за 1998 год, № 2 за 1999 год, вторая часть — № 9 за 2000 год, начало третьей части — № 12 за 2000 год.

* Теперь, из писем советских читателей узнаю, что и был-таки пущен, умеренно, читали его в разных местах страны и поразились моей гнусности. Например, в Петрограде его не дали в Публичную библиотеку, но снабдили библиотеку дома Политпросвещения, то есть надёжных читателей. (Примеч. 1993.)

семь лет не знал) был выпущен двухтомный роман Гарри Тюрка «Der Gaukler» — *фокусник, площадной шут*. (Почему именно выбрали Восточную Германию? Потому ли, что туда легче проникали сведения обо мне из Германии Западной, даже и телепередачи.)

Эта книга — попури, диковатый конгломерат из сообщений и фантазий Н. Решетовской, моей бывшей жены, из общеизвестного и из полного вымысла, — всё это размыто, события перемешаны подальше от истины, чтобы нельзя было распутать, найти хоть какие-нибудь твёрдые точки. КГБ вовсе убрано, совсем оно не действует в СССР, — зато вся моя жизнь с 1964 и литературная судьба пронизаны направляющей рукой ЦРУ: именно оно решило сделать из новомирского автора международную звезду, внушило мне писать «Архипелаг» и дало план его (хотя трезвые друзья указывали: да довольно же вспоминать прошлое, хватит, надо жить социалистическим будущим!). А когда я послушно стал писать — то агентша ЦРУ в Москве ещё редактирует и меняет мои рукописи, перед тем как отсылать их на Запад. Она же диктует мне, какие надо делать заявления для печати, — и я их охотно делаю. ЦРУ же советует мне произнести речь перед съездом писателей, а если не удастся — то написать письмо съезду вот по таким-таким тезисам. А что придумано не в ЦРУ, «Август», — там «ему не хватает художественных средств».

От автора книжки, и от иных благородных советских людей, и от самих цезрушников сыпятся определения злосчастного писателя: «господин Челюсть... постлесталинский Остап Бендер... стал фашистом... урод в социалистическом обществе... фашистский лгун... литературный власовец». И только одно несомненное не отрицают: «высокая интенсивность работы», «пчелиное прилежание». Но при всём том — утопает в сексе (как, впрочем, и вся книга утопает, и все агенты ЦРУ — тоже в нём). От Н. Решетовской и К. Симоняна благодарно взято: честолюбив с детства, шрам от антисемитизма, а отец, не воевавший за белых и «гуманно прощённый советской властью» (за что тогда прощённый?), — всё же пошёл в лес и застрелился. — Сын же, после повести в «Новом мире», «окружает себя людьми, сидевшими за дело», и они ему врут «якобы факты», а он — всё записывает. — И герой всё время рвётся уехать на Запад к деньгам, просит устроить ему какой-нибудь вызов. (А что за Нобелевской премией не поехал — об этом начисто смолчано.) — К тому со злобчивой страстью приплетена и бедняжка Аля: острее всего понимавшая потерю родины как несчастье — тут изображена как интересантка, только и рвущаяся к свободным западным деньгам, «её место в Латинском квартале», и всякая к тому пакость, допекла ж она им.

Напротив, Н. Решетовская, «загубившая свой талант пианистки» только потому, что всю жизнь от юности якобы «помогала мужу работать, искала ему материалы», — теперь, покинутая, сидит в провинции и самоотверженно перепечатывает и перепечатывает доверенную ей и никак не охраняемую автором рукопись «Архипелага», а, сдав ему работу, пытается покончить с собой. Само же ГБ во всю историю, за все годы, не вмешивается ни разу. Рукопись «Архипелага» — никоим образом оно не ищет, а на случайной квартире случайный милиционер открывает незапертый чемодан; несчастливая хранительница тут же кончает с собой, но ЦРУ успевает задержать и подменить все мировые сообщения наглой ложью: будто её вызывали в КГБ и мучили там.

Тысячестраничный — и тоже двухтомник — Флегона, хотя написан как будто иначе, в другой год, и в западной стране, без романной маскировки и с прямой личной ненавистью, а сходится во всём главном: бездействующее, совсем невинное КГБ (самые бережные выражения о нём, и даже с нескрытой симпатией), резкие нападки на ЦРУ, клопочущее злобство ко мне — и море порнографии.

Как раз сейчас, в феврале 1987, — сколько ни откладывался, а подкатил суд с Флегоном. И теперь, хоть и с 6-летним опозданием, а неизбежно мне эту мерзкую книгу, прежде только листанную брезгливо, впервые прочесть. В самые дни суда и читал.

И верно я сделал, что не читал её 6 лет назад: всё это отходит по времени и в нём ничтожнеет. За последние годы я потишел — во внутреннем успокоении, от исполненности главных работ, какая-то не битвенная становится кровь, плечи приборолись, — и не зацепляет меня эта стряпня. (А только — наглость его судебного иска.)

Тон книги — такой вульгарной развязности, как если бы трактирный лакей уселся главным гостем.

И что же мы узнаём? Что «Архипелаг» написан с «целью личной мести» (советскому правительству); что это сплетение тюремных басен; но, увы, «в идеологической борьбе против коммунизма „ГУЛаг“ представляет собой хорошее оружие», хотя по сравнению с тем, что делалось в старой России, «исчез бы весь ГУЛаг с его муравьиными пытками». И вообще в Советском Союзе плох был только Сталин — да и то: «Сам русский народ почти заставлял Сталина истреблять людей». Над «Телёнком» много раз возмущается, как я обманывал родные советские инстанции. И не удерживается заступиться открыто за кагебистов — несколько раз в защиту Ржезача, а особенно за Луи. И болит у него сердце за неуспех в СССР книги коммуниста Дьякова (это — несколько раз), — а вот как надо писать о лагерях!

Из лучших способов защиты советской власти — громить старую Россию. Ещё 6 лет назад из перелистывания флегонской грязи, по одним иллюстрациям было видно, сколько тут злости против старой России. А в тексте этого ещё больше. Упорно: методы КГБ изобретены при Екатерине. «Русские цари умели наказывать виновных и невиновных куда лучше КГБ». — Отказываться от арестованных и пострадавших — «это национальная черта русского народа [неискреннего и трусливого], которая явно проявлялась на протяжении всей русской истории». — «Коммунизм на русской земле — следствие национальных черт русского народа». — «Россия отличается от всех стран Европы тем, что там врут не отдельные лица, а вся страна поголовно. Честные люди там исключение».

Ну, а с какой захлёбной сосредоточенной злостью обо мне — этому уж нет границ. — Нахальный лгун. Патентованный невежда. Умалишённый самодур. Пройдоха. Переметчик. Клеветник. Брехун и лицемер. Сталин наших дней. Помесь гиены с хамелеоном. Негодяй. Вральман. Слабо развитая мозговая корка. Самый известный матерщинник XX века. После его высылки «русские люди вздохнули с облегчением». Впрочем, «борьба против коммунизма в действительности его никогда не интересовала». «Посвятил целые годы жизни мести за неполученную Ленинскую премию». (Это — их всех навязчивая идея, много раз об этом. И — у Тюрка.) «Получает деньги от разведок... получает деньги от ЦРУ». И, конечно, «готовый жертвовать детьми за книжонку» (за выход «Архипелага»).

Вот — выписываю, и всё это так для меня примелькалось, не задевает ни на миллиметр. Враги ли советские, или третьеемигрантские, или нью-йоркская образованщина, — все они лепят на меня одно и то же почти, слово в слово, и до бескрайности.

Не скромничает Флегон высказываться и собственно о литературе: Солженицын «не продержится в литературе долго». Сартаков как писатель куда лучше Солженицына. «„Телёнок“ — литературное дерьмо». Раз из «Круга» можно было выбросить 9 глав — значит «там много лишнего». — Да что там — и о языке моём уверенно судит: «корявый»; «„в круге первом“ — это не по-русски». (Ну да, он же назвал своё пиратское издание — как надо по-русски: «В первом кругу».)

И не брезгает Флегон никакими подделками. («Под подписью Флегона не было напечатано никогда ни одной лжи».) Где у меня неприличное слово в многоточии — он вытягивает его полностью и печатает как цитату из меня — стесняться ли ему? Знаменитое ленинское «не мозг нации, а говно» — прямо приписывает мне. Совершенно серьёзно цитирует Фан Фаныча (юмористическая глава «Зэки как нация») — как меня. «За голенищем нож» (подтасовка по рецепту Лакшина, все они сходятся, друг другу помогают). И, разумеется, не только умалчивает, что гонорары «Архипелага» я целиком отдал в Фонд помощи заключённым, но прямо

переворачивает: «Я обвиняю его в том, что он не поделился своим миллионным гонораром со своими несчастными соавторами, бывшими зэками».

Но и вся его слюнобрызгая брань, и все эти жульнические подделки, и нужные умолчания — разве так уж отличают Флегона от вереницы пошляков, уже просмотренных в этих очерках? Хотя иные из тех копьеметателей брезговали бы таким сравнением. Флегон отличается от них только и единственно своею патологической, безудержной страстью к порнографии, чем сбросил книгу свою ниже допустимого уровня, и она не пошла. (Однако на фоне нынешней новоэмигрантской литературы даже его порно-дрожь не так уж слишком и выделяется.)

О самом Флегоне ещё узнаём: «Русской литературе я посвятил всю жизнь». И: будто многие его подозревали, что это он сам пишет солженицынские книги. (Раз пятнадцать упоминается Окуджава, и всегда сочувственно, — тем больше веры показанию Окуджавы, что Флегон открылся ему как агент ГБ.)

И еврейскую мелодию нащупывает Флегон точно в духе гебизма: «нельзя принимать за чистую монету, что он — не Солженищкер»; «склонен думать, что он не русский».

Нет, наказан я, что не прочёл Флегона вовремя. Пишет: «Продолжать дело с ответчиком (Д. Поспеловским), уехавшим в Канаду, было бесполезно». Так тем более — в Штатах! Жестоко ж я ошибся, что согласился защищаться от иска Флегона. Как всегда, погоняемый своей работой, я не успевал вникнуть в обстоятельства дела. (Так думают и два спрошенных английских адвоката: Мастер британского суда просто ошибся, дав Флегону санкцию на предъявление иска в Америке, — а мы лопухом приняли, откуда нам знать законы?)

А мой суд с Флегоном в Англии всё откладывался, всё откладывался — больше пяти лет, и я был тем доволен: мне б только отодвинуть эту заботу на ближайшие полгода-год, не мешала бы моей безотдышной работе. И не задумывался, как же направит Э. Вильямс из Америки дремлющего Сайкса, а и вовсе не знал, что по требованию истца назначен именно суд присяжных (как и остерегал меня Ленчевский).

И вот сейчас, в конце февраля 87-го, узнаём: суд (судья Джен Кеннеди) идёт уже три дня, — и три полных дня перед 12-ю присяжными держит речь Флегон (Ленчевский описывает: пришёл в обтрёпанной одежде, для трогательности вынул челюсть, беззуб; а присяжные набраны по жребию — шут знает кто, едва ль не те бродяги, кто под мостами ночуют) и рассказывает о своей незащитной жизни от бессарабского детства (по его книге, впрочем, сомнительно, что он присоединён с Бессарабией, он как будто отлично знает советскую жизнь 30-х годов, Одессу), и зачитывает письма своей покойной мамыши, и (незаурядный артист!), обнищавший, измученный, со слезами в голосе, жалуется, как ему всю жизнь перековеркал этот жестокий богач Солженицын. Успех был — сразу обеспечен, демократическое чувство присяжных — на стороне загнанного истца. И уже ясен стал мой проигрыш, но всё заседание суда — о той полужае в нескольких экземплярах *русского* «Телёнка», изданного в Париже 12 лет назад, — заняло девять полных дней! — вот она, бессмертная английская Фемида. Вот сутяга (правда сгущённый донельзя тип ядовитого сутяжника, который так удавался Диккенсу) победоносно действует в английских королевских судах уже четверть века — и никто не может его остановить. А против КГБ английский суд и вовсе беспомощен.

И эти несведущие присяжные рассудили в своих безопасных креслах, что 15 лет назад в СССР, изнемогая в неравном бою с КГБ, я должен был аккуртнее выразиться о пирате, который в те самые годы испакощивал мои книги на Западе, — и присудили мне наивысший из возможных в данном случае штрафов — 10 тысяч фунтов. А со всеми судебными издержками и бесплодными адвокатами это будет и втрое. (Да если бы Флегон и проиграл — то кто будет платить? он же всегда банкрот.)

Вот ведь наука: не только самому никогда не подавать в суд — но даже и защиты ответчика не вести, всё равно огадят. Я был оскорблён этим кривосудством английского суда. Неправый суд разбоя злее, верно. Сколько обо мне писали и пишут гадостей — никогда меня то не уязвляло. Но этим случаем — разбередился. Унизительно, что получаю личное поражение от лица ничтожно-пошлого, да ещё безудержно меня же и оплевавшего. Я — немало терпел поражений, но и всегда, и в Америке, — действуя против анонимной огромной силы, — там и поражения не обидны. А тут — на ничтожном месте. По каким скалам лазил, а поскользнулся — на мрази, на мокрице. Конечно, можно считать, что и сейчас — это плата за срыв в прежней борьбе против КГБ.

Затягал-таки меня Флегон. Ну что ж, оказался ловчей — получай свой выигрыш. Да ещё же! — я своим проигрышем укрепил его положение и в предстоящем суде с Ленчевским!

Мой проигрыш может ободрить и других подавать на меня в суд, по английской давности никогда не поздно: Файфер? Жорес Медведев? Да удивляться надо: а «Штерн» почему на меня не подал? Ланген-Мюллер? Измотался бы я.

Во всяком положении легко утешиться, что «это ещё хорошо», могло быть — хуже, хуже.

...А Ленчевский — суд против Флегона выиграл! Черезо все нервы («львиная доля всей энергии и времени»), и со скудными средствами, хотя и подкреплёнными мною, выдержал многолетний марафон!

После того как летом 1983 Флегон сумел отсрочить их суд на неопределённое время, Ленчевский составлял «заявление для прессы» о Флегоне и рассылал во многие места (никто не напечатал, даже эмигранты). Писал мне: «Дело с этой стервятной птичкой немисливо не довести до логического завершения. Ресурсы флегоновских хозяев — неисчерпаемы. Борьба идёт не столько с прохвостом лично, сколько с ними. Я это понял отначала — и это-то меня воодушевляет». Да и верно, конечно.

И правда, Флегон тем временем совершал удивительные манёвры. Он как-то сумел не только возобновить действие своего упразднённого судом иска и тут же избежать новоназначенного жёсткого срока слушания в январе 1984 — но в феврале добился радикального исправления своего иска: не удалось включить туда меня, но включил в обвинение письмо Ленчевского в «Гардиан» — не дать защищать! бить по рукам! — «слова Ленчевского в их непосредственном или выводимом смысле означают, что Флегон — автор порнографического, позорного и клеветнического материала и некомпетентен в своей профессии как писатель» (а для англосаксов профессиональная некомпетентность — самое возмутительное обвинение). И уже Ленчевскому («феноменальная сатанинская изворотливость гада!») приходилось оправдываться, что он не самого Флегона как личность обвинял в этом, а лишь его книгу. Обойдя, при моём содействии, нескольких адвокатов, он убедился: «Окаянная гильдия, только выдавать деньги из клиента побольше. Наилучший адвокат для меня — по-прежнему я сам, в тройственной функции ответчика, солиситора и барристера». И летом 1984 подавал уже пятнадцатый по счёту affidavit (показание под присягой), прося аннулировать исправленный флегонов иск, судить же по исконному, и скорее! А флегонский адвокат настоял на новой отсрочке. И Мастер Топли — отложил. «Как-то особенно резко и больно, что передо мной — абсолютно бездушный чиновник самого наихудшего пошиба, судейский робот, и знать не желает ни о каком Гулаге, а виновная сторона перед ним — скорее я. Не читает никаких affidavits, не вникает в существо дела. Но, несмотря на все перипетии тяжбы, уверенности в конечной победе у меня и посегодняя не убавилось. А тревожат признаки нервного переутомления». Однако судебное колесо затягивало его опять. Послал он прошение на имя генерального прокурора Великобритании: вот злостный сутяжник с бесчисленными судами, есть же о том английский закон. Ответ прокурора: да, Флегон часто подавал в суд, но не доказано, чтобы без основания, а в некоторых случаях и выигрывал.

В дни, когда решалась судьба исков, Флегон даже изымал свою книгу из магазинной продажи. Миновала опасность — вёз самолично торговать ею на славист-

ской конференции в Нью-Йорке. Суд перенесли на конец 1985. А пока Флегон «явно готовит „смягчённый” английский вариант книги. Покуда эта ядовитая мерзость расплзается по свету — не видеть мне душевного покоя». И так радуется Ленчевский каждому моему позыву — как и мне бы начать действовать активно, — а я лишь приступлю искать нового адвоката, и вскоре отваливаюсь. Наоборот, пишу ему: «Не надо Вам задориться, годы жизни и силы дороже. Книга Флегона должна скончаться от литературной немощи, естественной смертью, а не от судебного приговора, что придало бы ей легендарный венюк». Нет, отвечает он, это надо «Вам — стряхнуть сутяжную паутину, которою он Вас опутал, взять Вашу защиту в свои собственные руки». Я ему, в 1985: «Если бы Флегон был моей единственной неприятностью. Но я обложен газетной травлей и если бы вздумал на всё отвечать — это бы съело все мои силы. На этом фоне обвинение, что я оклеветал Флегона 13 лет назад, — плюнуть и растереть. Только затхлый английский суд может кормиться такой тухлятиной. Кроме „Красного Колеса” всё земное для меня уже на каком-то десятом плане».

Флегон слал Ленчевскому письма с угрозами, отбить его от стояния. Тщетно. В который раз переложённый, их суд был назначен в июле 1986 и таким образом должен был состояться позже нашего суда; Ленчевский подсказывал Сайксу, что Флегон маневрирует, чтобы мой более лёгкий суд пришёлся ему первым; подсказывал поводы для оттяжки, но Сайксу не удалось. На назначенный суд каждый раз Ленчевский приводит своих доброхотов-свидетелей, и вот опять зря: Флегон, тряся гранками своей английской книги, добился новой отсрочки — «по крайней мере до ноября». (А нервы?) Бесплодно возражал Ленчевский, что уже прошло 5 лет разбирательства, что всё равно речь идёт о *русском* варианте книги, а не об английском, наконец уже сколько раз пренебрегали папками его собственных переводов — почему же надо ждать перевода Флегона? — Нет, Мастер велел ждать.

Но ещё и в ноябре 1986 их суд был бы раньше нашего февральского 1987, однако Ленчевский угадал верно: пока Сайкс дремал, Флегон перенёс суд с Ленчевским позадь нашего, на июнь 1987, и тем временем выиграл суд против меня. А их пятнадцатый суд — Ленчевский выиграл-таки!

Поддельное английское издание флегонской книги уже было готово, вот, представлено, но это Флегону не помогло. Судья Филлипс прочёл книгу, как заявил, от корки до корки. (Есть же в Англии и такие добросовестные судьи!) Значительная часть похабного русского текста не вошла туда, но Ленчевский представил переводы важных опущенных Флегоном мест — и Флегон не мог опровергнуть. То же и с иллюстрациями. Отклонил судья и тот пересмотренный, добавочный иск Флегона. Привёл Ленчевский на суд 22 свидетеля! — ведь многие и не в Лондоне, не поленились приехать, да уже не первый раз, — Майкл Никольсон, Гарри Виллетс, Мартин Дьюхерст, Дмитрий Поспеловский, Александр Ливен, Екатерина Андреева, Геннадий Покрас и опять же Леонид Финкельштейн, — какие ж ещё запасы душевности у людей в этом затрёпанном, закруженном мире!

Заключение судьи (присяжных, к счастью, не было). Да, книга Флегона есть клевета на Солженицына, она порочит и честность его как писателя, и его литературное умение, и его личную нравственность. Книга есть гамма от вульгарной брани до безобразия. Техникой коллажа вставляет лицо Солженицына в оскорбительные и непристойные позиции. «В общем, я затрудняюсь представить себе более обширные и оскорбительные нападки на человеческий характер и поведение. Серия грубых клевет». Кроме того, книга атакует в общем виде характер русского народа в целом. Не приводит никаких доказательств для подтверждения своих оскорбительных обвинений. Флегон приписывает Солженицыну слова его персонажей («расстрелял бы малолеток») или полностью искажает их смысл (что: «готовился пожертвовать жизнью сыновей, чтобы только увидеть свою книгу на магазинных прилавках»). Судья находит неудовлетворительными также и объяснения Флегона, почему он заляпал свою книгу непристойностями (якобы: «впервые напечатать эротические сочинения великих русских писателей, что имеет интерес для изучающих

русскую литературу»), — нет, причина была: через непристойности привлечь чёрный книжный рынок. Судья признаёт определение Ленчевского «псевдолитературное уродство» — как «честный комментарий для этой противнейшей на вкус книги».

Вот — и таковым способен быть английский суд. Всякий он бывает.

Такие книги, как Флегона или Тюрка, не могли меня задеть — по своему нижайшему уровню. А том Скэммела — пришёлся болезненно, ибо пошлость — причёсанная под объективную как бы даже науку.

О Скэммеле в первый раз я услышал ещё в Москве от Копелева, потом от Вероники Штейн: что вот ещё один настойчиво хочет писать мою биографию. Далась она им, хватало с меня Файфера-Бурга, я только отмахнулся. (Но почему-то, за глаза, представился мне Скэммел каким-то внушительным господином — и я в одном публичном заявлении, касаясь обыска его в московской таможене, особо назвал его «почтенным».) С тех пор не слышал я о нём долго.

А тем временем на Западе Бетта ли нашла Скэммела, или он сам тянулся через Хееба, — но к моей высылке он был уже их доверенным лицом: это ему поручили проверять и исправлять американский перевод 1-го тома «Архипелага» Томаса Уитни. (Переводческая репутация Скэммела высилась на том, что он перевёл на английский «Дар» Набокова.) Однако, узнал я ещё в Москве из письма Бетты (от 5.1.74): «Майкл Скэммел много болтает». Ещё раньше того, в ноябре, едва взявшись, уже он сообщил Копелеву в Москву, что «занят важной для А. И. работой», — зачем? дурной знак. И в начале же января 1974 сам слышу по Би-би-си его интервью об «Архипелаге». (Да и тоже, наверно, назвался сам: откуда бы знало Би-би-си, что он в «нашей команде»?) Вопрос: что в книге сильнее впечатляет — факты или авторский голос? Скэммел: факты. Вопрос: много новых фактов? Ответ: нет, новых фактов нет, это, в общем, известно, но много новых конкретных деталей.

И — что ж он понял в «Архипелаге»? в его душевной динамике? Сидел подробно над переводом — а не разглядел. Вот на этом уровне понимания Скэммел и остался навсегда. И мне бы сделать вывод. Да в моей метучей жизни — это стирается, забывается.

В конце того января, ещё до высылки, Бетта успела мне ответить в Москву: «Да, он меня тоже многим огорчил. Это западная черта — всё стараться использовать и на свою репутацию. На Западе для интеллектуала, особенно пишущего, главное: чем-то стать, прослыть, иметь репутацию. И приобретают славу в большой мере не знающие, а кричащие. Но: мало того, что Скэммел хороший переводчик, он, на этом настаиваю, — и неплохой парень. Предан Вам и делу. Видела начало его биографии: это — серьёзно, с желанием охватить глубже. Короче: не будьте столь требовательны и нетерпимы. Несомненно на Западе есть и другие люди, но кто сидит молчаливо и скромно — как найти, когда мы сами вынуждены работать тайно?»

И такие знаки — тоже забываются. (В прошлом году перечитывал тайные письма Бетты — и прочёл как совсем новое, первый раз.)

И действительно, нельзя же быть таким требовательным к случайным и доброжелательным помощникам?

По поручению Хееба Скэммел руководил переводом «Письма вождям» на английский (не сам переводил), потом устраивал (через промежуточного литературного агента) печатанье в «Санди таймс» и в «Нью-Йорк таймс» — но в Штатах оно не состоялось. В первом же письме ко мне на Западе — подробно объяснял неудачу, и с таким переливающим, затопляющим дружелюбием. А

«для дальнейшей работы над „ГУЛагом” — имею ли я Ваше доверие, или нет?» И отчего бы — нет? И по первой же моей просьбе Скэммел нашёл жадно желанного переводчика «Крохоток»: Гарри Виллетса в Оксфорде (того, кто, по Хеебу, уехал в Австралию и провалился). И настойчиво предлагал приехать ко мне в Цюрих. И его же я спрашивал, и он охотно меня консультировал, об английских и американских издательствах (это было ещё до появления Дюрана, я пытался хоть как-то разобраться). — С осени 74-го года взялся Скэммел и руководить переводами на английский статей сборника «Из-под глыб», чему я тогда придавал первейшее значение. Тут ожидалось вот-вот появление мемуаров Решетовской уже на английском — Скэммел сам накликался писать рецензии на них в американский журнал, в английский, — и нас о том известил.

И тут мы с Алей допустили глубокую, втягивающую ошибку: Скэммел сам рвётся писать о книге, — да разве можно углядеть со стороны, сколько там лживых деталей или, наоборот, сокрытий? он так доброжелателен, и так просит о встрече, — пусть приедет?

И в сентябре он приехал к нам в Цюрих. Молодой твёрдый англосакс (внешне не очень интеллигентен, — обменялись мы с Алей, — но в западной физиономистике какие мы спецы?). В разговоре, в общении не проявил яркости, но зато кажется несомненно порядочным — и какая к нам готовность, и какая расположенность! Нельзя представить лучшего и бескорыстнейшего друга, читал мои пометки на полях тех подстрипанных мемуаров. И всем тем — естественно утверждалось его право и писать биографию, теперь уж никак не отказать. (Через десять лет сам признаётся, напечатает в интервью: «Я был чрезвычайно доволен своей хитростью».)

Затем, для его переговоров о биографии с издательством: «*Умоляю* Вас написать хоть самую коротенькую записку как можно скорей. Это может быть Ваше согласие пока *в принципе* — или условно. Или, если хотите, я напишу Вам резюме своих взглядов на проект биографии, как я подхожу к тематике и как продвигу наше сотрудничество... важно узнать Ваше мнение о проекте, и могу ли я приступить к действию». («Сотрудничество» в мою жизнь не помещалось — и резюме я упустил, очень зря. А разрешение ему написал — и он использовал его для заключения договора с издательством.)

Уезжая, оставил мне читать свои начальные главы. И тут же в письме спрашивал: ну как? Только мне и осталось заботы. Сел я нехотя. Прочёл — удручился.

И вот что написал ему о впечатлении (1.10.74): Надо признать Вашу дружественность и добросовестность, но «по темам, которые Вы тут охватываете... Вы добыли и осветили хорошо если 10% материала, а чаще — меньше. И надо удивляться, как Вы могли иногда разглядеть такое труднодоступное, например, что я не менялся в зависимости от внешних обстоятельств. Однако в большинстве случаев, по жестокой нехватке материала [я думал, что лишь поэтому!], Вы не угадываете — интересов, движущих стимулов, направлений усилий. Минутами я закрывал глаза и воображал, что вот это я слышу о себе уже лёжа в гробу, что там, на Земле, написали, а уже не могу возразить или исправить — и, знаете, жутковато: как будто чьё-то лицо в водной ряби, но вроде — не моё. Да может, так и много биографий на Земле написано... Советую: не слишком спешить с Вашим замыслом... сегодня Вы ещё слишком не готовы». И предлагаю ему — пока заняться переводом «Телёнка».

А он извильчиво ответил так (18.10.74), будто мой отзыв воспринял как одобрение его «метода и подхода». Переводить «Телёнка» он согласен, но лишь как подготовку к биографии, а не взамен её, — а главное, напор и натиск: «Вопрос о том, насколько Вы сможете *одобрить* мой проект биографии и готовы *помочь и содействовать* мне, мы можем, если хотите, отложить пока (хотя для меня было бы успокоительнее узнать Ваше отношение сразу), но я твёрдо намерен написать её, и с тех пор, как мы встретились, мои мысли были только об этом».

Обороняюсь, отбиваюсь, уж хотя бы уклониться от чтения его дальнейших глав: «Как Вы понимаете, я не имею ни права, ни намерения Вас отговаривать, ни препятствовать Вам... Но и дать заверение, что Ваша биография „мною одобрена“, — дело очень щекотливое и может выглядеть недостойно: это сразу примет такой характер, как будто я заказал себе рекламу и способствую ей. Это приведёт и к необходимости многих консультаций, исправления Ваших материалов — всё это и не в моём вкусе и невозможно по времени».

Да «я с удовольствием, — разъяряет Скэммел, — возьмусь перевести Ваши заметки [„Телёнка“], если они не отнимут слишком много времени... Дело в том, что время так назрело для биографии, и интерес к Вам как раз так велик, что было бы жаль пропустить этот момент».

Откровенно написал! — вот и объяснение, вот и вся глубина замысла: «жаль пропустить момент». А я, в круговерти, опять не вник, не очнулся.

К тому же: «я не пишу просто „биографию“... там больше о Вашем творчестве, чем о Вас и о Вашей жизни», это будет — литературно-исторический очерк, и даже шире — взгляд на историю Советского Союза. «Сначала я не намеревался коснуться Вашей биографии, кроме как в самых общих и грубых чертах. Но потом меня издатель убедил, что читающая публика требует какой-нибудь очерк о Вашей жизни... Из книги Бурга и Файфера известно, что пишут легкомысленные и безразличные комментаторы. А Решетовская нам показала, как может писать злонамеренный комментатор, когда у него несравненно больше материала, чем у других... Для меня более интересна литературная *persona* автора, чем его личность. Я никак не собираюсь писать „интимную биографию“ с размышлениями о ваших личных побуждениях или фрейдянских импульсах, о семейных счастьях и раздорах (с единственным исключением, что там, где раздор уже стал достоянием публики — скажем, в случае с Решетовской, — лучше холодно и кратко изложить факты)... Без взаимного доверия и согласия о том, что возможно, что сомнительно и что недопустимо, нельзя приступить к такой работе... „Архипелагом ГУЛагом“ Вы совершенно подорвали первичную тему книги — воссоздать мир лагерей, осветить советскую историю под видом биографии... Но лучшего способа, чем Ваш „ГУЛаг“, не существует и вряд ли будет существовать в будущем... [Теперь] объектив моего аппарата будет отодвинут, так что я рассмотрю Вашу деятельность на фоне русского, а не только советском».

И я — поверил ему. Испросачился. Почему преградить такие искренние намерения? такой необывательский, такой широкий подход? (И вскоре пришедшие им недоумённые, элементарные вопросы по «Телёнку» — не очнуло меня тоже.)

И, по не первой уже просьбе Скэммела, написал в Нью-Йорк Веронике (двоюродной сестре Решетовской, но доброму другу моему и Али): отвечай ему, что знаешь, мне — меньше хлопот.

Перевод «Телёнка», однако, всё не начинался. А тем временем ожидалось, что Скэммел будет дорабатывать с Уитни, несмотря на нелады между ними, и перевод 2-го тома «Архипелага». Из-за этого в январе 1975 они съезжались в Цюрих, вместе и с Ноултоном, президентом издательства «Харпер». (Покоробил превосходительный тон Скэммела к старшему, кроткому Уитни.) Само собой, ещё более, я жду от Скэммела помощи в дирижировании групповым переводом «Из-под глыб», всё больше полагаюсь на него.

(Позже Скэммел окончательно отказался от перевода «Телёнка» — написав, что его не устраивает предлагаемая издателем Коллинзом оплата, — да и рвался, рвался он к биографии, «не пропустить момент». А мне — ещё лучше: Виллетс-то переведёт книгу блистательно. О переводе же «Дара» Вера Набокова так отозвалась в письме к нам: когда Скэммел «работал для моего мужа... похвалить его можно было разве из любезности, и то больше за то, что очень старался». И, будучи в Лондоне в феврале 1976, — я снял со Скэммела его обещания по «Телёнку».)

Между тем он стал присылать десятки и десятки вопросов — ответить о моём происхождении, о семье, начертить родословную, — и нельзя ли приехать в Цюрих на несколько дней, задавать вопросы (12.7.76): «Мои исследования будут окончены к октябрю, и я хотел бы поговорить с Вами, прежде чем приступить к писанию». И рвался помогать мне опровергать кагебистскую фальшивку, подsunутую через швейцарского корреспондента*, но обошёлся я без него. — Узнал о нашем переезде в Вермонт — просится тут же приехать в Вермонт.

И вдруг прислал сделанную им в какой-то лондонской библиотеке копию старой карты — и на ней указано, где именно под Саблей был хутор Солженицыных (место папиного смертного ранения). Очень тронуло меня. И опять сбивает эта обманная мысль: если всё равно кто-то будет писать биографию, и вот уже пишет, и вроде бы приличный, дружелюбный человек, — уж тогда лучше пусть его факты будут точны. Но и бесконечные объяснительные папирусы исписывать — тоже сил нет. Пусть уж соберёт все вопросы, приедет — и ответить ему разом. Потратит несколько дней на устные ответы, нежели месяцами переписываться по почте. Несравненная экономия времени.

И мы согласились на приезд его в июне 1977. С твёрдым условием: отвечать будем сейчас на все вопросы, безвозбранно и сколько поместится, — но на том и конец, больше потом не требуйте. — Да, да, конечно!

Приехал на три дня — пробыл неделю. Расспрашивал меня и Алё вдоволь и поперёк, на магнитофон. И «Дороженьку», ещё никому не известную**, я ему открыл. И он немало оттуда набрал: мои разговоры с дедом, и как дед пошёл умирать в ГПУ, как ГПУ отобрало обручальные кольца моих родителей, мои юношеские встречи с эшелонами зэков, и, достаточно напутав, настроения моей довоенной юности, и настроение, с каким я ехал из Пруссии арестованным. Вчитывался он и в мои ничтожные юношеские наброски о велосипедном путешествии 1937 года по Кавказу, как теперь оказывается, без разрешения моего выписывал и втиснул в биографию целые оттуда абзацы. И при этом не обошёл научным вниманием как значительный признак, что на обложке одного из тех моих скудных блокнотов времён второй пятилетки напечатана была типографски цитата из Сталина, привёл в биографию и её, назвав «motto». Но «motto» — и лозунг, и девиз, и эпитафия, — и неприятели истолковали это как *мой* «эпитафия из Сталина», даже «посвящение Сталину», — так перефутболивают мою юность от копыта к копыту.

Писал Але вослед: «Хочу выразить Вам и А. И. огромное спасибо за ваше щедрое гостеприимство и за бесценную помощь, которую вы мне оказали. Информация, которую я получил, буквально преобразила моё представление и понимание ранней жизни А. И. Пребывание у вас было не только умственно, но и человечески богато».

Однако — «уже видно, увя, что я пропустил некоторые важные моменты, или же недостаточно „допрашивал“. Как мне быть? послать Вам вопросы... или же забыть о них и быть благодарным за то, что уже получил?»

Ладно, я ответил.

Но весной 1978 — снова просится к нам приехать! Нет, я с головой в работе, «не смогу оторваться».

Тогда — ещё вопросы, письменно. Ну, теперь-то — последние? Отвечаю.

Но в конце 1978 он получил под мою биографию стипендию рокфеллеровского фонда, «с декабря стал работать в более быстром темпе», и — новый каскад вопросов. Уж это — сверх всякого уговора. И конца не видно, отчаяние. Пишу (февраль 79): «Предвидимые размеры работы с Вами никак не по-

* См.: Солженицын Александр. Угодило зёрнышко... Часть первая. «Ещё год перекажи». — «Новый мир», 1998, № 11.

** Лагерная стихотворная повесть, сочинённая без бумаги, на память. Я впервые опубликовал её лишь в 1999, вместе с другими ранними работами: Солженицын Александр. Протеревши глаза. М., «Наш дом — L'Age d'Homme», 1999. (Примеч. 2000.)

мешаются в моё время. Я сейчас психологически неспособен отрываться на эту работу. Я даже на текущую самую неотложную переписку совершенно не нахожу времени. Признаём, что я и так уже дал Вам весьма достаточное основание».

Нет! Тут же снова просится приехать «на 3-4 часа с магнитофоном». И той же весной опять: «приехать летом и в один мах расспросить». Отвечаю (июнь 79): «Вы хотите от меня невозможного. Я и так уже снабдил Вашу книгу уникальными сведениями, где-нибудь же надо остановиться. Мне сейчас очень тяжело отрываться мыслями и чувствами».

Впрочем же, в каждый приезд в Нью-Йорк он расспрашивал и расспрашивал Веронику. В Европе встречался с Паниным, Копелевым, Эткингом, Синявским, Ж. Медведевым, Зильбербергом, в Штатах с Ольгой Карлайл, Павлом Литвиновым, — почти всё моими открытыми недоброжелателями. А уж мы хотели — чтобы только оставил он нас в покое.

Осенью 1980 сообщил, что «полный текст будет готов к концу года... и если бы было возможно видеться с Вами и обсудить книгу в один последний раз, это было бы для меня неимоверно полезно». Обсудить? Он же с облегчением принимал, что обсуждать не будем.

Аля ответила ему (январь 1981): «Чтение Вашей рукописи излишне. При взаимной симпатии, между нами есть значительная разница во взглядах. Влиять мы не хотим и не считаем возможным. С чисто фактической точки зрения — мы надеемся, вы окажетесь достаточно тщательны и тактичны».

Он в ответ: а хорошо бы приехать на два дня... «Что касается чтения [вами] книги — я вполне доволен вашим решением и даже облегчён... Высоко оцениваю вашу тактичность... Какие могут быть разные трактовки об общественной роли А. И.? А что касается литературной, тут ещё меньше места для разногласий».

И — замолчал на три года, тишина. В 1981 биография не вышла. В 1982 тоже не вышла. И в 1983. Но пришли из Москвы через Н. И. Столярову сведения, что Решетовская находится в переписке со Скэммелом и обильно шлёт ему материалы. Ну, пусть шлёт, у неё большая такая потребность. (Однако интересно: кто ж ту переписку обеспечивает? Самые мрачные годы идут, с начала афганской войны всё ожесточилось, все *левые* ручейки иссохли; корреспондент «Нью-Йорк таймс» Шиплер повёз было в Москву наши срочные письма, однако за 6 месяцев так и не смог передать, вернул всю пачку; но к наташиным-то услугам должны быть каналы АПН. А если поток течёт просто по почте, то редактор «Индекса цензуры» не может же не понимать, что его соработа с Решетовской благословлена властями.) Поначалу не поверила Вероника: ведь Скэммел сколько лет подробно её выпытывал — а теперь ни слова? Она встретила его на конференции славистов, сказала, что — знает о переписке. Он смутился. «А почему ж не скажешь?» (Оказалось: Решетовская поставила условием, что поступление её материалов Скэммел скроет от меня вплоть до самого выхода книги. И он обещал. То есть: согласился никак их не проверять.)

И вот — в августе 1984, после трёхлетнего молчания, — письмо от Скэммела: книга сейчас печатается. «Я предполагаю, что не всё в моей книге Вам понравится. Она же не написана, чтобы понравиться, а чтобы искать и осветить истину... Потомство скажет [размахнулся], но я руководился исключительно своей совестью... Вряд ли Вы напишете мне Ваше мнение. [Чует, чьё мясо...] Хотел бы Вас поблагодарить за то доверие, которое Вы мне оказали, за отсутствие каких-либо давлений или попыток влиять на мой текст».

А через две недели — вот и книга. Название крупно — «Солженицын» и во всю обложку моя фотография, — тот же приём, что у Карлайл. *Тысяча* убористых страниц! Листаю. В книге — фотографии, полуренные от Решетовской. Но что такое? — под каждым третьим снимком неверная подпись: либо имя не то, либо место перепутано, либо не тот год, а то — даже личность не та, или не те указаны обстоятельства. Вот это аккуратность!

Читаю предисловие. Сразу — не верю глазам, бесчестное искажение: будто я считал непременно авторизацию биографии (а не отказывался от этого

от начала до конца)! А он — «не хотел поставить себя под надзор» и сумел склонить меня к компромиссу. И тут же — непорядочная жалоба, что я «сло-мал сотрудничество», сначала пообещал, а потом обещанию изменил, «невоз-можность получить ответы на простейшие вопросы» из-за «солженицынского темперамента!» (Это после его гощения у нас и всего, что я ему открыл! И ни звука об условии: приедете один раз — и хватит, больше не занимаемся, — так кто ж изменил обещанию? И ещё сколько сверх того ему отвечал. Ну да, на-до ж — цену набить, как трудно-трудно было ему добывать материалы, как я сопротивлялся, а вот — он добыл!) Зато — сотни (!) ссылок на Решетовскую: на многостраничные «письма к автору», на «неопубликованные главы», а бо-лее всего — на её надёжную, в соавторстве с АПН, книгу. О «Телёнке» (кото-рый он высосал до предела, не было бы «Телёнка» — на чём бы ему и биогра-фию строить?): что это — «противоречивые и хвастливые мемуары», они «вво-дят в заблуждение, сбивают с ног, в них нет объективного анализа». А сам Солженицын — «спорная фигура» (полностью в их духе, а иначе и писать нельзя), цель же Скэммела эту фигуру «высветить и объяснить».

Как же изменился его тон ко мне от просительного в 1974, когда я был на высоте признания, — и вот в этот теперешний, когда меня пинает всяк кому не лень.

А между тем — построение Скэммела о невыносимых трудностях работы со мной (и тем бóльших заслугах его исследования) тут же подхвачено было широчайше. Самая ранняя рецензия, «Вашингтон пост»: «почти параноидаль-ная подозрительность» Солженицына, «от старта до финиша из него было трудно вытягивать информацию». Дальше — посыпались десятки рецензий, и вряд ли хоть в одной не обсуждались мучения Скэммела со мной...

Острое чувство обогнанности было у меня от появления этой книги, горь-кий урок оклеветания. Если «Телёнку» нельзя верить — значит, я попросту лжец. Это какой же по счёту надменный западный автор врезается судить ме-ня и порочить? — перед читателями неосведомлёнными и которые никогда ничего не смогут проверить.

И что теперь? отвечать? — значит и читать, изучать эту тысячу с лишним страниц о самом себе? бросить «Красное Колесо» в разгаре? — невозможно. Читаю пока только рецензии, да несколько близких друзей (особенно И. А. Иловойская) засели читать подряд, написали подробные впечатления, указали мне самые едкие проплешины пошлости, бестактности, низких толко-ваний. Да, самому прочесть будет неизбежно.

Несколько раз я уже не отвечал — как Зильбербергу, Файферу, Чалидзе, Си-нявскому — и всё это прикипало, прикипало на мне на годы засохшей коркой.

Как, из своего опыта, советовал мне Бёлль: «Изберём путь презрения».

Да, сейчас невозможно отвечать. Ещё и потому, что Скэммел широко, открыто полагается на Решетовскую, несколько сот страниц его книги — это роман, созданный оставленною женою.

Значит и тут — отложить на годы, может Бог пошлёт жизни. Перетер-петь — ещё и это.

Но и оставаться, живому, дробно обогнанным — пакостно.

Да хоть опубликовано-то при моей жизни, спасибо, а после смерти бы — ещё хуже.

Прочесть и записать на будущее.

И что же — книга?

Равномерно, сквозь всю толщу, нигде — душевной и умственной высоты понимания, низменный взгляд на высокие предметы.

Черезо всю книгу тянутся два постоянных усилия биографа. Первое: по возможности, мои поступки, мои движения, чувства, намерения — свести к посредственности, на понятный обывателю лад; расчесть, какие были бы био-графу самому понятны мотивы, — и приписать их мне; изо всех возможных

объяснений — выбирать самое пошлое и низкое, и чем дальше в толщу книги — тем с большим раздражением он меня «одёргивает»; движений и чувств крупных, крайних, накальных — он совсем не понимает, лишён.

Второе: во всяком моём кризисном, поворотном пункте — подозревать мою неискренность, сокрытие истинных мотивов; в трактовке этих моментов быть всегда на стороне моих недоброжелателей — и это, вероятно, не по злости ко мне, но, как он рассчитывает: это лучшим образом и обеспечит ему требуемую «научным стандартом» уравнищенность, «фифти-фифти». Как можно больше недоверия к персонажу, никакого *цельного* характера существовать в природе не может, и если не разорвать его в клочки и в противоречия — то где же тогда фрейдистские комплексы? и где же объективный самодостаточный исследователь-биограф?

Насколько же веселей — и честней! — открытое неприятие, споры, нападки, даже ругань, — чем это болотное испытание пошлостью.

Чьё это лицо — в водной ряби?..

Не для читателей сплошь, а для специалистов, кому надо будет покопаться, — вот подробней.

Уже общая оценка «Телёнка» такова: это — недалеко от эренбургских самооправданий в мемуарах. (Что ж он понял? Эренбургу надо было оправдать тридцать лет коллаборантства с режимом. А что мне оправдывать — фронт? тюрьму? подпольщину? взрывы в морду власти?)

Какие мотивы могли двигать этим писателем, зачем-то полезшим атаковать могучую власть? Конечно: он гоним честолюбием и желанием преуспеть. (Объяснение от Решетовской и АПН, да и исконное обывательское о ком угодно: они кроме честолюбия, ну и наживы, ничего в людях не усматривают.) Конечно — дурные свойства характера: врождённая раздражительность и упрямство. (И вот — не ужился в Союзе писателей, где все отроду уживались.) — Поступил в комсомол в свои 18 пылких лет? — это было «конъюнктурное решение», то есть убеждений таких у юноши, конечно, быть не могло. Но затем, странно: на шарашке, уже пройдя обучение в тюрьмах и лагерях, — я имею взгляды, «тесно близкие к Копелеву»: как и он, я «ленинец во враждебном окружении», мы «объединяем себя с правящим слоем», мы оба «считаем своё осуждение ошибкой юстиции». (Вот уж — ни минуты я не считал. Всё так — чувствовал Копелев, и перетянул шкурку на меня, а Скэммел охотно принял.) Да что там, уже и в ссылке, после 8 лет лагерей (уже написаны «Пир победителей», «Пленники») — «ленинизм ударял по его ответной струне». Да что там, даже и в Рязани (написаны «Танки», «Круг», пишется «Архипелаг») — Солженицын «ещё сохранял веру в Ленина более или менее неповреждённой». Вот понял так понял, вот вник так вник. (Да у Скэммела и «Священный Байкал» — оказывается, «советская песня».) — Тогда упоминать ли ещё мнение биографа, что «дело не так просто», будто я не женился в ссылке из-за рукописей (и что их, правда, беречь и прятать, если они озарены ленинским светом? и много ли вообще стоят рукописи для писателя?), а не женился — потому что был «очерстевший холостяк», «не слишком большой опыт с женщинами», — вот это будет доступно, понятно и биографу, и читателю.

Не может быть, чтоб я имел в себе столько самообладания и внутреннего спокойствия, чтобы не кинуться упиваться симоновской статьёй об «Иване Денисовиче» в «Известиях» (статьёй советского фаворита в прожжённой советской газете; разве примыслится биографу такая дикость, что «Иван Денисович» уже был для меня в тот момент проскоченный барьер, а густые заботы клубились — о судьбе следующих произведений). — Не может быть, чтоб отказался от почётной встречи с великим Сартром^{*}, — от чего другого, как не от соединения гордости и робости: «буду слишком страдать». (Не допускает, что я Сартра просто презирал.) «Этот от-

* Солженицын Александр. Бодался телёнок с дубом. М., «Согласие», 1996, стр. 132. (Далее ссылки на это издание даются с указанием названия и страницы.)

каз возможно выражал известную паранойю со стороны Солженицына». (И много раз по книге рассыпана «паранойя» — с такой отмычкой биографу удобнее всего понять своего персонажа.) — Или вот появился меморандум Сахарова о сосуществовании и прогрессе, имеет шумный успех на Западе, — что должен ощущать Солженицын? Тут — «намёк на соперничество со стороны Солженицына». (Это когда я ужаснулся наивным аргументам Сахарова и его плохо продуманным формулировкам о советском социализме: куда ж он направляет освободительное движение и как искажённо представляет мир?) — Или вот: арест и процесс Синявского и Даниэля. «Создаётся впечатление, что Солженицын был расстроен этим внезапным включением прожекторов и ревновал к публичности, привлечённой ими». (У кого создаётся? Да я — облегчён был! что не на меня пока пришёл главный удар, что я ещё уцелел для «Архипелага». Я полон был «Архипелагом», выполнял в Укрывище по две нечеловеческие нормы в день, только бы успеть кончить! Эту придуманную зависть Скэммел меряет опять-таки по себе?) — А уж когда Синявский приезжал ко мне прощаться (и знакомиться) перед отъездом за границу — «это позирование», будто Солженицына тоской обдало, что всё меньше остаётся людей, желающих потянуть наш русский жребий. То есть: просто вру, такого чувства к России у меня быть не могло, а ясно, что я только и мечтал сам удрать за границу. (Отчего ж не уехал за премией в 1970? отчего не принял в 1973 угрозного подталкивания КГБ, принесенного в клюве женой Синявского?)

А что ж когда доходит до моих критических моментов, до узлов жизни, где переламывается или взрывается судьба? Тут я ему — и напрочь непонятен, тут тем более надо наложить пластыри посредственности.

Письмо съезду писателей. Там сказано: «Свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. За движение [правды] я готов принять и смерть». Ну разве может так быть? Но это не помещается в обывательском лбу! Заплатить за свои книги жизнью? какой полумный! зачем? а кто, например, будет потом получать славу и гонорары? Итак: «Пошла мелодия риторических преувеличений».

Провал моего архива у Теуша*. Насмешка: «Подозрительность Солженицына и почти суеверный страх направили его истолкование прочь от случайности, но видеть единственное объяснение рейда [КГБ] в умышленном действии». А на самом деле? Очевидно: КГБ брело как слепое, понятия не имело, где и что ему искать, бросало шарик, к кому пойти на обыск. И во всём детальнейшем изложении — твёрдое правило: верить Зильбербергу и ни в чём не верить мне.

Разгон «Нового мира». Во 2-м дополнении к «Телёнку» (1971) я, *оглядываясь через год*, пишу: не оказав сама публичного сопротивления, головка редакции не должна была вымогать жертвы из младших членов редакции: уходите со службы, бросайте! и от авторов — забирайте рукописи, не печатайтесь!** — Это извращается Скэммелом так, будто я именно в самые недели разгрома в разговорах с другими авторами критиковал режим в «Новом мире», равнодушие Твардовского к младшим сотрудникам, даже якобы «предложил свою поддержку заместнику Твардовского Косолапову», и «вдохновлял других авторов к тому же». (А это — от Файфера, что ли? Тот сочинил, что я ходил к Косолапову с предложением услуг. Клевета что уголь — не обожжёт, так замарает.) — «Солженицын не был признателен никакому [советскому] журналу, лоялен — никакому издателю». А потому что путь мой начался не в хрущёвскую «оттепель», а от огней революции — и обещал окончиться лишь где-то в конце века. Я берёг себя для огромной работы, для больших боёв с этим Драконом — но в голове Скэммела такое не может поместиться, и он ищет посредственности: сотрудничество с советскими властями? Да он и видит это «сотрудничество» на каждом шагу моей жизни: после «Ивана Денисовича»... вступил в Союз писателей (а должен был остаться преподавать в школе), «посещал кремлёвские встречи» (а должен был — плюнуть на приглашение ЦК, швырнуть

* «Телёнок», стр. 117 — 120, 423 — 428.

** Там же, стр. 263, 264.

им в лицо назад), «активно состязался за Ленинскую премию» (в чём же я «активно состязался»? не шевельнулся за всю ту историю).

Вот так он меня излиховал.

Тщится непременно поставить себя выше своего объекта и как бы «над схваткой» — но не упускает перенимать себе каждый аргумент моих противников, в том числе ГБ. Широко и просторно использует материал из моих книг (часто — как будто им добытый, не ссылаясь) — но не теряет настороженной недоверчивости: а к чему бы придаться? а где бы ковырнуть? а какой бы штрих мог персонажа опорочить?

На компромиссы, Скэммел меня поучает (!), идти нельзя. Но и он же поучает: нельзя «твердолобо противостоять реальности» и «толкать власть на невозможное» (это — прямо от АПН—Решетовской: надо же пожалеть власть!). Хорошая вразумка.

Взявшись изложить мою семейную жизнь по рассказам бывшей жены, безоговорочно приняв её сценарий (со всеми диспропорциями, сокрытиями, припрятыванием шестилетнего другого замужества, пока я был зэк, раздуванием её небывлой роли в моей работе), — он переступает и дальше: именно по её показаниям объяснить и мои отношения с Твардовским, и встречи с ним с глазу на глаз, и что происходило в «Новом мире», чего Решетовская сама не видела, — и всё это для него достоверней моего прямого рассказа. И мои отношения с властями, всё политическое истолкование событий — взято тоже от неё. А если её версии кажутся в чём-то спорными, то, после подгонного рассуждения, биограф постоянно склоняется в её пользу.

Так вот только почему Скэммел не написал биографии *литературной*, как вроде бы собирался: он увлёкся — бракоразводным процессом...

Да как я мог подумать, что Решетовская была кем-то послана ко мне вести переговоры о «Раковом корпусе»? (Нет, она *от себя* предлагала напечатать его *в своём* издательстве?) Да в крайнем случае, если, мол, и послана, то от ЦК партии, а не от КГБ! (Смех один. И АПН он пытается вслед за Решетовской отличить от КГБ...) Да как же я мог вообразить, что на Казанском вокзале нас фотографируют или записывают на плёнку? Это «свидетельствует о сильно окрашенном видении реальности, если не о симптомах подлинной паранойи». (Интересно, и после тайных съёмок Сахарова в горьковской больнице на фильм — Скэммел всё верит, что это — паранойя? И после свидетельства Галины Вишневской, как, вслед моему отъезду от них, гебисты извлекли из-под пола «моего» флигеля большой ящик аппаратуры, — тоже паранойя?) И — неужели я мог поверить, что КГБ (после угрожающих анонимок, присланных через проверяемую ГБ почту) может что-либо сделать с моими детьми? «До какого предела он был пленник саморождённого мифа?»

Вот в такую топь и должен был забрести биограф, постоянно непременно ища аргументы в пользу противоположной стороны. И как подходит ему всё из книги АПН—Решетовской, черпает оттуда немеряно.

По мнению Скэммела я — то и дело преувеличиваю опасности и просто играю в ненужную конспирацию. (И что ж он понял, как приплюснута была моя душа этой ежедневной конспирацией, как она разрушала мне нормальную жизнь и писание?) Он видит «избыточное самоудовлетворение» в том, как я заучивал тексты наизусть и сжигал их. (И только тем спас. Он и представить себе не может, сколько моих предшественников безвестно погибло на том пути.)

Наконец — и изгнание моё с родины нельзя же не оболгать. Я пишу в «Телёнке», что когда в самолёте внезапно вскочил и пошёл искать уборную (я в самолёте-то летел всего второй раз в жизни) — то ближайшее заднее помещение было пустое, — да не до разглядывания было, уже гебист положил руку на плечо и повернул меня. Но отсюда Скэммел разворачивает торжествующий детектив: ага! врёт! известно, что в заднем салоне сидели пассажиры — а тут никого? (Да, я за весь полёт не видел людей и не подозревал, что кто-то ещё летит, кроме моих гебистов.) Так — не врёт ли и всё остальное?? Да может быть Солженицын добровольно сговорился об

отъезде?! — а тогда потрясающий вывод: это уравнивает его высылку с отъездами (через ОВИР) Синявского, Бродского, Максимова и других?! «Подобно многим другим неясностям его жизни это всё ещё надо уяснить» — к тому нюх биографа и интеллект исследователя. (На чём основаны его подозрения? — да ни на чём, на обязанности биографа непременно подозревать.) — Да больше, да даже такой вопрос: а кто выбрал Германию? Да может ли это быть, чтоб Солженицын не знал о месте, куда летит самолёт, пока не приземлился во Франкфурте и увидел надпись, — наверно и тут врёт? да неужели же в его салоне не было объявлений по громкоговорителям, куда летят? неужели советские могли отключить? (Именно так.)

Не затрудняется Скэммел бойко объяснять непонятные ему мои мотивы и на Западе. Не отвечал на нападки противников? — значит, попали в цель, так оно и есть. Отвечал (Карлайл)? — «ничем не вызванная резкость». А почему на Западе вмешался в политику? «Это — бессознательный побег от проблем, возникших в историческом романе: на Западе [Солженицын] встретил большие трудности от массы информации» (то есть: открылись мне архивы, упиваюсь! — нам бы ваши заботы...). Вот, выступление в Вашингтоне в 1975? «Можно только спекулировать о причинах такого экстраординарного взрыва». (Вдоль и поперёк зубрил «Телёнка» — и не понял. Какие угодно личные, и низкие, мотивы — только не принципиальные. Не понял простой горячки боя — и что же вообще он понял во мне? зачем же взялся обо мне писать? — только для престижа? для заработка?) — Скэммелу «трудно объяснить и повышенный тон радиовыступления» в Англии. (Это — действительно не на поверхности, да. Это — русская горечь на Англию за её измены в Гражданской войне и во Второй Мировой. Но тут как раз не я его и занимаю, у него взметнулось своё истинное левое негодование на отечество: как могла Англия так восторгнуться Солженицыным и даже оскорблениями от него? «Низкое состояние британской морали и чувство неполноценности, достигнутое к середине века... оргия мазохистической эвфории». Да сходно — и во Франции, бя!)

Наконец и мою вермонтскую замкнутость — чем можно объяснить? не может быть у писателя нужды в уединённой тишине! — ясно, что и тут моя «психологическая причуда».

А если ещё и сам персонаж там, сям, в своих разных книгах каялся о скрытых поступках своей жизни — то какие ещё возможности выпясывания для низкой души! Такие раскаяния, каких сам и не сочинишь, — как эффектно пустить в финале распухшей книги, — но уж не от персонажа, конечно, а от добросовестного биографа.

Всё ж иногда Скэммел признаётся: «трудно его трактовать». Приведёт какую-нибудь сочную цитату из моей книги, использует её для себя и тут же укусит исподтишка: да может быть так, но отчасти и не так. Всё время — страх занять окончательно чёткую позицию. Двусмысленность тона на всякий случай.

Так неужели ж его прокламированный когда-то литературно-исторический очерк, «больше о Вашем творчестве, чем о Вас и о Вашей жизни», — так-таки и сполз бессильно в одну лишь политику и быт? так-таки ничего собственно о литературе в 1100-страничной «биографии писателя»? И что же, в этом нисходящем ряду: «Ахматова, Пастернак... Бродский, Синявский, Надежда Мандельштам, Виктор Некрасов» — есть ли место Солженицыну? действительно ли он так талантлив? — приводит высказывания туда и сюда, вот Копелев, например, судит очень скептически. (Но какое-то местечко в литературе всё же есть, раз издательство такую пухлую биографию Скэммелу заказало.)

Да, трудно брести по жизни писателя без художественного вкуса и личного такта. Духовного измерения, мировоззрения, взгляда на историю и тем более

* В 1994 в России опубликовали сборник «Кремлёвский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне» (М., «Родина», 1994). Там — документально представлено, как Политбюро ЦК замысливало мою высылку и осуществило. (И как, по крайней мере с 1965, рассматривало каждый мой шаг в лупу, по докладам КГБ.) — Надумали было эту книгу переводить и в Штатах. И — кто же выскочил со всезнанием писать отзыв? Да Скэммел же! — не утрать от своего прежнего и не видя себе в том никакого морального неудобства. (Примеч. 1995.)

смысла самих моих книг — там не искать. Ни даже прямых статей, напечатанных в «Из-под глыб», Скэммел не понял, всё свёл к шаблонной политике. Хочет стать выше предмета — а ползёт всё ниже и ниже, всё кряду запошил. В том духовном мире, в котором я жил все годы, — он не был ни минуты. Ему недоступно поверить, что можно действительно ощущать долг перед погибшими, долг перед Россией. Сам сплетенный из мелочных черт — он безнадежен объяснить мою жизнь, хоть бы и хотел.

Он и сам пишет (вразумляя «авторитарного» Солженицына): «свобода в том, чтобы быть пошлым, сенсационным, безответственным — равно как и серьёзным и объективным». Вот-вот, на мою биографию неизбежно должен был найтись околлитературный пошляк, он и нашёлся.

Американская пресса, разумеется, хлынула ливнем похвал на биографа, рецензенты друг у друга переписывали похвалы (не все, конечно, одолев тысячу с лишним страниц): биография хорошо сбалансирована (это-то для американцев самое главное)... справился с невероятно трудной задачей... может стать одной из великих книг нашего времени... возможно самая важная биография... шедевр биографического искусства... Это — больше, чем обзор исключительной жизни, — это и история советского общества...

Совсем потерялись в хоре восторгов одиночные голоса: кто не нашёл в книге «серьёзного и глубокого изложения», кто сетовал, что у Скэммела «почти полностью отсутствует какой бы то ни было анализ литературного мастерства писателя и той традиции, с которой надо связывать его политическое мышление».

Можно себе представить, как же расцвёл под порханьем похвал нечестоплюбивый Скэммел, как же он раззявился на славу, ведь сравнивали его и с Шекспиром. Увесистая биография принесла ему докторскую в Колумбии, кафедру в Корнеле, всеамериканское турне по университетам: ещё отдельно поведывать студентам, как писал он биографию Солженицына, с какими трудностями и находчивостью.

А потому что на родине у себя, в Британии, не разъездишься: там-то у критиков и поглубже знания, и вкус — и мимоглядная пухлая биография Скэммела восторгов не вызвала. Поначалу назвали было серьёзным достижением... убедительной трактовкой... — но быстро осадили Скэммела в ведущих газетах: в этой «трудолюбивой биографии — тенденция не видеть леса за деревьями», в книге «нет красок, метафор, ни одной вспышки неожиданного остроумия... серый стиль снижает достоверность биографии... не даёт нам почувствовать радости борьбы» — да если Скэммел сам её не почувствовал, так откуда взять? «Многое уже известно из „Телёнка“... Скэммелу недостаёт литературного воображения, таланта и духовной проницательности... Возникают серьёзные сомнения об общем понимании Скэммелом биографии писателя... Мелкие достоинства, а книга — не состоялась... Повествование, выдыхаясь, попадает в колею проходных мест... Истошился, не сумел осуществить грандиозную цель...»

А в Соединённых Штатах была и ещё одна рецензия, в «Нью рипаблик», быстро вслед книге Скэммела: Карла Проффера. Фамилию эту я помнил: это ж тот самый Проффер, которого накликал мне Лёва Копелев в декабре 1973, последней моей зимой в Переделкине, в мои чёрные дни. Его с женой Лев привёз, меня не предупредив, а им, очевидно, обещал встречу со мной. Лев нашёл меня на участке под дальними соснами: «Профферы приехали! Пойдём!» — «Кто ещё такие?...» — «Американские издатели! Влиятельные! Пойдём!» Боже, зачем? Душеньку мою измученную оставьте в покое, не пойду! в голову не лезет никакой разговор. Лёва страшно раздосадовался, ещё угovarивал меня, впустую. Наверно объяснил им: капризный, трудный характер. Натурально им и оскорбить-ся: мы из Америки ехали, а он тут рядом, и не идёт.

Потом, на Западе, жена и соиздательница ещё, кажется, писала Але в Швейцарию, но не дошли наши руки завести знакомство. (А были они действительно влиятельны: создали и успешно вели издательство «Ардис» в Мичигане.) Видимо, обиделась чета на нас крепко. Когда появились «Прусские ночи» по-английски — на них была мгновенная рецензия Проффера: зачем было об этом бездарно писать (в 1950), если у Копелева написаны (к 70-м годам) талантливые мемуары о его наблюдениях в Восточной Пруссии? А теперь — вот эта рецензия.

Прочёл я её в ряду других американских — раньше, чем сам томище Скэммела. Даже из этого ряда она выделялась резкостью. И Проффер, как все те, находит книгу Скэммела «тщательной, убедительной, сбалансированной». Вполне он убеждён Скэммелом, что Солженицыну «не чуждо извращение фактов», вот — «Скэммел доказывает документально, что подробности высылки были Солженицыным искажены» (каким же документом?). Но с высоты своей американской культуры взирая на поперёк изученную им русскую, Проффер разрешает себе заявить и вообще о «бледной русской литературе, которая тянулась со средневековых времён до пушкинского периода»; о том, что русские сами о своих всегда пишут «жизнеописания святых», напротив, «основные труды о многих русских явлениях, политических деятелях и писателях были написаны не в России и даже не по-русски». (Это чванство весьма присуще многим западным славистам: что основные труды о России написали именно они. О самом Проффере читаем, что после университетской баскетбольной юности он сперва подумывал стать профессионалом баскетбола*, затем избрал своим жизненным занятием русскую культуру.) С такой-то высоты Профферу легко высмеять идею, будто страдания (а не комфорт) возвышают дух: тогда, хохочет он, «камбоджийцы уже, наверно, гиганты духа». (А и — пригляделся бы к ним, прищурился, камбоджийцы в Штатах есть, духовней многих американцев.) И я ему понятен насквозь: выступления мои — «трескотня... что-то болтает»; Гарвардская речь — «достойная старшеклассника ахинея»; успех мой с «Иваном Денисовичем» просто в том, что «с лагерной темой опередил других»; похвалы «Кругу» неоправданны; но и в «Архипелаге» «Солженицын не научился основным литературным приёмам. (Вскоре я узнал, что эту рецензию Проффер писал, умирая от рака и уже зная, что обречён. Умирающей рукой выпечатал он, чего этот ненавистный Солженицын заслуживает, и — будем надеяться, что успокоенно — умер, статья — последнее, написанное им.)

Однако рецензия Проффера выделилась для меня не этими злыми замечаниями, а вот чем: Копелевым, де, описан другой Солженицын-Нержин — советский патриот, энтузиаст, который вместе с Копелевым «страстно желал идентифицировать предателя и поймать его», охотно оказывал в том Копелеву необходимую математическую помощь — и, может быть, в задних расчётах предвидел от того и себе досрочное освобождение.

Волосы дыбом! Откуда эта бредятина? Пережитое на шарашке только и именно Львом — откуда приписано мне?

Стал доискиваться у Скэммела — да, вот! «из бесед с Копелевым», тут и: до чего ленинские взгляды я имел на шарашке, и как мы с Копелевым считали себя «жертвами судебной ошибки», — чудовищно, так чувствовал Лёвка, но никак не я! И — что за «математическая помощь для распознавания голоса дипломата»? Во-первых, такая математика никак не могла бы быть Льву полезна, ибо весь его метод в той группе был — на глазок, «лапоть вправо — лапоть влево». Во-вторых, я не только ни минуты не состоял в их строго-секретной группе — но от первого рассказа Льва об этом тайном случае отшатнулся, отверг его щедрое предложение — при успехе группы в будущем в неё войти. Я только страстно ловил от Копелева — ещё, ещё подробностей об этом случае, ибо в тот же миг

* «Время и мы», Нью-Йорк, № 79 (1984), стр. 244.

(а не годы спустя) с трепетом ощутил — какой это будет выдающийся литературный сюжет! А Скэммел, по своему правилу всегда принимать за истину трактовку недоброжелательную, конечно полностью принял копелевскую версию. И вот откуда родилось злорадное приплясывание Проффера.

Так — зачем же так, Лёва?? Зачем ты для Скэммела это выдумал? Ведь в твоих печатных воспоминаниях — ничего подобного нет. (И о взглядах моих пишешь, спасибо, правду, что я был — против Ленина, а «последователь скептика Пиррона».)

Так — зачем? почему?

Стал я раздумываться. А ведь Лев — не по злости. Сочинил, может быть, вполне бессознательно: хотя и ловил он «атомного вора», как он называл, — но с годами, да ещё попав на Запад, вероятно, чувствует неловкость за то деяние и тяжесть его, — и, с замыслом или невольно, теперь стал растягивать и на мои плечи.

...От моего возврата из казахстанской ссылки в 1956 и до изгнания в 1974 — все 18 лет отношения наши со Львом сохранялись дружески-зэческими, тёплыми, несмотря на коренную, многостороннюю разницу во взглядах. Но...

Когда мы ещё жили на шарашке — то и Панин, и Копелев, оба на 6-7 лет старше меня, привыкли относиться ко мне как к младшему и как бы ведомому. Отенок этого остался у них и много лет спустя, когда мы отбыли сроки: я не должен был «ходить своими ногами». Помню, как Панин в 1961 гневно, уничтожительно выговаривал мне, как я смел, не спрося его, открыть конспирацию: отдать «Ивана Денисовича» в «Новый мир». Митя считал это провалом всей жизни — моей, да и его (теперь засветится и он...). Лев, напротив, тому помогал — и, в центре московского бурления, стал — и считался у московской общественности — самым осведомлённым о моих планах и поступках человеком. Я в самом деле, приезжая в Москву, часто бывал у них с Раей. Но именно по их перекрестной открытости — стал бывать реже и скрыл от Льва всю работу над «Архипелагом» и мои отлучки для того в разные укрывища. Это причиняло Льву большую боль и лишало его осведомлённости обо мне, которой от него все ждали. А так как идейно мы всё более расходились — я и подготовку иных публицистических ходов и работ («Из-под глыб») тоже не открывал ему.

Последовал гнев Льва на «Мир и насилие», а уж «Письмо вождям» он прочёл после моей высылки — и написал огромную гневную отповедь, видя в том «Письме» измену благородному либерализму. От этого, когда меня выслали, — не стало между мной и им *левой* переписки, и Лёва ещё более обескуражился и ревновал, что не знает обо мне дальше и не может направить меня, с кем мне на Западе дружить, а кого чураться.

И вскоре что-то со Львом резко изменилось. От общих наших многих друзей, а потом и от случайных в Москву заезжих, через письма и пересказы, стало до меня доноситься, и всё настойчивее, и всё горше, что он меня в Москве стал бранить, хулить да просто ругаться — в любом доме, в любом обществе, где бы только коснулся меня разговор.

Разводил я руками. С кем тёрлись мы на шарашке плечом к плечу, задушевно разговаривали часами, так теплы были всегда, вопреки и тогда же разноте взглядов, — и вдруг? Что случилось с тобой? И не поверить — уже нельзя, и не объясниться через Занавес. А — катится, катится по Москве неудержимо.

И оказалось это весьма ядовитым, потому что Лев всё общался с западными людьми, как авторитетнейший истолкователь советской жизни, да и как «самый же близкий» ко мне человек, знающий меня просто насквозь, — и все мнения Копелева так же авторитетно теперь передавались на Запад и утверждались там в интеллигенции, литературоведении и печати: что литературная способность моя ограничена описанием лишь того, что я видел собственными глазами, остальное мне всё не удаётся; что Ленин художественно удался мне лишь потому, что я описал сам себя, это и есть — мой жестокий, ужасный характер вождя безжалостной партии; что моя партия уже реально создаётся, это

крайний русский национализм, и он будет ужаснее большевизма; дальше Копелев меня смешивал и со Сталиным, с аятоллой Хомейни, а уж «черносотенец, монархист, теократ» — это были самые мягкие клички.

Но в 1978 Копелевы из Москвы поручали западному журналисту передать мне поздравления к 60-летию, всё же. В 1979 Копелев опровергал публично: что никак не соучаствовал со Ржезачем (тот в предисловии Льва благодарил), и книга того — грязная. В 1980, когда Копелевы выехали за границу, — я послал Льву дружеское примирительное письмо. Тогда я, ещё не оценивая всех последствий его недобрых наговоров, написал: «Минувшие годы с сожалением воспринимал доходившие до меня из разных уст слухи, что ты враждебно высказываешься обо мне. Сам я нигде о тебе дурно не высказывался, ни устно, ни письменно, и если тебе попадётся теперь изданный „Круг“—96, ты увидишь, что ни доли теплоты к тебе там не убавилось». Лев ответил, что ничего враждебного не было, а только несогласия. Теперь между нами возникла табельная переписка ко дням рождения, к Новому году, разок они нас и «Христос Воскресе» поздравляли, казалось — отношения могли вполне наладиться. Лев предупредил, что дискуссий не хочет ни публичных, ни личных, да не рвался к ним и я, однако заметил ему об одной его публичной речи: «Хорошо говоришь о „единой немецкой нации“ — а что ж не рубанёшь ГДР? Уж ты ли её (и их там) не знаешь? — (Он был воспитатель многих восточногерманских оборотней — из национал-социалистов в коммунисты, — он сегодня и в ФРГ очень видная уважаемая фигура, он публично заявил, что прощает немцам сразу и как еврей, и как русский — а немцы изжаждались по прощению, ещё бы! кто их не травит и сегодня!) — Если находишь место побранить старую Россию, которая не существует, то ГДР — рядом, и ещё как существует». Однако ж порадовался, что, в отличие от большинства 3-й эмиграции, он «добродушен к России метафизической». Тут Лев обиделся: он не «добродушен» к России, а страстно любит её, это его родная страна, — пришло от него поучительное письмо на 12 больших страницах. Почему щадит ГДР — не объяснил. Но выражал ко мне и «горькую печальную жалость», и бранился «антикоммунистом советской выпечки», а вокруг меня «одиночество», но и тут же, в противоречие, толпа «почитателей-шестёрок»; и толкал меня к Суслову как единомышленнику; не упустил лягнуть Рейгана как «голливудского ковбоя». Но что меня поразило: он выражал, что я *не думаю* того, что говорю и пишу, это — не мои подлинные мысли, а я лишь уверен, что их надо «внушить народу и вождям».

Но тогда — как, правда, разговаривать? Сколько ни поносили меня на Востоке и на Западе, и что я думаю — плохо, и что пишу — плохо, но никто до Копелева не придумал обвинить, что я пишу — не то, что думаю...

А впрочем — упрекать ли?.. Разве Лёва вот это всё — *думает* про меня? Да нет же, конечно. Это, как бы сказать, поёт в нём страдание обманутой любви: как же я мог перестать быть к нему доверен? отдалиться от него? Внешне, во гневе, Лёва может ожесточиться, а сердце-то у него — уязвимо мягко.

И опять перешло у нас на табельные видовые открытки или телеграммы ко дню рождения...

Однако после этой околесицы в статье Проффера, с которым Копелев был так дружен, — я не мог не спросить у Льва объяснения: как понять эту чудовищную фразу — будто я «не спал ночами, чтобы поймать врага народа, торгующего с атомной Америкой?» — ведь это относится лишь к самому Льву, это он ловил, а не я*.

Прикатил ото Льва ответ — на 16 больших страницах. Много воспоминаний, и перекошенных; и после «Глыб» (то есть проявлясь в них) «я стал обыкновенным черносотенцем» и «большевик навыворот», — а в объяснение фразы Проффера — ни слова! Правда, приложил ксерокопии четырёх страни-

* Солженицын Александр. В круге первом, главы 36, 47, 87.

чек из своей книги о шарашке. Читаю. Того поклёпа и тут нет. А всё же — это нечто другое, чем было в журнальчике, расходится. Тут — и злее, и понесло его на какую-то вздорную выдумку, будто я на шарашке, на виду у кагебистских барышень, старался выслужиться. Э, Лёва, помолчать бы тебе о «выслуживании»: я в артикуляционной группе лепил безжалостные приговоры престижным секретным телефонным системам и за то заремел в лагерь, — а ты после меня на том самом служебном месте благополучно четыре года удержался, так значит *ладил*? Крайне гадко выразился Лев и о нашем милом начальнике лаборатории Трахтмане («Ройтман» в «Круге первом»)*.

Такая ладная тюремная дружба — и вот так вздорно, ревниво, ничтожно рухнула. Больно.

Знать, на этой Земле нам уже не дотолковаться. Если «Красное Колесо», пишет, «черносотенная сказка о жидомасонском завоевании» — да заглядывал ли он в «Колесо»? — о чём нам переписываться дальше?

Умер Генрих Бёлль, из его опубликованной посмертно переписки с астрономом доктором Теодором Шмидт-Калером вижу, что, «по объяснениям своих русско-говорящих друзей» (а кто ж там, кроме Копелева и Эткинда?), унёс Бёлль в могилу предательство, что я — враг всякого разнообразия мнений и свободы их. (Так истолковали ему ещё непереуверенных «Наших плюралистов».)

Ах, Лёва, Лёва. Я-то — равновесно выдержал свой внешний жизненный успех, а вот ты — не выдержал моего. И своего.

На том мы со Львом и разнались. Горько.

От самой своей эмиграции в Париж, уже 15 лет, применял против меня метод «устной пропаганды» — ещё и тихий гроссмейстер злоречия Синявский. В парижских кругах, где потесней: «Солженицын — раковая опухоль на русской культуре»; а где пошире, в выступлениях перед эмигрантскими группами — с тартюфским сожалением: «Какой большой писатель погиб из-за отсутствия критики!» Ещё — и на радио, конечно. Ещё — и в Вильсон-центре, и в других Вашингтонских важных сферах. Ещё ж, и крепче, крепче с годами, — в фойе всех литературных и славистских конференций, куда он не устал ездить. Разумно смеряя размеры аудитории, он запускал долгоцветущие язвы против меня, чутко варьируя по времени, месту и публике. На фоне этой неутомимой упорной кампании — реже и оглядчивей были печатные выступления Синявского, однако и они изумляли.

Я только в 1974 отозвался публично на его «Россия-мать, Россия-сука» — а потом сплошь молчал, восемь лет, до «Наших плюралистов» (1983)**. От них Синявский, видимо, сильно потерял равновесие (рассчитывал ли он, что я вообще никогда ни словом не отвечу?). Особенно его ранило появление «Плюралистов» тут же и по-французски. (Я и не собирался переводить ни на какой язык, эта статья была внутрирусская, но Клод Дюран захотел перевести, считая, что и во Франции таких настроений немало.) Уже полгода было русской статье — никто по-русски мне не отвечал, а тут, на иностранной почве, Синявскому надо было отвечать скорохватно. В короткие дни он выступил и в «Монде», и в «Нувель обсерватёр».

Он не отвечал (и никогда потом не ответил, и никто другой не ответил) на сумму главных доводов. Но тут, для французских газет, ему это и не нужно было, — а что-нибудь резкое, быстрое, чтобы перебить впечатление. И он ме-

* Ныне, в России, встретился я и с Абрамом Менделевичем Трахтманом. Книгу Льва он читал, и несправедливость очень обидела его: уж как он уважал Копелева, как смягчал ему существование в неволе. И анекдот: освобождаясь, Копелев просил Трахтмана дать ему... характеристику для возвращения в КПСС... (Примеч. 1995.)

** Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Т. 1. Ярославль. Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997, стр. 406 — 444. (Далее ссылки на это издание даются с указанием названия, тома и страницы.)

тал: «спор идёт о свободе мысли и слова» (совсем же не о том, но очень удобный конёк), «нас заставляют лезть в единомыслие», «не рецидив ли это марксизма?». Метал опрометчиво, ибо терпеливый французский читатель легко мог проверить, что ничего подобного в моей статье нет. Однако его расчёт (довольно верный): кто там будет листать, искать, что у меня: «А истина, а правда во всём мировом течении одна — Божья, и все-то мы, кто и неосознанно, жаждем к ней приблизиться, прикоснуться». А у Синявского броско: «Истина одна, и она принадлежит Солженицыну». (Вскоре вслед за ним и Эткинд: «Истина одна, Божья, а известна она — ему, Солженицыну».)

О, где те достойные мужи прошлых веков, умевшие тонко понимать, благородно и взвешенно спорить? Отчего у нынешних, даже Эстетов, вся полемика сбивается на кривое залыганье? Удивительно, что Синявский, с его, говорят, рафинированностью, — срывается в бесчестье прямых подлогов с цитатами, и не раз, и даже слишком часто.

Я пишу в «Плюралистах» о подкупленной властью элите: «...ведь десятилетиями жили в столицах, и многие служили... марксистскими философами, журналистами, очеркистами, лекторами; режиссёрами кино и радио, даже пропагандистами ЦК, референтами ЦК, даже прокурорами! — и нам, с лагерного и провинциального дна, справедливо казались неотличимы от цекистов и чекистов, от коммунистической власти. Они жили с нею в ладу, ею не наказывались и с нею не боролись. *И когда я в окружающей советской немоте 50-х годов готовил свой первый прорыв через стену Лэжи — то именно через них прорыв, через их ложь, — и ни от кого из них нельзя было ждать поддержки.*» — Синявский цитирует только ту фразу, которую я здесь выделил курсивом, и фальшиво подставляет, будто я отношу её *ко всей* «российской интеллигенции», и ещё подписывает гаденько от себя: *к тем*, кто «восхищался и горячо поддерживал» повесть об Иване Денисовиче. (Ну может ли быть кто неблагодарнее и несправедливее этого Солженицына! — И тут же, развязно, объявляет себя моим кумом, зачем-то прикумился ко мне, странный приём; мы вообще виделись единожды в жизни, а это он с Алей крестил сына Гинзбурга.)

А ещё — закидывает и такой плодоносный корешок (уже в «Обзервере», перекинувшись через Ла-Манш): Солженицын раздувает «миф новой опасности», что Запад якобы заражён русофобией. Повторив, что Солженицын «ненавидит русскую интеллигенцию» и особенно «обвиняет евреев, поляков, латышей», — он кончает эффектным курбетом: разве «миф» Солженицына не подтверждает советскую пропаганду, что империалистический мир стремится уничтожить Россию? значит, идея Солженицына «чревата идеей войны!» (Биби-си тут же подхватило передать это интервью по-русски в СССР.)

Это он метко расчёл: «поджигателем войны» (за то, что я показывал пустотелость «разрядки») меня уже не раз клеймили на Западе, это обвинение — пойдёт, погуляет. А уж «антисемит» — это он не первый раз выпускает, и ещё как развил.

Теперь, разогнавшись или расхрабрався, Синявский объявил, что отныне между ним и Солженицыным наступает «открытая гражданская война». (Он только не сверился с моим рабочим расписанием.)

А подделывать цитаты в полемике — этому наших плюралистов, видимо, учить не надо, вслед Синявскому подхватили в те же недели в эмигрантской нью-йоркской «Трибуне» (№ 5, янв. 1984). И тут — несколько подделок сразу.

Я пишу об африканских условиях жизни у нас на родине, о грандиозных и страшных процессах, но «наши плюралисты не замечают, что Россия — при смерти», у них одна забота: «возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто-то сбросит нынешний режим... над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительно: а как же устроить дом для этой мысли? А будет ли крыша над головой? (И: будет ли в магазинах не подделанное сливочное масло?)»* —

* «Наши плюралисты». — «Публицистика», т. 1, стр. 431, 432.

Они, даже не чуя иронии над собой, всерьез клеймят, что я — вообще отвергаю свободу слова, забочусь о масле вместо него. А между тем, пишут, «неужели не очевидно, что там, где есть свобода и плюрализм (даже слишком, даже в избытке), там есть мясо и хлеб (тоже в избытке)». Легко вам пахать...*

Я нахожу комичным, как здешние плюралисты «публично жалуются на массу рядовых еврейских эмигрантов, что те находят американские свободы избыточными до опасности; нельзя без улыбки читать жалобы Шрагина», — и перечисляю их пожелания *в изложении самого Шрагина***. В «Трибуне» передёрнуто дважды: сперва — будто это *мои* пожелания, а затем — будто уже и не к Штатам относятся, а мои «запреты» для будущей России.

Ну можно ли так спорить? Или уж — совсем вам нечего возразить по сути? (В той же «Трибуне» с поразительной откровенностью проговариваются, подтверждая мою тревогу: «безразлично, пусть эта родина ограничивается хоть Московской областью, а рядом будет дружественная или братская Рязанская», мол, лишь можно было бы билет купить, как из Франции в Германию...)

На главные из этих подделок указала Аля в короткой деловой справке в «Вестнике»***. И что же? Если на тебя наклепали — возрази с негодованием! Нет, молчат. Ну а если словили на воровстве, так убери же руку! Ничего подобного. Прошёл потом ещё один год (а от первой синявской подмухлёвки уже два), — Синявский в своём домашнем «Синтаксисе» — вот уже пойманный за руку — снова повторяет слово в слово те же подделки, не мигнув глазом, — и что я прорывался через «русскую интеллигенцию», а не продавшуюся элиту, и тот же «рецидив марксизма», и уже не кум я ему просто, а «мой старый кум»****. (Чувствуете, какая у нас давняя неразливная дружба? сколько поллитров мы вместе опорожнили? так он-то — знает, о ком судит.)

Приходится предположить: не пала ли немощь на его перо? Если тебя уличили во лжи, и если минули два года — отчего б не написать совсем новую статью? зачем же волочь всю неизменную рухлядь подделок и сюда? Отчего ему так жалко расстаться с ней? Так бывает только по скудости, когда обмогаются остатком.

Ну, правда, чуть подсвежил за два года. Вот такое придумал: «для Солженицына Зло и Ложь начались с эпохи Ренессанса» (опять подделка, я говорил: отсюда пошло выветривание общественной нравственности), а это затем, чтоб самому подбочениться: «Я лично полагаю — Ложь и Зло начались с грехопадения». *Лично он!* — отдельно от Писания и Церкви! — смекаете, каков уровень? А сам Солженицын «недообразованный патриот», — как эти все мыслители передо мной гордятся, что кончали советский промарксованный гуманитарный факультет. — Проходит ещё около года, и в том же «Синтаксисе» некий раскалённый И. Шамир повторяет всю ту же, ту же подделку из «Трибуны», приписывает мне цитату из Шрагина — и уж как выплясывает на ней! Она — центр его обвинений. Допустить, что Шамир по раскалённости пробросился? — но Синявский-то верно знает, что здесь ложь, Аля и это в «Справке» припечатала, — так останови автора? поправь? Нет. (И в следующем номере «Синтаксиса» та же подделка перекочевала уже и к Вайлю-Генису, уже приросла — не оторвёшь.)

Что же думать об этом человеке? Как же может тончайший эстет бороться такими приёмами?

Сам себя он объясняет нам так: «Когда я читаю, либо пишу, я предельно откровенен, я снимаю маску, привычно носимую в жизни»*****. Оставим неразгаданным, зачем ему постоянно носить в жизни маску, — но если в таких вот письменных приёмах видеть его предельную откровенность?..

* Реформаторы 90-х годов и показали обнищавшей России: свободы — завались, да масло и мясо многим ли по карману? (Примеч. 1998.)

** «Публицистика», т. 1, стр. 425, 426.

*** «Вестник РХД», № 142 (1984).

**** «Синтаксис», Париж, № 14 (1985).

***** «Синтаксис», № 5 (1979).

Впрочем, и устные же он не покинул. Снова поехал по Штатам с выступлениями к трезьемигрантам: «Да что слушать Солженицына? Его почитатели — чёрная сотня! А Парвус у него — воплощённое жидовство!» (Опять этот крючок: евреи! очнитесь! помогите! ударьте!)

Чего ж этот враждолобец от меня хочет?

Его многолетняя одержимость «солженицынской темой» вызывает удивление среди эмигрантов: он как будто не может рассеяться, отвлечься, заинтересоваться ещё чем-нибудь, как если бы избрал это своим жизненным амплуа, как если бы волок это на себе неотклонимым заданием. Сопоставляют с его досрочным освобождением из лагеря по *помилровке*; льготной эмиграцией — без израильской визы, сразу во Францию, да с сохранением советского паспорта (и ещё с большой коллекцией старых икон, небывало); да прежнее его авантюрное сотрудничество с ГБ, о котором он и сам написал («Спокойной ночи»), теперь и друг его молодости С. Хмельницкий*. И выводят — что не удалось ему выпутаться из «министерства правды».

Другие, напротив, — репутацию Синявского считают безущербной, авторитет бесспорным, а в его неотступной занятости мною видят оправданную напряжённость принципиального спора.

Да есть ли этот принципиальный спор? Ведь Синявский неизменно — подделками, передёргами, подстановками — лепит чучел из моих мыслей и слов — и вот их-то ниспровергает, на них указывает пальцем, их вымазывает дёгтем, и желающих приглашает. Сам же он, с его тонкостью, если не интеллектуальной, то эстетической, с его действительным умением *читать текст*, — не может находить у меня тех уродцев, и верить в то не может.

Так что же?

Нет, я думаю: *корень* его атак — не побуждение извне и не столкновение взглядов. Нутрянее.

Моё внезапное изневольное, в прожекторах и грохоте «Архипелага», приземление на Западе, где он лишь только обосновался, лишь только напечатал свой лагерный «Голос из хора», видимо, породили в нём фантомные страхи за *свою территорию*. Его тёмно-причудливое воображение наделяло меня свойствами и намерениями, от которых я не мог бы быть дальше. Тогда, в первые месяцы, супруги Синявские не в силах были сдерживать эти страхи: я хочу его «съесть, уничтожить», учреждаю «диктатуру», думаю только о «своей короне». Это мучительное наваждение, видно, не проходило, и он стал его редактировать в «спор». А просто: я до изнеможения мешаю ему своим существованием, в том и виновен.

Не ново, бесплодно, тоскливо...

Эмигрантские издания роились несчётно. И меня не забывали, ой не забывали.

Даже, оказывается, диссидентская функционерка Людмила Алексеева публиковала, не шутите, книгу — и в ней размышления о вреде Солженицына. И Янов юркими ножницами настригал уже как бы не четвёртую-пятую набатную книгу. И клокотали анонимные авторы в «Синтаксисе». И социалист Плющ распалённо отвечал на «Плюралистов», ещё с новыми подстановками, — да далеко хватил словесным пируэтом, аж до «*Протоколов советских мудрецов*».

Это ж было из самых первых движений ГБ ещё до моей высылки — использовать против меня «антисемитизм», — и потом они настойчиво продвигали его через новую эмиграцию на Запад. Ещё от Синявского в интервью с Карлайл и вот дальше — какое напряжённое желание выпятить обвинение меня — именно в антисемитизме. Своих ли сил и разума им не хватает — всё

* Хмельницкий С. Из чрева китова. — «22». Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СССР в Израиле, № 48 (1986).

рвутся натравить на меня евреев, всё время кличут евреев разобратся наконец со мной.

И кто только ни упражнялся на моей спине, кто только ни писал разоблачительного открытого письма Солженицыну. Какой-то атеист Крутиков вызывает меня на публичный спор — доказать ему, вишь, бытие Бога, — катая письмо Солженицыну. — Пересмотрел, пересчитал Егидес, кто уже выступал в очередной раз за Сахарова и Боннэр, — а Солженицын как смеет в этот раз молчать? катая ему публичный пристыд! — И от неумного Белоцерковского окончательный приговор: «Вы своим молчанием поставили себя вне русского народа, вне сообщества людей, наделённых совестью, и, насколько я понимаю, вне христианства»!

И по какой же это демократии, и по какой же это совести: поносить человека не за то, что он сказал, а за то, чего он не сказал? тыкать писателю, почему он не сделал публичного заявления, желательного тому, этому, третьему диссиденту? Как они визгливы. Я защищал Сахарова, когда сам находился под топором, а на Западе тогда молчали. А когда за него уже выступили все президенты, все премьер-министры, все парламенты и Папа Римский — ну зачем, из полной безопасности, вам ещё голос этого расиста, шовиниста Солженицына, который всё сплошь понимает неверно и всё извращает?

А вот ныне Сахаров, слава Богу, возвращён в своё академическое сословие — так теперь мне дозволено вернуться в состав христианства и русского народа? или всё ещё нельзя?

И собаки облаяли, и вороны ограили. Ну, какое, какое ещё рыло обо мне не судило?

...А вот — сатирик Войнович, «советский Рабле». В прошлом — сверкающее разоблачение соседа по квартире, оттягавшего у него половину клозета, — дулет! — сразу и отомстил и Золотой Фонд русской литературы. Теперь — отомстить Солженицыну. (Перед ним я, сверх того что существую, провинился тем, что как-то, на неуверенном старте его западной жизни, передал через друзей непрощенный совет: не пользоваться судом для решения его денежных претензий к эмигрантскому издательству, поладить как-нибудь без суда; он буквально взорвался, ответил бранью.) Отомстить — и снова же будет Бесмертное Создание русской литературы!

Впрочем, Войнович хотя и очень зол на меня, и это прорывается даже в прямых репликах, но он всё-таки не Флегон. Книга о будущем Советского Союза повторяет Оруэлла робко, и советский мир подан не смешно — но неплохо небрежность повествования в сочетании с динамичным сюжетом. А что касается меня (гвоздь замысла), то во вводной описательной части кое-где она и весела, забавно видеть своё смешное и в самой злой карикатуре, да вот недотяг: не нашлось у Войновича самостоятельной живой находки, покатыл всё в том же гремливом шарабане: что я страшно-ужасный вождь нависающего над миром русского национализма. В резких сатирических чертах обсмеяна наша замкнутая вермонтская жизнь, что ж, посмеёмся вместе, хотя обуродил меня за край. Что Войновичу удалось — это создать у читателей иллюзию, что он таки был у меня в Вермонте, *пишет с натуры*, — кто ж искуражится сочинять такое от копыт и до пёрышек? Ещё долго называли его «достоверным свидетелем» моей жизни в Вермонте. (А мы с ним — даже и не знакомы, не разговаривали никогда.) А что жаль: как топорно, без мастерства, Войнович подаёт утрированный высмеиваемый народный язык, тут его подвела злость, — а язык виноват ли, что сатирик не вошёл в его дух. И вовсе слабо, когда не в шутку сквозят претензии автора на собственный литературный размер.

А дальше теряет Войнович всякое юмористическое равновесие, приписывая своему ненавистному герою и истинное тайное сыновство от Николая II, и лелеемый сладкий замысел именно и стать царём — и конечно с самыми империалистическими побуждениями. Какая пошлость фантазии, какая мелкость души. — И через всякие уже сатирические пороги перешагивает в массовые расправы и казни. Книга эта вышла с высмеянным на обложке Георги-

ем Победоносцем на коне, а лицо — моё; такое, попав сейчас в Москву, хорошо поддаст образованской публике жару ненависти и страха, какой и без того там пылает.

А мне, озираясь посреди теснеющего хоровода, приходит на ум из А. К. Толстого:

Не мню, что я Лаокоон,
Во змей упершийся руками,
Но скромно зрю, что осаждён
Лишь дождевыми червяками.

Втемяшили себе, что я хочу захватить власть, — и вот уж годами ведут сплочённо-лилипутскую работу, чтобы я «не пришёл к власти», ибо хуже этого быть не может.

Печатных листов роится больше, чем может поглотить отдельный человек. Всего не перенять, что по воде плывёт. Да спасает меня моё счастливое внутреннее свойство: любое раздражение, самое сильное и внезапное, любые дрязги застревают во мне не больше, чем на час-два: автоматически гасятся внутри перевесом к работе, и я уже за письменным столом.

За 13 лет на Западе ответил одними «Плюралистами». Как раз от «Плюралистов» и заметил, что не испытываю никакого зложелательства и к самым яростным моим нападачкам и сержусь только, когда они шулерят подтасовками и подделками. Никакого к ним личного зла — и не от христианской заповеди «любите врагов ваших», а уже какое-то добро-равно-душие: не они бы — так другие, от набрёху не уйдёшь, они — в составе стихии. От возраста ли? — становишься безотзвен, какую там чушь про тебя несут.

Не вечно ж драться, и когти притупятся.

Глава 12

ТРЕВОГА СЕНАТА

Все поношения, какие на меня эти годы лились, были почти сплошь политические и очень редко — собственно литературные. И не только в эмиграции сложилось так, но и вообще в американской публичности. Переводы, особенно крупных книг, неизбежно сильно отстают — и как раз когда по-русски выходили в свет «Август Четырнадцатого», за ним вскоре «Октябрь Шестнадцатого», американские журналисты настаивали, что я давно ничего больше не пишу, исписался. Однако в литературном «Нью-Йоркере» в феврале 1986 была остроумная заметка: автор её в известнейшем книжном магазине Нью-Йорка вовсе не мог найти «Архипелага», ни тома, и продавец даже с удивлением переспросил: «А про что эта книга?», и от отделов «Мировая история» и «Текущие события» адресовал пойти в отдел «Фикшн» (беллетристики) — но не было и там, и никто из продавцов всё так же не знал. И оглядывает автор: «Никакой Дракон или Минотавр не страшней, чем враги, с которыми [Солженицын] сталкивается» у нас — прошёл войну, лагеря, рак, в бутылке закапывал в землю скрутки записей, освоил новое ремесло сокрытия рукописей, переснимал на микрофильмы, построил всю жизнь вокруг секретности, маскировался под равнодушие, потом как равный открыто боролся с государством, — и вот прибил к нашим берегам, и что же встретил тут? — «алчность, скуку, небрежность и равнодушие».

Ах, если бы равнодушие!.. Какой блаженный настал бы покой — для моей работы, для меня, для семьи.

По закону ли сгущения враждебных обстоятельств? — беда не приходит одна, известно, беды плодливы, — тем же летом 1984, когда вышла книга Скэммела, потянув на меня череду американской ругани, — тем же летом получили мы от Кублановского на прочтение большую, тогда ещё машинопис-

ную, статью Льва Лосева об «Августе Четырнадцатого». (Лев Лосев, из самого ядра ленинградской литературной среды, уже несколько лет профессорствовал в Дартмут-колледже, по соседству, жил в сорока милях от нас, впрочем, мы никогда не виделись и до того времени не переписывались.)

Мы с Алей прочли статью с двойственным чувством. Это была наконец попытка серьёзного художественного разбора, едва не первая такая, и мы подивились, как одинаково успешно критик пользовался и тем и другим концом «подзорной трубы»; предлагал читателю то наблюдать прошлые и будущие перспективы в исторический телескоп, то — расслышивать ассонансы и рассматривать аллитерации в фонетический микроскоп. Поискал жанровый прецедент «Красному Колесу» (справедливо отодвинув сравнение с «Войной и миром»); порассуждал содержательно о корнях моей прозы и о «факторе качества»; верно воспринял, что язык мой — и не искусственен и не придуман, а просто: «Солженицын не даёт русскому языку лениться под своим пером». Тут же и странные промахи взгляда: глава о Николае II — «сатирическая повесть, памфлет» (ну никак!); и — «сатирическая же новелла о Ленине» (тут нескромно полагаю, что копнул поглубже); и, опять и он: будто я позаимствовал «много из опыта „Петербурга“» Белого (которого я и по сей день не раскрывал), — это как бы профессиональные ошибки предвзятого разгона, некоторых общепринятых суждений. Лосев называет себя учеником Бахтина, но и не без ухромов во фрейдизм: будто бы в Богрове «ущемлённое я» ищет компенсации, «стремится быть в центре внимания» (и до чего ж этот фрейдизм всё упрощает однообразно). Отметил Лосев и немонолитную композицию двухтомного «Августа» (это правда, он строился не в один приём).

Пространно, пристально, заходя с разных сторон, разбирает «противопоставление: Богров — Столыпин». Признаёт, что версия убийства Столыпина разработана с «доскональностью и с тем почти гипертрофированным почтением, которое свойственно обращению [автора] с историческими материалами». Что Богров сам «называл в числе своих побуждений месть правительству за еврейские погромы» («я боролся за благо и счастье еврейского народа», истинные предсмертные слова Богрова). Дальше увлекается разработкой образа: что Богров, хотя ни разу не употреблено автором слово «змея» — а подан как бы в образе змеи (лишь единожды: «змеилась спина убегающего»). Но и тут же себе возражает: «Эко дело, змея — расхожий нарицательный образ, ругательство». Но нет, изощрённость или страсть проницателя несут его к структурным обобщениям: «Отчётливо прорисовывается мифологема противоборства Добра и Зла, Света и Тьмы, Креста и Змия» — далеко же хватанул! И летит дальше: «В образе змеи, смертельно ужалившей славянского рыцаря, антисемит без труда может усмотреть параллель с „Протоколами сионских мудрецов“», — да к чему ж плести «Протоколы», если их тут ни сном ни духом нет, и Богров действует совсем не как участник заговора? Впрочем — «за антисемитское прочтение его книги Солженицын несёт не больше ответственности, чем Шекспир за подобную трактовку „Венецианского купца“». И повествование многопланово: за историческим планом открывается философский, за политическим — антропологический. «В глубине глубин речь идёт уже не о Богрове и Столыпине, не о революционерах и реформаторах, не о русских и евреях, а об экзистенциальном конфликте, заложенном в самое человеческую природу... здесь взбесившийся „чистый разум“ нападает на „органическое начало“». — И Лосев заканчивает со смесью печальной иронии и малой надежды, объясняющей название статьи*: «Судя по его могучему началу, „Красное Колесо“ — это письмо всему русскому народу. Докатится колесо до Москвы, будет письмо прочитано и принято к сердцу — тогда можно не сомневаться, что будущее России будет великолепно».

* Лосев Лев. Великолепное будущее России. Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого» А. Солженицына. — «Континент», № 42 (1984), стр. 289 — 320.

Может быть, какой-нибудь отзвук в эмигрантской прессе эта статья бы и вызвала, но уж конечно не составила бы этапа в *событиях*, если бы Лосев, будучи на летних каникулах в Европе, не спрессовал бы статью (ещё и неопубликованную!) в радиопередачу и не прочитал бы по «Свободе» своим голосом вот это всё, и о «Протоколах», — подсоветским слушателям.

И получилось? — что радиостанция «Свобода» (на деньги американских налогоплательщиков), дескать, передаёт в СССР — «сочувствие к „Протоколам сионских мудрецов“»?..

На первый взгляд, это последнее действие, передача по радио, не более крупный шаг, чем в увлечении шагнул Лосев от простой расхожей змеи — к библейскому «Змию» и к «Протоколам». Но не тут-то было, — и надо бы скорей удивиться, если бы искажающий гнев не возгорелся тут же.

Он всплеснулся за несколько дней в двух докладных на имя президента соединённых американских радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа» Джеймса Бакли — одна («Откровенно антисемитская передача») подписана была Львом Ройтманом из Русской Службы «Свободы», вторая (куда длиннее) — Белоцерковским, из той же Службы.

У первого: «Независимо от книги Солженицына, изображение террориста и его жертвы в этой передаче радио „Свобода“ выходит за рамки „интеллектуального“ антисемитизма и представляет собой разновидность расистского, биологического отношения к евреям... является оскорблением слушателей и служащих [радиостанции]». И предлагал докладист: послать запись этой передачи сенаторам и конгрессменам США, «чтобы уточнить, предназначены ли ассигнования, получаемые Радиостанцией, для передач такого рода» — серьёзная постановка, сразу хватать директора за бюджет.

Утки в дудки, тараканы в барабаны! Второй сигналист, по обычной своей надрывности, катал так: «Эта передача представляет собой пропаганду крайнего антисемитизма и является дополнением к антисемитской пропаганде КПСС и КГБ, которая ещё не решается цитировать „Протоколы сионских мудрецов“, любимую книгу Гитлера». Вот так, всех в один мешок. И вот, мол, «упоминание, что „Протоколы“ — гнусная антисемитская фальшивка» — это просто «циничная уловка», поскольку цитата «согласуется с главной мыслью передачи, что Богров олицетворяет „иудейского Змия“». Ну, и вдобавок о Столыпине: что он был «разрушитель эволюционного развития страны» (когда он только его и налаживал), и, мол, такая хвалебная передача о Столыпине дискредитирует радио в глазах кого бы вы думали? — «патриотов России!» — а о них-то главная забота и боль доносчика.

И ещё была какая-то третья докладная «свободинца» Итцелева (я её не видел).

Какой же вулкан извергся! Ну, нагородил Лосев! Передал такое по эфиру (при невразумительном содействии Ю. Шлиппе, а тот столько лет на «Свободе» — неужели ж не понимал? и почему-то его ни одна шишка не коснулась) — поехал к себе домой в Новую Англию — и тут же получил официальный запрос от радио «Свободы»: *как это всё объяснить??*

Подскочишь на сковородке! Если облепят, что ты заядлый, «биологический» антисемит — не посидишь уютно в американском университете. Написал Лосев серьёзную объяснительную записку. В ней он справедливо открывал, что негодующая атака на самом деле направлена не против него, а против Солженицына, но опять же, в духе своеобразного построения, приписывал «мифологический образ Змия», «древнего гада» — «образной системе Солженицына». «Я легко могу себе представить, как тот же самый мой анализ богровских глав вызвал бы рукоплескания [Ройтмана и Белоцерковского], если бы... я написал: вот, смотрите, люди добрые, какой Солженицын нехороший антисемит, как он нас, евреев, ненавидит! Но, что поделаешь, мне моё национальное происхождение глаза не застит — ни сложность истории, ни сложность искусства

я упрощать не собираюсь». Заступился за Столыпина, обстоятельно и достойно, и кончил опасением, что хотят «поставить глушилки между Солженицыным и слушателями в Союзе».

Когда это всё происходило и Лосев прислал нам копии бумаг, мы с Алеей пожалели — его: что ж ему, правда, при добрых намерениях — да расплачиваться теперь? Но всё только начиналось, мы недооценили, во что может вылиться лосевская трактовка «Августа», мы всё ещё не допредставили себе всю хоровую отзывчивость американской прессы на болезненные пункты, а острее всего и раньше всего — на «антисемитизм». Да поначалу всё, казалось, и затихло, в ближайшие месяцы как будто ничего не происходило. А видимо, не сразу Ройтман и Белоцерковский нашли точные адреса, сперва дёргали верёвки не туда, наконец — и куда надо. И результат их усилий обозначился в январе 1985 — громкой и слаженной канонадой.

У американских журналов есть странный обычай помечать не реальный день выхода, а недели на две и даже три — вперёд (они же все рвутся «вперёд», кто раньше, кто исхитрится обогнать Божье время). Поэтому бывает трудно установить реальный день выхода журнальных статей — но всё же, очевидно, первенство надо отдать журналу «Нью рипаблик»: 22 января (под пометкой 4 февраля) он напечатал: «Является ли американское вещание на Советский Союз антисемитским? Как это ни невероятно, ответ может быть — да... Диктор радиостанции описал Богрова как „космополита“, не имеющего „ничего русского ни в крови, ни в характере“... противопоставил Богрова, сатанинского „Змия“, — Столыпину, „славянскому рыцарю“... было сказано, что акт Богрова был „выстрел в саму русскую нацию“... подразумеваемая мысль: евреи ответственны за большевизм. И ведь даже советская официальная антисемитская пропаганда не дошла ещё до цитирования „Сионских Протоколов“». А мы?? Вывод: «Радио „Свобода“ попало под влияние русских эмигрантских фанатиков... Администрация Рейгана назначила директором станции эмигранта Джорджа Бейли... а он принял на службу группу русских эмигрантов-радиовещателей, разделяющих взгляды Солженицына».

И тут же, на другой день, 23 января высунулась напрягающаяся в засаде «Нью-Йорк дейли ньюс», видимо заранее подготовленная: «Антисемитизм, за который налоги уплачены!» Автор статьи, Ларс-Эрик Нельсон, весьма беспокойно закричал в американские уши: «Известно ли вам, что доллары, которыми вы уплачиваете налоги, используются для того, чтобы передавать в Россию антисемитские радиовещания?» Оказывается, уже и «сенатские законодатели подтвердили», что «радио „Свобода“ часто стоит за царизм... неоднократно передавало русскому народу антисемитские комментарии, чаще под видом религиозных или исторических анализов». (Надо при этом знать, до чего на самой «Свободе» всё накалено и против прежней России, и против русского сознания.) «Самый яркий пример... назвали Мордку Богрова „космополитом“ (по сталинскому жаргону — еврей)... затем цитировали „Сионские Протоколы“ и будто Богров начал цепь событий, приведших к большевицкой революции. А ведь „средний русский почти как правило антисемит“, сказал крупный [неназванный] американский дипломат». И вот — радиостанция лицемерно хочет этому «среднему русскому» угодить. И «русские ворчат, что Ленин был еврей со стороны матери, а уж Троцкий определённо еврей». Антисемитизм станции, всё же помягчает газета, не предумышленная политика, но «результат слабого контроля США над разношерстным сборищем русских эмигрантов»: в 1-й эмиграции были и монархисты, во 2-й — тоже «истово православные», 3-я, правда, главным образом евреи и либералы. А Бейли ещё и в том виноват, что увеличил религиозное радиовещание.

А на Западе не зевай! Если тебя облаяли в прессе — надо, чтоб уже в следующем номере было твоё опровержение (как и в Советском Союзе — твоё покаяние). И Джеймс Бакли, бывший республиканский сенатор от Нью-Йорка, а ныне глава Соединённых Радиостанций, шлёт в «Дейли ньюс» — сразу вслед: это злостная клевета! на радиостанции — сильнейшие меры предосторо-

рожности, из 5000 часов передач только и проскользнула вот эта десятиминутная, да и то написанная евреем.

Но Бакли коротко ответил, ещё не охватил, наверно, насколько глубока и серьёзна атака.

В том же номере «Нью-Йорк дейли ньюс» Нельсон в ответ привёл заранее подготовленный кем-то список: где, когда за 1984 год «Свобода» допустила противоеврейские обмолвки: вот, например, серию погромов 1919—20 годов объясняли тем, что много евреев присоединилось к большевикам; а в религиозной передаче сказано, что старозаветные иудеи пытались подорвать веру в Воскресение Христа, пустив слух, что ученики выкрали тело (точно по Евангелию от Матфея). А однажды превозносился генерал Врангель, — а он *известно же*, что был погромщик. (Ни одного погрома в его Крыму!) И — как это всё может быть? Ясно, что «станция подпала под эффективный контроль русских эмигрантов правого крыла» (которых, забитых, там и 3% нет).

А как же обвинения «Нью рипаблик»? И тут не зевай, спеши оправдываться! И Фрэнк Шекспир, и Бен Ваттенберг, старшее начальство над «Свободой», в следующем номере журнала опровергали: да, передавались выдержки из «Августа Четырнадцатого», но ещё надо выяснять (и — будут, будут выяснять!), были ли они антисемитскими. И Бейли — вовсе не эмигрант, а американец. И многие из новоназначенных им ключевых служащих — евреи. И «значительную часть в нашей программе [„русская служба”] составляет радиовещание, ориентирующееся на еврейство». И «под нашим руководством ведётся строжайший контроль, чтобы эффективно предотвратить какие-либо возможные антисемитские заявления... Мы проверяем наше вещание более тщательно, чем любая радиостанция в мире». (Важное заявление, к сведенью.) Но с каких пор «Нью рипаблик» стоит за *цензуру*? Можно соглашаться или не соглашаться с мыслями Солженицына о демократии, но мы не можем игнорировать их. Мы и впредь намерены передавать «спектр ответственных взглядов».

Тут же, конечно, и ответ журнала. Цензура не цензура — но раз вы не передаёте прокоммунистических взглядов (впрочем, как сказать, и передают порой...), то и антисемитских не передавайте. Да вот, цитируют, тут же вослед лосевской передаче Дж. Бакли, начальник над Дж. Бейли, сказал, что он «в ужасе», что «несмотря на заседания, в которых мы подчёркивали... обращать внимание на чувствительность, вызываемую, когда речь идёт о евреях и иудаизме...» (И потребовал, чтобы *каждый* текст, в котором упоминается слово «еврей», представлялся бы ему на проверку.)

И — управились выгнать Бейли, всего через месяц после начала газетной атаки. Нет, не скажите, что западные газеты слабомощней советских. Кроме Бейли сняли ещё кого-то двух с ответственных постов, — и при «засилии эмигрантов правого крыла» — заткнули даже имя моё на «Свободе», и так основательно, как до сих пор затыкали только в СССР. Перед тем намечалась на «Свободе» серия передач по «Августу» — эквивалентно заменили меня повторением передач по В. Гроссману, в этом — уж их никто не упрекнёт, только похвалят. (Но с поразительной инерцией американской журналистики, тупоумием вполне советским, «Форин полиси» и ещё годом позже не устало твердить, что радиостанция «Свобода» есть рупор моих «антисемитских и антидемократических идей».)

Угодило зёрнышко промеж двух...

Однако чертопляска в американской прессе лишь начиналась. Тут же с другого края континента, — как молния, Тревога пересекла и континент, — перебудоражилась «Лос-Анджелес таймс»: «Радио выбрало такие фразы, которые традиционно используются русскими антисемитами и даже цитировало „Протоколы Сионских Мудрецов”», — так «необходим пристальный надзор за русскими и другими беженцами из советского блока... чтобы передачи их были последовательны в утверждении американских ценностей и целей».

Но это всё — радиостанции в Европе на американских деньгах, — а вот как быть с *самим* этим Солженицыным? Что это за баламученье об убийстве

70-летней давности какого-то русского премьера? И как произнести уверенное суждение, когда книга ещё не вышла по-английски? А главное, спохватились, уже несколько месяцев (малыми недельными дозами) официальный американский «Голос Америки» в свой литературный полчас передаёт и передаёт в Советский Союз как раз всю историю этого убийства! И по удивительному же совпадению, нарочно не придумаешь: первая передача столыпинского цикла по «Голосу Америки» была 16 августа, а лосевская передача на «Свободе» — 19 августа, вполне независимо — но как будто чёртом состроено, чтобы подшибить цикл столыпинских глав. И — сразу, сразу взялись и за «Голосом»: Караул! Держи!

Залп по мне последовал тут же — в «Вашингтон пост», второй по влиятельности газете Америки (4 февраля 1985): «Роман Солженицына, транслируемый „Голосом Америки“, вызывает тревогу. Части „Августа 1914“ рассматриваются как тонко [неуловимо] антисемитские» (в этой „тонкости“ пока оставлен простор для манёвра, лапу можно и отдёрнуть). Зато газета опросила «свидетелей»: Ричарда Пайпса, моего и принципиального и личного ненавистника (о выстреле Богрова «Солженицын не говорит ничего прямо антисемитского, но русским читателям ясно, что он обвиняет евреев в революции: Столыпин хорош для России и потому плох для евреев» — ??); и вдову Проффера Эллендею, она теперь, видно, на много лет станет из ведущих экспертов по России («Солженицын скажет, что он — не против евреев, он только за русских, но это — тот огромный русский национализм, которому если дать волю...»); и ещё же, ещё же американские историки, повторяющие с важностью ленинскую оценку Столыпина и что «Богров действовал как агент охраны», — ну кто, кто на свете лучше них понимает русскую историю? (Так как книги по-английски нет, то газета заказывала профессору Джону Глэду специально перевести все подозрительные на антисемитизм места — и только их, только их, конечно! — и вынуждена была упомянуть, что он «не нашёл никаких оснований обвинять Солженицына в антисемитизме».) От себя же газета считает, что раз «эти пули уже убили династию в 1911», то Солженицын фактически приписывает победу коммунистов — Богрову.

Было бы шлёпнуто первое клеймо! — а уже на другой день «Бостон глоб» (да не одна она по Америке, за всеми не уследишь) охотно подхватила — перепечатала половину той же статьи, но заголовочек подменила: «Новому „Августу 1914“ приписывается антисемитский тон» (уже без «тонко, неуловимо») — и цитата из Пайпса вырвана крупнейшими буквами.

В те дни я, без остатка втянутый в свою работу, проскользнул по этим статьям, как спросонья, загорающаяся склака не растолкала меня.

Но — каково Роджеру Страусу, будущему издателю «Августа» в Штатах? — ведь и он теперь как обвинённый! — да когда нечем отбиваться, ведь Виллетс тянет, тянет, перевод не готов. Немедленно и отважно Страус отправил опровержение в «Вашингтон пост»: «тонко-антисемитские пассажи в „Августе“? — полностью несправедливые и ложные предположения. И это всем станет очевидно, как только вот Гарри Виллетс в следующем году кончит перевод». Газета — не напечатала ответа. Страус послал для сведения Клоду Дюрану — а копию мне. Вот — и помолчи: как я могу не ответить своему издателю? Я написал ему:

«До сих пор только в коммунистических странах существовали такие приёмы: 1) вешать публичные обвинения на книги, которых никто не читал и не имел возможности прочесть; 2) клеить грубые политические ярлыки на сложные художественные произведения. Теперь своей статьёй от 4 февраля „Вашингтон пост“ переносит этот замечательный обычай в Соединённые Штаты, можно поздравить газету. Поразительно, на каком примитивном уровне они строят свои обвинения. Статья содержит и невежественные ошибки, выявляя незнание истории, — например, написали, что Столыпин был... министр иностранных дел и при нём — тогда почему „при нём“? — еврейские погромы, а их как раз и не было при нём».

Конечно, я мог вот так ответить и публично — но я решительно не был настроен вступать в дискуссию с американскими газетами.

Однако же — и не изолируешься вполне. Наш знакомец по темплтоновской поездке Джон Трейн попросил указать ему в «Августе» места, которые помогли бы опровергнуть «тонко антисемитский» ярлык.

И тоже неудобно не отозваться. Садится за ответ Аля: «Август» вышел год назад по-французски — и во Франции никто не вскричал «антисемитизм». А здесь — кто опровергнет, если книга ещё не доступна читателям? Что за цепь доводов? — раз Богров был еврей, а смерть Столыпина — несчастье для России, облегчившее революцию, — *значит* Солженицын обвиняет евреев в революции 1917 года? Фактически — требуют цензурировать историю. Но «писатель не может унижать себя и свои книги до оправданий перед журналистами, даже не читавшими этих книг, и перед советскими эмигрантами с весьма сомнительной биографией», — отчеканила Аля.

Тут — у нас с Алей было расхождение: я вообще не хотел никому в Америке отвечать и ни в чём оправдываться. Бранят — не в мешок валят. Но Аля — гораздо чутче, нервной переживала эту атаку — и теперь составляла для Трейна ещё и приложение — с копией моего ответа Страусу, с анализом передачи Лосева и науськанья докладных, и как Пайпс игнорирует источники, и как лгут о Столыпине.

Это воистину поразительно: и через 74 года после убийства Столыпина — правда о нём невыносима «свободной» прессе!

Итак, стали в Америке обсуждать книгу раньше её появления.

А у нас-то с Алей в эти недели был шок другой, не от западной прессы: 4 февраля началась в Штатах долгая атака о моём антисемитизме, а 19 февраля в СССР, где уже годами, кажется, не упоминали моего имени, — показали по телевидению (а до того на многих киноэкранах) фильм-агитку «Заговор против Советского Союза», с гнусной атакой и на меня, и на Русский Общественный Фонд, и мы «агенты ЦРУ», — заводка жернова у них многолетняя. Две мировых силы — единовременно, сплющивая меня!!

Вот это и есть: промеж двух жерновов. Смолоть до конца!

А в Нью-Йорке тоже уже, видно, не одну неделю и не месяц бурлил «интеллектуальный котёл», прежде чем вот прорвался. В результате этого бурления консерватор Подгорец, многолетний редактор правого еврейского журнала «Комментари», в этом же феврале напечатал свою большую статью «Ужасный вопрос Александра Солженицына». Но до этого вопроса читатель доберётся нескоро. Подгорец прежде был литературным критиком (потом, однако, перешёл в политическую публицистику). И теперь он, пространно пересказав для желающих мою литературную судьбу, попутно нахвалив книгу Скэммела, присуживает: что «Иван Денисович» не был художественным произведением и «впечатление от повести ослаблено» тем, что Иван Денисович не ведёт интеллектуальной жизни (точно такое раздавалось и от московской образованщины); ну, ещё как-то можно понять восторги русских читателей при скудости советской литературы; а романы — «Круг», «Раковый корпус», «Август» — «мертвы на каждой странице, в них нет дыхания жизни»; зато «Архипелаг ГУЛАг» и «Бодался телёнок с дубом» — «две величайшие книги нашего века» (тут Подгорец перечит хору американских рецензентов, обругавших «Телёнка») и «в трёх томах „Архипелага“ столько жизненной силы, что она буквально сбивает с ног».

И только в конце статьи он придвигается к злободневному, пылающему: так — антисемит или нет? Сам не берётся судить, поскольку книги по-английски нет, а говорят — разно. Однако вот что думает: «по моим впечатлениям, основанным на чтении всего, что было переведено на английский язык... упрё-

ки в антисемитизме построены почти исключительно на отрицательных аргументах: то есть у Солженицына нигде не встретишь неприязни к евреям, но и не слишком много симпатии к ним...» Но всё же «тревожным фактором остаётся потенциальный антисемитизм». И в этом — «ужасный вопрос Солженицына»? Нет, оказывается, и не в этом, Подгорец утверждает на своём правом фланге: Солженицын «атакует Запад за потерю гражданского мужества, за дух Мюнхена, за противопоставление уступок и улыбок оскалу варварства... За это, а не за предполагаемый антисемитизм хотят либеральные критики расправиться с Солженицыным». И вот «ужасный вопрос»: неужели нам нужна его смелость, чтобы избежать судьбы, грозящей нам от коммунизма? «Цепляясь за его антидемократичность или славянофильство как за предлог, чтобы не отвечать на вопрос, поставленный всей его жизнью, мы только подтвердим правильность обвинений в том, что мы — трусы, и приблизимся к страшной яме, из которой вырвался Солженицын, чтобы напомнить о замученных миллионах и спасти живых». — Сознательно или нет, Подгорец повернул «Ужасный Вопрос» совсем не так, как он стучит и бьётся в сердца американской образованщины.

Подгорец явно ошибся в построении статьи: он слишком долго добирался до своего «ужасного вопроса», так что последнему и места не осталось, и мало кто ухватил — в чём же он состоит, только отвлёк в сторону. Почта на статью была гораздо ещё объёмней того, что напечатано в следующих номерах журнала. Писали, что Подгорец «зачёркивает тысячи страниц прозы, не делая ни одного конкретного критического замечания», не привёл примеров, и теперь не соглашались даже те, кто с ним «всегда соглашались», спорили о романах, о Костоглодове; спрашивали: «может быть, в литературном анализе нет таких категорий, как правда и неправда, добро и зло? как иначе можно совместить уважение к Подгорецу с переживанием огромного эстетического наслаждения и нравственного долга, которые мы испытываем, читая книги Солженицына?» — А ещё ж и Скэммел был без надобности привлечён к этой статье — так и о Скэммеле: нельзя так «слишком уважать биографии». Тут же, на именины, выскочил и сам Скэммел: он рад, что стал причиной появления такой великолепной статьи Подгореца, но спешит заверить, что и он, биограф, не ставит Солженицына как романиста высоко, его неправильно поняли, его оценка мало отличается от подгорецовой, — ошибка оттого, что Скэммел, задавленный уникальным биографическим материалом, недостаточно занялся художественным разбором Солженицына, как собирався, а то бы, а то бы он всё ясно выразил! Но впрочем нельзя не признать, что у Солженицына и кроме «Архипелага» есть кое-что, кое-что ценное... — А от читателей лилось: «Дискуссия о Солженицыне шире и ожесточённее, чем о любом другом писателе, оттого что он — единственный голос, слышный и понятный всем». — Солженицын «загнал щуп туда, где болит сильнее всего: он исследует вопрос о том, во что обходятся простым людям идеи, идеологии и социальные системы интеллектуалов». — А кто-то лишь благодарил, благодарил Подгореца, что ничего лучшего в жизни не читал, чем эта статья, и редко кто мог бы написать о Солженицыне так авторитетно.

И «ужасный вопрос», как его задал Подгорец, почти вовсе потерялся, а кем и был подхвачен «ужасный», то понят как: антисемит Солженицын или нет? И одни вспоминали арестантов-сионистов из «Архипелага» и уважение к опыту Израиля, — нет, не антисемит. Другие: что антисемитизм Солженицына «скорее безотчётный». Третьи: что евреи были самыми многочисленными и активными строителями коммунизма в России, отрицать это бесполезно, и фундаментально ошибочно «выступать против предполагаемой антисемитской окраски, которая то ли есть, то ли нет в книгах Солженицына», говорящего нам о «радикальной враждебности коммунизма всему человечеству». Четвёртые: что у Солженицына уже Парвус — был грубая карикатура, а программа Солженицына — установить тоталитаризм православия, «и можем ли мы как люди и как евреи остаться безразличными к его тёмным целям в отношении

России? ведь в России пленниками томятся два миллиона евреев», идеология же марксизма «по крайней мере сдерживала антисемитизм местного населения».

Подгорец, заключая: я не упомяну текста, который породил бы такую бурю писем, как моя статья, но «вопрос, вызвавший реакцию столь страстную и в то же время серьёзную, — редкостная комбинация для журнальной колонки писем, — вопрос этот — не мой очерк о Солженицыне, но сам Солженицын»; и, подводя итоги дискуссии о романах, демократии и славянофильстве, сам уже сбивается: «и наконец ужасный вопрос об антисемитизме». Всё же — «с моей точки зрения горечь Солженицына, что революционеры-евреи сыграли такую роль во внесении коммунизма в Россию, имеет гораздо меньше значения, чем его последовательная горячая поддержка Израиля».

Всем тем Подгорец скорее страсти сдержал.

Но эта дискуссия проявилась лишь к лету 1985, а мартовские события развивались куда быстрее. Снова раздался пронзительный верезг Белоцерковского. Сколько ещё за минувшие месяцы он написал служебных доносов — нам неизвестно, они не опубликованы, но вот, отрываясь и от своего фундаментального труда об угрозе «русской и военной партии» — он ещё подпалил травлю в содружестве с одиозным американским журналом «Нейшн» (прожжённо-просоветским).

Обгоняя на неделю публикацию самой статьи Белоцерковского, «Нейшн» выпустила предваряющую сводку её содержания — и разослала всей американской прессе:

что Солженицын овладел сетью вещающих на русском языке радиостанций (таких всего в мире 4-5, и — откуда американцам знать? — очевидно, всеми и овладел)! и сетью прессы! и сетью издательств! *монополизировал* всё, что передаётся русскому народу через средства западной информации на русском языке!! Растёт влияние лагеря Солженицына! (только лагеря самого нет) — а «демократические группы испытывают недостаток финансовых средств». Но главная новость: демократический сенатор Пелл уже распорядился начать расследование! «Конгресс стал задумываться».

Стал задумываться... Внимание!

Чья б эта «Нейшн» ни была — а сенатское колесо уже закрутилось!

Белоцерковского тут же подхватил и Аптекаер, главный теоретик американских коммунистов, в их «Дейли уорлд» (которая и в московских киосках продаётся): «банда Солженицына в фаворе у Рейгана», и это — те самые, те самые русские ультранационалисты, фашистские подонки, которых финансировал Гитлер и ставил гауляйтерами Украины и Белоруссии...

А наперебой и «Вашингтон пост», в ней ещё одна статья: «Тревога в эфире»: в передачах, которые правительство США передаёт в Советский Союз, — «след антисемитизма», о том *много* жалоб и на «Свободу», и на «Голос Америки», передающий роман Солженицына. (Вот влипли, бедняги, с моим «Августом», и всего-то им со столыпинским циклом осталось немного, дотянуть бы! Отбивались, как могли...)

А «Бостон глоб» рвалась и безоглядной: «в конфликте господствует *апокалиптическая фигура* Солженицына... Гарвардский профессор Маршалл Голдман спрашивает, не плывёт ли эта игра прямо в руки советских властей?..», администрации Рейгана привлекательно опираться не на продемократическую нынешнюю еврейскую эмиграцию из СССР, но (хороший момент копнуть под Рейгана) на великорусских националистов-монархистов и на беженцев Второй Мировой войны с их твёрдым антикоммунизмом. И хотя чиновник из окружения Бакли оправдывается, что советские евреи — самая многочисленная и энтузиастическая аудитория «Свободы», а вот никогда от них не поступало отрицательных отзывов на передачи Солженицына, — нет! необходимо сенатское расследование!!

Бам-ба-бам!! Из пушки по «голосам»!

И вот что, вот что: необходимо восстановить строгий *предконтроль* радиопередач! И «по реакции на передачу о Столыпине кажется ясным, что Солженицын теперь нес скоро будет передан по радио „Свобода”». (Вот это — точно, это наверняка.)

И не найдётся им в ответ образумляющего американского же голоса.

Эта кампания быстро родила отклик и в Англии. «Ивнинг стандарт» (куда корреспондирует Виктор Луи) подхватила в тех же днях, повторяя этот приговор «Бостон глоб» и Ричарда Пайпса: Солженицын «считает себя некоронованным главой России, не захотел приехать на завтрак к Президенту, а книги его отличаются скрытым антисемитизмом»; и Маршалла Голдмана: «растёт антипатия американцев к Солженицыну, и он может отправиться жить в Европу». (Сама газетная кампания и родила слух, что я уже бегу во Францию.) И наконец — вот, вот, в неделях — «сенатский комитет присоединится к анти-солженицынской артиллерии, в слушаньях несомненно будет говориться об антисемитизме Солженицына»!

Да, да! Тревога клубилась, Тревога дымилась — и не могла не воспарить к мраморным колоннам самого Капитолия! (А надо сказать: американских сенаторов-конгрессменов мёдом не корми, только поручи им какое-нибудь *Расследование*, дай им в возвышенных ложах перед микрофонами сидеть со строго сдвинутыми бровями и выказывать свой превосходящий ум и необыкновенную пронизательность.)

И вот, 29 марта 1985 созываются Слушания — не какой-нибудь малой комиссии, не подкомитета, нет — но Комитета по иностранным делам Сената Соединённых Штатов! Душа тех Слушаний — из ведущих демократов Соединённых Штатов почтенный Клейборн Пелл, джентльмен из штата Род-Айленд. Это высокое заседание должно, наконец, расследовать Загадку, каким образом проверенная — и сугубо, и треко подконтрольная — американская радиостанция могла так необузданно вкинуться в пучину антисемитизма — и как этот наглый Солженицын умудрился использовать американские деньги на пропаганду, враждебную Америке? (И вот передо мной лежит 140 страниц стенограммы высокого заседания — и это наговорили всего за один день, а пусти их на неделю!)

Да недоверие к радиостанции «Свобода» уже и перед тем накапливалось, особенно после того, как Станция запросила у Конгресса добавочной субсидии в 77 миллионов долларов. Тогда же сенатор Пелл послал на Станцию ревизию из Главного Контрольного Управления Соединённых Штатов, а заодно, по компетентному совместительству, поручил тем бухгалтерам проверить, сколько и какие были допущены на Станции «нарушения политического курса». Коридорными ли опросами сотрудников или ещё как, бухгалтеры, видимо, добыли неутешительные, если не удручающие сведения. И вот этот результат грозно навис над Слушанием, хотя, естественно, вице-председатель Совета Иностранного Радиовещания (ВІВ) Бен Ваттенберг теперь пытался так озвучить негодную защиту: «Когда ревизию проводят бухгалтеры, а не журналисты или учёные... то из их цифр всегда можно устроить игру. А что касается Солженицына — то как нам не допускать его на наши передачи, если его слова печатаются на первой странице „Нью-Йорк таймс” или с них начинаются новости интернациональной службы Би-би-си?»

Директор Соединённых Станций Джеймс Бакли заверял сенаторов, что, в частности, «к предметам, представляющим особый интерес для еврейского слушателя», на Станции «за последние три года наблюдается существенный рост внимания».

Как? А цитирование Солженицына?

Вслед за Ваттенбергом также и Фрэнк Шекспир, председатель ВІВ, оправдывался, что — да, «Солженицын — фигура, вызывающая большие споры, — но он также фигура огромного значения. Нам указывали, что мы не должны передавать Солженицына, поскольку он слишком сильно критикует Соеди-

нённые Штаты и вообще Запад. Но как быть, если половина политических деятелей в Америке тоже отмечают, как и он, что западные демократии потеряли присутствие духа? И если мы хотим вести дело, заслуживающее доверия, мы должны дословно передавать слова человека такого масштаба, как Солженицын». А устав Станции остаётся весьма строгим, весьма. Например, чтобы не раздражать советских слушателей, запрещено сравнивать «капитализм и коммунизм» в общем смысле; в применении к Восточной Европе запрещено употреблять выражения «коммунистические страны-сателлиты», так что, довольно язвительно добавил Шекспир, — «если бы Президент Рейган был комментатором у нас в эфире, то он бы очень часто нарушал наш устав».

А в данном случае, бесстрашно обнажал Шекспир, в данном-то случае под видом спора о принципах «возникает масса эмоций, вращающихся вокруг одного человека, Александра Солженицына».

Увы, это так и было. Вопрос спутался, смялся: где же, правда, демократия? где свобода критики? Да ещё этот чёртов никем не читанный роман, об антисемитичности которого почтенным сенаторам приходилось бы иметь суждение?

Облизнулся сенатор Пелл, свернули Слушанья после одного дня, убрали стенограмму.

Обмашка у них вышла. (Убедились: весь ураган — из доносного переполоха.)

Из сопровождающих газетных статей тех дней, по поводу Слушаний, видим, что и сам Ваттенберг — еврей, и евреи же — в большинстве сотрудников «Свободы», да ведь, опять же: «русские евреи — наиболее восприимчивые слушатели радиостанции „Свобода“». И снова та же «Вашингтон пост» заключала: пусть программа той злополучной передачи не была явно антисемитской, пусть даже она была исторически верной, — но «были нарушены руководящие правила не передавать возбуждающих программ», «зачем передавать в СССР программу, которую советские слушатели *могут* счесть антисемитской?» Значит, о Богrove передавать вовсе не надо. «Некоторые исторические программы могут быть уместны для слушателей американских» (они ведь как развиты у нас!), «но не для слушателей, со дня рождения питающихся советской пропагандой» (им — уже ничего серьёзного не надо). Нет, нет — усилить, усилить просмотр программ *до* передачи!

Итак, да здравствует Предварительная Цензура в Соединённых Штатах!..

Вот столькое раскрутилось из случайной непредсказуемой передачи Лосева. Может и хорошо, что он бросил им такую кость: все кинулись и выразительно себя показали. Да нет, затеялся бы этот пустополох не так, так иначе.

Но Тревога, но взмученная Тревога уже не могла улечься так быстро, ей предстояло расходиться мельчающими кругами.

Даже вся третьеземгрантская пресса, так враждебная ко мне, уже отказывалась печатать шныря Белоцерковского, — но напрытчился он найти в Лос-Анджелесе ново-недавнюю «Панораму» — и дальше лил через неё. Жирный заголовок: «Солженицын — „пятая колонна“ советской пропаганды!» Вот, оказывается, на кого я служу: на ЦК КПСС! — В статье ничего нового, перефразировал то же, что в «Нейшн», но сформулировал острей. — Да! советские власти никогда ещё не имели такого сильного пропагандистского аппарата, как сейчас: в их распоряжении «Солженицын с его приверженцами» — а финансируют Соединённые Штаты! (Какая соединённая сила!!) Западные средства массовой информации на русском языке — отданы для пораженческой пропаганды Солженицына! Оттого и затянулась пассивность советского общества в его оппозиции тоталитаризму. Ведь когда советские люди слушают охаивание Запада от своих советских пропагандистов — они не верят (это — да, как не верил и я, живя в СССР), а когда критику Запада услышат от Солженицына — задумаются. (Это бы — хорошо! Я — и не хочу, чтобы наши стадом бездумно потопали по западной дороге стопа в стопу, пусть думают, как ступать.) И великодушно: «я уже не буду здесь говорить об антисемитской пропаганде Солженицына» (это отложим на ближайшее будущее), но: на Западе «создан вокруг Солженицына настоящий сталинский культ личности... его велича-

ют по имени-отчеству!.. и при виде такого могущества „Пророка” всё новые и новые эмигранты из СССР присоединяются...» Наконец дело зашло так далеко и худо, что «для исправления положения необходимы чрезвычайные меры». И ещё отдельным заголовком: **Необходимы чрезвычайные меры.**

Всё-таки и в той же перекошенной «Панораме» зазвучали перечасные, а то и насмешливые голоса, протестовали и многие евреи. — «Запишите! Запишите меня в пятую колонну с Солженицыным!» Валентин Гольдман: «„Нейшн” — просоветский журнал. Я еврей, и мне надоели обвинения Солженицына в антисемитизме. Со страниц „Архипелага” на нас повеяло ветром свободы и надежды... И почему наши доморожденные либералы всё пугают Запад, Россию и эмиграцию „русским национализмом”? Почему русским запрещено иметь национализм, а грузинам, литовцам, армянам — можно? Не расизм ли это — запрещать народу иметь свои чаяния и в то же время пугать Запад этим национализмом, как делает Белоцерковский?» — Лев Дубинский: большевики «Солженицына не смогли уничтожить, либеральничали нехотя. Как же его остановить? да клеветой! В СССР лекторы сообщают народу о жиде, помещике, фашисте, сионисте, власовце, изменнике Солженицыне. На Западе нам рассказывают, что Солженицын — агент КГБ, фашист, русский Хомейни, пятая колонна Кремля. Дай Бог Солженицыну долгой жизни, а его родине — свободу!» — Михаил Гальперин: «В книгах Солженицына антисемитизмом не пахнет».

Однако это всё — вперёд, на лето-осень 1985, а ещё ж не исчерпаны рьяные атаки весны. (Услышан давний зов Синявского: да евреи! да ударьте же!) В запасе был ещё Лев Наврозов, *литературный гений* (привёз на Запад несколько готовых романов, и первый же роман его, «Воспитание Лёвы Наврозова», тут злокозненно не признали выше всего написанного в XX веке, а до остальных как будто и дело не дошло). В СССР он был затаён беззвучно, ни хвостика оппозиции, — «жил в подпольи», кокетливо представляется в «Континенте» (однако дачами соседствовал с Громыкой), — а на Западе тут стал сразу опорой консерватизма, автором непримиримых антисоветских колонок в «Нью-Йорк сити трибюн». (Это чуть ли не всеобщий закон: что на Западе смелее всех разворачиваются те, кто тишайше вёл себя в СССР.) Но Наврозов, надо отдать справедливость, не побоялся судебного столкновения и с Голдой Меир и с «Нью-Йорк таймс»: если не принципиальность, то неистовость его обурекает. Сейчас вот (1987) — решился атаковать и Сахарова за его возврат в советскую лояльность. О себе при этом он серьёзно пишет так: «Я пролагаю свои пути», «общий поток моей умственной деятельности»... — И уж таким он стал железнейшим антикоммунистом, что я хотя и знал его скорпионом, а укуса в свой бок от него не ожидал.

А пришлось. Он выпрыгнул в своей газете в феврале, через две недели после первого газетного сигнала. Как видно из его слов, 20 лет он крепился, меня не трогал, выжидал, когда же минует со мной сенсация, когда же можно будет ударить, — и вот, наконец, можно. Крепился — а тут так ясно запахло жареным! Он понял: это сигнал — бить, но чтобы добить — нельзя рассеиваться, а надо сосредоточиться на главном: «Евреи уже стонут, находя всё больше доказательств» антисемитизма Солженицына.

Тут легко воспламененого Наврозова пронзили две булавки-догадки: 1) а будет ли когда вообще опубликован по-английски столыпинский том «Августа»? не утаивается ли он с умыслом? 2) а если еврейская критика Солженицына усилится — то не бежит ли он с Запада в СССР? (И тогда — грош цена его показательному антикоммунизму.)

Эти две догадки, видимо, так сильно уязвили Наврозова, что породили богатые последствия. Он развил активность по любым меркам выдающуюся.

Полились статьи в его консервативной «Нью-Йорк сити трибюн», и не только самого Наврозова, а штаба газеты. И что, правда, этот Солженицын? — о Гулаге? — так все всё знали и до Солженицына. А вот — своей антизападной позицией он помогает Советам. И раз он националист, то как он может не быть антисемитом?.. И ещё раз: в американской газете — крупный переснимок из эмигрантской «Панорамы» с портретом Белоцерковского и крупными русскими буквами: «Солженицын — пятая колонна советской пропаганды».

Смутилась, затревожилась праворучная Америка — и стала от того Солженицына отваливаться: нет, не наша лошадка. (Опять и тут — второй жернов заскрипел, от первого не отстать.)

Но что там редакционные статьи! Лев Наврозов поднялся в решающее и последнее наступление. Заголовки на две газетных страницы раскинулись такие: «„Пророк“ свободы или антисемитизма? Двухличный тоталитариец сталинского урожая. Нуждается ли человечество в тоталитаризме с солженицынским лицом?»... И крупно изображён я — с лицом старым, обиженным, и почему-то под стенами федерального Суда Соединённых Штатов. А статья — преогромная. Наврозов вообще отказывается понять «фантазмагорию, которую создала пресса за 20 лет из солженицынской сенсации». Называть Солженицына антикоммунистом? — комично. Смелость? — никакой он не проявлял. «Архипелаг»? — ну какую ценность он имеет? Просто: Солженицыну повезло, что Хрущёв его напечатал, а других — нет. И даже, в своей консервативной чистоте, отшатывается от меня Наврозов и в таких неожиданных пунктах: почему я «черню» Николая Второго, который был «прозападным конституционалистом»? и почему я «примкнул» к Американской православной церкви, а не к Зарубежной, столь непримиримой? Впрочем, что особенно беспокоиться? «Теперь он забыт прессой и его „величие“ прошло... Вот слухи, что может вернуться в Россию, „любимый блудный сын любимой матушки России“». Возможно, вся «кампания клеветы против Солженицына в СССР — это спектакль». Но 11 лет он отказывается стать гражданином какой-нибудь западной страны, это — почему? это — как понять? Да только нынешний советский режим не нуждается в Солженицыне, раз его сенсация прошла. Нет, скорей всего — не примут его.

Но это не всё! Вот — крупное объявление: в журнале «Мидстрим» (левом и еврейском, как называют они себя) за июнь-июль 1985 — труд Льва Наврозова: «„Август Четырнадцатого” — это новые „Протоколы Сионских Мудрецов”». Страшнитесь!

А «Мидстрим» — это тот, что не раз пописывал обо мне. Именно он печатал умопомрачительное изнюхивание М. Пераха (антисемитизм Солженицына не в его словах, а в *отсутствии слов*, например: почему в «Иване Денисовиче» ни разу не употреблено слово «жид»? — ведь это умысел!!). Именно «Мидстрим» выразился, что мои книги (из-за моего крестьянского происхождения) пахнут навозом. Редактор его Джоэль Кармайкл — «один из лучших консервативных историков России». И вот, в его просторном журнале несытый славою Наврозов мечет удары по «Августу»: «...полуграмотный русский язык... полуграмотный провинциал... Когда я прочёл „Ивана Денисовича”, я сказал, что он *может* стать небольшим писателем, что было в *моём литературном масштабе* комплиментом... Но у Солженицына не было времени развиться в небольшого романиста... приходилось делать вид, что он Толстой, и срочно отращивать бороду». «Август» — «не роман, а миф... мифические фигуры... предвзятые мнения». — Вольно переводя с русского, ибо по-английски книги ещё нет, Наврозов более всего нагнетал, до звенящей страсти, — еврейскую, еврейскую, еврейскую тему! — И вот — такая-то гнусная антисемитская книга «накачивалась в Россию по радио» до тех пор, пока не «прозвучал гневный протест общественности» в Америке. Знал, хорошо знал наш скорпион, куда жалить, — это место уже нажжённое, напалённое.

Да оглянуться, оглянуться. Ведь уже от «Ивана Денисовича» эти споры и начались, с первого моего появления: а почему — Цезарь посылки получает? а почему Иван Денисович его обслуживает?

А сейчас, за эти месяцы кругового всеамериканского подогрева, — схватилось как пожаром. И сочувствующий мне «Уолл-стрит джорнэл» наивно предлагал мне как спасение такой выход: написать предисловие к выходящей вскоре книге Щаранского — тем я докажу, что я — не антисемит. (Да ещё — докажешь ли? Ещё — зачтут ли в похвальное поведение?)

Во всей этой истории меня больше всего поразило: какая же боязнь правды о прошлом! Нет, видно её боятся не только пенсионеры НКВД и функци-

онеры КПСС, — нет! И как же рано взорвались здешние нападки — уже на убийстве Столыпина, и сразу на высшем голосе, а ещё ж впереди будет развёртываться вся, вся Революция! Не оставляют себе запаса для гнева и спора.

И как удивительно повторяется: травят меня опять в той стране, где я живу, — и опять за книги, которых тут никому не доступно прочесть. И, как и советские нападки, здешние тоже стягивают любую проблему и мысль — на позорно низкий партийный уровень, на клочки, на ярлыки, вот теперь «антисемитизм», и подыскиваются самые подлые личные обвинения. Не в состоянии они держать свою мысль высоко.

Хотел я замкнуться в работе — нет, не дадут? нет, вытягивают на бой? Как они провоцируют и ждут, чтобы я «ответил на критику в прессе» (ну точно как в СССР!), как они жаждут, чтобы я принял согбенную позу обвиняемого. Но — не пошевельнусь, пусть выговорятся. (В те дни у Али записано: я вполне готов, что травля будет возрастать и до самой моей смерти, заложит всё небо.)

Брань в бок не болит, очей не выест. Сдюжаем. Не рассчитали противники, как устойчив мой характер, я — гнанный зверь. Этот шквал я переставив спокойно. Период, когда тебя бранят или замалчивают, — для творчества самый полезный, меньше ненужных помех. Безо всякого душевного затруднения я входил в эту полосу заплёванности, как при печатании «Ивана Денисовича», напротив, — в полосу известности.

Но Аля переживала эту безотбойную атаку на нас — остро. В отличие от меня — она чувствовала себя реальной жительницей этой страны, где ей приходилось общаться, сноситься, делать дела общественные и личные, организовывать разные виды защиты распорядителей нашего Фонда в СССР. И ещё больнее: наши дети жили в этой стране как в своей реальной, пока единственной — и сколько лет ещё им тут предстояло, и вся эта брань не могла не стеснить их, озадачить. И Аля хотела, чтобы я теперь стал активно обороняться. Мои доводы, что надо перестоять, перемочься, доброе молчание чем не ответ? — не убеждали её.

А тем временем — изнемогала ж ещё и «Нью-Йорк таймс»! Всю инициативу открыть кампанию «по антисемитизму» вырвала у неё вечная её соперница «Вашингтон пост», потом покатило, покатило по другим газетам — а главный-то Оракул ещё не успел и рта раскрыть. А только он один, по чину, может решить и присудить окончательно.

И вот в середине июля 1985 получаю письмо от Ричарда Гренье: что сейчас некая «специальная ситуация», по которой не решил бы ли я преодолеть своё отвращение к интервью и высказаться? В связи с конфликтом вокруг обвинений в антисемитизме он уполномочен самим издателем «Нью-Йорк таймс» А. М. Розенталем — написать о том статью, и будет писать её под прямым наблюдением издателя. Вот — Гренье прочёл и расширенный «Август», и «Октябрь» (по-французски; наконец-то! — человек, который *прочёл*), — и сам не находит в них антисемитизма. Теперь он опросит около двадцати «экспертов», чтобы составить балансный отчёт. Но: я могу овладеть этим процессом раньше других, если решу высказаться сам, и тем могу прекратить все дебаты. Конечно, признаёт, время о том говорить — когда книга выйдет в Америке, и не миссия писателя давать интервью, но дебаты всё равно начались, и общественное мнение может отвердеть ещё до книги. Заверяет, что во всей Америке я не найду более пылкого доброжелателя, и даже мою гарвардскую речь он воспринимает с трепетом. Просит дать ему интервью.

Аля склоняла меня дать. Она читала: «Так можно выиграть! самим перейти в атаку!» Я отклонял начисто: я должен перемолчать их на большом отрезке времени и так приучить к сдержанности, отучить от визга. Она спорила: «Нельзя ко всем нападкам относиться как блажененьким». Потом стала смиряться, записала: «Пожили в славе, поживём и в поношении».

А я твёрдо уверен: моя правда теперь — в молчаливом выстаивании нескольких лет. Медведю зима заобычай.

И всё-таки — «Нью-Йорк таймс», не иголка в стогу. Интервью — нет. Но вместо того, решили: напишу ему письмо, обозначу всё ясно. Форма частного письма к понимающему человеку — она сама располагает высказаться глубже.

«17 июля 1985

Дорогой г-н Гренье!

Действительно, я считаю невозможным для писателя выступать в роли адвоката собственных произведений, да ещё прежде их публикации.

Не скрою, я был чрезвычайно удивлён, что в Соединённых Штатах дискуссия об „Августе” началась — 1) когда книга недоступна никому из читателей; 2) с наклейки на неё политических ярлыков. Такую практику по отношению к моим книгам до сих пор применяли только в СССР.

Что касается ярлыка „антисемитизма”, то это слово, как и другие ярлыки, от необдуманного употребления потеряло точный смысл, и отдельные публицисты и в разные десятилетия понимают под ним разное. Если под этим понимается пристрастное и несправедливое отношение к еврейской нации в целом — то уверенно скажу: „антисемитизма” не только нет и не может быть в моих произведениях, но и ни в какой книге, достойной звания художественной. Подходить к художественному произведению с меркой „антисемитизм” или „не-антисемитизм” есть пошлость, недоразвитие до понимания природы художественного произведения. С такой меркой можно объявить „антисемитом” Шекспира и зачеркнуть его творчество.

Однако, кажется, „антисемитизмом” начинают произвольно обозначать даже упоминание, что в дореволюционной России существовал и остро стоял еврейский вопрос. Но об этом в то время писали сотни авторов, в том числе и евреев, тогда именно не-упоминание еврейского вопроса считалось проявлением антисемитизма, — и недостойно было бы сейчас историку того времени делать вид, что этого вопроса не было. Чтобы не повторились ужасы, которые человечество совершило над собой в XX веке, все виды революционного и этнического геноцида, — надо изучать историю, как она была, подчиняясь лишь требованию исторической истины, а не оглядываясь на возможную сегодняшнюю цензуру, „что скажут” или „как это будет принято” сегодня.

Я развёртываю „Красное Колесо” — трагическую историю, как русские в безумии сами разрушили и своё прошлое и своё будущее, — а мне швыряют в лицо низкое обвинение в „антисемитизме”, используя его как дубину, низменно подставляют цепь ложных аргументов.

Все предъявленные до сих пор в прессе претензии к моей эпопее в её исторической части — либо опираются на неверные сведения, либо просто голословны. Что касается Богрова, то я не только досконально изучил и использовал в с е относящиеся к нему материалы, но в объяснение его действий принял мотивы, выдвигаемые его родным братом, который написал об этом книгу (В. Богров. „Дм. Богров и убийство Столыпина”. Берлин, 1931, изд-во „Стрела”).

Если хотите, Вы можете использовать это моё письмо в любой форме для Вашей статьи.

Я рад, что Вы будете судить не по слухам, как большинство тех, кто сегодня высказывается...»

Но нет, Гренье не удовлетворился тем. Ответил через две недели длинно: Если и верен Ваш критицизм относительно американской прессы — то лучше

самому манипулировать ею, чем давать манипулировать ею против себя. У меня такое чувство — (верное, да) — что Вас не слишком заботит, что американская пресса пишет о Вас. Но вокруг чего американская пресса возбудится — то обычно распространяется по всему миру. — (Тоже верно: Европа презирает Соединённые Штаты, но за жизнью их напряжённо следит. Скажешь в Америке — раздаётся везде. Скажешь в Европе — Америка может и не услышать.) — Я буду щедро цитировать Ваше письмо, но, по смыслу редакционного задания, буду приводить и мнения Ваших врагов. А вот если Вы согласитесь принять меня в Вермонте на часик-другой — это будет совсем другая статья. Вы — крупная публичная фигура и имеете возможность «перенять оппозицию». Например, Президент Соединённых Штатов делает так постоянно, или вот как недавно успешно поступил нью-йоркский мэр Коч (далее — пример). Если даже Вы только повторите мне устно то, что уже написали в письме, и ответите на некоторые дополнительные вопросы — то Ваши заявления и составят ту статью, я не должен буду вступать в спор с Вашими противниками — Вы выскажетесь *сами*, статья будет *на первой странице* «Нью-Йорк таймс» и прочтена каждым. Вы спросите, какая разница, если ответил в письме? — тщеславие прессы. Вы спросите, а зачем вообще это обсуждать, почему не подождать выхода книги по-английски? А потому что — так работает американская пресса. Если что-то есть в воздухе — читатели желают об этом прочесть. Обвинения в антисемитизме, как вы должны понимать, *исключительно опасны в этой стране*. В Соединённых Штатах есть люди, которые изо всех сил стараются разрушить Вашу репутацию, и они не будут ждать выхода книги по-английски. Ситуация исключительной срочности, а Ваше положение даёт Вам возможность энергично защититься.

И снова у нас дома горячий спор. Аля настаивает: в бой! в атаку! моё молчание будет истолковано как «прячется».

Но нет, я уверен: Але в этот редкий раз отказало верное решение и долгосрочная выдержка. Для меня: появиться вот так на первой странице «Нью-Йорк таймс» — суета, истерика, унижение, испугался. И не хочу принимать «Нью-Йорк таймс» в арбитры. Хотят привести меня к присяге — да ни за что! При первой травле стать перед ними в позу оправдания? — да было бы несмыслимое пятно, позорный гиб. Ни за что.

Отвечаю:

«6 августа 1985

Дорогой г-н Гренье,
благодарю Вас за Ваши добрые намерения.

Но я не считаю, что нахожусь в положении политических деятелей: они нуждаются в максимальном сегодняшнем эффекте воздействия и в переизбрании, а я не нуждаюсь. Моя задача — написать правдивое историческое исследование о русской революции, — а далее мне не так важно, будут ли мои книги приняты именно в этом десятилетии и именно в этой стране. Да, я вполне сознаю, насколько могут вредить обвинения в антисемитизме в этой стране, и даже допускаю, что мои враги будут сейчас иметь в американской прессе полный и быстрый успех, — но это не касается масштабов истории и масштабов литературы. Выступить в газете непосредственно, чтоб отражать низкие, искусственно созданные обвинения, — я считаю для себя невозможным.

Моё письмо к Вам от 17 июля — наибольший предел того, что я мог сделать».

Нет! Гренье не согласился, прислал третье письмо. Нет, не потерял надежды: ну, хоть не полноразмерное интервью — но даже несколько слов, сказанных Вами мне непосредственно, — уже обеспечат Вам доминантную роль в статье. Мочь указать, что Вы «сказали нашему репортёру», — такова соревновательная природа журнализма в Соединённых Штатах. Наибольшая выпук-

лость Вашего взгляда, как бы Вы ни были к тому равнодушны, усилит Вашу позицию в этой стране. Вы добьётесь своей реабилитации. Вы же — защищали себя в «Телёнке». Не может быть, чтобы на коротком отрезке Вы совсем бы не интересовались, что происходит в Америке. Вы можете или могли бы стать большой моральной силой здесь.

Очень горячо он писал. Но для меня — этой переписки уже было чересчур. Я ему больше не отвечал. А Аля — поперёк своего убеждения держа мою оборону — объяснялась с ним по телефону бесконечно, — вот так он настаивал.

Так — я сделал свой выбор, и рад тому, и не раскаялся.

А статья Гренье, за всеми опросами и задержками, появилась в «Нью-Йорк таймс» только в ноябре (и в редакции, как говорит М. Фридберг, сильно её сократили), уже на далёкой странице, с равными фотографиями моей и моих судей, гарвардских профессоров: Пайпса (против меня) и Улама (за). Построена была статья лохмато, с повторами, непоследовательно, обычными выщипами прессы, но в опросе мнений перевес оказался в мою всё же пользу; неплохо сказано о значении и смерти Столыпина, благоприятно оценено и «Письмо вождям» (в этой же самой «Нью-Йорк таймс» в 1974 прклятое). И склонился баланс так: хотя «Архипелаг» по сравнению с «Большим террором» Конквеста «менее беспристрастен к соотношению евреев и гоев», хотя я «неосознанно нечувствителен к еврейским страданиям» (Эли Визель) — однако же у меня антисемитизм не кровный, не расовый, а «на основе религии и культуры», и этим я похож на Достоевского, который, как известно, был «ревностный христианин и неистовый антисемит» (Пайпс).

А Оракул — есть Оракул. Раз «Нью-Йорк таймс» выразилась умеренно — море негодования стало пока успокаиваться. Некоторые местные газеты — перепечатали эту статью, так же и соседняя вермонтская, с заголовком: «Солженицын отрицает обвинение в антисемитизме», — и наши соседи впервые вообще прочли о тех обвинениях, а одноклассники с любопытством спрашивали наших сыновей, «что такое антисемитизм».

Перенеслось и через океан. «Дейли телеграф», «Ивнинг стандарт», и Лосев отбивался в «Спектейторе».

Сама «Нью-Йорк таймс» поместила отклики лишь единожды, и тоже — равновесным коромыслом.

Набат сенатского колокола — отгудел.

А вторичные круги от большой Тревоги — ну, всё не могли улечься.

Как же было иным евреям — сперва американским, потом и шире — не воспринять этой удавшейся подтравки? Ещё бы не задело! В еврейской прессе появились отзывные статьи, вот, например, лос-анджелесская «Израиль тудей», октябрь 1985: «„Голос Америки“ — голос антисемитизма?» — «Эти главы, вероятно, никогда не будут доступны не читающим по-русски» (усвоенная мысль Наврозова). «Подлинный русский был гнусно убит пулей еврейского убийцы... Убит человеком настолько низким, что он даже служил осведомителем полиции...» Подбор цитат из разных мест книги, вперемешку и в густоте, чтобы доказать её антиеврейскую злость, ссылки на авторитет Льва Наврозова, «блестящего писателя и учёного», а ничего в статье больше и нет.

Но, как всегда, у евреев есть разнообразие мнений. И, например, «Детройт джюш ньюс» той же осенью выставила рядом фотографии мою и Рауля Валленберга, и — к нынешнему спору о моём антисемитизме — пространно повторила свою публикацию 1975 года и мои слова о Валленберге на пресс-конференции в Стокгольме в 1974* (после которых только и началась, и то не сразу, международная кампания по его розыску), заключив: «Как любопытно, что Солженицын должен был подкрепить еврейскую активность в защите Валленберга». (Подкрепить? — пробудить...) Напомнила кстати.

* «Публицистика», т. 2, стр. 169 — 172.

Были и частные обращения ко мне. Вот 25-летний Филлип Авербук из Бостона. Читал мои книги, статьи, и согласен с моей критикой Запада. По «Из-под глыбам» разделяет мою уверенность, что русскому народу предстоит ещё сыграть важную и благодарную роль в не столь отдалённой будущности человечества. В том же уверен он и относительно евреев, русские и евреи могли бы дополнительно соединиться в этих будущих событиях. Но вот среди евреев растут споры о моих чувствах относительно них: одни считают — все бы гои имели такие взгляды, как Солженицын, другие — «это типичный традиционный русский антисемитизм», и обе стороны ссылаются на цитаты из написанного мной. А Авербук, прочтя Наврозова в «Мидстриме», теперь находит такой простейший выход: он возьмёт у меня прямое интервью и все сомнения рассеются, как просто! И вот вопросы: 1) Много ли вы знаете об истории и религии евреев и откуда вы получили ваши знания? 2) Верно ли, что вы верите, что только православие спасёт Россию, и если так, то что будет в *идеальной* России с не-христианами? 3) Что вы думаете о государстве Израиль, об израильском обществе, об отношениях Израйля с другими странами? Чувствуете ли вы, что Израиль обладает универсальным значением, и если да, то в чём это проявляется? 4) Признаёте ли вы значительный вклад еврейской философии в русскую культуру последних двух столетий, исключая Маркса и Троицкого? 5) Как вы воспринимаете философию и действия новых еврейских эмигрантов? 6) Есть ли у вас соображения, критика, комментарии к еврейскому народу в Свободном Мире?

И вот как только, закинув «Красное Колесо», я всю эту диссертацию подготовлю, потом изложу ему — и дело в шляпе, я — реабилитирован!

А к той же осени 1985 возьми и подойди очередь (один раз в 5 лет) Мирового Конгресса по изучению СССР и Восточной Европы (*слависты*). И когда уже вокруг всё так подпалено — как же и Конгрессу не заняться тем же сталинским циклом и не решить раз навсегда проклятый вопрос об антисемитизме Солженицына?

Однако не слишком преуспели. Кто, обсудив детально и сталинскую эпоху, и убийство Столыпина, — от «антисемитизма» ускользнул начисто, как и не слышал такого. Кто — отважно брал быка за рога: что Столыпин был воистину велик; богровский выстрел не принёс евреям счастья, но оказался для них трагедией (что — верно); а Богров изображён полифонически, и читателю предоставляется самому интерпретировать его фигуру; и никакого антисемитизма в «Августе» нет.

Впрочем, это было ещё за неделю до статьи в «Нью-Йорк таймс», и международные слависты, как и американская образованщина, ещё не получили сигнала, на какую сторону предложено склониться. Да и «Нью-Йорк таймс», увы, не дала им решения совсем окончательного.

Но не предоставила она своих страниц и нашему настырнику Наврозову, для его многотысячесловного приговора. А ему — как же быть? Куда верней ужалить? Отчаянно ринулся напролом: задушить американское издание «Августа» ещё до выхода! (хотя только что жаловался, что именно по злоумыслию я не издаю его по-английски). Ещё один проблеск гения: прямое напорное письмо моему издателю Роджеру Страусу! — Во-первых, Наврозов считает своим *долгом* послать Страусу свою мидстримовскую статью, ибо она — *единственный* обзор книги, не напечатанной по-английски! и в ней он, Наврозов, приравнял «Август» к «Протоколам Сионских мудрецов!» — Во-вторых, ещё вопиительней (и мы узнаём о том первый раз): издатель «Мидстрима» шепнул Наврозову, что Солженицын, как предполагают, намерен подать в суд на журнал, чтобы принудить Льва Скорпионовича к молчанию. (Вот ведь чем озабочены, трухают! И куда ж направлены мозги, кроме как к суду, к суду, к суду! — они сами в моём положении уже десять раз бы подали. Да может быть они сейчас больше всего и жаждут суда, как и Флегон.) А, мол, в романе дюжину раз образ Богрова представлен змеей, *которую Солженицын обращает в Еврейского Змия!* И вот пронзительная догадка: да наверно существуют две разных версии «Августа»: одна — антисемитская и предназначенная исключительно для русских антисемитов (иных читателей среди русских и нет), другая — для западных языков, чтобы выскользнуть и показать западной публике, и *особенно за-*

падным евреям, что все обвинения книги беспочвенны. — Так вот, господин Страус: если ваш перевод в точности соответствует русскому изданию, то вы публикуете наиболее антисемитскую книгу со времён «Протоколов»! Или: ваш перевод исключает или смягчает антисемитские места — тогда вы участвуете в политическом двурушничестве! (узнаётся советский язык). Я бы хотел (прокурор бы хотел!) получить ответ на два вопроса: *когда* Солженицын предложил вам опубликовать эту версию? и *какой именно* текст?

Наш Страус не мог тут не испытать душевного колебания: такой звонкий уверенный напор *знающего* человека — а Страус ещё и не читал перевода! — ведь Виллетс бесконечно тянет. Не без колебания и меня запрашивал: как там на самом деле с этим Еврейским Змием? (Аля слала ему объяснения.) Что-то ответил он на травщику? — не знаю. Но в общем устоял, дождался виллетского перевода и успокоился.

Да уж разбуженная тревожная тема разве могла так мирно утихнуть?

«Мидстрим», выждав полгода (американский срок подачи за клевету, я не подаю), предоставил Наврозову десяток страниц громить меня дальше: «Духовное развитие Солженицына было параллельно развитию Сталина»; Солженицын в юности был *духобор* (?) и потому дальше «мог бы стать шефом КГБ или генеральным секретарём коммунистической партии»; он «открыл себя антисемитом только на Западе» (то есть в наиболее подходящей для того обстановке...); а кто уверяет, что Солженицын не антисемит, — те: или крестоносцы; или евреи, желающие быть приятными консервативным христианам; или лизоблюды; или подкуплены... — И уважаемый журнал Кармайкла распространяет такой бред, полагает ли — американцам всё сойдёт?

Профессор А. Е. Климов ответил в «Мидстриме», доказав, не выходя из академического тона, что Наврозов не знает истинных обстоятельств ни о Столыпине, ни о Богрове, ни о библейской символической. — Наврозов отвечал ругательно, что и «Климовский подход в основе есть сталинский нацизм» — и вообще: всякий, кто не согласен с Наврозовым, «присоединяется к американской нацистской партии».

И усилил Наврозова не остались вотще, приёместо подхвачены «Алефом» — израильским журналом на русском языке, широко читаемым и в Америке, и там потянулась дискуссия. (В Израиле «Август» защищали Михаил Хейфец и Дора Штурман. — Завершая дискуссию, им в «Алефе» ответили в базарном тоне: «Каравул, нас кажется учат жить!»)

Александр Серебренников в Штатах напечатал *сборник документов* «Убийство Столыпина», чтобы меньше оставалось нечестным спорщикам врать. И он же давал документальные справки о роли Грузенберга в Китае (о том, в той же «Панораме», тоже кипела *дискуссия*, всё ещё о моей тайваньской речи).

Само собой — ещё долго перекачивался гнев по американским изданиям. Всё тот же прилипчивый Ларс-Эрик Нельсон, теперь в солидном «Форин полиси», катил грозный обвинительный акт по небдительности «Свободы». И неумный Белочерковский лепил, что я одновременно ненавистник Запада, разлагатель России и презираю русский народ.

Вот так, пока я писал Узлы, эта свора дружно поливала меня. (Из швейцарской жизни в горах яркое наблюдение: как бауэры окачивают свои луга из брандспойтов жидким навозом.) Впрочем, бывшего зэка и этим не возьмёшь.

Одного только эти злопыхатели не понимают. Как пошутил Ларошфуко: ничто так не помогает жить, как сознание, что твоя смерть доставит кому-то радость.

Когда я давал «Телёнку» подзаголовок «очерки литературной жизни» — то иронически: вот, мол, к чему сводится «литературная жизнь» под коммунистическими клякками, одни только рожки да ножки от неё.

Но никогда бы не подумал, что и в Соединённых Штатах литературная жизнь может подпасть под Слушания и Расследования.

И вот, по перерыву в «Колесе», подошли месяцы снова вернуться к «Зёрнышку». А на мою жизнь уже столько наклеветано, и в крупном и в мелком,

что приходится и в этом всё м копошении здесь разбираться — хотя бы только для моих сыновей да будущих внуков.

...Впрочем, уже не на звенящих канатах держится жизнь, нет сил замахиваться на задачи непомерные. Уже годам к 64, пять лет назад, стал я на лестнице что-то задыхаться, сжимает грудь. Сперва и значения не придавал, потом оказалось — это стенокардия. Да ещё ж и кровавое давление всегда повышенное. Вот уже и с головой нырять в глубину пруда стало как-то негоже, прекратил.

Стало посещать меня: а вдруг — не дождусь я возврата в Россию? Даже странно, что это сомнение не являлось ко мне раньше: всегда несла меня вера в возврат.

А он вот — не открыт. И чтобы сдвинулась, изменилась огромная масса СССР — это сколько нужно ждать?

Гнал-гнал, спеша всё успеть, успеть, — а жизнь склонилась, может быть, к такому концу?..

Не верней ли подумывать: в какую землю хорониться?

Перебирал разное: от самого нашего лесного участка (Аля и слышать не хотела), временная могила, чтобы потом перевезти прах в Россию; от православного «угла» ближнего к нам американского кладбища. И получалось, что всего верней — лечь в русское («белогвардейское») под Парижем*.

Глава 13

ТЁПЛЫЙ ВЕТЕРОК

Все наши вермонтские годы, с 1976 уже одиннадцать, я постоянно ощущал как благовременье и благодать, несмотря на череду внешних неприятностей и клевет. Они не только простелили мне *возможность* написать «Красное Колесо» — но и, обратно, историческая работа была *спасением* моим: вести тут, неутомно и не охладевая, дело, я верю, плодотворное для России, а вместе с тем реально отодвинуться от участия в безвыходной современности. История революции была моим дыханием все годы изгнания — и далеко отвалила меня в глубь времени.

Но и такие размеры уже принимала эпопея, не вменяемые ни в мою одинокую жизнь, ни, ещё важнее, в возможный читательский охват, что стал я колебаться, где же остановиться? — в августе 1918? перед октябрьским переворотом? а то и раньше? Вёл к тому и возраст мой. И, с углублением в «Апрель», убедился я, что начало мая 1917 — весьма доказательная грань в истории нашей революции, многое — видно ясно и вперёд. Уже к маю 1917 либеральный феврализм полностью безволен, хил, обречён — приходи любой сильный и бери власть, большевики. Вот кончу «Апрель» — и хватит с меня, пока — предел. А в будущем, останется время — можно попробовать построить тот скелетный Конспективный том, на все ненаписанные Узлы.

С ростом архива «Колеса» становилось невозможным перетаскивать всё нужное в летний прудовый домик, и вот, с 1984, я впервые стал работать над

* На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа уже тогда добыть место для могилы было почти невозможно. Н. А. Струве купил по знакомству — анонимно, не говоря для кого. И вот — мне не понадобилось, уж теперь я лягу в России. А Владимир Максимов умер в Париже в 1995, заматились родные — негде хоронить! Сообщил мне о том Струве, и отдали мы им моё место. Последние годы так почему-то раздражённый на меня Максимов, столько нападавший уже в советской печати, — мог ли ведать, что ему — в мою могилу ложиться?

Но проходит ещё год и узнаю («Наша Страна», № 2358): в то место в 1945 уже похоронен был славный лётчик Первой Мировой войны Евгений Владимирович Руднев, впоследствии начальник авиации Добровольческой армии. А 40 лет прошло, родственников не осталось — и администрация кладбища перепродала безымянно. Можно понять их: мест на кладбище нет, а ещё оставшиеся эмигранты умирают — куда класть? Но и — ознобительно к предшественнику так лечь, хотя и не ведая о том. (Примеч. 1996.)

«Колесом» не по круглому году, а — два летних месяца что-нибудь другое. Маховик лет замедляется.

Да оглянуться — много и долгов недоделанных. Повисла с 1948, с шарашки, незаконченная повесть «Люби революцию», о начале войны. Не заканчивать, но немного отделать? Не очень успешливое занятие: редактировать своё давнее старое, и не мочь и не берясь переписывать его заново, по-сегодняшнему. Пусть так и остаётся, ранней и неоконченной, в полную силу писать её и не хочется. Удалась повесть тем, что юмористична, с постоянной усмешкой над бессмысленным героем. Но перечитывал её — и сразу слетел с меня груз лет, вернулся я к тому юноше, вернулся в атмосферу 30-х годов — и потянуло: писать бы о них! — я же помню, сердцем и шкурой, весь тот обжигающий воздух (теперь отлетевший, да и скрываемый), — как хотелось бы перенести его на прозор будущим читателям, и особенно воздух той литературы, под грязными одеялами которой растили нас. И одновременно ощутил, как же тяжёлок мне груз «Колеса», оказывается, — хотя в обычной работе я годами этого не испытывал. Как хочется облегчить перо в малой подвижной прозаической форме! Писать бы необстоятельные рассказы и совсем небольшие, больше крохоток, но меньше «Матрёны», так бы — от двух до пяти-шести страниц. Но ни на каком материале это невозможно, кроме современного русского, — и, значит, если и когда вернусь в Россию.

В тот же год как раз вышла и скэммеловская извращённая биография — и засосало у меня, что не миновать и мне рассказать о своей жизни — в той части, какая не перекрывается с «Телёнком». Летом 1985 и окунулся в давние годы — детство, юность (и нынешнее моё отвращение от её пустопорожности), фронт, да и тюрьмы с лагерями, и ссылка, и тревожно радостный, и в гранях ошибок, возврат из ссылки. Летом 1986 — ещё один такой месяцок, да вот — и кончил, жизнь до высылки охвачена. Да ведь и 70 лет — вот, на носу, и будет ли ещё другое время к тому обратиться?

Ещё потянуло меня приложиться и к художественной критике — в общей тяге вернуться в рамки литературы. Изгаженьем ощущал я «Прогулки с Пушкиным» Синявского — а с годами, смотрю, никто достойно ему не ответит. Работа неблагодарная, и времени отняла досадно. Но благодетельно было в ходе её перечитать, окунуться снова в Пушкина, ещё по-новому вникнуть в него*. — Да ещё с 70-х годов в СССР собирался я отозваться и на «Рублёва» Тарковского, тогда покоробившего подменным использованием русской истории в сегодняшнем споре. Но надо было мне его посмотреть второй раз, а негде. Вдруг — привезли в соседний городишку русский вариант фильма, мы узнали совсем случайно. Значит, судьба. Поехали-посмотрели — и я написал. (А напечатал — взрыв возмущения среди третьеемигрантов, Тарковский, оказывается, в обоготворении.)**

Вскоре за тем, из-за донских глав «Колеса», взялся, для языка, перечитать «Поднятую целину» — и опять выпросился на бумагу очерк***.

И если дальше продолжать — то куда эти очерки пойдут? Нет времени. Покинул.

Да ещё ж тяготеет надо мной ИНРИ, тоже затеянное не по силам: надо же рукописи читать, оценивать, редактировать. Как будто нашли постоянного редактора серии — Н. Г. Росса; нет, не справился, досадные промахи. М. С. Бернштам ушёл в американскую науку, совсем от серии отстал. Тут нашёлся кипучий молодой эмигрант Ю. Г. Фельштинский, взялся за эсеровский мятеж 1918. — Русских авторов-историков в доживающей эмиграции, собственно, нет, приходится даже русских переводить с иностранного, как вот, уже после «Истории либерализма» Леонтовича, — две книги Г. М. Каткова, «Фев-

* «...Колеблет твой треножник» («Публицистика», т. 3, стр. 226 — 250).

** «Фильм о Рублёве» («Публицистика», т. 3, стр. 157 — 167).

*** «По донскому разбору» («Публицистика», т. 3, стр. 210 — 224).

ральская революция» и «Дело Корнилова», или «Жертвы Ялты» Николая Толстого. Или даже вот появилась «История власовской армии» Иоахима Хоффмана — спасибо хоть немцы пишут о выворотной стороне войны. Издадим и её.

Из мемуарной серии ВМБ к весне 1987 выпустили шесть книг, седьмая на выходе. Аля — с большой бы охотой и успехом продолжала её, она приняла эту серию как свою подопечную, но за моей неустанной работой даже некогда ей пересмотреть наши собственные хранения, отобрать в нашем доме на полках. — Уговорил я четырёх бывших наших военнопленных — не затаиваться дальше, написать воспоминания о немецком плене. Аля отредактировала том Черона—Лугина, наполовину набранный Ермолаем, — я взвыл, что стоит моя работа, нельзя. И так, всё надежда: когда-нибудь, когда-нибудь в будущем осилим. (Двое из пленников задумывают написать и исследовательскую работу обо всей системе лагерей военнопленных в гитлеровской Германии*.)

Летом 1986 схватился я перечитывать и в мелочах доделывать «Телёнка» (набирать его — недоведомо когда, а надо скопировать и спасти на случай хоть пожара). Затем — и «Невидимок». А затем, вот теперь, — и «Зёрнышко», уже ой-ой сколько написано. Над «Телёнком» с отвычки сам был поражён крутостью изложения и языка, лёгкостью озорных поворотов, заражаюсь, — но в «Зёрнышке» это всё невозможно, тутошний материал — совсем не тот, да и я сам — не тот. Там — ещё лагерный накал, теперь утерянный, а главное — безбоязненность истины, безоглядчивость высказываний — которые во мне на Западе отбивают и отбивают уже 13 лет, отучивают. И там — крупный опасный Враг, а здесь — липкая мелкота, враженята, о них в полную силу и не станешь писать. Над биографией я утомился, а над «Телёнком» помолодел: разбудилось во мне ощущение такой недоконченности (да неначатости!) дел на родине, что из него и убеждение: вернись! вернись и буду доделывать!

Потом накинулся кончать «Апрель». Пока, в возможных пределах, довёл. Тем временем с Алей мы выпустили в печать по-русски два первых тома «Марта», кончили набор третьего тома, начали четвёртый. При наборе — Аля снова и снова возвращает меня что-то улучшать.

Ещё несколькими годами раньше казалось, что «Колесо» будет на Западе подкреплено, а значит защищено, по крайней мере французским и английским переводами. Но французы успели с «Августом», «Октябрём», а дальше — замедлились. А по-английски — безнадежно застряло у Виллетса, даже «Август» всё не кончен, всё переключаются сроки. (Виллетс так честно-чувствителен к качеству перевода, уже отдал издателю, но снова берёт на доделку — и сам над тем изнемогает, и здоровье его всё хуже.) А если нет «Колеса» на главных западных языках — оно становится удобной мишенью для всех как раз моих противников, из третьеземigrants и славистов: с важностью знания они могут плести на европейских языках что хотят, и некому их проверить и опровергнуть. Да вот в Штатах и началась бешеная атака на русский «Август» — так как же, не дождавшись «Августа» английского, выставлять под новую атаку и «Март»?

Составляли мы, как водится, «весы». За то, чтобы печатать: естественная жизнь книги. Да вот ещё: сохранность текста, у нас хранится две-три редакции, вдруг погибнут? Только напечатав пусть и жалкий эмигрантский полуторатысячный тираж и можно быть спокойным за сохранность. — А против: вот — упреждающие атаки. И потом: в СССР-то всё равно почти не идёт, стало мало и трудно просачиваться. Так — зачем печатать?

Всё же ждали мы, ждали виллетского «Августа». Не дождались, и в конце 1986 выпустили два тома «Марта» по-русски.

* Долго они трудились и собирали материалы. Издали мы книгу только в 1994: Дугас И. А., Черон Ф. Я. Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным. Париж, «ИМКА-пресс», 1994. — Судьба 5 миллионов! (Примеч. 1998.)

Нечего и ждать, когда «Март» появится в переводах. А с «Августом» ещё то затруднение, что ведь он, одностомный, уже печатался 15 лет назад — и по издательским соображениям нельзя давать его снова, хоть и расширенный, сперва почему-то надо выпустить «Октябрь» — такое решение приняли издатели шведский, немецкий, итальянский.

А русские бы читали подряд, только дай! — не пускают. Мучительный путь у книги.

Осенью 1986 появился в Западной Германии полный «Октябрь». Язык доступен мне, значит, надо смотреть. Кой о каких недостатках перевода написал издателю Пиперу. А он стал присылать мне газетно-журнальные рецензии, да много, больше полусотни, — и просил дать интервью для германского телевидения. Я отказался: ведь я давно замолчал, не хочу снова выступать. Но стал читать и читать этот поток рецензий — и среди левых насмешек и брюзжания, и жалоб на объём книги (ах, не для вас и писалось так подробно!) встретил немало и понимания и поиска понять, верно применяя русскую предреволюционную историю к сегодняшней европейской. Ведь немцы — единственные из европейцев, хоть и с враждебной стороны, но разделяли ту нашу историю, в «Колесе» есть косвенно и о них, и они это чувствуют. (Хотя удивись, как вывели из «Октября Шестнадцатого» некоторые: что уже тогда, за год, Октябрьская революция 1917 года была неизбежна!.. А ещё — и Февральская была избежима тогда.)

И на каком-то десятке этих рецензий я склонился: а надо интервью — дать, помочь этим поискам. Если у книги моей такая уродливая судьба и неизвестно, сколько ещё лет она будет развиваться вне России, — надо поддержать её жизнь и в Европе, Европа нам никак не чужая. Не объяснять, конечно, «что я хотел выразить этой книгой» и «какая её главная мысль» (обычные глупые вопросы), — а может, удастся и серьёзный разговор, вполголоса. Только не телевидение — оно поверхностно. Пипер обрадовался моему согласию, но объяснил: газету как «Франкфуртер альгемайне» читают мало, а «Вельт» — все читатели и так за меня, а вот бы — журналу «Шпигель», миллионный тираж и простой читатель. От «Шпигеля» неприятные воспоминания, как мы сталкивались в 1974, но, что ж, всё лучше «Штерна». Однако поставил я Пиперу, видно, нелёгкое условие: чтоб интервьюер, пусть не из штата «Шпигеля», был бы сам на высоком литературном и историческом уровне. И ещё: только в русле моих книг, и ничего о политике. И ответил Пипер: приедет брать интервью сам главный редактор «Шпигеля» Рудольф Аугштайн. Условились на осень.

А весной 87-го, едва разгорелись передачи «Марта» по Би-би-си (сняли глушение), — прикатил заказ и от «Немецкой волны»: и они тоже хотят читать «Март», хоть немного. Я, конечно, согласился.

Всё же если книга весомая — то она пробивается сама.

Только «Голос Америки», затравленный за мой столыпинский цикл, молчал. Аля сострила: «Теперь „Март“ скорей напечатают в Москве, чем передадут по „Голосу“». И ошиблась: вот, предложил мне и «Голос» изготовить для радио плотный конспект «Марта», часов на 25.

А — не зря торопился я доделывать прежнее начатое. Осенью 1986 налетело на меня сразу несколько болезней. Повторялась стенокардия. Обнаружились камни в жёлчном пузыре, как будто нужна операция. А самое удивительное: вдруг — множественный (как вообще почти не бывает, знаю) рак кожи. Опять мне — рак! да не много ли с одного человека? ну что за невылазная судьба! Но попал, не сразу, к опытному доктору, он объяснил: тех, кто когда-то подвергался сильному рентгеновскому облучению или химическому воздействию, — примерно через 25-30 лет может настичь, именно на местах облучения, рак кожи. (У него здесь, в Вермонте и Нью-Хэмпшире, такие наблюдения: после войны фермерским мальчишкам поручали разбрасывать химические удобрения; тогда они делали это из вёдер, без перчаток, голыми руками — а через четверть века у многих проступил рак кожи.)

У меня от ташкентского лечения — как раз 30 лет. Расплата. Но 30 лет дарованной жизни — стоят того! за это — заплатить не обидно.

И от болезней сразу — изменилось во мне многое. Утерялся тот безграничный разгон немеряной силы, который владел мною все годы. С этими болезнями (а есть и высокое давление, и артрит, и ещё) можно и 20 лет прожить, а можно — и ни года. Надо спешить делать не то, что «хочу», а — на что ещё время осталось.

Приучаться смотреть на земные дела — полупосторонним, окропившим взглядом: уладятся и без меня. Смирение.

Помню с Ташкента, что рак кожи — чаще излечивается, но долго, со многими рентгеновскими сеансами, с безобразным опуханием поражённых мест. А в Америке сейчас оказалась чудесная техника: единократное вымораживание пятен, и через три недели их как не было. А метастазов они не дают. Слава Богу! Пока рак — отшибли.

Но к нашему угнетению заболела и два года кряду болела Аля. Тут наложились и сжигающая тревога о Фонде: осенью 1983 вышибло главный позвонок, ключевое звено в цепи доставки помощи от нас в Союз. Замену ему на месте, в обстановке страшной, могла найти разве что Ева — но меньше чем через год умерла Ева, в неудачной операции.

Але предстояло залатать, а может быть заново выстроить канатоходную цепочку — и для того неизбежны были личные, не почтовые встречи со «стартовыми» звеньями, а значит, поездки в Европу. Она уже и ездила так, осенью 1983, виделась с Евой в Швейцарии (вышло, что последний раз) и с Вильгельминой («Мишкой») Славуцкой в Вене, — и встречи те были явно засечены, Мишку обыскали в поезде, а по возврате заметно усилилась слежка за обеими. Аля изводилась, что она тому виной: не имея никакого гражданства, она должна была для любой поездки испрашивать визу, документы по несколько недель бродили по европейским консульствам, из которых осведомление могло быть гладко налажено, — и тогда все её передвижения, в точных датах, были заранее известны. Оттого для наших беззаветных волонтеров возрастал многократно и без того великий риск.

Единственный выход видела Аля — взять ей американское гражданство, на что мы уже 4 года как имели право, но всё не брали, — и тогда беспрепятственно-быстрое передвижение по Западу, без специальных паспортов и без виз. Однако любое наше внешнее шевеление вызывало на себя сноп прожекторов, что уж говорить о таком бы шаге, — и Але казалось невыносимым брать гражданство одной, без меня, выходила бы какая-то демонстрация. (Тут, в начале 1985, уже и явный разразился гром: прокатили на весь Союз антифондовый фильм.) Аля сгорала, твердила, что дело важнее позы, — и я не находилась ей возражать.

Да и что, в самом деле, торчать как одинокая цапля на болоте?..

Запросили штатное вермонтское управление. Прислали нам анкеты со множеством мелких граф и вопросов. Вчитываться в них — мне и заботы нет, да ведь это вроде как заполняли мы для каждой визы, в двух-трёх экземплярах, тех я тоже не читал. Секретарю моему Ленарду ДиЛисио я поручил всё это заполнить, а если что нужно — спросить. Он и спросил какие-то биографические данные, Алины и мои, больше ничего, всё в порядке. Отослали. Что ещё там, в процедуре, придётся какую-то присягу поддержать поднятием руки — я знал, видел кадры, но значения не придавал, формальность, они и при каждом свидетельстве на Библии клянутся.

Прошли недели — вызвали нас с Алей в иммиграционную службу Вермонта. Там — непременно собеседование, и с каждым отдельно. Надо знать ответы на какие-то простейшие конституционные вопросы, мы подзубрили. Но служащая спрашивает меня больше того, обо мне самом. По отвычке (годами не беседую по-английски) вслушиваюсь, чтобы понять, — что это? Повторите. — «Готовы ли вы с оружием в руках защищать Соединённые Штаты?» Вот уж — никак не готов! Да даже к самому вопросу не был готов. Отвечаю: «Но

мне ведь 66 лет». — «Но всё равно, в принципе». В чём же принцип? — у вас мальчишки призывного возраста — и те жгут призывные повестки, и ничего им, а меня, посвыше шестидесяти — и в службу? Выражаю недоумение. Тогда она говорит, что ведь я уже подтвердил и подписал это самое в анкете. Ка-а-ак? (ДиЛисио, ничтоже сумняшеся, заполнил — и мне не сказал.) Очень муторно стало... Остаётся промычать: «Ну, в принципе, не буквально...»

Поразительно же небрежно я прохлопал, — да вот так несерьёзно отнёсся к этому гражданству.

Воротились домой — теперь я эту анкету прочёл. А заодно же — и текст присяги, он, оказывается, тоже нам был прислан.

«...я абсолютно и полностью отрекаюсь от лояльности и верности любому иностранному князю, монарху... — (это у них ещё от XVIII века) — государству или суверенитету, которого я прежде был подданным или гражданином...»

Ну, от верности *какому* государству я отрекаюсь? Советскому? Советское гражданство у меня отобрали 11 лет назад. А *русского* — не существует на Земле.

А всё-таки — дерёт. Не по себе.

«...буду поддерживать и защищать Конституцию Соединённых Штатов от всех врагов иностранных и внутренних...»

Ну-ну. От *внутренних*-то ваших врагов, от прессы лево-бесноватой и прожжённых политиков я и пытался вас остерегать эти годы, да вы не чуяли.

«...что я буду носить оружие в интересах Соединённых Штатов...»

Вот оно. А воевать-то предстоит — против моей родной страны. И вы же не способны вести войну против коммунистов как таковых, — вы уже сейчас объявили её как против «русских».

«...и я принимаю это обязательство безо всякой мысленной оговорки или намерения увёртки...»

Вот она где заноза. А у меня конечно есть оговорка: против русских я не пойду.

Ну и что? А мало ли мы ввали на советских собраниях? А в Красной армии когда-то же присягал, не сливая себя со сталинской верхушкой? — и как с гуся вода?

Так-то так, а — дерёт. Клятва — глупому смешна, а умному страшна.

Очень я отяготился. В тупик и мрак врехался зачем-то сам. Самоубойно.

А уже точно известны и дата, и час, и в каком здании какого городка предстоит процедура.

Нет! Отказываюсь! Иду на закарачки. Не еду!

Аля, как закланная, с лицом отемнённым, едет туда (присутствием сына Ермолая, подработка, смягчая моё отсутствие) — а там уже толпа корреспондентов, и снимки, снимки её поднятой руки — и вопросы обо мне.

И понеслась по американским газетам смешанная весть: то ли Солженицыны оба приняли гражданство, то ли пока только жена, а он, вот, вскоре. Американская пресса, конечно, одобряла (ещё и с такой трактовкой: ну, вот теперь-то он ринется в политическую жизнь Америки!), начальник отдела из «Вашингтон пост» развязно предложил, что он, с целью репортажа, проведёт в нашем доме ближайший День Независимости. (А Наврозов не преминул отметить, что я принял гражданство, утращённый *его* статьями.)

А в Европе, и особенно во Франции (мы над этим прежде совсем не задумывались, не предполагали даже), были смущены этим эхом и огорчены: а вдруг и правда примет? «Солженицын — американский гражданин?.. Эта новость сжимает сердце... Неужели этот человек-гора последует реальному пути? Он хочет устроить будущее своих трёх сыновей... Он говорил, что Америка ещё не нация. Но тем не менее она может служить убежищем». (Тут же ещё так совпало, что двумя месяцами раньше во Франции возник слух, попал и в журналы, что, «из-за слабого внимания в Соединённых Штатах» ко мне (уж куда пристальней!), я намерен переехать во Францию. Мы и не обсуждали такого никогда. А взятие гражданства получилось как бы ответом на тот слух?)

И остаткам старой русской эмиграции это пришлось как оскорбление: они никогда и ни в какой худости не считали возможным принять иностранное гражданство.

Что делать, ошибся. Без стыда лица не износишь.

Но внутренне испытывал я освобождение, что не присягнул Америке. (Постепенно разбирались и американские перья: нет, он не стал! нет, он не торопится стать! и Наврозов тогда: он нанёс пощёчину Америке!)

Да ведь что за страна Америка — невразумлённая (хотя вроде бы столь просвещённо демократическая): через кучку своих профессиональных политиков она каждодневно беспечно себя предаёт, а вдруг минутами вспыхивает в гнев, но совершенно слепом, и крушит что где попадётся. Советы сбили корейский авиалайнер — в Нью-Хейвене *в отместку* разбили окна русского православного храма и изгадили опрыскиванием настенную роспись. — Захватили иранцы американских заложников, администрация Картера была бездействительна, — так в вермонтском местечке Питтсфилде вздорный фермер вооружился ружьём, народный мститель, пошёл утром в местную лавку и, в виде «мести за советскую агрессию», застрелил продавщицу Таню Зеленскую — за то, что она русская (дочь первоэмигрантов) и замужем за иранцем.

Шатко. Русская почва мне ещё долго может не открыться, и до смерти, а американскую — не могу ощутить своей. Без твёрдой земли под ногами, без зримых союзников. Между двумя Мировыми Силами, в перемолот.

Тоскливо.

* * *

Что именно с весны 1985, когда меня пережерновывали с двух сторон и положение моё казалось таким безвыходным, — что именно с апреля 1985 (так советская печать урочит сейчас начало изменений) в СССР что-то новее, — от нас не было видно никак. Разве что американский канал NBC, показывая московскую первомайскую демонстрацию, комментировал: «сегодня люди в СССР радуются». (Так им и все 60 лет мнилось, что «радуются».) Новым горбачёвским министром иностранных дел стал главный грузинский гебист Шеварднадзе. Всё с тем же оголтелым безумством готовили поворот северных рек — и, казалось, нет сил остановить большевиков и на этом последнем пределе России. Как раз тогда арестовали и осудили на 6+5 Льва Тимофеева, ещё одного отчаянного переходчика из правящей касты в гибнущий стан. Режим в лагерях сатанел, если это ещё возможно. На полгода кинули в одиночку Ирину Ратушинскую. Всё так же бессильны были наши попытки спасти Ходоровича. Аля выступала, и сговаривала на выступление видных западных журналистов, крупные христианские организации. Однако ничто не помогало. В 85-м Ходоровича, уже с туберкулёзом, кидали в ШИЗО, потом в бандитскую камеру. В апреле 1986 ему в заполярном Норильске врезали второй срок по «андроповской» статье (продление без нового суда), Аля полыхнула в ответ зло. Незадолго до того в Москве накрыли и В. Славущкую в момент передачи ей от нас 30 тысяч советских рублей для Фонда, грозил и ей арест, и её имя вместе с покойной Столяровой полоскала «Советская Россия». Деятельность Фонда в СССР пока вынужденно пресеклась, и Ходорович, — никто не осудил бы его! — вполне бы мог дать требуемое от него заверение, что «больше этим не будет заниматься», — но он, с одним лёгким, оставил себя погибать в Норильске. Той же весной — апокалиптический Чернобыль, воровское молчание вождей и пронзительный вид (подхваченный и американским телевидением) украинских танцев на Крещатике в первомайскую демонстрацию, в радиоактивном воздухе. Тут же вслед, на выпуске из заключения Юрия Орлова, — в страх ли всем или вправду, — ему показали в Лефортове следственное дело, открытое в целом против Русского Общественного Фонда.

Всё казалось безнадежно, как и всегда от ленинских времён. (Скорее — что-то сдвигалось в Китае: летом 1985 отменили обязательность марксизма в

вузах и объявили опрос населения с его мнением о местных руководителях. Дивно?!)

Вдруг к лету 1986, через полтора горбачёвских года, прикатил к нам слух, торжество: что северных рек — не будут поворачивать!! — то ли совсем отказались, то ли на время, не будут пока. В дополнение тут промелькнули и два съезда — писателей и кинематографистов, что-то со смелыми весьма речами, а где — и со сменой руководства. (Аля: «Сердце скачет! Нельзя не надеяться!») Но и знал же я невылазную загрязлость семидесятилетней советской лжи, иногда наблюдал ей и свежие примеры, вот пришлось посмотреть кассету нового фильма «Трактир на Пятницкой» — самое бессовестное пенкоснимательство с ещё не раздавленных при НЭПе чёрточек старой жизни, а после пенок рот утра — да рыгнуть всё той же гнусной, беспросветной, беспощадной советской идеологией (сценарий Н. Леонова); даже издыхая — доказывать будут свою правоту. — Или новое достижение Никиты Михалкова «Раба любви» (сценарий Ф. Горенштейна): снять пеночки с памяти о Вере Холодной и ещё, и ещё раз огадить белогвардейцев как невиданных злодеев, красный детектив с благородными подпольщиками. Что же изменилось?

Утешался я только доходащими из СССР новыми работами В. Распутина, В. Астафьева, Г. Семёнова, Е. Носова: всё-таки не иссякла, всё-таки и в советской пустыне лилась струя подлинной — и никак, ни в чём не подхалимской русской литературы. Но достаточно ли её для общего возрождения сознания?

Вдруг, к концу лета же 1986, докатил из Союза совершенно необычайный документ: «самиздатская» сокращённая запись — встречи Горбачёва с тридцатью избранными, доверенными писателями! — да как же бы это могло «ускользнуть»?.. да кто б это осмелился?.. С а м велел пустить?.. Горбачёв реально призывал писателей к поддержке против каких-то внутренних врагов, знать нужны были ему для того силы. (И старые услужники А. Чаковский и Г. Марков — первые спешили *заверить* его.) И правильно он оценивал — длительность, ой длительность времени, нужного для серьёзных реформ. В том документе я ощутил — нелицемерность намерений Горбачёва (*но* — полностью в рамках ленинизма...). И — что он не готовит внешней войны. Посочувствовал я ему в первый раз. И как — могут его свалить, если не применит он рычагов посильней. Однако и сказал он: «Если бы мы стали заниматься *прошлым* — мы бы всю энергию убили».

Да? А без того и будущее не откроется. Коротки ж у него рычаги.

Так — не моему эшелону пришло время. Понимать — понимаю: таких этапов должно пройти ещё сколько? — пока будет возможен мой возврат. А сердце — выпрыгивает...

Через малое время — ещё один «кремлёвский самиздат»: в обращение пущено выступление Ельцина к московскому активу пропагандистов, ничего себе. И тоже — решительность, крутость, значимость.

Да что ж это дается?..

Конечно, ещё ничего существенного. Но мы все так не избалованы, что уже и это нам много.

Сильно взволновались.

С осени 1986 прокалывали наших бостонских друзей самые возбуждённые звонки из Москвы: поверьте, *что-то совсем новое! делается!*

Затаённая радость, ладонями удерживай как птенчика.

Живём и работаем как прежде, но, верно Аля говорит, — воздух *полон* тем, что делается *дома*. Новая форма жизни.

И вдруг в декабре — снятие ссылки с Сахарова. И возвращение его в Москву без препятствования западным корреспондентам снимать и спрашивать о чём угодно, сколько угодно! И он, молодчина, требует освобождения политзэков и ухода из Афганистана. Держит и дистанцию от Горбачёва.

Неожиданно? По понятиям Запада — почти революция! Расчёт Горбачёва очень верен: Западу видится доказательно: если Сахарова освобождают из ссылки — Советский Союз будет отныне с человеческим лицом!

Да, пять с половиной тяжёлых лет оттянул Сахаров в горьковской ссылке, особенно подорвался на голодовках. И вдруг ставят ему в квартиру телефон и звонит Горбачёв: «Ну, как, Андрей Дмитрич, не пора ли вернуться к работе?»

(Я ещё не уследил тогда, что Сахаров какому-то врачу в горьковской больнице действительно высказывал свои возражения против американского Космического Щита, и это пошло на магнитную плёнку и подано на Старую Площадь. В таком-то случае тем необходимее было властям вернуть Сахарова из ссылки, и не жалко подарить ему и прежнюю диссидентскую свободу. — И что скажешь тут? Рассуждая чисто государственно, ведь Сахаров был прав: по расчётам советского государства как смертельно было бы введение нейтронной бомбы — полный срыв всякой агрессии в Европу, едва остановили ту бомбу раскатом европейской общественности, — так смертелен был бы и рейгановский Космический Щит: тогда куда все наготовленные ракеты? — А спросить: да разве простила бы *мне* образованщина хоть *долю* вот такого бы *моего* возвращения в лояльное положение при коммунистической власти?)

Я был очень рад: и за Андрея Дмитриевича большое облегчение, и польза будет для всей общественной ситуации. В первые недели Сахаров создал чёткий контроль обещанного властями и начинавшегося тогда освобождения политических заключённых, — тоже хорошо, и лучшая раскочка для гласности.

Тем временем американские политические наблюдатели, которые чаще смотрят лишь по поверхности, и привыкли к сочетанию имён «Сахаров-Солженицын» — то раз Сахарова возвратили из ссылки, да вот и Любимов намерен вернуться, — теперь натурально ожидают: а Солженицыну уже были предложения? уже ведутся переговоры? Корреспонденты достали домашний телефон моего секретаря ДиЛисио, звонят ему, спрашивают.

Они (да и многие на Западе) не понимают: между Сахаровым и Солженицыным — разность эпох. Сахаров — нужен этому строю, и имеет великие заслуги перед ним, да и не отрицает его в целом. А я — режу их под самый ленинский корень, так что: или этот строй, или мои книги. (Кажется, одна только правая «Вашингтон таймс», вот в январе 87-го, проникла: вспомнила о нашем споре с ним вокруг «Письма вождям».)

А и в том «Письме», и постоянно, я предлагал именно *плавный* выход из тоталитаризма, — упаси Боже «прыжком».

И слава Богу, что пошло, кажется, постепенно, эволюционно, я счастлив таким развитием: не через революцию, не через общий развал, не будет второго Февраля, которого я так боялся.

Однако раз эволюция, то и перемены будут подмороженные, сдвигка будет медленная-медленная вдоль политического спектра. Ох, долг ещё путь, по крюкастой дальней дуге, а до нашего — и не видно вовсе. Но если я до возврата и не доживу, то хоть умру спокойно.

(Пока что главный призыв — чтобы трудящиеся подняли производительность труда, какая новая песенка!)

Но в конце января 1987 прекратили глушение Би-би-си (впрочем, и при Брежневe его как-то прекращали). В начале февраля освободили разом весь заклятый политический лагпункт под Пермью, 42 зэка. (Но дали каждому подписать, что они приняли помилование. Лев Тимофеев заявил о лживости «миловать» безвинных.) В феврале же освободили и многострадального доктора-психиатра Анатолия Корягина, сидевшего за разоблачение карательной психиатрической практики. (А генерал Григоренко не дожид, умер в этом же феврале в Нью-Йорке.)

В начавшемся петлистом освобождении заключённых нас больше всего волновала, конечно, судьба Сергея Ходоровича. Объявили ещё в конце января 1987, что его освободят, — но и весь февраль он просидел недвижимо в Норильске. Что делать? Ведь так и схоронят заживо в норильской студине. Аля искала заступы, замолвки от сенаторов, конгрессменов. В конце марта намечалась поездка в Москву Маргарет Тэтчер — я написал ей письмо с просьбой напомнить о Ходоровиче. Однако, к облегчению, успели остановить письмо

при передаче: 17 марта Ходоровича, наконец, освободили, с обязательством выехать за границу. Ну, хоть так. Но вот дивно: за два дня до того в «Советской России», постоянной ненавистнице нашего Русского Общественного Фонда, появилась новая злая статья, «Доноры мошенников», — и её тут же перепечатали для эмиграции в «Спутнике», мерзко-рекламном журнальчике с отжимкой советской прессы. (Сказать, что не согласованы руки режима?) Опять «ЦРУ», опять полоскались наши связные, Славуцкая и покойная Столярова, — и звучало это всё нам как: война продолжается и перемирия не будет, не ждите!

Но проступило первое, ещё само себе не верящее движение в культуре, опережающее всякое другое освобождение: возвращали из тьмы ахматовский «Реквием», Платонова, Набокова, Гумилёва, даже (весьма неожиданно) Мережковского с Гиппиус. (И посмертно — хотя и невыносимо лицемерно — восстановили в Союзе писателей Пастернака.)

Как не закружиться голове?..

Встрепенулась Россия? Неужели?

Да не голова закружилась, а — целый мир закружился.

Оттого что развитие в СССР пошло лишь малою сдвижкой политического спектра — тем более взволновалась и возбудилась Третья эмиграция: как раз эта-то, начальная, часть спектра и была их желанная — и уже многие примеривались и рьялись ехать с визитами, да они теперь — первые кандидаты.

В Москве будет выставка Шагала! ожидается «год Пастернака!» И куда подевалась та угрозно-пророченная власть «русской партии», которую перед нами трясли годами — что вот именно она сразу первая к власти ринется? Нет, именно «культурному кругу» открывалась возможность подблизиться к новой власти.

Но, по неизбежной среде эмигрантов разноголосице, раздавалось и всякое. Неврастенический Зиновьев вострубил: «Обращение к Третьей русской эмиграции» (именно только к Третьей, других соотечественников он не признаёт): «Мы восстали против нашего социального строя... наше массовое [?] *восстание* победило» (и восемь раз в «Обращении» слово «восстание», кто его видел?). Увы, «нас поддержало незначительное меньшинство» неблагодарного народа. Но именно диссиденты заставили советскую власть попятиться... «А теперь всякое сотрудничество с властью — предательство нашего восстания... донесём судьбу повстанцев до конца пути!»

В этой новой обстановке заметался Владимир Максимов (он и все эти годы нервничал, по своему главредаторскому посту). Незадолго перед тем он с друзьями создал громкозвучающий, но бессильный «Интернационал Сопротивления» — и конкурировал с НТС: чья эмигрантская организация непримиримее к коммунизму, и более прав имеет на дотации. А от наступившей горбачёвской Гласности — его Интернационал впадал как бы в тень лишности и невлиятельности? Максимов держался за позицию непримиримости, и в дни колебания Ю. П. Любимова давил на него — не возвращаться в СССР! (И повлиял, ко вреду Любимова: ему-то бы именно без промедления возвратиться.) — В феврале 1987 вдруг прислал нам отпечатанную готовую декларацию — «Заявление для прессы», и список лиц, кому надлежит под ней подписаться, мы с Алей поставлены были на 1-е и 2-е места. И в таком же виде, с готовыми формулировками, послано и остальным, создавая впечатление, что мы с Максимовым уже в каком-то предварительном сговоре и о тексте, и о подписях. Неприятный приём. И почему Максимов думает, что я нуждаюсь в этих его сильных выражениях, коллективных заявлениях, чтоб осудить тот хрупкий, неуверенный процесс в СССР, которому дай Бог конечного успеха? Я рассердился, хотел ему резко ответить. Аля, как и часто, удержала меня от раздражённого порыва. (Суток не прошло — Максимов телефонно проверял через Иловайскую в Париже: так подпишут они или нет? Опасливо: «Или что, чемоданы собирают?»)

Максимов — серьёзный, хороший писатель, никак не «самовыраженец». Я годами привык считать его прямодушным и непримиримо принципиальным человеком. Его убеждения, и внутри СССР, и потом за границей, уже страстно публично

изъявленные, мне всегда казались верными — и относительно большевиков, и относительно западных леваков и образованцев. Одно время коробила меня его брань по поводу Первой эмиграции и белых, потом он отказался от такой линии и, напротив, взялся воспевать Колчака. Очень дружественно и осмотрительно он вёл себя с Израилем, дважды ездил туда и произносил самые обещательные речи, в «Континенте» защищал Израиль даже тогда, когда вся мировая пресса обвиняла его за зверства, допущенные в Сабре-Шатиле, — а вместе с тем никому не спускал переклона к русофобии — ни авторам памятника в Израиле, ни Симону Маркишу. Достаточно рано отшатнулся от шутовских приёмов Синяевского, выдержал столкновения с ним и с его левыми сторонниками в Германии, в начале 1979 был сильно атакован во «Франкфуртер альгемайне», и в этих столкновениях всегда ждал, чтоб я тоже вступил в бой, но я не в силах был каждый раз по внешнему зову отрываться от работы. А он в «Континенте» защищал меня долго, очень хотел меня печатать (тем и самому укрепиться в глазах Шпрингера), для того раздобыл и плёнку моей пропавшей пресс-конференции в Мадриде. Усиленно и благорасположенно отмечал моё 60-летие. Вскоре потом взревновал и обиделся на меня за мою поддержку «деревенщиков», он их считает лживыми за то, что не встают против власти открыто, и вот — имеют стотысячные тиражи?

Но от ведения ли гонорарного журнала, куда все устремляются, от этого крестла власти, — характер Максимова с годами, видимо, надмился, ожесточел. Всё резче и язвительней были его «колонки редактора», всё круче гневные письма и окрики. Будучи вынужден вести гибкую *издательскую политику*, нейтрализовать тех, кто мог бы стать новыми противниками, и укреплять связи с теми, кто поддерживает (например, Седых с «Новым русским словом»), — он далеко ушёл от позиции несвязанного литератора и погрузился в дипломатию и расчёты.

В 1985 году одним из таких его расчётов, видимо, было: публично отодвинуться от меня, всё равно не доставившего ему прямой поддержки, а ставшего опасным союзником из-за той травли в антисемитизме, какой меня подвергли в Штатах. И — отмежевался, в частности, в интервью профессору-слависту Джону Глэду: в том смысле, что я — чужд каким-либо интересам, кроме русских. Я узнал об интервью только в следующем году, оно было напечатано в эмигрантском журнале рядом с интервью четы Синяевских и, неожиданно, оказалось злее относительно меня, чем даже у Синяевских. И — уж он-то мог бы по «Колесу» свериться, не повторять обо мне штампованную басню, будто я виню в российской революции «нацменов». Забудь ты моё добро, да не делай мне худа. В возражение я в частном письме напомнил Максиму, что именно я и предложил «Континенту», ещё при его создании, не замыкаться на советских бедах, а «стать рупором несчастной страдающей Восточной Европы» (1974), а позже (1979) побуждал и расширить понятие «континента»: на тех же правах, что и Восточную Европу, включить и Восточную Азию, протянуть и им постоянную сочувственную руку. Какие ж «только русские» интересы? Теперь я предложил, чтобы Максимов сам публично исправил своё высказывание как ошибочное. Но он — этого, увы, не сделал. Не стал и я оспаривать печатно: не он первый меня оболгал, и не зловеднее всех. Да и мог, мог он обижаться, что я (ощущая «Континент», как он развился, не близким себе) годами не укреплял с ним коллективного фронта.

Нет, не от диссидентского *восстания*, и не от случайности, и не от «измены» Горбачёва теснится большевицкий режим, если такое движение в самом деле началось. Это — внутренне обоснованный крах коммунизма, который неизбежно должен был наступить: умереть от ранней старческой слабости, ибо в его земной «религии» не хватило долготы духа: кончились готовые жертвы для «светлого будущего», и на достигнутом освинели и вожди, и прорабы.

О, как угадать: что там происходит? Как это почувствовать, исхудав по удалению? Как это осмыслить — сквозь биенье сердца?

Если подходить с анализом — логически, трезво по полочкам, как и делают некоторые, — то, конечно, ничего существенного Горбачёв за два года не сдвинул — ни в экономике (что — решает), ни в социальной расстановке, ни

в общей низости быта. (Преуспел только культ его на Западе.) — И всё это уже бы признать за поражение или сознательный обман, потому что два года — срок немалый, да ещё при таких, по видимости, энергичных усилиях сверху. И, конечно же, ничто в стране не может измениться качественно без отказа от проклятой коммунистической доктрины. И будет — отчаянное сопротивление номенклатуры, и будут ещё и попятный ход, и петли возврата. (И какая опасность неверности новых шагов, какое зренье провидческое надо иметь.)

Но есть восприятие и синтетическое, вот, всё как оно есть в целом, не анализируя, — воздух! ветерок-теплячок! Тому, кто на себе перенёс невылазные десятилетия советской жизни, не может не казаться дивным, чуждым — одно только несомненное оживление общественного настроения, вот это тепленье и всплески надежд, эта первая возможность говорить и писать гораздо шире, чем было прежде обрублено, и с захватным интересом читать замятые газеты (в моё время и в руки не брали их, только подписывались по принудительной развёрстке), и делать даже самостоятельные общественные шаги, выступать и даже объединяться без направляющей руки парткома! Так и пишут [М. М. Рошин]: *нетерпение* овладело всеми — больше! дальше! — и *страх*, что вдруг всё рухнет назад в единый миг, — «ведь до сих пор ничего не сделано, одни слова!», «неужели наш народ не заслужил лучшего?!», «мы уже ошиблись однажды, ограничившись полумерами» (при раннем Хрущёве). А в провинции — ещё ведь и этого воздуха нет. А нравы — всё продолжают гибнуть, а земля — всё так же без хозяина, а промышленность всё так же работает вхолостую, «на вал», и в магазинах всё так же ничего. — Навстречу вспыхнувшей жажде к нашей затоптанной скрытой истории — многомиллионно хлынули коммунистические поделки — М. Шатров, А. Рыбаков: все беды потекли не от лучезарного Ленина, о нет, не от революции, не от уничтожения крестьянства, — но от какого-то злокозненного перелома при убийстве Кирова. Поскорей, поскорей закрепить в людях эту ложь! Идеолог Лигачёв одёргивает: «Против фальсификации нашего славного прошлого!» И необычные публикации умерших, по полвека запретных писателей — и тут же окрик: «запашок литературного некрофильства», не печатать! это «останавливает современный литературный процесс!» И узнаём, что новая Третьяковская галерея построена дурно, не годится, во МХАТе — раскол на две трупы, а классическая музыка убыточна. Ещё бы! Ведь Железный Занавес не давал перейти с Запада ничему хорошему, а рок-н-ролл и западные дешёвые моды — под себя пропускал, и вот уже советское телевидение заискивает перед тем же кошмаром, ускоряя сколачивание каких-то диких орав беспамятной молодёжи, будущих уничтожителей.

Нам, в эмиграции, чтение советских газет и журналов — о, не сплошь, о, только пяти процентов среди прежней казённой серости, та лавина меня минует, мне достаются лишь лучшие вырезки, — создаёт ощущение выхода на простор. Живая жизнь — всё равно там, а не здесь! И — блекнет растерянно эмигрантская печать, и даже «Посев», такой интересный в недавние годы.

Когда бы я читал «Литгазету», да ещё — отчёт о пленуме Союза писателей? — а тут с напряжением проглатываю 11 полных газетных страниц, как не беречься: живые люди (а многих и знаю) живое говорят, писатели оказались весьма подвижной средой. «Почему десятилетиями мы были незрячими?», «рабская привычка страха», «мы устали от потери собственного достоинства»; осмеливаются подвергнуть сомнению и переизбыточные вооружения, и неизбывную классовую борьбу, «идеология остаётся туга на ухо». (Да, резкие грани ещё стоят: о Ком нельзя, и о Чём нельзя.)

Однако. Как это опасно напоминает наш заклятый Февраль: все и всё удавились в говорение, в круговорот говорения, — а не проглядывается, чтобы кто-то делал полезное что.

Первая пороша — не санный путь.

Да, жажжется, чтоб это уже и было начало великого поворота. А в том, что теперь пробиванием и проталкиванием займутся на родине сами, — для меня какое освобождение. Тот прошлый для меня Главный Фронт, на котором я столько бился, — теперь это их всех фронт. Придёт ли и тот поворот дороги, когда на месте понадобится именно и именно я?

Но вот стало касаться и прямо меня. В январе 1987 в одном, другом *левом* письме из Москвы доходили до нас слухи, что на закрытых лекциях обещают печатать «Раковый корпус». Немаловажный признак; во всяком случае, значит, *в сферах* где-то что-то обсуждают. А 3 марта (того самого марта, когда «Советская Россия» продолжала травить наш Фонд) вдруг такая громкая новость достигает нас: нынешний редактор «Нового мира» С. П. Залыгин будто сказал, что намерен печатать «Раковый корпус»! Но сказал почему-то греческому корреспонденту, притом для датской газеты, и в Копенгагене напечатано уже с неделю, да никто не доведалься. Это смутное сочетание отчасти навело на мысль об обычных приёмах ГБ. Пробный шар?

Нет, я не подумал так. Я сразу угадал в этом — верность. Так и будет! Не сейчас сразу, не именно от этого заявления. Но подходят сроки. Как бы извилисто и долго ни пробивалась общественная жизнь в Союзе — но далеко впереди, на обязательной магистральной дороге, я лежу камнем.

А если, пока, и пробный шар — то «попробовали» они на свою голову.

Уже вроде бы заплевали в Америке, затёрли этого Солженицына. Но из глухой датской газеты вырвалась весточка — среди первых новостей во все мировые: «Преодоление советского прошлого?» Какие-то агентства прорвались и по нашему вермонтскому телефону, но его мало кто знает, а — к тем, кого можно спросить и кто обязан отвечать: к американскому издателю Страусу, в «Голос Америки», к нашему вермонтскому конгрессмену, а в Париже — к Дюрану, к Струве. И они — звонят нам: какая реакция? — Но что ж реагировать на слух? ответили с Алей так: «К нам никто не обращался ни официально, ни неофициально».

Нет, я не поверил, что уже дочаялись мы до заветной поры, нет, это пока ошибка. А в сердце радостные толчки: и правда, «Раковый корпус» как раз сейчас подходит к нынешнему советскому времени: первые-первые шевеления общественных надежд, похоже на 1955. И как бы это вовремя для меня! Так грузно завяз я на Западе — и вдруг бы стали освобождаться руки и движения! — совсем другой масштаб ощущаешь себе самому. Вот она, форма возврата: сперва «Раковый», тогда восстановят и рассказы, там, смотришь, — напечатать что-нибудь в советских журналах, — и одной ногой уже там! Вспоминаем: ещё двумя годами раньше, в апреле 1985, в Нью-Йорке возник слух, что Горбачёв зовёт меня вернуться, — и хотя мы на полушку не поверили (и слух не подтвердился), а — омахнуло радостью и тогда.

Тёплый ветерок с родины!..

Откуда ж ему и прийти?

Сенсация-то сенсацией, но, ею хоть поперхнись, мало кто в Штатах ей обрадовался. Для левых — совсем ни к чему, чтоб я снова что-то значил, да ещё в СССР. (Особо Пайпс в «Вашингтон пост», 5 марта 1987: конечно, *они*, на горбачёвской верхушке, находят приемлемой линию Солженицына, потому что он не выступает за права человека, демократию и плюрализм. Эллендея Проффер, там же: нечему удивляться, многие из тех, кто сейчас пришли к власти, — русские националисты.) Но и американским правым это не подходит, они привыкли, что я антикоммунист, — и как же я вдруг «поддержу Горбачёва»?

А досужим врялям делать нечего, высказывают: «у Солженицына был уже не один контакт с русским правительством» Ну, на всё не нагавкаешься опровергать.

Несколько частных американцев написали мне в те дни: не верьте *им!* не уезжайте туда!

Новость по-русски передавали в Союз все радиостанции, там это тоже разойдётся. А здесь любопытна реакция новой эмиграции. Эткинд, Любарский, Файбусович: ничего удивительного, Солженицын по своей идеологии наиболее близок к советской власти. — Михайло Михайлов, в страхе перед грядущим: значит, наступит православная монархия. — У некоторых писателей — негодование. — Максимов воспринял как личное горе. — «Либерасьон» опрашивала эмигрантов, кого считала покрупней. А кто ж у нас «покрупней»? Зиновьев: «Советы достигают алиби небольшой ценой. Безвредные книги... „Доктор Живаго“, „Раковый корпус“ дают им возможность лишить читателя произведений действительно интересных, способных волновать его. Власти воскрешают мертвецов, чтобы надёжнее схоронить живых. Моя точка зрения проста: когда *мои* книги будут напечатаны — тогда я приму всерьёз намерения советских властей». — А ещё ж — бравый Лимонов: «Я этого совсем не ждал. Я не люблю Солженицына, я считаю его посредственным писателем, но публикация его книг в СССР — это может быть вторая революция... второе крупное событие со смерти Сталина». — И конечно — Синявский. Но до чего изворотлив! «Замечательно. Издание „Ракового корпуса“ реабилитирует рикошетом и *всю эмиграцию*». (И его, Синявского! возьмите же и меня!) «*Вся здоровая часть эмиграции* встречает этот поворот с радостью». Как? Если напечатать книгу этого расиста, фашиста, шовиниста, теократа, тирана-автократа — так вот это и будет победа нашей плюралистической эмиграции?.. Синявский-то про себя — знает все масштабы, и понимает серьёзность такого бы поворота. (В эти самые дни я проиграл суд Флегону, и Марья Синявская мгновенно предложила моему адвокату своё свидетельство, что Флегон — агент КГБ. Они теперь готовы стать нашими союзниками, изобразить, что и вовсе мне не личные враги, они-де только из высокого принципа критиковали мои порочные взгляды... Да не нужно нам таких союзников.)

Размах сенсации оказался столь неожидан, что официальному говоруну советского МИД (генералу Герасимову), потом и Союзу писателей, уже через день пришлось опровергать: да нет, ни одно произведение Солженицына не рассматривается к печати. (Окуджава, в те дни в Париже и как раз перед приездом туда Залыгина, объяснял, что всё это, мол, *акция*, — Залыгину приписали, чего он не говорил. — А я думаю: в мыслях у Залыгина это есть, и как-нибудь просветилось.)

Месяцами я не появляюсь на публике, дома сижу-работаю, а тут, так совпало, именно 6 марта, в день, когда мы узнали об отбое, Игнат играл сольный концерт в Честере, меньше часа езды, — поехали всей семьёй. Концерт был яркий, зал полон, овация, — сплошная бы радость, но на выходе нас схватили и стали-таки пытаться корреспонденты. Аля отдувалась: очень бы хорошо, но — нет, не подтверждается, не печатают пока «Раковый корпус»; на следующее утро, конечно, слова её в местных газетах перемежались с отчётом о концерте и снимками Игната за роялем.

Прошёл отбой и по мировой печати. Та же «Вашингтон пост» (6.3.87, «Москва не публикует Солженицына») забыла, что писала вчера: что я для *них* безвреден, что я — *их*, советский, — оказывается, на Солженицыне клеймо «крайнего антисоветизма», и, даже без перспективы публикации его книг, событие уже в том, что Залыгин упомянул Солженицына благоприятно. — «Уолл-стрит джорнэл» (6.3.87, «Сибирская радуга») написала тепло: «Будь это правдой, это стало бы самым радикальным примером за всё время горбачёвской „гласности“... „Официальные лица“ быстро опровергли датское сообщение. Но на короткий момент это была волшебная фантазия, будто радуга взошла над сибирским Гулагом посреди зимы». — А в Париже «Ле Матен» выскочила и так: «В русской эмиграции были смущены. На Западе некоторые эмигранты выросли в признании, а Солженицын, наоборот, упал. Опровержение

по крайней мере принесло спокойствие... Если бы книги Солженицына начали печататься в СССР — это ниспровергало бы много понятий».

Но *понятия* пока остались на месте... Да ведь ЦК — в любой момент «перестройки» может опомниться и начать пятиться.

Третья эмиграция и правда была такими сообщениями взроена, — Солженицын исподтишка готовится к прыжку на родину! (Странно, что не видят: нынешняя советская обстановка куда ближе им, чем мне.)

Однако раскачка — и сама собою, снизу, — может стать необратимой?

А ещё ж, как мы предсказывали в «Из-под глыб»: при малейшем ослаблении государственных гаек — загорятся национальные розни. И — куда они поведут?

И в том числе: чувства русские? Но они, столь истоптанные, можно было предсказать: когда начнут возрождаться — то в форме искажённой, болезненной.

Так и произошло.

Но в масштабах — каких-то непредвиденных, гигантских? Во мгновение поднялась тревожнейшая кампания *всемирной* печати: в СССР набухло и всем угрожает грандиозное общество «Память — шовинистическое, фашистское и антисемитское. И угроза настолько мировая, что вопрос о ней обсуждается на заседании европейского парламента!

И тут же быстрые перья на Западе (или в Москве?) сочинили, запричитали, понесли: «Вот-вот! это союзники Солженицына! Он их и возглавит!»

А прогремел спор Астафьева-Эйдельмана — и те же перья, ушки на макушке: а *кто* хвалил Астафьева (в 1973, перечисляя по алфавиту четырнадцать советских писателей)? — Солженицын! *вот* его наклонности! Вот с кем он заодно! («Страна и мир», 1986, № 12). — «А что было солженицынское „жить не по лжи“?» — да оно «адекватно нынешним партийным лозунгам Горбачёва!», всего лишь.

И я представляю сейчас в Москве эту накалённую, раздирательную *национальную партийность* — не подготовленную разумом и равновесием с обеих сторон.

Тем временем пропаганда моих лжецких противников, как лёгкая пена, достигла России раньше моих книг, и уж разумеется — раньше «Колеса», и оттуда меня спрашивают встревоженно: так автор, значит, считает, что революция была лишь внешняя зараза? цепь случайностей? «горстка штатских инородцев против многомиллионного вооружённого народа? наша история делалась чужаками, монстрами?»

Поди их разубеждай, когда книги не идут. Ещё когда «Колесо» докатится до места?

Не окончательно полагаясь на художественную удачу своей пасквильной последней книги, кинулся в турне и Войнович: вот (в Вашингтоне) его очень беспокоит, что Солженицын не выступает с осуждением антисемитского движения в СССР. — Что я вообще четыре года не выступаю ни на какую тему — это неважно; что писатель вообще может не выступать — это неважно; а вот: почему не выступает против антисемитов? *Значит...* — и замешать его в ту кучу покрутей и поскорей. (Не забывает подшпиливать и Наврозов: почему так долго не выступает против советской власти? *Значит...*) Туда же прыгнуло и нетерпеливое «Новое русское слово», от имени возбуждённой Третьей эмиграции: «Почему вы молчите, мастер?» Ну как же: вот угроза «деревенщиков», вот «Память», вот «люберы» — а почему вы надменно молчите?

Как им всем годами жаждалось, чтобы я заткнулся. И вот — я заткнулся, — но теперь им невыносимо моё молчание.

Между тем в СССР моё имя эти месяцы прополаскивалось. В слухах — что я уже подал в советское посольство заявление на возврат. Но и публично. Александр Подрабинек внезапно написал (5 марта, в день советского опровержения о «Раковом корпусе», но просто совпало) открытое письмо правительству, что теперь, при наступлении Гласности, было бы нестерпимой фальшью замалчивать и дальше Солженицына, который и требовал честной и полной

гласности ещё 18 лет назад, — и предлагает он отменить указ о лишении меня гражданства, дать возможность вернуться на родину; и издавать массовыми тиражами. Это письмо он сделал открытым спустя месяц. А ещё от того через месяц — к нему, недавнему ссыльному, в Киржаче пришёл вдруг секретарь райкома партии по агитации и официально ответил, что «дело о Солженицыне рассматривается в ЦК».

Такой ответ ни к чему их не обязывал (хотя, наверно, какое-то обсуждение и было у них).

Я же, хотя и понимал всю необязательность и уловку этого приёма — а сердце забилось. Всё же — тает, тает стена, и изгнание моё идёт к концу! Да ведь по моему возрасту — уже надежда из последних.

И сигналы из Москвы двоились. В марте же новый редактор либерального «Огонька» В. Коротич (уже густо клеветавший на меня по «Архипелагу») заявил, что я — не писатель, а политический оппонент и глупец. — А 16 мая разразилась и «Правда» весьма странной статьёй. То есть она была вполне нормальная: оправдание Шолохова, почему за 35 лет, от конца войны и до смерти, он так и не мог кончить «Они сражались за родину», — а единственная причина оказывалась та, что после 30 лет работы его подрезала изданная в Париже книга Д* «Стремя Тихого Дона», подвергавшая сомнению авторство Шолохова, — так вот, предисловие написал Солженицын, — а реакция Шолохова: «что этому *чудаку* надо?»

Поразительно звучало. После того, что я уже заклеимён и изменником родины, и литературным власовцем, и врагом народа, и агентом ЦРУ, — всего лишь *чудака*?.. Уже кто-то и в «Правде» сделал цензуру — и не давал меня ударить в полную силу?

Ещё когда, когда они внутри себя-то разберутся: как же им со мной быть.

Не зовут. А со стороны — не подгонишь. Значит — мне тем более молчать. Теперь, когда к счастью освобождён Ходорович, — теперь и Але не надо делать публичных заявлений, какое облегчение. Молчать пока. Но дай Бог жизни вымолчать до верного срока.

Ибо: что я могу по совести сказать о горбачёвской перестройке?

Что *что-то* началось — слава, слава Богу. Так можно — хвалить?

Но все новизны пошли отначала нараскоряку и *не так*. Так надо — бранить?

И получается: ни хвалить, ни бранить.

А тогда остаётся — молчать.

Сейчас очень тронула милая Ирина Ратушинская: прислала полное понимание — и моего молчания, и моей неподвижности, и моих невстреч.

Но много ли таких, сердечно понявших? А когда обо мне домыслы плодятся — и все, все в разные стороны? А советская показуха, что «Солженицыным занимаются в ЦК» (ко мне же оттуда ни звука), — ведь будоражит; и эти пронзающие слухи, что я «уже подал заявление в советское посольство», — о самом себе в такой момент не странно ли смолчать?

Да всё равно не удаётся глухо молчать. Тянется: 40 лет русской секции «Голоса Америки», высказитесь! И как им отказать? — они же за моего Столыпина пострадали. Аля находчиво предложила мою давнишнюю цитату о западном радиовещании. И тут же сразу — 45 лет всего «Голоса», и Рейган в приветствии цитирует меня: «Мощная струя невоенной силы эфира, зажигающий эффект которой в коммунистической мгле даже не может вообразить западное сознание... Да, наговорено много, наследство моё немалое.

А тут совпало чтение по неглушиму Би-би-си — двух томов «Марта Семнадцатого». (И доходят вести, что его в Союзе слушают.) Конечно, отрывки нарезаны без меня, Владимиром Чугуновым, но с пониманием. Я слушал и радовался. И предложили они мне дать заключение к серии — прямо своим голосом, да в Россию! — Ну как не согласиться! Сговорились на интервью. И вот, в конце июня, приехал Чугунов брать его.

Этот исключительный случай обратиться — не через заглушки, полным голосом — к соотечественникам, и — сейчас, в такие бурные смутные месяцы, когда множатся противоречивые слухи, а власти — застыли, обо мне воды в рот набрали, — как не использовать? Обратиться прямо, прямо к слушателям, к читателям.

И что же сказать?

Всё ж опоминаемся: поманили «Раковым корпусом»? Но ведь он едва-едва не напечатан был — в 1967. Так — всего-то — за двадцать лет — на столько продвинулись? (Да и на столько ещё не продвинулись...) А как же — «Архипелаг»? Меня и выслали за него. А всё «Красное Колесо»? Как же их предать? Да прежде всего — назвать их, вот сейчас, по эфиру! И пусть задача ломит голову властей, а не мою...

И заключил интервью: вернусь — вслед за своими книгами, не в обгон их*.

Обстановка на родине непредсказуемая, может быть, она не примет меня ещё долго. И мне — по силам, по работе и по возрасту — сколько ж ещё лет перекоренеть в изгнании?

А ребятам-то нашим? — не на месте топтаться. Вот старшим двоим подкатила пора ехать учиться дальше. Куда? Родина нас пока не зовет.

Ермолай вот сейчас, в июне 1987, среднюю школу свою, двенадцатилетку, оканчивает, на два года раньше сверстников. И на эти два сэкономленных до университета года решили мы послать его в Англию, в Итон. У него по-прежнему страсть к новейшей истории, к политике. Последние годы занимался я с Ермошей русской историей подробно — с конца XIX и до революции, при обильном его чтении. А ещё лето нынешнее до колледжа успеет он поучиться китайскому языку интенсивно — в соседнем Мидлбери, летней языковой школе (годовой курс за 9 недель).

Игнату — 14, но и он этой осенью уезжает в Лондон. Последние годы занимался с ним ассистент Сёркина, уругвайский пианист Луис Баже, а три лета подряд провёл Игнат в музыкальном лагере, увлечённо окунаясь там в камерные ансамбли. От своего дебюта с оркестром в 11 лет (Второй Бетховенский) он уже немало играл публично, — теперь Ростропович советует ехать в Лондон к Марии Курчо, известной преподавательнице, ученице Шнабеля в прошлом; одновременно и школу кончать там. Странным образом отпустить его за океан одного, ещё совсем мальчик. Хотя он вырослел не по годам, и вообще быстро развивается, с широким кругозором, жадно и вбирчиво читает на трёх языках.

И нам успевали помогать оба.

Вот, вслед за Митей уедут ещё двое, с нами останется младший Стёпа, — надолго ли?

Здесь в Вермонте — меняется наша жизнь, а оттуда — тёплый ветерок не обманул ли?

Допустит ли Бог вернуться на родину? допустит ли послужить? И — в момент ли нового её крушения или великого устроения?

Уже дважды послано было мне совершить в моей стране — невозможное, непредсказуемое: напечатать лагерную повесть под коммунистической цензурой и издать «Архипелаг», находясь в пасти Дракона. И при напечатании «Денисовича» и при высылке на Запад испытал я два подъёмных взрыва, когда немеряные силы подхватывают тебя на высоту неожиданную. (И оба раза наделал ошибок.) Если я дважды пробивал собой бетонную стену — отчего и в

* «Публицистика», т. 3, стр. 273 — 284.

третий раз на меня не ляжет нечто схожее? (И как не наделать ошибок тогда?) Грянь боепризывная труба — ещё слух мой свеж, и ещё остались силы. У старого коня, да не по-старому ходá.

Да даже только для живого присутствия при будущих событиях, даже не участвуя в них прямо? и само присутствие могло бы стать видом действия? и помочь донести накопленное миропонимание до следующих поколений. Может быть и не риском-напором, как раньше, а выполнить задачу одним продлением жизни: само долголетие могло бы стать ключом к выполнению?

А уже не раз замечаю, что длительность жизни человека сильно зависит от сохранённости его жизненной задачи: если человек очень нужен в своей задаче, то и живёт. И пословица так: умирает не старый, а поспелый.

От самого «Ивана Денисовича» я уже сколько раз послужил мечом разъединяющим. И ожесточение схваток последней дюжины лет всё время *разделяло* меня со множеством сил и западных, и происхождения отечественного — и то всё было неизбежно. А в душе желание: не разделяться, не разделять, а — *слить* всех, кого доступно, послужить для России объединяющим обручем.

Это ведь — и есть подлинная задача.

Так в жизненном пути поднимаешься с плоскогорья на плоскогорье и каждый раз хочется назвать: вот это и наступили вершинные годы мои. Но идёшь дальше — оказывается: и те ещё были не вершинные.

Или — и не ждать их уже.

«Путь мой уясни предо мной...»

Вермонт

Июнь-июль 1987

(*Публикация глав будет продолжена.*)



Священник АЛЕКСЕЙ ГОСТЕВ



ЦЕРКОВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

К принятию «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»

Социальное служение — важнейшая грань жизни Церкви, продолжение ее основного, таинственного служения, распространение ее спасительной миссии на общество, на все сферы деятельности человека. «Церковь ответственна за мир», она беспокоится «не только об отдельных людях, но и об обществе, даже человечестве в целом... ее цель — не только спасти людей от власти мира сего, но и спасти сам мир. В частности, поскольку человек — „существо социальное“, Церковь должна... решать задачу искупления общества» (прот. Г. Флоровский, «Империя и пустыня»).

На рубеже третьего тысячелетия после Рождества Христова приходится констатировать, что мир, в условиях которого «странствует» Церковь, все в большей степени становится постхристианским, то есть перестает ориентироваться на христианские ценности, даже в том рудиментарном виде, в котором они присутствовали до недавнего времени в секулярной европейской цивилизации. Изменяется само представление о человеке, понимание его свобод, фундаментальных принципов его деятельности и творчества. Миссия Церкви получает сегодня особую значимость и предполагает богословское осмысление антропологических, историософских и культурных проблем современности.

«С точки зрения Евангелия должна быть оцениваема вся наша жизнь, каждый ее момент, каждая точка. От суда Церкви и совести верующего не может быть свободно ничто в этом мире... У Церкви должны быть принципиальные ответы на все решительно вопросы жизни» (А. В. Карташев, «Церковь как фактор социального оздоровления России»). Западные исповедания уже не один десяток лет пытаются находить новые формы социального делания и создали соответствующую богословскую базу. Православный мир, не оставаясь в стороне от животрепещущих социальных и культурных проблем, до последнего времени по ряду причин не имел систематически изложенной социальной доктрины. Появление «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», принятых летом 2000 года на юбилейном архиерейском соборе, является событием как в общеправославном, так и в российском масштабе.

Впервые со времен Поместного Собора 1917 — 1918 годов Русская Церковь получает программу социального служения, а общество оказывается информировано о позиции Церкви по всей совокупности социальной проблематики. На практике это должно означать, что пришел конец разному «частных богословских мнений» по целому ряду важнейших вопросов, не имеющих либо однозначного, либо общеизвестного и систематически выраженного решения в традиционных церковных источниках.

Конечно же речь идет о начале процесса. Первый в своем роде документ, каковым являются «Основы социальной концепции», не может и не должен быть окончательным. Его ожидает соборная рецепция, а значит, обсуждение и дополнение. Это тем более необходимо, так как, ввиду отсутствия общесловеской базы, документ представляет собой попытку совместить осмысление проблем современности и свод нормативных положений по социальному служению. В результате для богословского трактата он оказался слишком краток, недостаточно систематизирован и концептуален, а для руководства к действию в большинстве разделов излишне пространен и абстрактен. Между тем важно, чтобы основные положения его были изложены в сжатой, доступной и императивной форме, чтобы уже на данном этапе быть реальной программой деятельности и осуществляться на практике.

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» представляют собою текст объемом в несколько печатных листов. Хотя из виртуального пространства Интернета, где был опубликован первоначально, он переключался на страницы церковной периодики, следует констатировать, что документ все еще мало доступен широкому кругу общественности. Задача настоящей статьи — в первую очередь по возможности кратко познакомить читателя с его основными положениями.

Начинается документ с богословской преамбулы экклезиологического характера. Церковь рассматривается здесь в первую очередь как благодатный богочеловеческий организм, что необычайно существенно с точки зрения ее социального служения: «Именно богочеловеческая природа Церкви делает возможным благодатное преображение и очищение мира, совершающееся в истории в творческом соработничестве, „синергии“ членов и Главы церковного тела». «Церковь призывает своих верных чад и к участию в общественной жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности... Недопустимо манихейское гнушение жизнью окружающего мира... мир, социум, государство являются объектом любви Божией». В этой части документа, без упоминания имен, прямо или косвенно, цитируются выдающийся христианский мыслитель В. С. Соловьев, а также А. В. Карташев, влияние вышеупомянутой статьи которого прослеживается и в последующем тексте документа. Принципиально важным является и очевидное из преамбулы «Основ...» понимание того, что дары Святого Духа, освящающие социальное служение Церкви в целом и каждого ее члена, есть те же дары, которые преподаются Церкви со дня Пятидесятницы и составляют основу всей ее благодатной жизни. Социальное служение, таким образом, рассматривается не как некая «внеклассная работа», но как продолжение и раскрытие таинственного служения.

Со своей стороны хотелось бы отметить, что краеугольным камнем социальной активности Церкви должно быть осмысление положения человеческой личности в условиях современности. Церковь обращается прежде всего к конкретному человеку, уникальному, любимому Богом, а затем уже к государству, нации, человечеству. Недооценка достоинства человеческой личности, ее свобод и инициативы были и остаются важнейшими проблемами нашего российского бытия. Если мы хотим вступить в третье тысячелетие после Рождества Христова под знаком возрождения христианских ценностей, именно Церковь должна возвестить необходимость ставить человеческую личность во главу угла во всех сферах социальной жизни, не допуская как тоталитарного подавления ее, так и разрушительной вседозволенности неолиберализма.

С точки зрения христианской, проблемы личного бытия разрешимы лишь в рамках соборности, примиряющей личность и человечество, обновленное во Христе, дающей истинное понимание уникальности и всеобщности личности в ее единстве с другими личностями и Богом. Здесь ключ и к решению социальных проблем, а также проблем взаимоотношения как личности, так и Церкви с государством, проблем национальных и общечеловеческих. Именно

в соборности снимается неизбежный в падшем мире и земной истории конфликт личности и коллектива. Соборность, совершенное единение уникальных человеческих личностей между собой и с Богом, исключает как эгоизм и самоутверждение личности, так и подавление ее коллективом.

За богословской преамбулой в «Основах социальной концепции» следует раздел **«Церковь и нация»**. Подчеркивается наднациональный, вселенский характер Церкви, однако признается законность и христианского патриотизма, права наций на самобытность и самоопределение. Церковь призывает своих чад шествовать «царским путем», противостоя как унификации и обезличиванию, сопряженным с потерей корней, с потерей аутентичности, столь характерными для современного секуляризма, так и национальной самозамкнутости и ограниченности, изоляционизму и, наконец, рождающемуся отсюда обожевлению национального начала.

«Православный христианин призван любить свое отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру. Такая любовь является одним из способов исполнения заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, соплеменникам и согражданам. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание. В то же время национальные чувства могут стать причиной греховных явлений, таких, как агрессивный национализм, ксенофобия, национальная исключительность, межэтническая вражда... Тем более не согласны с Православием учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания».

Эти истины, казалось бы естественно вытекающие из христианского мировоззрения и не раз в той или иной форме высказанные богословами как древних, так и новейших времен, нуждаются вновь и вновь в подтверждении и официальном признании.

Среди греховных искажений национального самосознания в документе почему-то не упоминается антисемитизм. Это можно было бы понять, если бы речь шла о явлении маргинальном или о некоем частном случае, подпадающем под более общее определение, например, под рубрику ксенофобии. В действительности антисемитизм относится к числу давних исторических зол, и, чтобы не наследовать его в грядущем тысячелетии, важно было бы подчеркнуть несовместимость антисемитизма с христианским мировоззрением.

Следующий раздел «Основ...», посвященный взаимоотношениям **«Церкви и государства»**, — едва ли не самая главная часть документа. Эта проблема была и остается особенно актуальной и, можно сказать, болезненной для православного мира в целом и для Русской Православной Церкви в частности, являясь поводом для обвинений в цезарепапизме. Остроту этой проблеме придает и история гонений на Русскую Православную Церковь в советский период, последствия которых в той или иной форме не изжиты до конца и сегодня.

Прежде всего в документе определяется статус государства как реальности «не... изначально богоустановленной», но являющейся «необходимым элементом жизни в испорченном грехом мире, где личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха». «Необходимость государства вытекает не непосредственно из воли Божией, но из последствий грехопадения и из согласия действий по ограничению господства греха в мире». В падшем мире существование государства неизбежно и является относительным благом. В известных пределах Бог благословляет воздавать «кесарю кесарево», что служит для Церкви основанием призывать своих чад быть лояльными гражданами даже в эпохи гонений и возносить молитвы за власти.

Лояльность Церкви по отношению к государству имеет, однако, свои пределы: «Выше требования лояльности стоит Божественная заповедь совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах». Недопустима абсолютизация государства, обожевление властителей, вмешатель-

ство в область личной жизни и религиозной совести граждан, забвение властью «границ ее чисто земной, временной и преходящей ценности». «Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также ко греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении». Этот протест может простирается вплоть до мирного гражданского неповиновения и апелляции к мировому общественному мнению и международным инстанциям. Разумеется, речь идет не о стихийных акциях в рамках прихода или епархии, но о действиях, санкционированных священноначалием и одобряемых Церковной Полнотой.

Цитируемые пассажи доктрины созвучны с учением преп. Иосифа Волоцкого о том, что не подобает повиноваться неправедным и «строптивым» царям: «Таковой царь — не Божий слуга, но дьявол, и не царь, а мучитель... и ты такового царя не послушаеши... аще мучит, аще смертью претит» — так поучает преп. Иосиф в своем «Просветителе». Что же касается исторической реальности, прот. Г. Флоровский справедливо замечает в своей книге «Пути русского богословия»: «Нетрудно показать, как замысел преп. Иосифа бледнеет и искажается в следующих поколениях». Теория противления богопротивным царям не осуществлялась на практике. В особенности это имеет отношение к недавнему, советскому периоду нашей истории, рассмотрение которого практически отсутствует в «Основах социальной концепции». Очевидно стремление привести историческую практику в соответствие с идеалом; однако без конкретного анализа и оценок здесь не обойтись.

Утверждается далее, что государство может иметь в большей или меньшей степени божественную санкцию, что напрямую связано с религиозно-нравственным состоянием народа. Высшей, с христианской точки зрения, признается государственная форма теократии в ветхозаветную эпоху Судей. Низшей, но также богоблагословенной формой представляется монархия. На третьем месте оказываются иные формы государственности как не упоминающиеся в Священном Писании и, главное, не ищущие сами по себе никакой божественной санкции. «Форма и методы правления, — утверждает в документе, — во многом обуславливаются духовным и нравственным состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор людей или по крайней мере не противится ему». Из этого утверждения вытекают два принципиальных положения, определяющих отношение Церкви к государству вообще и ее политическую позицию в частности: 1) «изменение властной формы на более религиозно укорененную без одухотворения самого общества неизбежно вырождается в ложь и лицемерие»; 2) «Церковь должна уделять главное внимание не системе внешней организации государства, а состоянию сердец своих членов». Для Церкви не может быть предпочтителен «какой-либо государственный строй, какая-либо из существующих политических доктрин».

Близкой к православному идеалу признается «симфония Церкви и государства», богословски разработанная в Византии и успешно осуществлявшаяся, как утверждает вслед за А. В. Карташевым, в допетровской Руси. «Суть ее составляет обоюдное сотрудничество Церкви и государства, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой». «Мирская власть и священство относятся между собою... как тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит благоденствие государства» — как гласит классическая формулировка «симфонии», исходящая от византийского императора Юстиниана.

Признавая историческую обусловленность этой схемы и отступления от нее в сторону цезарепапизма, «Основы социальной концепции» утверждают принцип «симфонии» как образец для построения отношений Православной Церкви с современными государствами, на территории которых ныне проживают ее чада: «симфония» как форма сосуществования возможна и с религиозно нейтральными государствами, каковыми те в большинстве своем являются в наши дни. При всех естественных коррективах неизменной здесь остается

забота о воцерковлении мира, стремление благотворного воздействия на государство, сотрудничество с ним в тех сферах, где это возможно и необходимо.

В условиях секулярного мира, когда действует тенденция к полному отделению Церкви от государства, «симфония» выражается во взаимном невмешательстве, уважении, сотрудничестве в гуманитарных и нравственных вопросах. Кроме того, в документе утверждается, что «традиционной областью общественных трудов Церкви является печалование перед государством о нуждах народа, о правах и заботах отдельных граждан или общественных групп».

Наиболее адекватным современности вариантом «симфонии» в «Основах социальной концепции» признается для Православной Церкви статус «церкви большинства», по примеру некоторых западных стран, где «форма церковно-государственных отношений носит промежуточный характер между радикальным отделением... и государственной церковностью». Основанием для получения статуса «церкви большинства» является количество последователей Церкви, ее место в формировании «исторического, культурного и духовного облика народа». В этой части «Основы социальной концепции» близки по духу постановления Поместного Собора 1917 — 1918 годов, где говорится о необходимости не отделения Церкви от государства, а скорее их взаимного «отдаления». Это, по мысли отцов Собора, позволило бы Церкви в условиях свободы не потерять накопленный за века положительный опыт социального служения и получить новые возможности христианского воздействия на общество.

Единственное недоумение, возникающее при знакомстве с рассматриваемым разделом документа, — это непризнание ценности принципа свободы совести, который квалифицируется как свидетельство превращения религии в современном мире из «общего дела» в «частное дело» человека, «распада системы духовных ценностей, потери устремленности к спасению большей части общества... массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом».

В этих утверждениях содержится противоречие с другими положениями документа, где, в частности, сказано: «Там, где Христос „все и во всем” (Кол. 3: 11), нет места принуждению». Что же, как не принуждение в вопросах веры, вытекает из отказа от принципа свободы совести? Выходит, если принуждение направлено против веры, то это недопустимое насилие и превышение государством его полномочий, а если принуждение используется для поддержания веры — это способствует спасению «большой части общества», утверждает духовные ценности и цели, помогает в «победе над грехом»?

Принуждение в вопросах веры противоречит евангельскому духу, и если оно применялось в истории, то мы имеем дело не с торжеством, но с искажением христианства. «Невольник не богомольник», — говорил св. Филарет, митрополит Московский. Защищая необходимость веротерпимости и свободы совести в Российской империи, В. С. Соловьев писал в конце XIX столетия: «Принцип равноправности религиозных убеждений вовсе не заключает в себе признания их равноценности». Христианская Истина по самому существу своему не допускает принудительного распространения и охранения. Отказ от насилия в этой области совсем не означает равнодушия и индифферентизма. «Несомненно, что если я верю в истину, то не могу быть равнодушным, когда ее кто-нибудь отрицает: но следует ли из этого, что я должен брать его за горло? Ревность о правде сама должна быть праведной. Способы выражения такой ревности известны: слово убеждения, исповедание и проповедание истины, если нужно — самопожертвование и мученичество».

Но, к сожалению, Соловьеву не удалось переубедить власть предержавшую, и в Российской империи «спасение большей части общества» по-прежнему пытались обеспечить с помощью урядника, что в конечном итоге привело как раз к массовой апостасии. Водворившийся в пореволюционной России порядок оказался далек от «фактической индифферентности к делу Церкви» и обернулся небывалыми в истории преследованиями и гонениями на христиан.

Свобода является одним из фундаментальных признаков образа Божия в человеке. Ее реализация на уровне внешнем, политическом, правовом и т. д. есть отблеск свободы высшей, внутренней, что отмечается в документе. Утверждение это справедливо несмотря на то, что в условиях падшего бытия возможно расхождение между этими свободами. Преодолеваться оно, однако, должно отнюдь не насильственными методами. Свобода, по крайней мере на начальной стадии, всегда предполагает возможность отрицательного выбора. В противном случае мы получаем лишь благочестивую имитацию свободы, по сути дела — ее пародию и подделку.

Следующие два раздела — «Христианская этика и светское право» и «Церковь и политика» — связаны с предыдущим. Право, говорится в документе, как и само государство, необходимо возникает в условиях падшего мира, оно «становится границей, выход за которую грозит разрушением как личности, так и человеческого общежития». Закон Божий, лежащий в основании бытия и сообщающийся людям в Откровении, не тождествен человеческому праву, но они имеют точки соприкосновения. Вслед за В. С. Соловьевым в документе утверждается, что «задача светского закона не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не превратился в ад».

Далее следует исторический очерк взаимоотношений Ветхозаветного Закона, канонического права Христианской Церкви, являющегося особым видом права, «принципиально надсоциальным», и правовых систем различных государств. Церковь «может существовать в рамках самых разных правовых систем», она «неизменно призывает пасомых быть законопослушными гражданами». Однако, как это уже было сформулировано, для верующих существуют пределы лояльности и законопослушания: «Когда же исполнение требования закона угрожает вечному спасению, предполагает акт вероотступничества или совершение иного несомненного греха... христианин призывается к подвигу исповедничества» вплоть до гражданского неповиновения. Как и соответствующие утверждения в разделе «Церковь и государство», подобные предписания направлены на воспитание церковного народа в духе богоданной свободы и вместе с тем религиозной ответственности за свои социальные деяния.

К этому кругу вопросов относятся и положения документа о неотъемлемых правах и свободах личности, являющихся основой правовой системы большинства современных государств. Подчеркивается, что «идея таких прав основана на библейском учении о человеке как образе и подобии Божиим, как онтологически свободном существе». Внутренние права, вытекающие из этого учения, «дополняются и гарантируются другими — внешними». Справедливо утверждается, что «Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его волю. Напротив, сатана стремится завладеть волей человека, поработить ее». В свете этих положений тем более непонятно, как в предыдущем разделе ставится под сомнение одна из самых важных свобод — свобода совести.

В документе подчеркивается, и это принципиально важно, что понимание прав и свобод личности в современном секулярном мире не всегда совпадает с их христианским толкованием. Существует опасность искажения этих богоданных свобод: «По мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав человека превратились в понятие о правах индивидуума вне его связи с Богом. При этом охрана свободы личности трансформировалась в защиту своеволия». Это приводит к порабощению воли человека грехом, разрушению внутренней свободы во имя мнимой защиты и гипертрофии свобод внешних, вне их связи с таким фундаментальным для христианского восприятия свободой понятием, как ответственность.

В разделе «Церковь и политика» признается ответственность гражданского структурирования общества, политического разномыслия, борьбы партий, лишь бы она осуществлялась в рамках закона и не противоречила нормам морали. При этом Церковь «проповедует мир и соработничество людей, придержи-

живающихся разных политических взглядов». Допустимо наличие различных политических убеждений среди епископата, клира и мирян, за исключением идущих вразрез с христианскими началами. В то же время неприемлемо участие священноначалия и священнослужителей в деятельности политических партий, предвыборной борьбе, в работе исполнительных и законодательных органов власти. Церковь не устраняется от выражения своей позиции по общественно значимым вопросам, по вопросам, имеющим политическое содержание, наоборот, видит в этом свою обязанность. Однако это должно совершаться на внеполитическом уровне, и полномочия высказываться от имени Церкви должны принадлежать исключительно Соборам и священноначалию. Мирянам не возбраняется активное участие в политической жизни и государственном управлении. Такая активность существенна для воплощения христианских принципов в общественной сфере. Важно лишь, чтобы они не выдавали свой голос или голос своих объединений, пусть даже и носящих название христианских или православных, за голос всей Церкви и не выходили из-под ее пастьерского окормления.

Выраженную таким образом позицию можно охарактеризовать как принципиально аполитичную, что, как предполагается, должно способствовать тому, чтобы голос Церкви, ее нравственная точка зрения имели больший вес и авторитет.

Раздел **«Труд и его плоды»** может быть резюмирован следующим образом: «Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу людей», и осуждает деятельность, осуществляющую «пропаганду порока и греха». Отказ в оплате честного и добросовестного труда также является грехом (утверждение, особо актуальное для современной российской действительности). Трудящиеся призваны не забывать о «немощих, больных и других нуждающихся», делиться с ними плодами своих трудов. При распределении продуктов труда общество должно заботиться об «обеспечении жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граждан».

«Собственность». В этом разделе, между прочим, сказано, что «Священное Писание признает право на собственность и осуждает посягательство на нее». К сожалению, утверждение это не акцентируется, тогда как усвоение сей истины было бы весьма полезно российским гражданам, в течение семидесяти с лишним лет воспитывавшимся на псевдоидеалах собственности «коммунистической», якобы общенародной, на недоверии и неуважении к собственности частной. Ничего не говорится о церковном отношении к воровству и коррупции, являющимся с точки зрения Священного Писания тяжкими грехами и разъедающим сегодня российское общество.

Особым видом собственности признается собственность церковная, формирующаяся в результате добровольных пожертвований верующих. Посягательства на нее «являются преступлением перед Богом и людьми». Она не должна облагаться налогами. Тем более необходимо возвращение отнятых у Церкви храмовых зданий, предметов культа и других видов церковной собственности, отнятых в советский период. В случае решительной невозможности этого может быть принята справедливая компенсация.

«Война и мир». В «Основах социальной концепции» утверждается, что с христианских позиций война есть зло, ставшее возможным в результате отпадения человека от Бога. В то же время признается возможность справедливой войны, являющейся печальной неизбежностью, «если речь идет о защите ближних и восстановлении поправной справедливости». Эти положения в отечественной традиции обосновывались такими мыслителями, как В. С. Соловьев и И. А. Ильин, доказывавшими, что абсолютный пацифизм не имеет ничего общего с христианским учением.

Критерий, определяющий допустимость войны, в современных условиях крайне непрост и «нуждается всякий раз в отдельном рассмотрении». Даже справедливая война «должна вестись с гневом праведным, а не со злобою, алчностью и похотью». По мысли документа, призывом Церкви в мире в соответствии с заповедью Спасителя является миротворчество как в национальном, так и в международном масштабе, а также пастырское попечение о Вооруженных силах. Исходя из вышесказанного, Церкви предписывается четко выражать свое отношение к каждому военному конфликту, активизировать работу среди военнослужащих.

«Преступность». В документе говорится, что преступность порождается грехом. Профилактика преступности есть сфера сотрудничества Церкви и государства. По отношению к преступникам, как реальным, так и потенциальным, необходимо неукоснительное сохранение тайны исповеди, закрепленное ныне конституционно в России. Церковь утверждает, что наказание не является «местью, но... средством внутреннего очищения согрешившего». Поэтому безусловно необходимо «человечное отношение к подозреваемым», а также то, чтобы «лица, находящиеся в местах лишения свободы, не испытывали бесчеловечного обращения». «Возрождение душепопечения о заключенных становится важнейшим направлением пастырского и миссионерского делания».

В рамках данной проблематики особенно существенным является вопрос о смертной казни, активно обсуждающийся в последнее время в обществе, в частности в связи с требованиями, предъявляемыми России международными организациями. Русская Православная Церковь занимает по этому поводу неоднозначную позицию: «Указаний на необходимость... отмены [смертной казни] нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии Православной Церкви. Вместе с тем Церковь часто принимала на себя долг печалования перед светской властью об осужденных на казнь... христианское нравственное влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к смертной казни... Сегодня многие государства отменили смертную казнь... Церковь приветствует такие шаги государственных властей». Вместе с тем она признает, что этот вопрос должен решаться обществом свободно. Отсюда следует, что Церковь возлагает окончательную ответственность за решение вопроса о смертной казни на общество и государство, решительно не поддерживая и не отвергая позиции как ее сторонников, так и ее противников.

«Вопросы личной, семейной и общественной нравственности». Здесь выражен традиционный подход Церкви к этой проблематике. Прежде всего утверждается ценность христианского брака: «Для христиан брак стал не просто юридическим договором, средством продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей, но, по слову св. Иоанна Златоуста, „тайнством любви“, вечным единением супругов друг с другом во Христе».

В документе подчеркивается, что Церковь во все времена с уважением относилась к так называемому гражданскому браку, то есть браку, скрепленному государством. Венчание именно «увенчивает» по гражданским законам оформленный союз. Однако и не имеющий церковного благословения брак ни в коем случае не может рассматриваться в качестве блудного сожительства, как это зачастую делается отдельными пастырями и под их влиянием некоторыми верующими. Церковь отказывается освящать браки христиан с нехристианами. Браки православных с инославными освящаются под условием воспитания детей в православной вере.

«Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости православного брака». Однако в некоторых случаях развод допустим. К списку, составленному на Соборе 1917 — 1918 годов: прелюбодеяние, отпадение одной из сторон от Православия, противоестественные пороки, посягательство на жизнь одного из супругов и т. д. — в «Основах социальной концепции» добавлено: заболевание СПИДом (к сожалению, не уточняется, как

быть в ситуации, когда это заболевание наступает не по вине одного из супругов, а по вине медицинских работников, что является в наши дни печальной реальностью), медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм и наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа.

Признавая высокое достоинство женщины, Церковь, утверждаясь в документе, негативно относится к феминизму, видя в этом нарушение воли Творца, создавшего естественные различия мужчины и женщины, что неизбежно предполагает различие их служений как в церковной, так и в социальной сфере.

Во все времена Церковь отрицательно относилась, квалифицируя их как смертные грехи, к таким явлениям, как проституция, порнография, извращения, а также к их пропаганде и использованию в коммерческих целях.

Не отрицая необходимости просвещения детей в вопросах пола, Церковь призывает делать это с осторожностью и целомудрием. Недопустимо применять в школах «программы полового воспитания», признающие за норму разврат и извращения. Такие «программы» ведут не к просвещению, а к самому настоящему растлению детей.

В разделе «Здоровье личности и народа» формулируется традиционный православный подход к медицине, а также анализируются проблемы, поставленные на повестку дня развитием медицинских технологий и социальными процессами современности. «Деятельность Церкви, направленная на провозглашение Слова Божия и преподание благодати Святого Духа страждущим и тем, кто о них заботится, составляет суть душепопечения в сфере здравоохранения».

Церковь, говорится в документе, считает важным сотрудничество с медицинскими учреждениями, а также создание братств и сестричеств, несущих послушание милосердия, реализацию различных благотворительных программ в области медицины. Вместе с тем Церковь призывает государство к созданию условий, при которых каждый человек, независимо от материального достатка и социального положения, «мог бы осуществить свое право на духовное, физическое, психическое здоровье и социальное благополучие при максимальной продолжительности жизни».

Церковь утверждает, что с христианской точки зрения «взаимоотношения врача и пациента должны строиться на уважении целостности, свободного выбора и достоинства личности. Недопустима манипуляция человеком даже ради самых благих целей». В области психиатрии «нравственно недопустимы... подходы, основанные на подавлении личности больного и унижении его достоинства». «Каждый человек должен иметь право и реальную возможность не принимать тех методов воздействия на свой организм, которые противоречат его религиозным убеждениям». Кроме того, «Церковь предупреждает об опасности внедрения под прикрытием „альтернативной медицины“ оккультно-магической практики, подвигающей волю и сознание людей воздействию демонических сил».

В этих заявлениях, призывах и предостережениях, обращенных как к государству в целом, так и ко всем имеющим отношение к сфере здравоохранения, традиционный православный подход сочетается в них, как уже было сказано, с анализом актуальной проблематики. Очевидно, впервые с церковной трибуны звучит христианская оценка такого явления, как спорт, прочно вошедший в личную и социальную жизнь человечества: «Для поддержания здоровья личности и народа весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия физической культурой и спортом. В спорте естественна соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий».

Раздел «Проблемы биоэтики» соотнесен с разделом о нравственности и с разделом о личном и общественном здоровье. Церковь волнуют не столько

проблемы, связанные с научно-техническим прогрессом как таковым, сколько последствия внедрения достижений науки для нравственного и физического здоровья людей. «Формулируя свое отношение к широко обсуждаемым в современном мире вопросам биоэтики, в первую очередь к тем из них, которые связаны с непосредственным воздействием на человека, Церковь исходит из основанных на Божественном Откровении представлений о жизни как о бесценном даре Божиим, о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности, призванной... к обожению».

В рамках данной проблематики затрагивается прежде всего проблема намеренного прерывания беременности. Подтверждается отношение к аборту как смертному греху, ложащемуся на родителей и на исполнителей — врачей. «Православная Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на производство аборта». В то же время утверждается, что возможно проявить снисхождение в случаях, «когда существует прямая угроза жизни матери, особенно при наличии у нее других детей». Конечно, речь идет не об одобрении аборта, а об ослаблении последующей покаянной дисциплины.

По вопросам контрацепции Церковь занимает столь же принципиальную и одновременно пастырски взвешенную позицию. Однозначно осуждаются контрацептивные средства, имеющие абортивный характер. В отношении иных средств «надлежит с пастырской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары... заботясь прежде всего о сохранении и укреплении семьи». Рассмотрение этого вопроса, как и прочих, связанных с проблемами пола и семьи, нуждается в «соблюдении особого целомудрия и особой пастырской осторожности». Эти положения документа весьма актуальны, так как встречаются священники, начинающие мнить себя «старцами», которые грубо вмешиваются в личную жизнь людей, применяя топорные приемы в случаях, где следовало бы действовать скальпелем.

С осторожностью относится Церковь, как свидетельствуют «Основы социальной концепции», к новым биомедицинским методам, позволяющим преодолеть бесплодие. Они применимы, с христианской точки зрения, только в том случае, когда не нарушается «целостность личности [родителей] и исключительность брачных отношений», не допускается «вторжение в них третьей стороны». Грехом признается так называемое «суррогатное материнство», донорство половых клеток и т. п.

Большую опасность для личности человека, созданного Богом по Своему образу и подобию, Церковь видит в разработках геной инженерии. Здесь подчас совершается вторжение в замысел Божий о человеке, что может быть квалифицировано как грех едва ли не более тяжкий, чем убийство. Геной терапия, создание генетических паспортов, генетическая пренатальная диагностика могут иметь, с христианской точки зрения, право на осуществление только с учетом абсолютной уникальности и свободы Богом созданной человеческой личности, даже если речь идет о ее эмбриональной стадии.

Особой темой является так называемое клонирование — новейшее достижение генетиков, активно обсуждаемое сегодня во многих странах общественностью и правительствами. Деятели Русской Церкви уже высказывались по этому поводу, но принципиально то, что соответствующее положение концепции имеет статус соборного постановления. Решительно провозглашено, что «замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию». Как и другие достижения геной инженерии, клонирование может ограничено применяться в рамках биологической и медицинской необходимости в ряде случаев на уровне воспроизводства отдельных клеток и органов, когда не происходит посягательства на уникальность человеческой личности. Этот антропологический критерий применим и к вопросам трансплантации человеческих органов.

«Церковь... не может признать нравственно приемлемыми попытки легализации так называемой эвтанази, т. е. намеренного умерщвления безнадеж-

но больных». Эта практика является, по сути, и убийством и самоубийством одновременно.

Медицинские операции по изменению пола человека (их не следует смешивать с хирургической коррекцией патологий половых признаков) документ квалифицирует как «бунт против Творца». «Если „смена пола” произошла с человеком до Крещения, он может быть допущен к этому Таинству, как и любой грешник, но Церковь крестит его как принадлежащего к тому полу, в котором он рожден».

«Церковь и проблемы экологии». Осознавая угрозу экологической катастрофы, предотвращением которой озабочено современное человечество, Церковь, как утверждается в документе, поддерживает и благословляет эти усилия. Вместе с тем она обращает внимание общества на духовную суть происходящего, подчеркивает антропологический аспект экологических проблем.

«Одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах экологии является принцип единства и целостности сотворенного Богом мира... Природа есть дом... где человек является не хозяином, а домоправителем... храм, где он — священник, служащий, впрочем, не природе, а единому Творцу». Разрушение этого дома в результате эгоистической хозяйственной деятельности человека «есть вызов, брошенный не только божественному творению, но и Самому Господу».

«Экологические проблемы носят по существу антропологический характер... природа подлинно преобразуется или погибает не сама по себе, но под воздействием человека... духовно деградирующая личность приводит к деградации и природу». Церковь утверждает, что подлинный успех экологической деятельности может быть достигнут лишь при духовном возрождении человечества.

«Светские науки, культура, образование». Вопросы, рассматриваемые в этом разделе, имеют исключительное значение. Именно культура формирует категорию нашего самосознания, ее воздухом мы дышим, на ее языке говорим. Именно в культурном пространстве должна звучать апелляция Церкви к человеку. Преображение культуры есть распространение благодатного воздействия Церкви на мир. Это сфера синергии, сотрудничества, сотворчества Бога и человечества.

В первую очередь следует отметить, что раздел, посвященный данной проблематике, носит апологетический характер — в частности, в плане защиты культуры от аскетического отрицания, имеющего наряду с другими подходами свои корни в христианской традиции.

Начинается раздел с вопросов взаимоотношения Церкви и науки. Провозглашается необходимость «возвращения к утраченной связи научного знания с религиозными, духовными и нравственными ценностями». Обходя стороной вопрос, когда и почему эти связи были утрачены, утверждается, что противопоставление науки и религии в конечном итоге ложно. В связи с этим цитируются положения современных апологий о том, что «научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. У них разные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать одна с другой». Отсюда следует, что наука сама по себе не может быть источником атеизма, — Церковь же, предлагая возродить связь научного знания с религиозными ценностями, отнюдь не претендует на диктат и вторжение в сферы, в ее компетенцию не входящие.

В большее соприкосновение входят истины религиозного мировоззрения с науками гуманитарными и прежде всего с философией, одной из задач которой является осмысление научного знания в целом. Не помышляя об опеке над своей бывшей «служанкой» и ее сестрами по гуманитарному цеху, Церковь напоминает, «что только совмещение духовного опыта с научным знанием дает полноту ведения».

Актуальны и выраженные в документе предостережения об угрозах, возникающих на путях развития научного знания: «К сожалению, сохраняется опасность идеологизации науки, за которую народы мира заплатили высокую цену в XX веке. Такая идеологизация особенно опасна в сфере общественных исследований... Человек как образ и подобие Непостижимого Творца в своих таинственных глубинах свободен. Церковь предостерегает от попыток использовать достижения науки и техники для установления контроля над внутренним миром личности, для создания каких бы то ни было технологий внушения и манипуляции человеческим сознанием и подсознанием».

Далее в документе трактуются собственно вопросы культуры. «Культура как сохранение окружающего мира и забота о нем является богозаповеданным делом человека». Следует признать, что определение это, мягко говоря, недостаточно. В нем совершенно не отражен собственно творческий аспект — как сотворчество человека Творцу, не звучит и тема красоты как отблеска Красоты Божественной. Существенно, однако, то, что подчеркивается богозаповеданность культуры. Аскетическое отрицание культуры, свойственное с давних пор некоторым монашеским и близким к ним кругам, не характерно для Церкви в целом. Утверждается, что культура прямо или косвенно может и должна служить делу благовестия. Важно было бы подчеркнуть, что под благовестием следует понимать не только прямую религиозную проповедь и что созидание подлинной красоты, борьба за эту красоту и гармонию в сердце человеческого есть тоже служение благовестия.

В документе отмечается необходимость для Церкви собственно церковного искусства. Вместе с тем утверждается, что все художники-христиане призваны выражать средствами искусства опыт духовного обновления. «В результате человеческое творчество, воцерковляясь, возвращается к своим изначальным религиозным корням. Церковь помогает культуре переступить границы чисто земного дела: предлагая путь очищения сердца и сочетания с Творцом, она делает ее открытой для соработничества Богу». При этом Церковь не навязывает художникам какой-то определенный творческий метод, но исходит из свободы и многообразия художественного развития: «Для проповеди о Христе пригодны любые творческие стили, если намерение художника является искренне благочестивым и если он хранит верность Господу... Никакая культура не может считаться единственно приемлемой для выражения христианского духовного послания. Словесный и образный язык благовестия, его методы и средства, естественно, изменяются с ходом истории, различаются в зависимости от национального и прочего контекста».

Особо подчеркивается в документе тот факт, что в области культуры как нигде необходим дар «различения духов», способность отличать вдохновение божественное от демонического: «Признавая за каждым человеком право на нравственную оценку явлений культуры, Церковь оставляет такое право и за собой. Более того, она видит в этом свою прямую обязанность... Если творчество способствует нравственному и духовному преобразению личности, Церковь благословляет его. Если же культура противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или античеловечной, превращается в антикультуру, то Церковь противостоит ей». В этом отношении в документе уместна была бы оценка современного постмодернизма, главные проявления которого характеризуются нравственным релятивизмом, мировоззренческим плюрализмом, дезонтологизацией и деморализацией художественного творчества.

Вопросы светского образования также находят место в «Основах социальной концепции». Отмечается «недопустимость намеренного навязывания учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение монополии материалистического взгляда на мир». Предлагается узаконить возможность факультативного преподавания религиозных знаний по желанию учащихся или их родителей в средней школе и преподавание религиозных дисциплин, возможно в виде спецкурсов, в высших учебных заведениях.

Указывается на опасность «проникновения в светскую школу оккультных и неоязыческих влияний, деструктивных сект», что является нарушением прав человека и ведет к тому, что учащиеся рискуют оказаться «потерянными и для себя, и для семьи, и для общества».

«Церковь и светские средства массовой информации». Церковь заинтересована в сотрудничестве со СМИ для того, чтобы ее голос был донесен до самых широких слоев общества. Она уважает труд журналиста, призывая представителей этой профессии к нравственной ответственности за свою деятельность. «Недопустимыми являются пропаганда насилия, вражды и ненависти... а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях». В случае конфликтов на том или ином церковном уровне со СМИ необходимо стремиться к их разрешению «в духе мирного диалога с целью устранения недоумений и продолжения сотрудничества». Однако есть ситуации, когда Церковь не видит иной возможности, как прекратить свои взаимоотношения с определенными СМИ, призвать верующих к их бойкоту, обратиться к государству для разрешения конфликта и даже наложить канонические прещения на конкретного журналиста, если он является православным христианином. Эти случаи таковы: «Хуление Имени Божия, иные проявления кощунства, систематическое сознательное искажение информации о церковной жизни, заведомая клевета на Церковь и ее служителей».

Заключительный раздел документа — **«Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма».** «Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере международных отношений заключается в „золотом правиле“: „Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними“ (Мф. 7: 12)». «Взаимоотношения между народами и государствами должны быть устремлены к миру, взаимопомощи и сотрудничеству». Основными принципами международных отношений признаются суверенитет и государственная целостность. Имеют равное право на существование государства моноэтнические и многонациональные, если в последних не нарушаются права какого-либо из народов. Приветствуются объединения стран и народов, создание межгосударственных союзов, международное сотрудничество.

Одной из главных проблем на пороге третьего тысячелетия стал феномен политической, экономической и культурной глобализации. Процесс этот обусловлен исторически и является результатом развития европейской цивилизации. Он характеризуется формированием единого правового, экономического и культурного пространства во всемирном масштабе.

В «Основах социальной концепции» признается неизбежность и естественность процессов глобализации, «во многом способствующей общению людей, распространению информации, эффективной производственно-предпринимательской деятельности, Церковь в то же время обращает внимание на внутреннюю противоречивость этих процессов и связанные с ними опасности». Обратной стороной процессов глобализации является всеобщая стандартизация и обезличивание, установление диктата нескольких наиболее развитых государств над остальными, практика «двойных стандартов» и т. д. В культурном отношении, как отмечается в документе, глобализация чревата распространением секулярной «универсальной, бездуховной культуры, основанной на понимании свободы падшего человека, не ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины. Такое развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляется с построением Вавилонской башни».

«Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией», документ противопоставляет призыв к «утверждению в мире подлинно равноправного... культурного и информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и других человеческих сообществ».

Добавим, что человек в условиях глобализации, несмотря на то что его свободы и права поставлены во главу угла международным правом, что воз-

возможности его в плане потребления, информационном, в плане географических перемещений и т. д. необычайно возросли, — человек этот в конечном итоге теряет себя. Изошренные телефонные и компьютерные средства общения делают его реально еще более одиноким, а общение поверхностным. Он оказывается зажат жесткими условиями предельной коммерциализации. Его сознание атрофировано рекламой, переизбытком информации, заморожено ледяными потоками постмодернистской «игры в бисер». В глобальном мире человек учтен, автоматизирован, беззащитен и открыт всевозможным внушениям и манипуляциям. Невольно вспоминается «Краткая повесть об антихристе» В. С. Соловьева, рисующая построение человечеством мирной и благополучной жизни на основе гуманистических принципов, что оборачивается прямым приходом к власти антихриста и почти всеобщим отступничеством от Христа.

Глобализация, как отмечает документ, углубляет процесс секуляризации всех сфер общественной жизни во всемирном масштабе. «Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право влиять на общественные процессы, Церковь в то же время не может положительно воспринимать такое устройство миропорядка, при котором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая личность. Именно поэтому, неизменно сохраняя открытой возможность сотрудничества с людьми нерелигиозных убеждений, Церковь стремится к утверждению христианских ценностей» как на общественном уровне, так и на международном и общечеловеческом.

В заключение обзора «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» хотелось бы подчеркнуть следующее. Голос Церкви должен звучать не только в единожды сформулированном документе, но, непрестанно и во всеуслышание, должна даваться оценка политическим, социальным и культурным явлениям *ex cathedra*, какие бы формы ни принимали церковно-государственные взаимоотношения, к какому бы «пост»-небытию ни эволюционировал мир. А чтобы голос Церкви звучал авторитетно и нравственно оправданно, необходимо, чтобы она сама являла пример миру, в своем социальном измерении являлась свидетельством того, что возможны на земле иные социальные отношения, иные принципы власти, чем те, что господствуют в падшем, непреображенном мире. Церковь сама должна быть «образцом нового общества, новых социальных взаимоотношений, в единстве веры и узах любви» (Г. Флоровский, «Империя и пустыня»).

В особенности необходимо сегодня возвращение к началам подлинной соборности, являющейся важнейшим принципом бытия Церкви, основой ее социального служения, свидетельства и примера. «Для того, чтобы Церковь наша оживилась во... внешнем смысле приближения к пульсу общенародных переживаний, необходимо, чтобы она преодолела остатки ее бюрократической мертвенности — наследия государственного порабощения — и провела бы в своей структуре начало соборности сверху донизу... Прямым последствием бюрократизма и бессоборности строя Церкви и бывает убогий клерикализм на путях воздействия Церкви на внешний мир» — так писал еще в первой половине XX века выдающийся православный богослов и историк А. В. Карташев, и мысли эти и сегодня не теряют своей злободневности.

Ныне, на заре третьего тысячелетия после Рождества Христова, положение христиан начинает приближаться к положению христиан первых столетий, находившихся в условиях прямо или косвенно враждебного и чуждого им мира. Прямые гонения постепенно сменяются более изощренными опасностями и искушениями. Именно поэтому императивом и в плане внутреннего церковного бытия, и в плане социального служения Церкви является обращение к первохристианским нормам, конечно же с учетом накопившегося опыта истории. Наступает пора возвращения к первоисточкам в преддверии «сретения Жениха».



ПОЛЕМИКА

Священник ВЛАДИМИР ВИГИЛЯНСКИЙ



НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СТАРЫМ РЕЦЕПТАМ

Социологии религии в нашей стране как отдельного направления ранее вообще не существовало или почти не существовало. В роли социологов в советские времена выступали чаще всего работники соответствующего отдела органов безопасности. Количество верующих, храмов и священнослужителей фигурировало большей частью в засекреченных документах. Если время от времени кое-какие цифры появлялись в печати, то большей частью в искаженном виде: когда идеологическим работникам нужно было показать результаты атеистической пропаганды, они были значительно занижены; когда же необходимо было дать отпор антисоветским высказываниям врагов, твердящих о гонениях на верующих в СССР, они завышались, порой даже вдвое¹.

Иногда усердие в искажении реальной картины было настолько ретивым, что, например, давало уверенность Н. С. Хрущеву в 1960 году обещать в недалеком будущем показать по телевидению «последнего советского попа». А может быть, все было наоборот: чиновники выполняли идеологический заказ политических руководителей и занимались элементарными подтасовками. В статьях профессиональных безбожников утверждалось, что в церкви ходят одни старики, что это самая необразованная и антисоциальная часть населения, что религия бытует в основном в умирающих деревнях, а город ее не приемлет, что священнослужители — это носители консервативной, монархической, буржуазной, кулацкой, националистической и т. п. идеологии.

Впрочем, некоторые социологические опросы, связанные с религиозными воззрениями граждан СССР, проводились, но начиная с 1937 года (когда во время официальной переписи выяснилось, что, несмотря на разгул террора, на вопрос о вере в Бога бесстрашно ответили положительно более 56 процентов населения страны) они стали выполнять идеологический заказ. Например, советский социолог Демьянов, совсем недавно написавший книгу, опровергающую «миф о религиозном возрождении в СССР», сообщает, что в начале 1980-х годов в Воронежской области оставалось лишь 9,8 процента верующих². Такое впечатление, что воронежский ученый серьезно отнесся к постановлению ЦК КПСС от 2 января 1964 года об усилении атеистического воспитания, в котором ставилась задача к 1980 году «полностью освободить сознание людей от религиозных предрасудков»³.

В этом контексте появление в печати итога исследовательского проекта «Религия и ценности после падения коммунизма», работа над которым велась в 1991 — 1999 годах, когда цензурные ограничения ушли в прошлое, должно

Вигилянский Владимир Николаевич родился в 1951 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, выступал в периодике как литературный критик. Член Союза писателей. Ныне — священник храма мученицы Татианы при МГУ.

¹ Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 1999, стр. 18 — 20.

² Демьянов А. И. Факты против измышлений. Воронеж, 1989, стр. 17.

³ Цит. по: Шкаровский М. В. Указ. соч., стр. 387.

было наконец дать реальную картину религиозности в современной России⁴. А тот факт, что этот проект финансировался Академией наук Финляндии, придавал ему особое доверие. Однако благие ожидания, на наш взгляд, не смогли оправдаться.

Книга начинается с основополагающей для всего исследования главы «Религиозность в России в 90-е годы». И хотя авторы — Киммо Каарияйнен и Дмитрий Фурман — заверили читателей, что в свой анализ они не хотят внести «оценочный момент», как раз негативные оценки, разбросанные то здесь, то там, выдают необъективность тем более странную для ученых, которые, по идее, в вопросах веры должны были бы соблюдать полный нейтралитет. Казалось бы, сам объект исследования подразумевает строгость стиля, не допускающую журналистских вольностей, но как только речь заходит о православных верующих, у авторов куда-то улетучивается научная степенность и появляется — в лучшем случае — ирония. «От общества, свободного от религии, к обществу всеобщего православия» — так, например, «шутливо» называется подзаголовок их исследования; «Религия сейчас снова „в чести“», — не без сарказма они замечают в другом месте; «Массовая формальная православная религиозность распалась в период революции 1917 года как карточный домик», — бесстрашно цитируют авторы советский штамп из учебников по истории партии.

Обозревая интерес к религии в интеллигентских кругах 1970-х годов, авторы (претендуя, вероятно, на остроумие) называют А. Синявского, А. Солженицына и С. Аверинцева «функциональными эквивалентами» Н. Чернышевского и Н. Добролюбова на том основании, что для перечисленных наших современников «проявлять... религиозность стало так же модно, как в 60-е годы прошлого века были модны естественнонаучные опыты и материалистические философы». Такое пренебрежительно-насмешливое отношение к религиозности человека, чаще всего объясняющее обращение к Богу «модой», весьма характерно для людей, не имевших никогда никакого религиозного опыта.

Вообще рассуждения авторов о менталитете верующих страдают однобокостью и непониманием самых элементарных предметов веры. Вспоминается переписка двух близких друзей — Льва Шестова и Николая Бердяева, — в которой предметом обсуждения стал вопрос: имел ли право далекий от христианства Шестов писать книгу о Паскале. Бердяев, который считал друга глубоким мыслителем своего времени, писал ему: «Ты роковым образом обречен на непонимание Паскаля, поскольку ты сам не находишься внутри христианского опыта. Никакой ум, никакой талант, никакая душевная изощренность тут не поможет»⁵.

Формально авторы всячески дистанцируются от социологии религии советского периода. Они пишут, что восстановить реальную картину массового сознания советской эпохи крайне сложно: «Опросам доверять нельзя — и не только потому, что социологи опасались получить такие результаты, какие не понравились бы начальству, но и потому, что ответы респондентов в громадной мере были обусловлены конформизмом и глубоко укоренившимися страхами или просто были бездумным механическим повторением принятых стереотипов».

На этом (или на другом) основании авторы вообще исключили любые данные о религиозности населения России не только в советский период, но и до переворота 1917 года. Но ведь помимо опросов, которым, может быть, и нельзя доверять, есть цифры вполне точные, позволяющие судить, пусть косвенно, о религиозности народа: например, количество храмов, молитвенных домов, монастырей, священнослужителей, учебных духовных заведений, реп-

⁴ «Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании постсоветской России». Под редакцией проф. К. Каарияйнена и проф. Д. Е. Фурмана. СПб. — М., 2000, 248 стр.

⁵ Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. 1. Paris, 1983, стр. 290 — 291

рессированных по религиозным мотивам. Всех этих данных, говорящих о динамике процессов, происходящих в России на протяжении XX столетия, в этой книге нет. Справедливости ради отметим, что у Каарияйнена и Фурмана есть глухое упоминание о том, что после революции были разрушены «тысячи церквей» и «тысячи священников» убиты. Но на самом деле уничтоженных храмов было не «тысячи», а десятки тысяч (в 1917 году было 77 тысяч храмов, из них разрушению подверглись от 50 до 60 тысяч). Что касается убитых священников, то их было даже не десятки тысяч, а сотни тысяч: по данным председателя Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий А. Н. Яковлева было уничтожено 200 тысяч священнослужителей и еще полмиллиона подверглись репрессиям⁶.

Отсутствие и частичное искажение всех этих цифр, на наш взгляд, не является случайным: как мы увидим в дальнейшем, они шли бы вразрез с основной концепцией авторов исследования.

Главным для понимания роли религии в нашем обществе является вопрос о вере в Бога. Интересно, что на один и тот же вопрос, заданный разными социологическими группами, люди отвечают по-разному. Например, по данным Центра социологических исследований МГУ, проводившего исследование уровня религиозности в течение четырех лет в Москве и регионах России, верующих в 1996 году было 50,6 процента, в Москве — 66,2⁷. По данным Всероссийского центра по изучению общественного мнения (ВЦИОМ) уровень религиозности населения России был следующим: 1988 год — 18,6 процента, 1991 — 39, 1993 — 43, 1995 — 64,2⁸. Наши авторы приводят следующие данные: 1991 год — 34 процента, 1993 — 46, 1996 — 47, 1999 — 61. В 1988 году по опросам, проведенным только в Москве, верили в Бога только 10 процентов. И хотя эти цифры несколько занижены по сравнению с другими опросами, они тем не менее говорят о важных процессах в обществе, которые одной «модой», как пытаются внушить нам авторы, не оправдаешь.

Тем не менее авторам приходится как-то объяснять массовый характер перехода от атеизма к вере в Бога. Для этого они пытаются доказать, что эта вера очень зыбкая и не сочетается с верой в «другие элементы вероучения», например, с верой в загробную жизнь — 24 процента, в рай — 31, в ад — 26, в воскресение мертвых — 10 (приводим результаты только 1999 года). Здесь с ними можно согласиться; однако вместо того, чтобы растолковать, почему половина наших христиан-соотечественников не образованна в вопросах веры (полное уничтожение в советский период изданий Библии и иной христианской литературы, запрет, иногда под страхом ареста, священникам проповедовать в храмах и т. д.), авторы откровенно злословят, констатируя в верующих «мировоззренческую несерьезность», «легкомыслие», «отсутствие глубины». Кроме того, они полагают, что доказательством несерьезности веры является вера христиан в магию — 45 процентов и в колдовство — 47. Конечно, когда люди, считающие себя православными, видят в христианских таинствах, обрядах и ритуалах магические действия, это говорит об ущербности их веры и предвещаний о христианстве: в Церкви много мистического, но никакой магии нет. В саму магию верят многие сознательные и вполне образованные христиане, как верят они в существование зла, добра, любви. Да и как же не верить в магию, если у нас только зарегистрированных (то есть имеющих лицензию) чародеев и ведьм более 300 тысяч (для сравнения: православных священников на территории России — около 15 тысяч, то есть в 20 раз меньше!), если объявления об услугах колдунов печатают сотни, в том числе и уважаемых, центральных журналов и газет, если их приглашают выступать на ТВ и радио?

⁶ См. «Известия», 1995, 29 ноября.

⁷ Вартазанова Татьяна. Во что верят прихожане. — «Русская мысль», 1997, 4 сентября, № 4187.

⁸ Щипков Александр. Во что верит Россия. СПб., 1998, стр. 8.

Для доказательства того, что в слово «Бог» люди вкладывают разные, иногда далекие друг от друга смыслы, авторы придумали вопросы, призванные расставить все на свои места. Они предлагали на выбор несколько ответов на вопрос о том, что именно люди понимают под словом «Бог»: «Есть Бог, с которым человек может установить личные отношения» — 18 процентов; «Есть что-то вроде Духа или жизненной силы» — 38, «Не знаю» — 21.

Формулировка предложенных ответов в лучшем случае некорректна. Человеку, который пока не установил «личные отношения» с Господом, трудно ответить положительно, но это совсем не означает того, что его вера языческая или что он называет себя верующим исключительно из соображения моды. Второй ответ составлен вообще странно: никто, кроме эзотериков и антропологов, не формулирует свою веру в таких неожиданных понятиях, как «жизненная сила». Что же касается веры в Бога как в Духа, то это вполне отвечает христианской догматике. Зыбкость первых двух ответов, естественно, толкает многих к третьему варианту.

Но этого показалось авторам мало, они решили рассортировать верующих на тех, кто действительно себя считает «верующим», — 40 процентов, и тех, кто себя относит к «колеблющимся», — 30. Знают ли наши авторы, что чем более человек церковный, тем у него больше становится основания считать себя «колеблющимся», поскольку Иисус Христос в Евангелии говорит, что если кто будет иметь веру и не усомнится и горе скажет «поднимись и ввергнись в море», так и произойдет (Мф. 21: 21)? Кто из верующих после этого скажет, что он несомневающийся, неколеблющийся верующий? Именно поэтому на вопрос о вере, сформулированный иначе: считаете ли вы себя православным — положительно ответили уже 82 процента русских респондентов.

В советский период идеологи научного атеизма делили верующих по степени их религиозности на фанатиков, убежденно-верующих, верующих по традиции и колеблющихся. М. В. Шкаровский приводит цитату из советской диссертации, в которой говорится, что сознание верующего человека не находится в застывшем состоянии, а меняется: «В зависимости от тех или иных причин и условий верующий мог быть и фанатиком, и верующим по традиции, и даже колеблющимся»⁹. В соответствии с поставленными политическими и идеологическими задачами советские исследователи, изучавшие уровень религиозности населения, то — в период лютых гонений на Церковь — причисляли «колеблющихся» к вообще «верующим», то — во времена, когда воинствующие атеисты хотели похвастать своими победами, — их резко разделяли. Ранее цитируемый советский автор, писавший, что в начале 1980-х годов оставалось лишь 9,8 процента верующих, в то же время констатировал, что религиозные праздники отмечали 52,5 процента, имели в домах иконы — 43,2, крестили детей — 44,5 и хоронили умерших по религиозному обряду 60 процентов жителей¹⁰.

Действительно, уровень религиозности у всех людей разный; кроме того, трудность проведения социологических опросов состоит в том, что религиозные воззрения респондентов находятся только в стадии становления. Это отмечают все серьезные социологи, в том числе и Каарияйнен и Фурман, назвавшие один из разделов своего исследования «Торжество неопределенности». Для одних людей приобщенность к вере состоит в том, что они были когда-то крещены, время от времени молятся, едят на Пасху куличи и держат в доме православные иконы, но храм почти не посещают, для других — в том, что они ходят несколько раз в году по большим праздникам на богослужения, для третьих — в том, что они хотя и бывают в храме, но только несколько раз в году приступают к таинствам Исповеди и Причащения, для четвертых — это посещение церкви каждое воскресенье и по большим церковным праздникам, а также Причащение не реже одного раза в месяц.

⁹ Шкаровский М. В. Указ. соч., стр. 19.

¹⁰ Демьянов А. И. Указ. соч., стр. 61.

Отсюда такая разница в статистических показателях — от тех, кто «не считает себя атеистом», до тех, кто регулярно постится, знает наизусть Символ веры и «Отче наш». В совокупности все они составляют большую часть населения России (и это очень важно учитывать политикам всех рангов), однако церковных людей в строгом смысле этого слова среди них не так много.

Это же отмечают Каарияйнен и Фурман. Они приводят следующие цифры, связанные с опросами в 1999 году:

часто молятся — 15 процентов, иногда — 12, очень редко — 9, только в критических ситуациях — 16;

посещают церковь раз в неделю — 3 процента, раз в месяц — 4, несколько раз в год — 19, раз в год — 11, реже, чем раз в год, — 18;

принимали Святое причастие меньше месяца назад — 2 процента, месяц назад — 2, меньше года назад — 4, год назад — 5, несколько лет назад — 12, когда-то в детстве — 17 процентов.

На наш взгляд, здесь четко выделяется группа людей, имеющая опыт общения через молитву с Живым Богом, — таких 52 процента наших соотечественников. Среди них половина — 26 процентов — так или иначе сознательно посещают церковь. Половина от этого числа причащаются с той или иной степенью периодичности. Они, эти 13 процентов, по нашему убеждению, и являются церковными людьми или, как их называют Каарияйнен и Фурман, «традиционными верующими».

Нам, священникам, очень хотелось бы, чтобы эта многочисленная (более 18 миллионов человек) группа соотечественников, как раз свидетельствующая о религиозном возрождении, и чаще ходила в храм, и чаще причащалась, и регулярно читала Евангелие, и относилась бы к своей вере более сознательно, но требовать от них этого мы не можем: мы понимаем, что беспощадная карательная машина тоталитарно-атеистического государства не только уничтожила десятки миллионов людей, но и страшно покорежила души оставшихся в живых. Лечить эти души нужно осторожно и быть в нынешней ситуации к ним более снисходительными, чем требовательными. Ведь Библия и Евангелие только в последнее десятилетие разошлись в десятках миллионов экземпляров по России, только совсем недавно после семидесятилетнего перерыва возродилось религиозное просвещение — создались практически при всех городских и поселковых храмах, а также при монастырях воскресные школы, открыты сотни богословских курсов, училищ, семинарий, институтов, университетов, духовных академий. Кстати, учащиеся этих учебных заведений составляют внушительную группу, исчисляемую в сотнях тысяч человек, однако в исследовании они даже вообще не отражены, не входят в понятие «традиционные верующие», не видны они среди «часто причащающихся», хотя значительная часть городских причастников — не люди старшего возраста, а как раз молодежь.

Коллеги Фурмана по Институту социологии РАН в эти же годы провели исследование религиозности среди молодежи России и Финляндии. Из российских старшеклассников в 1997 году назвали себя «глубоко верующими» 9,3 процента (финских — 6,2), «достаточно верующими» — 37,1 (20,8), «малoverующими» — 41,1 (47,9), «неверующими» — 12 (24,4), «нет ответа» — 0,5 (0,7). На вопрос: «К какому вероисповеданию Вы принадлежите?», заданный в декабре 1998 года, старшеклассники ответили: к православию — 89,7 процента, к исламу — 5,3, католицизму — 1, буддизму — 0,4, баптизму — 0,2, иудаизму — 0,2¹¹.

Но Каарияйнен и Фурман не желают считаться с историческими особенностями развития церковного сознания, они с усердием начетчиков требуют от российских верующих быть более «серьезными»: для определения «традиционных верующих» они сначала отобрали тех, кто посещают церковь не реже раза в месяц, — таких оказалось 7 процентов, затем из них вычленили тех, кто

¹¹ См.: «Радонеж», 2001, № 1-2.

причащались не позже чем месяц назад, — таких оказалось уже 4 процента. Но и на этом они решили не останавливаться: «Если же мы чуть ужесточим критерии и добавим... соблюдение поста, или прочтение хотя бы раз хотя бы одного Нового Завета, или отсутствие веры в астрологию... группа традиционных верующих вообще „исчезнет“; такие верующие, разумеется, есть, но статистически они — бесконечно малая величина, не улавливаемая грубыми средствами измерения, — в процентах». Их окончательный вывод беспощаден: «Результаты „религиозного возрождения“ оказываются... „бесконечно малой“, если не отрицательной величиной».

Что и требовалось доказать.

Далее теми же манипуляциями и выгодными для авторов сопоставлениями доказывалось, что традиционные верующие — группа преимущественно женская, атеисты — мужская, что первые — наименее, а атеисты — наиболее образованны; что традиционные верующие — самые бедные, а атеисты — самые богатые; что первые по происхождению — наиболее «деревенская» группа, а вторые — жители крупных городов и горожане не в первом поколении; что традиционные верующие обременены болезнями, а атеисты — самая здоровая группа; единственно, что сближает эти две группы, — это их пожилой возраст, но и здесь традиционные верующие обгоняют атеистов — они быстрее вымрут.

Относительно последнего тезиса Каарияйнен и Фурман в другом месте пишут, что, «когда смотришь на цифры, говорящие о возрастной структуре традиционных верующих, возникает ощущение, что эта группа должна очень скоро просто исчезнуть». Эта мысль, навеянная еще сорок лет тому назад Хрущевым, настолько нравится авторам, что они ее повторяют на разные лады, например: «„В глубине“ не только нет никакого религиозного возрождения, но напротив того — постепенно исчезает небольшая и маргинальная группа лиц, которых с какими-то минимальными основаниями можно отнести к „настоящим“ православным верующим».

Но чтобы раз и навсегда рассчитаться и с этой «исчезающей группой», авторы предпринимает исследование «Религия и политика в массовом русском сознании».

В отношении к политике «традиционные верующие» оказались самыми аполитичными (в отличие от атеистов, которые являются самыми активными). Это дало повод исследователям делать вывод, что сфера их жизненных интересов «относительно узка». Другие опросы также дали право авторам утверждать, что традиционные верующие — «люди, живущие в относительно узком мире». Короче говоря, верующие наиболее патриотичны, что, по представлениям Каарияйнена и Фурмана, является первейшим признаком ущербности, более других «„ностальгируют“ по СССР», являются самой «социалистической» группой, они «скорее на стороне КПРФ». Кроме того, они «одновременно пассивны и склонны к традиционалистскому послушанию и доверию к начальству»; это выражается в том, что верующие больше, чем остальное население, доверяют Думе, правительству, СМИ, телевидению, армии, но почему-то — не милиции. Здесь все сомнительно: и то, что Дума и СМИ являются для наших социологов «начальством», и что «доверие» является синонимом «послушания», и что доверие само по себе есть что-то сомнительное и подозрительное.

Социологи делают вид, что не понимают, почему верующие, пострадавшие от большевиков, симпатизируют социалистическим представлениям о справедливости и равенстве, а также почему верующие подозрительно относятся к рыночным реформам — как будто не произошло за последнее десятилетие обнищание и так уже нищенствующей при советской власти части населения, как будто не задерживали — иногда годами — выплату зарплат, пенсий и пособий именно той группе, которая составляет костяк «традиционных верующих», как будто политологи и аналитики уже не объяснили, что именно «либералы» и «демократы» советской складки загнали огромную часть нашего

населения в оппозицию и надолго в глазах наших соотечественников дискредитировали либеральные и рыночные идеи.

Но особенно разгулялись Каарийнен и Фурман в главе «Религия и ценностные ориентации российской элиты». Главный удар здесь направлен на православное духовенство. И хотя авторы не говорят конкретно, кого они причисляют к «религиозной элите РПЦ», подразумевается скорее всего епископат и священство, поскольку постоянно идет речь о «духовенстве», о «церковной карьере под надзором властей и прежде всего КГБ». Впрочем, то, что 7 процентов религиозной элиты являются женщинами, говорит о том, что опросам были подвергнуты и настоятельницы монастырей.

И тем не менее выбор опрашиваемых был довольно странным, поскольку ответы на некоторые вопросы не выдерживают никакой критики. Например, «скорее плохое» отношение к РПЦ имеет 1 процент, а не доверяют ей 3 процента религиозной элиты. Только 81, а не 100 процентов согласились с тем, что «есть абсолютные критерии добра и зла»; только 97, а не 100 процентов ответили, что «употребление наркотиков никогда недопустимо»; только 90 процентов ответили о недопустимости внебрачного секса, 91 процент — гомосексуализма, 91 — проституции, 93 — аборт, 97 — эвтаназии, 99 — самоубийства. Наличие среди духовенства тех, кто имел другое мнение, на наш взгляд, немыслимо. Это бросает тень вообще на репрезентативность опроса.

Итак, что же свойственно этой группе?

«Элита РПЦ в основном — люди специфической традиции и субкультуры, в советское время очень изолированной и живущей своим замкнутым миром и его интересами». В контексте книги это умозаключение звучит как негативная характеристика, хотя свою субкультуру и относительную замкнутость имеют музыканты, физики-ядерщики и даже социологи.

«Церковь всегда стремилась... сохранить общую позицию отстраненности от мирских проблем и одновременно лояльности к „власть предержащим“». Поэтому любые политические взгляды, выходящие за пределы этой общей лояльности, могли быть препятствием для церковной карьеры». Когда — «всегда»? До революции? В 1940 году, когда на территории России осталось несколько сотен действующих храмов, то есть в 300 раз меньше, чем двумя десятилетиями раньше? Или имеется в виду современная история? Но если так, то опровергать это недоброжелательное воззрение не будем — бесполезно, — сошлемся лишь на принятые на последнем Архиерейском соборе (август 2000 года) «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», в которых, помимо прочего, говорится о тех экстремальных ситуациях, когда Церковь может призвать своих чад к «мирному гражданскому неповиновению»¹².

В другом месте объяснение, почему большое количество представителей «религиозной элиты» на вопрос: «Доверяете ли Вы политическим партиям?» — ответили: «Не знаю», вылилось в следующую инвективу: «Такое положение (речь идет о зависимости Церкви от КГБ в недавнем прошлом. — *Св. В. В.*) не могло не породить в элите РПЦ страха не только выражать, но даже и иметь свою индивидуальную точку зрения (если имеешь, можешь проговориться), ставшего уже привычным и иррациональным... Но, очевидно, страх слишком глубок, он вошел уже в плоть и кровь людей, достигших вершин иерархической лестницы тщательным избеганием каких-либо индивидуальных позиций, и даже при анонимном опросе и при ответах на самые „невинные“ вопросы эти люди „на всякий случай“ склонны отвечать: „Не знаю“». Хочется спросить авторов, делающих такие смелые обобщения: а бывшие члены партии — социологи, преподаватели, журналисты, военные, чиновники, — у них страх не вошел в плоть и кровь? И почему вопросы о доверии к политическим

¹² См. об этом в статье священника Алексея Гостева в наст. номере «Нового мира». (Примеч. ред.)

партиям, к ООН, правительству и т. д. не могут подразумевать естественного ответа «не знаю»? Разве те, кто так ответил, не проявляют разумность: ведь партии бывают и «правые», и «левые», и ЛДПР, и СПС, и ампиловцы, и «яблочники», и всем сразу доверять или, наоборот, не доверять, как требуют того социологи, было бы большим легкомыслием и безответственностью? Решения ООН тоже могут быть разными — ими бывали недовольны не только Саддам Хусейн и Слободан Милошевич, но и израильский премьер, и американский президент. А разве можно было «доверять» или «не доверять» российскому правительству в 1999 году, когда оно менялось каждые три месяца?

Религиозную нетерпимость православного духовенства авторы показывают через опрос об отношении к представителям других вероисповеданий. Причем вопросы лукаво ставятся не об отношении к иеговизму, кришнаизму, иудаизму, а к иеговистам, кришнаитам, евреям попеременно, например, с вопросом об «отношении к Русской Зарубежной Церкви» — с тем, чтобы подловить опрашиваемых и в нужный момент припомнить им эту разницу в суффиксах. Ответы тем не менее поставили в тупик профессоров: они не смогли объяснить, почему отношение к мусульманам и к евреям намного лучше, чем к иеговистам и кришнаитам. Попытка объяснить это боязнью конкуренции полностью разбивается о факты. Приходится придумывать совсем экзотическую теорию: «Наиболее нелюбимые религии — это религии, ведущие наиболее активную пропаганду среди русских». Но самую большую активность в России демонстрируют католики, тем не менее к ним отношение «элиты РПЦ» более лояльное (12 процентов нетерпимы к ним), чем к другим, — примерно такое же, как к мусульманам (10 процентов). А то, что православному духовенству постоянно приходится заниматься реабилитацией людей, искалечивших свою душу участием в тоталитарных сектах, авторами совсем не учитывается.

Кстати, не менее экзотическое объяснение мы читаем здесь в связи с нетерпимым отношением четвертой части опрошенных (24 процента) к иудаизму: «Евреи воспринимаются как сила, которая всегда боролась и борется против монополии национальной церкви, как „передовой отряд открытого общества”». Думаем, с такой почти провокационной интерпретацией не согласятся не только подавляющее количество православных верующих, но и сами иудеи, которым приписывается, таким образом, ни много ни мало, как борьба с Православием. Мысль о евреях как «передовом отряде общества» имеет у авторов не менее провокационное продолжение: «Как антисемитизм в российском (и шире — европейском) контексте неотделим от „антизападничества”, „антимодернизма”, так хорошее отношение к евреям — символ западнической ориентации, ориентации на „открытое общество”». Как видим, небольшими подменами социологи пытаются навязать не подтвержденное фактами представление о том, что, например, антимодернизм неотделим от антисемитизма.

Религиозной элите оказалась присуща, кроме прочего, высокая оценка качеств русских: 31 процент считает, что русские — честные, 35 — трудолюбивые, 44 — религиозные. Такая оптимистическая оценка русских корбит авторов. Особенно им не по нраву оказался ответ относительно религиозности русских: «Совершенно очевидно, что высокая религиозность русских для элиты РПЦ — предмет веры, ибо никакими эмпирическими измерениями религиозности, да и историческим опытом, это не подтверждается». Однако сама эта книга является опровержением недоумения профессоров: именно они, а не кто другой, выявили, что 82 процента населения считают себя православными, так или иначе молятся Богу 52 процента русских. Разве это не «эмпирические измерения религиозности»? Но когда находишься в плену предвзятости, никакие факты не смогут опровергнуть заранее задуманный результат исследования.

Невинные на первый взгляд ответы относительно честности и трудолюбия русских, основанные на опыте общения православного духовенства с прихожанами, дал повод Каарияйнену и Фурману скатиться до инсинуаций: «Здесь мы опять-таки видим, что собственно религия для элиты РПЦ является как

бы компонентом национально-консервативной идеологии и предметом веры для нее является скорее эта идеология».

Последующий анализ ответов «элиты РПЦ» подчинен главной идее авторов — всячески доказать ущербность православного духовенства. Это подтверждают, по мысли исследователей, другие опросы: например, 58 процентов религиозной элиты (это больше, чем другие группы) считают, что «Россия должна играть ту же роль в мире, как и США», а 28 процентов — что «развал СССР был неизбежен» (это меньше, чем другие группы). Именно эти, а не какие другие, ответы подтверждают вывод авторов, что, по «великодержавным утверждениям», элита РПЦ находится на первом месте и что «самые имперские настроения» принадлежат «православной верхушке». В социально-экономических вопросах «элита РПЦ» «наиболее социалистична».

И наконец, окончательный вывод, похожий на политический приговор или донос общественному мнению: «ИмPLICITный идеал общественного устройства элиты РПЦ — это, очевидно, идеал старой самодержавной и православной России или же не такой уж далекий от него идеал советской России, в которой место коммунистической идеологии занимает традиционалистская православно-националистическая идеология».

Жаль, что такая огромная работа по опросу населения, проделанная немалым количеством людей, работа, в основном имеющая положительное значение, становится бессмысленной, когда она начинает подвергаться произвольным интерпретациям.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА

*

РУССКИЙ ЧИТАТЕЛЬ НАД ЯПОНСКИМ РОМАНОМ

Кто знает, тот не говорит,
кто говорит — не знает.

Лаоцзы.

Должна сказать, что эпиграф имеет для этих заметок двойное значение. Первое и наиболее очевидное — это открытие моего собственного незнания: взгляд на диалог русского читателя и современной японской литературы изнутри открывшегося для меня моего неведения сторон, его ведущих (то есть — и неведения себя самой, незнания тех оснований культуры, к которой принадлежу, какие, представляясь самоочевидными и основополагающими, в силу этого вообще перестают осознаваться, улавливаться сознанием — как воздух представляется пустотой). Так что все дальнейшее — не суть утверждения, но остро вставшие для меня вопросы; вопросы, которые могли возникнуть лишь тогда, когда упомянутые стороны, о которых, как я полагала, я кое-что знаю, вступили в этот диалог, в это отношение, поставившее под сомнение все, что предполагалось мной известным и понятным. И мое открывшееся незнание должно было вообще воспрепятствовать появлению этих заметок, если бы не второй смысл эпиграфа, который утверждает незнание вообще всякого говорящего, но и еще нечто, может быть, не предусмотренное Лаоцзы, может быть, возникающее только при заключении его слова в иной — наш — культурный контекст, а именно — то, что говорить можно только из глубины незнания, только до тех пор, пока незнание существует; собственно, незнание и является стимулом, побуждающим говорящего к высказыванию, и главное — вещью, делающей высказывание возможным. *Полнота знания уничтожает возможность высказывания*, не уничтожая потребности в нем, — если это не очевидно, перечтите «Сон смешного человека» Ф. М. Достоевского. Когда человек пребывает в полноте знания, ему не дается слова, могущего это знание воплотить, эту полноту передать. Восточные культуры довольно готовно вступают в область открывающегося здесь молчания. Однако нам заповедан путь Слова, путь, на котором свобода обеспечена неполнотой знания, отсутствием сокрушительной очевидности.

Общее знание: японцы влюблены в красоту, необыкновенно умеют ее чувствовать и переживать, умеют открывать ее в незаметном, неброском, повседневном, умеют ее создавать, а вернее, подавать, раскрывать, делать явленной и для не столь подготовленного взгляда — как, например, в искусстве икебаны. Общее знание подтверждают исследователи японской культуры, да и сами японцы, когда пишут о себе статьи для европейцев. Естественным следствием такого общего знания об отношении японцев к красоте является *общее представление:* японцы — «дети природы», они пребывают в гармонии с окружающим миром.

Вот, однако, перед нами книги четырех японских авторов, известных русскому читателю и, можно сказать, любимых им. Ясунари Кавабата, «Снежная страна»; Кобо Абэ, «Стена»; Юкио Мисима, «Золотой храм» и Харуки Мура-

ками, «Охота на овец»¹. Удивительно, но эти столь разные во всем — начиная от времени их создания — произведения как будто написаны об одном герое. Авторы, пользующиеся столь разными средствами художественной изобразительности, будто бы рассказывают — каждый как умеет — внутреннюю историю одного и того же человека, и главное, что характеризует этого человека, — его неукорененность в действительности. Главный герой всех упомянутых писателей — изгой. Изгойство может грубо подчеркиваться, как это делает Юкио Мисима, отделяющий своего героя от мира и людей стеной его уродства и заикания. Изгойство может фиксироваться гротескно, как свойственно Кобо Абэ, который самого героя превращает в стену, объявляя тем самым, что стена не есть нечто внешнее, при отсутствии чего все будет в порядке, но некое субстанциальное свойство человека, в конце концов — его единственное свойство.

Бескрайняя пустыня.
И в ней я — стена, бесшумно уходящая
в бесконечность.

Надо сказать, что Кобо Абэ с наибольшей очевидностью свойственно утверждение глубинной, фундаментальной несубстанциальности человеческого существа, с легкостью утекающего водой («Красный кокон»), сматывающегося в клубок ниток («Жизнь поэта»), оборачивающегося волшебным мелком («Красный кокон»), претерпевающего иные метаморфозы; при этом во всех превращенных вещах сохраняется некоторая остаточная особость, выветривающийся со временем аромат человеческого чувства (любви, зависти и стремления к «равенству», способности одушевлять свои или чужие фантазии). Таким образом, выброшенные из своей жизни и своего человеческого естества, герои оказываются «изгоями» и в мире вещей. Вообще «изгойство», отсутствие у человека чего-нибудь, на что он мог бы хоть с какой-то гарантией рассчитывать, последовательное уничтожение всех иллюзий такого рода у своих героев («Стена», «Вторгшиеся», «За поворотом» в этом смысле особенно характерны) — одновременно и основная тема, и глобальная мировоззренческая установка писателя.

Изгойство можно попытаться объяснить социальными причинами, ситуацией «потерянного поколения» или случайностью, что допускает, казалось бы, роман Мураками. И оно может мягко, ненавязчиво маячить, как бы на заднем плане, как бы не бросаясь в глаза, но будучи устойчивым фоном человеческой жизни, отчего разливается по всей жизни, по всему тексту безнадежная грусть, взрывающаяся в финале отчаянием, как это происходит в «Снежной стране». В романе Кавабата вся явленная нам жизнь героя проходит в месте, к которому он, в сущности, не имеет никакого отношения, где он случайный и посторонний, но еще более посторонний он во всей остальной своей жизни, что и явлено структурно — ее неприсутствием, слабым упоминанием о ней как о неважной подробности.

Почему люди, находящиеся в гармонии с окружающим миром, так чутко прозревающие и так нежно любящие его красоту, пишут такие романы? Или, может быть, это следствие начавшегося разрушения их гармонического мира (и не без вины нашего мира — жесткого и негармонического), а раньше все было иначе и у японской литературы был совсем другой герой? Но, скажем, восхитительная Сэй Сэнагон (966 — 1017), столь остро чувствующая красоту во всем: в явлениях природы, в словах, в жестах и поступках, в людях и творениях их рук, — как она старается исключить себя из предстающей взгляду

¹ Ясунари Кавабата. Снежная страна. Перевод с японского З. Рахима. СПб., «Амфора», 2000; Кобо Абэ. Собрание сочинений. Стена. Рассказы. Пьесы. Перевод В. Гривнина. СПб., «Симпозиум», 1998; Юкио Мисима. Золотой храм. Перевод Г. Чхартишвили. СПб., «Симпозиум», 2000; Харуки Мураками. Охота на овец. Перевод Дмитрия Коваленина. СПб., «Амфора», 2000. (Серия «Новый век».)

картины, по крайней мере — оставить себя в полутени: и в повествовании, и в жизни! Вот, например, свита императрицы рассаживается по экипажам: «Пока мы стояли тесной толпой, можно еще было прятаться за спинами других, но вот стали выкликать наши имена по списку. Волей-неволей пришлось выйти вперед. Не могу описать, какое мучительное чувство одолело меня. Из глубины дворца сквозь опущенный занавес на меня смотрело множество людей, и среди зрителей была сама императрица. Я оскорблю ее глаза своим неприглядным видом... При этой горькой мысли меня прошиб холодный пот. Мои тщательно причесанные волосы, казалось мне, зашевелились на голове».

Она всегда — так же, как и герой Мисима, — противопоставлена прекрасному своим остро ощущаемым уродством, которого, кажется, и не было вовсе, но о котором она ни на минуту не забывает:

«Когда император возвращался из паломничества в храм Явата, он остановил паланкин перед галереей для зрителей, где находилась его мать — вдовствующая императрица, и повелел передать ей свое приветствие. Что в целом мире могло так взволновать душу, как это торжественное мгновение! Слезы полились у меня ручьем — и смыли белила. До чего я, наверно, стала страшна!..

Я представила себе, что должна была чувствовать императрица-мать при виде царственного кортежа, и сердце мое, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Слезы полились неудержимо, что немало насмешило глядевших на меня»².

Кажется, красота может существовать в любом месте мира, но тот, от лица кого ведется повествование, ее безнадежно лишен — потому, возможно, что он должен остаться *другим* для прекрасного, вторым, без которого не будет и первого.

Кое-что, однако, изменилось для героя Мисима: он не только лишен красоты, но и разлучен с прекрасным. «Наша связь оборвалась, — подумал я. — В прах рассыпалась иллюзия, будто мы живем с ним в одном мире. Все будет как прежде, только еще безнадежнее. Я — здесь, а Прекрасное — где-то там. И так будет теперь всегда, до скончания века...» Однако, покинув героя, Прекрасное не отпустило его. Прекрасное своим наличием разрушает всякую возможную повседневной реальности для героя, присущей ему вечностью взрывающей повседневность, истинностью своего бытия подчеркивая ирреальность «реальности». Мгновение прекрасного в жизни, так ценимое Сэй Сёнагон, обесценивается в мире Мисима: «В суете каждодневного бытия нас пьянит мгновение, обернувшееся вечностью, Храм же показал мне всю ничтожность этого превращения по сравнению с вечностью, сжатой в одно мгновение. Именно тогда вечное существование Прекрасного заслоняет и отравляет нашу жизнь. Чего стоит рядом с этим мимолетная красота, которую жизнь позволяет увидеть нам краешком глаза? Под действием этого яда земная красота меркнет и рассыпается в прах, да и сама жизнь предстает перед нашим взглядом в безжалостном, бело-коричневом свете разрушения...»

Коррозия мгновения связана, возможно, с отношением нового героя к собственному уродству — если Сёнагон желала бы устранить его из мира (и оно мешает ей только тогда, когда предстает глазам других, заслоняя от них красоту, — ибо ее взгляд принципиально не направлен в зеркало, изнутри своего уродства она радостно созерцает красоту мира, будто перетекая в нее, в ней обретая свое бытие), то герой «Золотого храма» именно в свое уродство переносит центр тяжести своего существования, делая весь мир лишь зеркалом, отражающим его уродство: под его взглядом заиками оказываются вишня, белеющая запоздалыми цветами, снег, лежащий на ветви аралии и соскальзывающий с них, лица окружающих его людей: «Меня всегда окружали такие лица. Я мог открывать человеку величайшую тайну, делиться с ним вос-

² «Японские дзуйхицу». Перевод В. Марковой. СПб., «Северо-Запад», 1998, стр. 300, 187 — 188 соотв.

торгом, который рождает в моей душе Прекрасное, выворачивать всю свою душу наизнанку, а на меня глядело все то же самое лицо. Обычно один человек не смотрит с таким выражением на другого. В этом лице с предельной достоверностью копируется та смехотворная натуга, с которой выходят из меня слова; по сути дела, это мое собственное отражение в зеркале. Каким бы красавцем ни был мой собеседник, в такую минуту его лицо делается столь же безобразным, как мое». Именно уродство героя и его наставника в умении выстраивать отношения своего уродства с миром — Касиваги — должны признать женщины (старая и молодая, действительность и красота) и преклониться перед ним, тем самым утвердив реальность личности носителя уродства и особость, выделенность его существования среди всех других существований.

Миру присуща красота. Утверждая свое индивидуальное существование, герой Мисима утверждает уродство. Исчезая перед мимолетной красотой, человек дает ей существовать, но вечность, унижая и уничтожая мимолетное, бросает вызов человеческой индивидуальности, и, отвечая на вызов, индивидуальность утверждает самое несубстанциальное в себе — ибо все остальное принадлежит вечности.

Мы оказываемся внутри культуры, где попытка обретения личности в рамках индивидуального существования оканчивается катастрофой неизбежно и немедленно: «Я ощущал себя не таким, как все, и это чувство лишало мое существование символизма, возможности, подобно Цурукава, представлять собой аллегория чего-то вне себя; жизнь моя утратила широту и сопричастность, я оказался обреченным на вечное, неизбывное одиночество. Как странно. Я не мог чувствовать себя солидарным ни с кем и ни с чем — даже с небытием».

Общее знание: японцы бескорыстно влюблены в красоту.

До своей поездки в Японию я тоже разделяла это общее знание. Если что меня и восхищало в японской культуре, так это способность, как я ее для себя формулировала, *посмотреть в глаза стрекозе*, то есть вглядываться, как в глаза полноценного другого, *друга*, в то, что мы нагло привыкли считать ничтожным, в то, что мы если и удостаиваем внимания, то лишь в качестве *объекта* нашего изучения. Меня до слез умиляла их вежливость по отношению к маленькому и слабому — вернее, скажу я теперь, к тому, что нам в нашем невежестве представляется маленьким и слабым.

В Японии мне довелось пережить очень странное происшествие, то есть происшествия никакого не было, кроме того, что я и мой спутник заблудились в незнакомом городе и некоторое время потратили на то, чтобы отыскать гостиницу. Происшествием я называю пришедшее ко мне во время наших блужданий ощущение. Мы довольно долго уже гуляли по Чиба, и вдруг внезапно, за пятнадцать минут, как это обычно в субтропиках, но страшно поражает, когда с этим впервые сталкиваешься, упала тьма: то есть было совсем светло, затем стало темнеть чуть-чуть — у нас бы это было предвестием вечера, темнело бы еще часа два-три, и вдруг — через пятнадцать минут — полная мгла и, поскольку мы были в районе частных домов, — очень редкое освещение. И вот мы вдвоем идем, не очень понимая куда, среди маленьких (я думаю, это был дорогой квартал — но по нашим меркам все очень маленькое) домиков в окружении кустов и цветов, почти в полной темноте, при полном отсутствии тротуаров (они есть только в американизированной части города), навстречу иногда совершенно бесшумно выпрыгивают машины, и чувствуем, что вообще-то нас вполне могло бы и не быть и что это, в конце концов, не так уж и важно. То есть нас (меня по крайней мере) вдруг настигло полное отсутствие представления о каком-либо своем неместимом месте в этом мире. Странно, что рядом с американскими небоскребами, которые вообще-то могли бы (казалось бы) подавлять человека, никакой подавленности не ощущается, спокойно чувствуешь себя венцом творения. А тут — не то что венцом, но

даже никакой составной частью. Мне кажется теперь, что японцы все время живут с чувством этой необязательности своего существования.

«Любить, восхищаться, радоваться, не желая при этом обладать объектом любви и восхищения, — вот на что обращал внимание Судзуки, сравнивая образцы английской и японской поэзии», — утверждает то же общее знание Эрих Фромм³. Однако, когда читаешь пересказанный Фроммом фрагмент работы Судзуки, не покидает ощущение, что речь идет о чем-то другом.

Д. Т. Судзуки в «Лекциях по дзэн-буддизму» берет для сравнения стихотворения Теннисона и Басё. «Оба поэта, — пишет Фромм, — описали сходные переживания: свою реакцию на цветок, увиденный во время прогулки. В стихотворении Теннисона говорится:

Взросший среди руин цветов,
Тебя из трещин древних извлекаю,
Ты предо мною весь — вот корень, стебелек,
здесь, на моей ладони.
Ты мал, цветок, но если бы я понял,
Что есть твой корень, стебелек
и в чем вся суть твоя, цветок,
Тогда я Бога суть и человека суть познал бы.

Трехстишие Басё звучит так:

Внимательно взглядишь!
Цветы пастушьей сумки
Увидишь под плетнем!

Поразительно, насколько разное впечатление производит на Теннисона и Басё случайно увиденный цветок! Первое желание Теннисона — обладать им. Он срывает его целиком, с корнем. И хотя он завершает стихотворение глубокомысленными рассуждениями о том, что этот цветок может помочь ему проникнуть в суть природы Бога и человека, сам цветок обрекается на смерть, становится жертвой проявленного таким образом интереса к нему. Теннисона, каким он предстает в этом стихотворении, можно сравнить с типичным западным ученым, который в поисках истины умертвляет все живое.

Отношение Басё совершенно иное. У этого поэта не возникает желания сорвать его; он даже не дотрагивается до цветка. Он лишь „внимательно глядявается“, чтобы „увидеть“ цветок. Вот как комментирует это трехстишие Судзуки:

„Вероятно, Басё шел по проселочной дороге и увидел у плетня нечто малоприметное. Он подошел поближе, внимательно взгляделся и обнаружил, что это всего лишь дикое растение, довольно невзрачное и не привлекающее взгляда прохожего. Чувство, которым проникнуто описание этого незамысловатого сюжета, нельзя назвать особенно поэтическим, за исключением, может быть, последних двух слогов, которые по-японски читаются как „kana“. Эта частица часто прибавляется к существительным, прилагательным или наречиям и привносит ощущение восхищения или похвалы, печали или радости и, может быть, при переводе в некоторых случаях весьма приблизительно передана с помощью восклицательного знака. В данном хокку все трехстишие заканчивается восклицательным знаком”.

Теннисону, как представляется, необходимо обладать цветком, чтобы постичь природу и людей, и в результате этого обладания цветок погибает. Басё же хочет просто созерцать, причем не только смотреть на цветок, но стать с ним единым целым — и оставить его жить»⁴.

³ Фромм Эрих. Человек для себя. Иметь или быть. Минск, 1997, стр. 312.

⁴ Там же, стр. 223 — 224.

Различия, однако, может быть, и не совсем того рода, как нам пытаются внушить. Теннисон каким-то образом уже уверен в своем бытии, удостоверен в нем чем-то, чего, возможно, не дано Басё. Ибо этот «восклицательный знак», единственное, что придает стихотворению поэтичность, — есть не знак созерцания, но знак впервые явившегося бытия созерцающего. Бытия, *явившегося в созерцании*, — хочу обратить внимание на слова Фромма «не только смотреть на цветок, но стать с ним единым целым».

То, что я говорю, доказать нельзя. В этом, однако, можно убедиться. Недавно Владимир Губайловский, анализируя цикл стилизаций японских классических танка, напомнил читателям «Нового мира» (2001, № 2) об очевидном, но всегда упускаемом из виду отличии тех танка и хокку, которые читаем мы, от тех, которые «читают» японцы. «Первая, самая очевидная трудность состоит в том, что классические танка и хайку пишутся иероглифами (по крайней мере значимые слова), а восприятие иероглифа совсем иное, нежели восприятие знака алфавита. Воспринимающий не столько читает иероглиф, сколько его рассматривает, как небольшую картину, и стихи не только произведение искусства поэзии, но и искусства каллиграфии... Иероглиф читатель не прочитывает символ за символом, а распознает как целое. Если текст к тому же предельно краток, как хайку, информационная значимость иероглифа становится важнейшим изобразительным средством. Очень велика разница между последовательной передачей информации в виде цепочек букв и слов и образным сгустком, который представляет собой иероглиф».

Попытаемся произвести что-то вроде обратного перевода и вообразить себе стихотворение Басё так, как его видит японец. Перед ним, судя по всему, предстанут идеограммы, обозначающие внимание, вглядывание, цветы пастушьей сумки, прикрываемые плетнем, наступившее видение и «капа»: восторг, восхищение от наступившего видения, озарения, существования. «Капа» здесь — «да» и «слава» тому, с чем, внимательно вглядываясь, может вступить человек в отношении, обозначенное как *видение*, которое не есть данность, но задание (что в переводе отражено будущим временем), выполнение которого и приводит человека к бытию.

Существование поэта как бы обретается только во взаимодействии с увиденным, поэт существует лишь постольку, поскольку существует то, что он видит, и его направленный на это взгляд. Сам поэт — реальность уже третьего порядка.

Из сказанного следует: когда японец смотрит в глаза стрекозе, вовсе не он оказывает ей честь, вовсе не она чувствует себя благодетельствованной. Помочь понять, что здесь происходит, могут следующие сведения о национальной религии японцев: «Наряду с названными богами существует громадное количество, в общем до 800 мириад, других божеств, меньшего значения. Эти существа, будь то небесные тела, камни, растения, звери или люди, называются японцами *Ками*, что просто значит *высшие*, а по Мотоори (18 столетие) *Ками* означает нечто обладающее чрезвычайной силой и присущее весьма многим вещам... Свою национальную религию японцы называют Шинто (китайское слово) или *Ками но Мухи*, то есть *путь Камии*». При этом «чрезвычайной силой, присущей многим вещам» мира, *душа человека* наделяется только после смерти, и после смерти человек может стать синтоистским богом⁵.

Таким образом, человек в жизни лишь восходит к степени совершенства *высших*, каковыми могут быть дерево, стрекоза и пастушья сумка. Красотой и совершенством могут, впрочем, обладать и некоторые люди, но только *другие люди*, или, иными словами, красотой и совершенством люди могут обладать лишь *за пределами своей собственной судьбы*.

⁵ «Иллюстрированная история религий». Под редакцией проф. Д. П. Шантепи де ля Соссей. Т. 1 Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. [Б. г.], стр. 90, 96.

Японец благодарно созерцает красоту мира изнутри собственного «уродства» — но этим своим «уродством», своим изгойством из природного мира он век от века мучится все больше и больше. И пристально ищет «путей», которые привели бы его к воссоединению, пытаясь следовать за цветком, деревом, стрекозой...

Может быть, самый знаменитый коан дзэн-буддизма⁶ — о том, как будет звучать хлопок одной ладони. Он приоткрывает нам исток того *общего знания*, которым мы все обладаем уже довольно долгое время, благополучно не ведая, откуда его получили. Это общее — со времен выхода работ Бахтина — знание заключается в утверждении *отношения* как главной реальности человеческой культуры. Есть хлопок. Бытие ладоней, его издающих, удостоверяется лишь хлопком. Если хлопок одной ладони невозможен — смешно говорить о ладони. Одна ладонь может только бесконечно устремиться к хлопку, тем самым полагая свое потенциальное существование: «Внимательно взглядишься...» Вглядывание, вслушивание — невидимые щупальца ладони, отчаянно возжаждавшей обрести бытие. Бытие возможно лишь в отношении. Все вещи, все формы этого мира — лишь ладони, создаваемые для того, чтобы прозвучал хлопок... Нет, неверно — это лишь ладони, существующие по краям хлопка, оформляющие его незримое бытие.

«Безупречная хризантема создана именно для того, чтобы утолить жажду пчелы, в предвкушении этого акта и раскрыла она свои лепестки, именно сейчас ослепительно вспыхнет смысл самого существования формы. Она, форма, — это изложница, в которую вливается вечно подвижная, не имеющая очерченных границ жизнь; но и свободный полет жизни — тоже своего рода изложница, создающая различные формы в нашем мире...

Наконец пчела решительно устремилась вглубь хризантемы; опьянев от восторга, она всем тельцем зарылась в цветочную пыльцу. Цветок, приняв в себя гостью, сам превратился в пчелу, облаченную в роскошные доспехи из желтых лепестков, взволнованно закачался, и на миг показалось, что сейчас он сорвется со стебля и полетит».

Здесь почва трагедии героя Мисима, знающего о счастье бытия в отношении, но не могущего вынести его мгновности, его быстротечности, полагающего, что закрепить единство сторон, сделать его непреходящим может лишь общая гибель, да даже и осуществиться в мимолетности этому единству возможно лишь под угрозой гибели: «Я был совсем один, Золотой Храм, абсолютный и всеобъемлющий, окутывал меня со всех сторон. Кто кому принадлежал — я Храму или он мне? Или же нам удалось достичь редчайшего равновесия и Храм стал мною, а я стал Храмом?.. Было так. Я находился внутри Прекрасного, оно обволакивало меня со всех сторон, но вряд ли подобное слияние стало бы возможным, если б не безумная, могучая сила тайфуна».

При таком подходе, при постановке в центр *отношения* (причем, поскольку нам ничего не сказано о какой-либо его специфике, — *любого* отношения), жизнь начинает напоминать сеть, где существуют, вспыхивая и сияя, узлы, торжествующее отношение, где нити сплетаются так тесно, что обретают свойства друг друга и, раз сплетаясь, связывают друг друга со всеми остальными своими переплетениями.

В языческих культурах, как и в мировоззрениях, отвернувшихся от христианства, это — почти общее представление. «Личность есть совокупность обще-

⁶ Как известно, синтоизм и заимствованный из Китая (дзэн) буддизм сосуществуют в Японии не только не вытесняя друг друга, но даже временами проявляя некоторые тенденции к ассимиляции (синтоистские боги «на службе» у Будды). В качестве государственной та или другая религия выходит на первый план в зависимости от национальной ориентации в определенный период. В сознании верующего они совершенно не конфликтуют — и вот то, каким образом они уживаются в сознании конкретного человека, как «структурно» и концептуально оформляются их отношения, — чрезвычайно интересная тема, к сожалению, выходящая за рамки настоящей статьи.

ственных отношений», — произносит постхристианская культура, еще помнящая о том, что личность вообще есть. Но главное — *сеть*, сеть, сплетающая несуществующие вне ее нити в единый ковер существования. Сеть, самыми крупными узлами которой в Вавилоне были храмы Астарты... Сеть, в которую попадает и в которой растлевается, питая своей плотью *отношение*, всякий, если его не извлекает из нее Бытие: «Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены *дорогою* ценою» (1 Кор. 6: 15 — 20).

Характерно перерабатывается эта дилемма в романе Мисима. Захваченность Вечным Прекрасным есть условие существования личности героя, но она вырывает героя из сети жизни, слиянию с жизнью противостоит Храм, а для слияния с Храмом надо отказать от жизни (буквально — умереть вместе с Прекрасным) — и герой пребывает в аду несуществования на протяжении всего романа, будучи не в состоянии ощутить свое единство «даже с небытием», — за исключением тех редких моментов, когда он следует «путем цветка» или «путем пчелы»:

«От яркого света и от свершавшегося при этом ярком свете действия у меня закружилась голова. Затем я перестал быть пчелой и вновь стал самим собой; тут мне пришло в голову, что теперь мои глаза уподобились глазам Золотого Храма. Да, именно. Точно так же, как я вернулся от взгляда пчелы к своему взгляду, в моменты, когда жизнь должна вот-вот коснуться меня, мой собственный взгляд превращается во взгляд Храма. Именно тогда Кинкакудзи (Золотой храм. — Т. К.) заслоняет от меня жизнь...»

Итак, я вновь смотрел на мир своими глазами... В этом неподвижном, холодном мире все предметы были равны; формы, таившей в себе столько очарования и соблазна, более не существовало... Исчезло родство многообразных форм с вечным движением жизни. Мир снова был отброшен в бездну всеобщей относительности, и двигалось теперь только время. В миг, когда передо мной возникал бесконечный и абсолютный Кинкакудзи, когда мои глаза становились его глазами, мир менялся, и в этой трансформированной вселенной один только Храм обладал формой и красотой, а все прочее обращалось в тлен и прах...»

Чтобы жить, чтобы соединиться с мимолетным, герою нужно уничтожить Вечное Прекрасное. И недаром последняя фраза романа — фраза героя, сжегшего Кинкакудзи, — «*Еще поживем, подумал я*».

Можно было бы посчитать цитату из апостола Павла лишней, а конфликт — описываемым в терминах буддизма. Но в буддизме Вечное и мимолетное прекрасное не конфликтуют: за отсутствием места, где такой конфликт только и возможен, — личности. Вот как их взаимоотношения описывает Ясунари Кавабата, цитируя «Биографию Мё» (1173 — 1232), составленную его учеником Кикаем: «Каждый раз, когда приходил монах Сайгё, начинался разговор о стихах. У меня свой взгляд на поэзию, говорил он. И я воспеваю цветы, кукушку, снег, луну — в общем, разные образы. Но, в сущности, все это одна видимость, которая застит глаза и заполняет уши. И все же стихи, которые у нас рождаются, — разве это не Истинные слова? Когда говоришь о цветах, ведь не думаешь, что это на самом деле цветы. Когда воспеваешь луну, не думаешь, что это на самом деле луна. Представляется случай, появляется настроение, и пишутся стихи. Упадет красная радуга, и кажется, что пустое небо окрасилось. Но ведь небо само по себе не окрашивается и само по себе не озаряется. Вот и мы в душе своей, подобно этому небу, окрашиваем разные вещи в разные цвета, не оставляя следа. Но только такая поэзия и воплощает

Истину Будды»⁷. Нельзя даже сказать, что поэт предает мимолетное — он его просто «не имеет в виду».

В синтоизме же, кажется, истинно несубстанциален лишь сам взглядывающийся.

Словом, нужно было соприкоснуться с христианской культурой — хотя бы на излете, в форме европейского индивидуализма, чтобы проблема могла быть поставлена так, как ставит ее Мисима, и тем более так, как ставит ее Мураками. Ибо именно личность не желает смириться с мимолетностью мимолетного, не желает уходить в вечность, покинув то, что хоть однажды, хоть на миг стало близко и дорого, предоставив ставшее родным гибели, распаду, небытию, — словом, только личность не желает мириться с нереальностью реальности.

Вне христианского опыта временное и вечное жестко противопоставлены как небытие (существование) и бытие (Несуществование) — и кажется, часто именно в рамках этого жесткого противопоставления осмысливается в иных культурах христианство. Но на самом деле здесь его изначальный конфликт с язычеством. В связи с этим можно вспомнить об обвинениях язычников первым христианам: христиане поклоняются *ослиной голове* (осел — символ плоти, тела, вспомним хотя бы Апулея и Франциска Ассизского). Для язычников и христиан был ясен предмет спора и обвинений, часто ускользающий от нас сейчас. Христианам вменялось *поклонение плоти*, мертвой и тленной плоти — они же свидетельствовали о воссоединении плоти всего мира с Тем, от Которого она была отторгнута, о *просветлении, спасении и воскресении плоти* — и это было совсем новым и *неприемлемым* в их учении, тогда как о посмертном бытии души языческие Таинства давно свидетельствовали. Христианство *дорогой ценой* дарует субстанциальность мимолетному. Интересно, что мимолетному делу может представляться так, будто как раз оно платит эту цену.

Кстати, прежде всего Золотой Храм в романе Мисима лишает героя возможности сексуального контакта — к которому *отношение* далеко не сводимо, но который воспринимается как отношение по преимуществу, как символ всякого отношения. Символом чистого отношения, хлопка без ладоней выступит в романе Харуки Мураками китовый пенис. Он и возникает всегда перед внутренним взором героя, какие бы стороны ни вступали в отношение, какие бы ладони ни маячили по сторонам хлопка: «И когда я впервые переспал с девчонкой, все, что вертелось в моей голове, — это китовый пенис». «Валяясь в постели с новой подружкой, я поигрывал с завитушками ее волос и думал о китовом пенисе».

Этот иссохший символ чистого отношения, однако, появляется в тексте не в одиночку. Вместе с ним, в той же главке, нам предъявляют *совершенные уши*, живые щупальца «одной ладони», полностью представляющие свою владелицу в бытии и приводящие ее в бытие: «Для большинства рекламных агентов, фотографов, гримеров она была просто „хозяйкой своих ушей“». Все, чем обладала она помимо ушей: тело, душа, характер, — безжалостно вырезалось и выбрасывалось из жизни. „Ну, не совсем так, — говорила она. — Просто мои уши — это я. А я — это мои уши“. Ни на ночных вызовах, ни в издательстве своих ушей она никогда никому не показывала. „Это потому, что я там не настоящая“, — объясняла она». В приведенной цитате как бы присутствуют сразу «европейский» и «японский» взгляд на вещи: «все, помимо ушей» — то есть некоторая предполагаемая субстанциальность индивидуальности; «мои уши — это я, я — это мои уши» — представление о начале бытия лишь во взглядывании, вслушивании — в поиске отношения. Именно открытые уши делают «никакую» героиню сверхъестественно красивой — ибо она в это время становится миром и мир становится ею: «То была особая красота, какой мне

⁷ «Японские дзуйхицу», стр. 520 — 521.

никогда прежде не удавалось ни встретить, ни даже вообразить. Гигантский Космос, таясь, набухал в ней, готовый взорваться своей безграничностью, — и в то же время он был жестким и сжатым до размеров ничтожного кристаллика льда. Вселенная вокруг нас раздувалась в надменном величии — и тут же корчилась в робкой покорности и бессилии. Это превосходило все известные мне понятия и представления. Она и ее уши слились наконец воедино и показались новорожденным чудом по склону пространства-времени».

Бытие возможно лишь в отношении. Это основная коллизия романа Мураками⁸.

Наиболее отчетливо выговаривает ее странный персонаж с марсианским загаром, непроницаемым лицом и пальцами как у спрута, второе лицо в организации Сэнсэя, а в целом романа — что-то вроде дьявола на службе у бога: «Бытие не есть проявление чьей-либо частной воли, это — явление хаотическое. Ты, сидящий передо мной, — вовсе не индивидуальное существо, а лишь частица всеобщего Хаоса. Твой хаос — это и мой хаос. Мой хаос — также и твой. Бытие — это общение. Общине суть бытие». И, несмотря на холод, пронизывающий героя при этих словах, он, в общем, с их сутью согласен (он сам скажет в другом месте: «Соитие... всегда ассоциировалось у меня с некой возможностью самореализации»). Роман Мураками разворачивается как последовательное (или — непоследовательное?) осмысление этой декларации — до тех пор, пока не произойдет решительный сбой.

В сущности, «Охоту на овец» можно прочесть как всестороннюю медитацию над коаном о том, как звучит хлопок одной ладони. Даже время и пространство, схлопыванием которых оформляется наш мир, оказываются разделены, разведены и приданы разным (хотя и очень похожим) героям. Оба, и герой-рассказчик, и Крыса (в сущности — герой-протагонист), ощущают наступление конца света, только один во времени: «Деревья осаждали полчища неистребимых сверчков, и воздух дрожал от скрежета, не оставлявшего ни малейших сомнений в том, что конец света уже начался, — а другой — в пространстве: «Зимой дороги покрыты льдом; вести машину почти невозможно. Местность болотистая, и земля устилается крошкой льда, как толченым шербетом. Когда же на все это сверху еще падает снег, то где там была дорога, и сам черт не поймет. Наверное, вот так и должен выглядеть конец света».

Крысу, в отличие от рассказчика, никак не устраивает его функция «обрамляющего хлопок», в отношении он пытается отыскать себя — и теряется все безнадежнее: «Худо-бедно, я способен проявить сексуальность. И завести

⁸ Роман «Охота на овец» Харуки Мураками (род. в 1949; первая публикация — роман «Слушай песню ветра», 1979) сразу завоевал популярность и, будучи впервые опубликован на русском языке в 2000 году, к концу года выдержал уже два издания. Событийная канва романа такова: герой-рассказчик, совладелец маленькой фирмы, выполняющей в том числе и рекламные заказы, получает от своего внезапно исчезнувшего друга Крысы письма, повествующие о его блужданиях по провинциальным городкам, рукопись, которую никто так и не прочтет, и фотографию овец на пастбище, вокруг которой и закрутится мистико-детективный сюжет. Одна из овец на фотографии окажется «не существующей в природе» звездной Овцой, вселяющейся в людей для исполнения своего грандиозного плана по преобразованию человечества. В Японию она проникает, используя для этого молодого талантливого ученого-хозяйственника Профессора Овцу, вселившись в него в Маньчжурии, неподалеку от монгольской границы, и покинув его по достижении «места назначения». В Японии она избирает какого-то мелкого деятеля правых, и тот создает огромную и мощную организацию, контролируя политику, рекламу и акции. В мозгу у него при этом образуется загадочная опухоль, которая должна была бы привести к быстрой смерти и с которой Сэнсэй живет более тридцати лет. Однако он удовлетворяет Овцу только на этапе создания организации. Для окончательного выполнения плана Овца выбирает Крысу. Рассказчику предлагается найти сбежавшую от Сэнсэя Овцу, и его поиски составят сюжет романа, по ходу которого будут «прорабатываться» принципиальные для понимания произведения темы — например, о том, кому и чему люди дают имена. Крыса, поселившийся в доме на краю света, в зазеркалье, отделенном от остального мира переездом с плывущей под ногами землей, за неделю до прихода друга повесится, чтобы вместе с собой убить вселившуюся в него Овцу...

себе девчонку всегда мог запросто. Проблема в другом: я никогда не умел толком освоиться с этой способностью. То есть, дойдя до известных пределов, я перестаю понимать: где еще — я сам по себе, а где уже — просто моя сексуальность». Здесь совершается некий противоположный описанному у Басё жест: там из «функции», из установившегося отношения — из взглядывания — впервые возникал созерцающий, здесь человек исчезает, растворяется в «функции», в отношении, становится возможной «неплохая, однако, мысль» — «моя жизнь без меня самого». Если бытие есть отношение, общение, то жизнь человека складывается из его встреч с другими вещами, и в конце концов, если первоначален хлопок, то так ли уж он пострадает от отсутствия одной ладони?

Героя-рассказчика не столько мучает вопрос: есть ли «я сам»? Его по-настоящему волнует: доступна ли мне «ты сама» — или я дотягиваюсь не больше чем до того, что нас связывает, и, как только связь обрывается, я вновь остаюсь один? Как на семейных фотоснимках, аккуратно разрезанных пополам ушедшей женой? И «все, что я знаю о ней сейчас, — не больше, чем мои же воспоминания»?


Все описанное выше могло бы составить изящнейшую, ажурную психологическую новеллу, но перед нами гораздо более весомое — и тяжеловесное — творение. Дело в том, что героям — одному из них по крайней мере — предлагается фундаментально утвердить свое бытие.

«И тут мне приснилась овца. Овца заглянула мне в глаза и спросила, можно ли в меня вселиться. „Валяй, — ответил я ей, — я не возражаю“. Откуда мне было знать, что разговор всерьез? Наоборот: помню, ясно осознавал, что это всего лишь сон!.. Такую овцу я видел впервые в жизни... Эту я ни с какой мне известной породой отождествить не могу. Совершенно неповторимый изгиб рогов, на редкость короткие, сильные ноги. Глаза — громадные и ясные, как вода в горных реках. Шерсть белоснежная, а на спине — коричневое пятно в форме звезды. Я сразу понял: второй такой овцы не сыскать на всем белом свете! Вот я и ответил ей, что не буду возражать, если она в меня вселится... „А что вы испытывали, когда в вас вселялась овца?“ — „Да ничего особенного! Просто начал чувствовать, что во мне завелась овца. С утра как проснулся — так и чувствовал постоянно: внутри у меня — овца. Очень естественное ощущение».

Если общение суть бытие, то здесь нам предлагается вариант совершенного бытия, оформленного, по выражению Профессора Овцы, как непрерывное «психическое соитие», вдруг наступившее «всегда-бытие», не прерываемое прекращением связи, исчезновением другого. В хрупкой человеческой оболочке отныне заключаются сразу «я», «другой» и «отношение», обеспечивающие человеку не просто бытие, но бессмертие. Проблема, вернее, одна из проблем, однако, заключается в том, что Овца (я полагаю, правильнее было бы — Овен) представляет собой «другого» по отношению не к отдельному человеку, но ко всему человечеству. В этом смысле характерно, что Овца спрашивает разрешения на «вторжение» только раз, только у первого человека, разбудившего ее, как он предполагает, после многовекового сна. Профессор Овца дает согласие за всех, не подозревая о том.

«Вообще на севере Китая и в Монголии вселение овцы в человека — не такая уж редкость. Местные жители с незапамятных времен свято верят, что тот, в кого входит овца, получает особое небесное благословение. Еще в летописях эпохи Юань [1271 — 1367 годы. — *Примеч. переводчика*] упоминается „звездосный белый овен“, вселявшийся в Чингисхана... Считают, что овца, вселяющаяся в людей, — бессмертна. И человек, в котором она живет, не может умереть. Однако стоит овце уйти из человека, как человек свое бессмертие теряет. Все решает сама овца. Нравится ей „хозяин“ — она может оставаться в нем десятки лет. Станет ей что-нибудь не по нраву — прыг наружу, и поминай

как звали! Людей, которых бросила овца, называют „обезовеченными”. Таких вот, как я, например...»

Овца покидает людей не по прихоти и не по злобе. Она, являясь «другим» для человечества в целом, может и вовсе не ощущать, что покидает кого-то. Тот план, который в конце книги будет нам чуть-чуть приоткрыт, «какой-то глобальный план по преобразованию человека и человечества», состоит в создании новой общности, переплавляющей в горниле все формы; вечного общения как залога вечного бытия. Да, кстати, сам японский язык, не различающий практически форм единственного и множественного числа, указывает на иное умонастроение пользующихся им. То, что для нас представляется оппозицией единицы и множества единиц (это можно изобразить так: о — оооооо), японцу видится как некая общая сущность и репрезентирующая ее конкретность (примерно так ): скажем, овца как конкретная «овечность». Переходя к иной овце, мы не покидаем пределов «овечности». Покидая отдельного человека, Овца не покидает пределов «человечности», оптимальным образом используя ее «конкретные проявления»: «Он... просто-напросто отслужил свое! У каждого человека есть свой предел возможностей. С теми, кто исчерпал себя до предела, овце делать нечего. Стало быть, и он не был человеком, способным на все сто процентов понять Идею овцы. Его роль сводилась лишь к тому, чтобы создать Организацию. Как только работу закончили, он оказался на свалке, списанный „за дальнейшей непригодностью”. Точно так же и меня овца использовала как перевалочное средство — лишь бы в Японию перебраться...»

Однако обезовеченный, ощущающий себя в своих индивидуальных границах, начинает чувствовать внутри неуничтожимую сосущую пустоту, которую пытается заполнить, поглощая пищу в неумеренных количествах, и создающее эту пустоту отношение, лишённое оформления в отсутствие «второй ладони»: «И вот однажды утром я просыпаюсь — а овцы и след простыл... Вот когда я испытал на собственной шкуре, что значит быть „обезовеченным”! Самый настоящий ад! Овца уходит, оставляя в голове человека голую Идею. Однако выразить эту Идею без самой овцы нет никакой возможности! В этом и состоит весь ужас „обезовеченности”...»

Сущность происшедшего ведь не описывается лишь в терминах «прекращения отношения» и оставления человека «самого по себе»; даже когда разрезают парный снимок, половинка фотографии не выглядит как нечто целое, неровно обрезанный край свидетельствует о том, что он не край, но «живое», по которому резать — известно как... Отношение осуществляется, лишь когда пчела становится хризантемой, а хризантема пчелой. Они суть душа друг друга. Человек, из которого ушла Овца, в наших понятиях, утрачивает душу: «„Так чего же все-таки хочет овца?” — „Я же сказал — как ни печально, описать это словами я не в состоянии. Это — Идея овцы, и выражается она в овечьих образах и формулировках”. — „А эта Идея... Она, вообще говоря, гуманная?” — „Гуманная. В понимании овцы”. — „А в вашем понимании?” — „Не знаю... — сказал Профессор Овца. — Право, не знаю. С тех пор, как она исчезла, мне даже трудно понять, насколько я сам по себе, насколько — тень овцы...”»

Итак, о чем же здесь все-таки идет речь? Имеет ли в виду Мураками древние (зодиакальные) представления об овне как о созидательном жаре, обновлении солнечной энергии, первопричине, нераздельном, восходе, как вполне можно заключить из изложения уже повесившимся Крысой идеи убитой им внутри себя Овцы? От чего отказывается любящий свою человеческую слабость герой: Овца от существования мира и человечества в первоначальной нерасчлененной целостности? от несвойственной ему роли сверхчеловека?

Читающий роман изнутри христианской (хотя бы по происхождению) культуры обречен на вполне определенные аллюзии — и вряд ли они не имелись в виду автором. Думаю, что описание Крысы (особенно если исключить

слова перевода, вряд ли существовавшие в таком виде в оригинале, так как взяты они из нашей культурной традиции, — например, «дьявольское») вполне может быть прочитано как очень краткий конспект Апокалипсиса: «Даже то, что я увидел, просто сшибало с ног. Просто с ума можно было сойти. Не знаю, как объяснить. Словами не опишешь, как ни старайся... Всемирная Домна. Горнило Вселенной, в котором переплавляется все и вся. Настолько божественной красоты, что дыхание останавливается. И в то же время — такое злое, дьявольское, что кровь в жилах стынет от ужаса... Стоит человеку погрузить туда свое тело — все человеческое для него перестает существовать. Память, мысли, критерии добра и зла, чувства, страдания — все исчезает... Что-то похожее на динамику Начала Времен, когда Космос рождался из одной-единственной точки». Особенно если учесть, Кого называют в Апокалипсисе Агнцем и звездой светлой и утренней... И вспомнить также, что Господь прямо именуется в Откровении Храмом Нового Иерусалима, а стены Города, согласно толкованиям, «сложены» из праведников и образуют собой Церковь (как собрание верующих), каковая и есть Невеста Агнца — как называет Иоанн явленный ему Город. Эта картина вполне может быть переговорена в терминах «динамики Начала Времен». «Се, творю все новое...»

Что же касается «вторгающегося» в человека Звездонного Овна... Согласно христианским представлениям, всякий человек есть образ Божий, как бы ни был затемнен этот образ язвами грехов человеческих. И поскольку человек — Божий лик, то можно сказать, что личность человека и есть образ Господа, Слова Божьего, Иисуса Христа. Только союз с Богом делает человека личностью. Не знаю, надо ли напоминать, что индивидуальность — это иное понятие.

Таким образом, есть основание предположить, что перед нами своего рода акт «прочтения» христианства иной культурой. Извращенного прочтения, но узнаваемого.

Дело в том, что фраза: «Бытие — это общение. Общение есть бытие», — не правда и не ложь, но некоторое извращение истины, подобное тому, с каким мы сталкиваемся во фразах вроде: «Смысл неизвлекаем из бытия, но есть само бытие», «Цель жизни есть сама жизнь». Но смысл, хотя и «неизвлекаем из бытия» — то есть «без остатка», — не есть, однако, «само бытие», что предполагает унылую дискретную⁹ бесконечность — как и в случае фразы о цели жизни (эта дискретность, кстати, воспринимается Мураками как квинтэссенция реализма: «На стене висел натюрморт, демонстрировавший, до чего способен дойти реализм в своем апогее. Яблоки, цветочная ваза и нож для разрезания бумаги. Видимо, предполагалось раскалывать яблоки вазой, а после ножом для бумаги обдирать кожуру. Огрызки и семечки — выбрасывать в ту же вазу»), колесо сансары с пустотой внутри (просто пустотой — не Пустотой). Смысл бытия есть Бытие, также как цель жизни есть Жизнь: простым поднятием буквы изменяется план высказывания и устраняется его неистинность, змея перестает хватать собственный хвост. Проблема в том, что во фразе о

⁹ Дискретную — ибо в отсутствие иерархии и соответственно представления о восхождении и нисхождении, в ситуации непрерывного бесконечного движения в плоскости, все возникающие связи неизбежно временны и произвольны. Видимо, это же имеет в виду митрополит Сурожский Антоний, говоря об отношении к материи атеиста: «Профессор [С. Л.] Франк, кажется, в одной из своих рецензий сказал, что единственный подлинный материализм — это христианство, потому что мы верим в материю, то есть мы верим, что она имеет абсолютную и окончательную реальность, верим в воскресение, верим в новое небо и новую землю, не в том смысле, что все теперешнее будет просто уничтожено до конца, а что все станет новым; тогда как атеист не верит в судьбу материи, она — явление преходящее. Не в том смысле, как буддист или индуист ее рассматривает, как майю, как покров, который разойдется, но как пребывающую реальность, которая как бы пожирает свои формы: я проживу, потом разойдусь на элементы; элементы продолжают быть, меня нет, но судьбы в каком-то смысле, движения куда-то для материи не видно, исхода нет» (Антоний, митрополит Сурожский. Человек перед Богом. М., «Паломник», 2000, стр. 46).

смысле бытия, прочтенной изнутри буддийской культуры, Бытие (Несуществование) будет уничтожать и отбрасывать бытие.

Именно поэтому герой отказывается от утверждения своей реальности и субстанциальности путем предложенного ему союза. Он предпочитает слабость и неслышность «хлопка одной ладони». Он хочет человечности самой по себе: «А я слабость свою люблю. Люблю, когда душа болит, когда тяжело... Как солнце летнее припекает, как ветер пахнет, как цикады стрекочут и все такое... Страшно люблю, до чертиков. С тобой вот пиво попить... — Крыса будто захлебнулся словами. — Да не знаю я!» Особенно трогательно, что здесь перед нами звучит буквально хлопок одной ладони, звук, которого нет, голос призрака, повесившегося, чтобы убить «бога» внутри себя (о, как все это для нас не ново!) и схороненного за гаражом. Голос честного японского призрака, по старой традиции не могущего не явиться на назначенное свидание¹⁰.

Очевидно, *общее знание* японской культуры о христианстве заключается, как уже говорилось, в предположении жесткого противопоставления Божеского и человеческого, вечного и мимолетного, духовного и плотского, связанного с представлением о трансцендентном Божестве.

Есть основания предполагать, что это общее знание разделяют также и многие люди, по происхождению принадлежащие к христианской культуре.

Однако в христианстве Бытие не уничтожает бытия: напротив, общением с Бытием, постоянным присутствием Бытия в бытии *утверждается* столь дорогое нам бытие.

«Мы не можем без недоумения думать о Воплощении: как оказалось возможно, что человеческая плоть, материя этого мира, собранная в теле Христовом, могла не только быть местом вселения Живого Бога — как бывает, например, храм, — но соединиться с Божеством *так*, что и *тело* это пронизано Божественностью и восседает теперь одесную Бога и Отца в вечной славе? Здесь прикровенно открывается перед нами все величие, вся значительность не только человека, но самого материального мира и неопикуемых его возможностей — не только земных и временных, но и вечных, Божественных. И в день Преображения Господня мы *видим*, каким светом призван воссиять этот наш материальный мир, какой славой он призван сиять в Царстве Божию, в вечности Господней... И если мы внимательно, всерьез принимаем то, что нам здесь открыто, мы должны изменить самым глубоким образом наше отношение ко всему *видимому*, ко всему *осязаемому*; не только к человечеству, не только к человеку, но к самому телу его; и не только к человеческому телу, но ко всему, что телесно вокруг нас ошутимо, осязуемо, видимо... Все призвано стать местом вселения благодати Господней; все призвано когда-то, в конце времен, быть вобрано в эту славу и воссиять этой славой»¹¹.

Сайгё говорит: «Когда говоришь о цветах, ведь не думаешь, что это на самом деле цветы. Когда воспеваешь луну, не думаешь, что это на самом деле луна».

Старец Зосима в романе «Братья Карамазовы» проповедует: «Истинно... все хорошо и великолепно, потому что все истина. Посмотри... на коня, животное великое, близ человека стоящее, али на вола, его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого, посмотри на лики их: какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике. Трогательно даже

¹⁰ Ср. знаменитое и прекрасное предание о самурае, обещавшем названному брату вернуться из странствия в праздник хризантем, но заключенному в темницу, лишенному тем самым возможности исполнить обещанное — и убившему себя, для того чтобы сдержать слово и пусть призраком, но прийти на назначенное свидание. См., например: Уэда Акинари. Луна в тумане. СПб., «Кристалл», 2000, стр. 59 — 82.

¹¹ Митрополит Сурожский Антоний. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди. Издание 2-е, доп. Клин, 1999, стр. 41.

это и знать, что на нем нет никакого греха, ибо все совершенно, все, кроме человека, безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего... ибо для всех Слово, все создание и вся тварь, каждый листик устремляется к слову, Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего безгрешного совершает сие. Вон... в лесу скитается страшный медведь, грозный и свирепый, и ничем-то в том не повинный».

Только над японским романом мне, русскому читателю, стало нечто — очень очевидное — приоткрываться о моей собственной культуре.

Двадцатый век характеризуется интенсивным вовлечением европейского человечества во всевозможные виды иллюзий. Недаром он, начавшись с массового (с тех пор все более массового) увлечения наркотиками и медитативными практиками, стал эпохой рождения и расцвета кино и телевидения. То, что происходило, было посягательством на главную ценность европейской культуры, давно уже не признаваемую в этом качестве европейцами (и нас в этом случае отношу к ним же), владевшими ею по праву нерадивых наследников, всю жизнь расточающих невиданное богатство и считающих это нормой жизни. Я имею в виду *реальность*.

Мы склонны об этом забывать, но область существования человека нехристианской культуры никогда не опознавалась им как подлинная реальность¹² (не опознавалась в довольно значительном диапазоне — от представлений о «слепке» с истинной реальности до представлений о «покрывале майи»). Эта область была так неверна, неадекватна самой себе, что, допустим, представить себе там человека, занимающегося нашей наукой, наукой в европейском смысле, невозможно — там изучались не законы реальности, но возможности человека быть неподвластным законам области своего существования и, в свою очередь, производить в этой области некоторые волевые модификации. Предметом повседневного изучения была сфера контакта — то есть магия изучала *отношение*, а не чистый «объект». Предметом поисков посвященных был путь *за пределы области своего существования*. Парадоксально говоря (хотя здесь нет никакого парадокса), возникновение позитивизма возможно только в культуре по происхождению, по неиссохшим еще корням — христианской. Только в христианстве Господь воплощается на земле, чтобы разогнать морок иллюзий, становится Человеком¹³, чтобы явить истинное достоинство и реальность человека, воссоединяет вечность со временем — чтобы время и происходящее в нем обрели реальность, рождается во плоти, чтобы подтвердить истинность и ценность всякой плоти этого мира. Достоинство независимого объекта, достоинство субъекта, не сомневающегося в ценности и самостоятельности своей позиции, — дальние последыши истинного достоинства просящей плоти.

¹² Есть ощущение, что, не владея реальностью, эти культуры не владели и *настоящим* временем, данным нам как мгновение пребывания и свершения, мгновение, способное вывести нас за рамки времени, в вечность. Область их *настоящего* относится к тому, что мы называем *прошедшим*, и вовсе не вкусовой изыск заставляет японца ценить «патину времени» на предмете. Собственно, эта «пatina» и продвигает предмет в область реального. Нам настоящее дается сочетанием его с вечностью, но если «вечность» есть всего лишь длительное, бесконечное существование (а иное неизвестно и не дано), то истинность, «настоящесть» удостоверяется лишь долгим существованием.

¹³ Удивительна реальность Человека Иисуса, реальность Его двуприродности, неслиянной и нераздельной. Недаром христианство так сражалось с монофизитством и докетизмом: они в пределе сводили реальность *рождения* Богочеловека к присутствующим во всех остальных религиях *явлениям* богов (интересно, что одна из основных сект монофизитства называлась противниками *нетленно-призрачниками*, или *фантазиастами*, что отмечает суть уклонения). Характерно, что Иисус (в отличие, кажется, от всех человекоподобных богов) ни разу не изменил человеческой природе (и более того — личной природой), не превратился в иную вещь мира (и даже в другого человека), доказав тем самым истинность, реальность воплощения — ведь если это явление, то можно и изменить облик на любой другой — и *вместительность* человеческой природы: Богу ее *хватило* для воплощения. Этим было указано, что именно человеческая природа богоподобна (со времени грехопадения — по заданию) и именно она пролагает путь ко спасению всем вешам мира.

Рука была протянута из-за пределов нашего мира для того, чтобы мы, уцепившись за нее, твердо различали бытие от небытия. Все дальнейшие дихотомии нашей культуры, от которых мы сейчас так спешно и стыдливо отказываемся (понимая это или не понимая — но идя вслед за нехристианскими культурами — то есть отступая вспять от границ христианства), были следствиями этого различения. Путь, как и предупреждали, был узким. По нему шли немногие (хотя этих немногих было очень много). Но и остальным, шедшим широким путем, этот путь был указан, он был у них перед глазами, и они знали, что, не следуя этим путем, совершают грех — отказываются от правды, отворачиваются от Истины, уходят из области жизни все дальше и дальше на ее периферию.

Существо нынешней катастрофы, однако, не в том, что почти все оказались на периферии. Главная проблема заключается в том, что мы все не хотим дать себе отчет, ответить себе на вопрос: где мы находимся? Что означает стремительное перемещение всего «маргинального» в центр нашего существования? Что означает наше глобальное неприятие всего того, что у нас в сознании пока еще связано с центром? Что значит острое чувство читающего японскую литературу — это все очень нам знакомо, это наш постмодерн, но только — из плоти и крови?.. Они напряженно живут теми проблемами, которые для нас — все еще игры. Но, может, игры приготовительные?

Может, мы просто наглые дети, от которых Словом был закрыт мрак и морок растлившегося в иллюзиях мира? Балованные дети, которых никогда не запирали в темной комнате, которых всегда сопровождал Свет, и поэтому они твердо уверены, что все, рассказываемое о мраке, — лишь детские страшилки (и они легкомысленно, с удовольствием пересказывают эти страшилки)? Но нам позволительно было быть наглыми только под той надежной защитой, от которой мы теперь спешим отказаться, чтобы взглянуть — а что там, за запертой дверью?

Тогда, прежде чем входить, не худо было бы поучиться правилам поведения у людей, которые всегда там находились. Тогда нужно бы усвоить, что если стрекоза, дерево и цветок — необходимые составляющие мироздания, то роль и место человека здесь весьма и весьма сомнительны (не говорю сейчас о буддизме, где перед лицом Несуществования, мягко говоря, сомнительно всякое существование).

Нас достало собственное самодовольство, собственный эгоцентризм. Мы готовы его отринуть — похвально. Но стоит ли, отринув его, идти «путем вещей»¹⁴ — в то время как нам заповедано было повести вещи за собой? Вещи пролагают свой путь в природном круговороте. Следуя за вещами, из него не выступить, не вырваться.

¹⁴ Характерны в этом смысле названия японских литературных «жанров»: «дзуйхицу» («Записки у изголовья» Сэй Сёнагон) означает «вслед за кистью»; «моногатари» (у нас переводится как «повесть»: великая Мурасаки Сикибу создает основание и вершину «жанра» — «Гэндзи-моногатари») означает «говорят вещи». В замечательной статье (из нее непонятно только, почему бы нам всем не последовать путем японской культуры, потому что тогда жизнь должна была быть стать раем), опубликованной как предисловие к книге «Японские дзуйхицу», Т. П. Григорьева пишет: «Так повелось. Раньше говорили: „вещают боги“ (камугатари), потом стали говорить „вещают вещи“ (моно-гатари), — „вещи“ суть все явления *этого мира*, духовные в том числе (выделено мной. — Т. К.). Человек не сочиняет, а лишь отпускает на волю свой ум и чувства, и кисть сама по себе выводит имена. Собственно, само слово имеет душу (котодама), и она знает, что ей надобно. Они и слову не навязывали своего порядка, а лишь хотели угадать его волнение; заключенная в нем душа самоположит ему место. За исходную точку они взяли не человеческое „я“, как в культуре, вышедшей из греческого лона, а „не-я“ (муга). Их отношение к миру предопределило их творческий метод, который „творческим“ можно назвать лишь условно, ибо не было представления о человеке-творце, подобном Богу-Творцу, Создателю мира. Потому этот метод и называют Недеянием, ненасилием над природой вещей».

На самом деле мы вступаем на «путь вещей» примерно с того момента, который С. С. Аверинцев и А. В. Михайлов определяли как «конец риторической эпохи». Это очень быстро, вслед за романтизмом, дает взлет «классического» реализма, а затем, весьма последовательно, — то, что мы имеем сейчас.

Прежде чем окончательно уничтожить личность и реальность глобализацией и тоталитаризацией Игры, не худо бы сначала понять — от какого наследства мы отказываемся?

Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» не случайно пришелся ко двору в японской культуре. В нем предельно отчетливо выражено сиротство человека в *только природном* мире: «Тоска его (князя Льва Николаевича Мышкина. — Т. К.) продолжалась; ему хотелось куда-нибудь уйти... Он не знал куда. Над ним на дереве пела птичка, и он стал глазами искать ее между листьями; вдруг птичка вспорхнула с дерева, и в ту же минуту ему почему-то припомнилась та „мушка” в „горячем солнечном луче”, про которую Ипполит написал, что и „она знает свое место и в общем хоре участница, а он один только выкидыш”. Эта фраза поразила его еще давеча, он вспомнил об этом теперь. Одно давно забытое воспоминание зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии, в первый год его лечения, даже в первые месяцы. Тогда он еще был совсем как идиот, даже говорить не умел хорошо, понимать иногда не мог, чего от него требуют. Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслию. Пред ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца-края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце; каждое утро на водопаде радуга, каждый вечер снеговая, самая высокая гора, там вдали, на краю неба, горит пурпуровым пламенем; каждая „маленькая мушка, которая жужжит около него в горячем солнечном луче, во всем этом хоре участница: место знает свое, любит его и счастлива”; каждая-то травка растет и счастлива! И у всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он все это говорил и тогда; все эти самые слова, и что про эту „мушку” Ипполит взял у него самого, из его тогдашних слов и слез. Он был в этом уверен, и его сердце билось почему-то от этой мысли...»

Этот великий праздник, так притягивающий издали, при попытке приблизиться, присоединиться к нему — то есть при ближайшем рассмотрении — оборачивается, как укажет на то Ипполит, чем-то вроде «громадной машины новейшего устройства», захватывающей, раздробляющей и поглощающей в себя бесценные существа — какова всякая человеческая личность; природа предстает как «темная, наглая и бессмысленно-вечная сила, которой все подчинено», — добавим: она становится такой, как *только* ей оказывается все подчинено. Как только человек устремляется к этому «хору», чтобы примкнуть к нему, чтобы следовать за ним, в него впадают зубы — или скорее зубья — гигантской холодной мертвой машины — зубья «законов природы», природы, самим человеком, его первородным грехом, отторгнутой от Бога и вращающейся в своем одиночестве в непрерывной механической смене бытия и небытия. Человеку *некуда* возвращаться, он сам погубил свой рай.

Еще можно, вместе с буддизмом и вслед за Константином Леонтьевым (и вслед за всевозможными спиритуалистическими течениями; несмотря на концептуальные различия, все указанные пути приводят к одному и тому же конечному движению) отринуть существование для Несуществования, бытие для Бытия, поступить так, как с лошадкой (христианский символ тела, материи: образ коня и всадника традиционен в христианской литературе для выражения отношений тела и души, мироздания и человека: то есть духа и материи) по-

стует Миколка в сне Раскольникова в «Преступлении и наказании»: засечь ее на том странном основании, что она «сердце надрывает».

Но Словом нам было заповедано другое — не пойти за природой и не предать, не бросить ее; не отдать угрюмой и неведомой — или нестерпимо сияющей адским блеском — вечности то мимолетное, за которое готов жизнь положить чудный и трогательный Крыса, а привести все творение к союзу с Творцом и к Бытию.

Есть у Достоевского и образ истинного отношения к природе и земной красоте, без которой, оказывается, невозможен никакой «переезд» к новой и лучшей жизни. И образ этот возникает в последнем романе писателя в мечте капитана Снегирева и сына его Илюшечки о переезде из «нехорошего города нашего» «в другой... в хороший... город»: «Обрадовался я случаю отвлечь его от мыслей темных, — рассказывает Снегирев, — и стали мы мечтать с ним, как мы в другой город переедем, лошадку свою купим да тележку. Маменьку да сестриц усадим, закроем их, а сами сбоку пойдем, изредка тебя подсажу, а я тут подле пойду, потому лошадку свою побережь надо, не всем же садиться, так и отправимся. Восхитился он этим, а главное, что своя лошадка будет и сам на ней поедет. А уж известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой». И по мере того, как, при содействии Алеши Карамазова, мечта приближается к реальности: «Да знаете ли вы, что мы с Илюшкой, пожалуй, и впрямь теперь мечту осуществим: купим лошадку да кибитку, да лошадку-то вороненькую, он просил непременно чтобы вороненькую, да и отправимся, как третьего дня расписывали... Ну так посадить бы маменьку, посадить бы Ниночку, Илюшечку править посажу, а я бы пешечком, пешечком, да *всех* бы и повез-с...» — «тележка» приобретает черты колесницы, в которую впряжена сама черная земля, и, ее не отягощая, но щадя и бережно направляя, ведет («везет») вместе со всеми ее обитателями в «новый хороший город» ничтожнейший из героев романа, пьяница, «выкидыш» и изгой, капитан Снегирев.

МИХАИЛ ГОРЕЛИК



ПРОЕКЦИЯ БОРХЕСА

«— Как странно! — сказала девушка, осторожно подвигаясь вперед. — Какая тяжелая дверь! — Говоря это, она притронулась к двери, и та внезапно захлопнулась.

— Боже мой! — сказал мужчина. — Мне кажется, что с нашей стороны нет щеколды. Вы же заперли нас обоих!

— Обоих? Нет, только одного, — сказала девушка.

Она прошла сквозь дверь и исчезла».

Такой неприятной (для мужчины) историей из рассказа английского писателя Айрленда открывается «Антология фантастической литературы» из «Личной библиотеки Борхеса» (СПб., «Амфора», 1999). Авторы в антологии расположены в алфавитном порядке, и появление этого текста в первой позиции можно считать чистой случайностью, однако по той же случайности он служит визитной карточкой всей коллекции: мэтр совершенно необязательно собирает целостные произведения — в сущности, его интересуют сюжеты и коллизии. Он включает в собрание и рассказы, но фрагментов, подобных первому, хватает, и смотрятся они уместно и самодостаточно. Более того, в силу лапидарности — выигрышно по сравнению с многословными соседями.

В предварении к антологии Борхес аттестует себя не профессором, ставящим аналитические цели, но читателем, собирающим свою библиотеку единственно из удовольствия. «Хороший ли я писатель, не знаю, но читатель я, смею думать, неплохой и уж в любом случае чуткий и благодарный». Это чистая правда. Читатель Борхес отменный. Взяв критерием удовольствие, он составил оригинальную, остро вкусовую антологию, включающую помимо имен, которые естественно было бы в ней встретить, Лецзы, Мопассана, Кафку, Петронию, Рабле, Джойса — впрочем, чего же и ожидать от Борхеса.

Собственно, я хочу ограничиться здесь одной миниатюрой его собрания — хасидским рассказом Бубера. Должно быть, Бубер подивился бы, увидев этот текст включенным в корпус фантастической литературы, но, как мы увидим, у составителя были основания.

Для Борхеса, вообще говоря, характерен интерес к «еврейскому», многообразно сказавшийся в его творчестве. И Бубер — автор вовсе не случайный. Когда Борхес входил в редакционный совет аргентинского журнала «Юг», там регулярно публиковались эссе Бубера в переводе на испанский. А Бубер одним из первых обратил внимание на Борхеса, когда тот только начинал.

Тут надо сделать предварительное замечание: Бубер переведен в русском издании «Антологии» с испанского¹, чем и объясняется диковинное именован-

Горелик Михаил Яковлевич — публицист, эссеист, культуролог. В 1970 году окончил Московский экономико-статистический институт. Публиковался как в отечественных, так и в зарубежных изданиях. Постоянный автор «Нового мира».

¹ Во времена самиздата (точнее, в 1971 — 1973 годы) Бубера в России перелагали с английского; в условиях самиздата это было вполне понятно. Впоследствии книга вышла в Израиле (Бубер Мартин. Веление Духа. Составитель и редактор Натан Файнгольд. Иерусалим, 1978). Что, однако, более чем загадочно — и сегодня Бубера тоже переводят с английского! (См.: Бубер Мартин. Хасидские предания. М., «Республика», 1997.) Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?

ние протагониста: Элимелекл (на самом деле Элимелех). Вообще отцы издания не обременили себя дисциплиной общего подхода: что хотели, давали в переводах с оригинала, что хотели, гнали с испанского. Такая судьба постигла не только Бубера, но, скажем, Цао Сюэциня и Чжуанцзы, классические тексты которых давным-давно переведены на русский с китайского, что, видимо, составителям оказалось неведомо. Существует и перевод с немецкого рассказа об Элимелехе, но я процитирую как есть в книге, с изъятиями, непринципиальными для понимания.

«Рассказывают так. Раби Элимелекл ужинал с учениками. Служанка принесла ему миску похлебки. Раби опрокинул ее, а похlebка вылилась на стол...

Вскоре стало известно, что в тот день императору на подпись был подан указ, направленный против евреев. Раз за разом поднимал император перо и всякий раз останавливался. В конце концов он все-таки поставил подпись. Потянулся за песочницей, чтобы высушить чернила, но по ошибке взял чернильницу и опрокинул ее прямо на бумагу. Тогда он разорвал указ и повелел никогда больше не приносить его» («Ошибка»).

Можно поставить в ряд с этим рассказом другую историю об Элимелехе. В истории этой те же герои: Элимелех и император, издавший антиеврейский указ. Некий ученый и праведный человек вчиняет иск Всевышнему: «Законно ли, что мы обращены в слуг этого царства? Ведь сказал Господь, да будет Он благословен: „Ибо сыны Израиля — слуги Мои“. И даже когда мы в чужих странах, Он может дать нам свободу служить Ему всюду, где мы живем»².

Элимелех созывает суд праведников, и тот принимает беспристрастное решение: Всевышний не прав. В тот же день указ был отменен.

Среди многочисленных рассказов о последнем Любавичском Ребе есть один, типологически близкий к истории об Элимелехе, включенной Борхесом в антологию. У некоторого человека заболела дочь. Врачи констатируют злокачественную опухоль мозга. Отец в отчаянии приходит к Ребе.

«...— Все переворачивается!

Произнося последние слова, Ребе сделал сильное движение обеими руками слева направо и повторил, почти прокричал:

— Переворачивается! Все переворачивается!!!»³

Дело происходит в Нью-Йорке. В тот же момент девочка, лежащая в бостонской больнице, чудесным образом исцеляется, врачи в полном недоумении: опухоль исчезла. Такой современный хасидский рассказ.

Но вернемся к Элимелеху. Вот минимальный исторический контекст. Элимелех (умер в 1809 году) — одна из ключевых фигур раннего хасидизма, ученик Проповедника из Межерича, возглавившего движение после смерти его основателя — Баал Шем Това. Император, о котором идет речь, по всей видимости, Франц I — государь (с 1792), а позднее (с 1804) император Австрии, в состав которой входила Галиция — колыбель хасидизма.

Антология не обременена примечаниями, так что эти сведения остаются читателю неизвестными. Впрочем, они здесь совершенно необязательны: ведь Борхеса интересует ситуация сама по себе, и с этой точки зрения совершенно безразлично, идет ли речь о реальных исторических персонажах или это вымышленные герои вроде мужчины и женщины Айрленда, — и то и другое «фантастическая литература». Обладающий магическими способностями герой делает нечто весьма незначительное, что вызывает где-то в ином месте совершенно несоизмеримые последствия, — эталонный сюжет, использованный во множестве произведений.

Здесь можно привести пару примеров из антологии. Во фрагменте «Тень игры» Моргана короли враждующих стран играют во время битвы в шахматы. Постепенно выясняется, что в превратностях битвы повторяются превратнос-

² Бубер Мартин. Избранные произведения. Иерусалим, «Библиотека-Алия», 1989, стр. 147.

³ «Глава поколения». М., «Лехаим», 1997, стр. 88.

ти игры в шахматы. К вечеру один из королей опрокидывает доску — он получил мат, и вскоре окровавленный всадник сообщает ему: «Твое войско бежит, ты лишился своего царства». Тот же механизм действует в китайской сказке, рассказанной немецким синологом Вильгельмом. Опрокинут нерадивыми учениками мага игрушечный кораблик в пиале — и корабль мага тонет в море. Погас из-за легкомыслия учеников костерок во двореке — и разгневанный маг в полной тьме блуждает по пустыням Тибета.

Постановка хасидского рассказа в ряд с этими историями делает их типологически неразличимыми. Контекст антологии — мощная самоинтерпретирующая среда, причем возникающая интерпретация нерелевантна духовному и культурному контексту хасидского фольклора. Его герой — не маг, но праведник, открытый Всевышнему, поддерживающий с ним постоянный диалог и действующий Его силой, что и дает ему возможность чудотворства. Он как бы живет на особой территории Божественного присутствия. Между тем герои других рассказов антологии — высококвалифицированные специалисты, владеющие аппаратом сверхъестественных взаимодействий.

Кстати, насчет контекста. В очень характерной реплике Борхеса о Кафке, написанной в 30-е годы, автор говорит о том, что Кафка «был приверженцем Паскаля и Кьеркегора»⁴, он сравнивает его тексты со знаменитыми апориями Зенона. Возвращаясь через много лет к той же теме, Борхес называет в числе предшественников Кафки Броунинга, Леона Блуа и даже китайского автора IX века Хань Юя, но ни словом не упоминает еврейский контекст, столь много значащий в творчестве Кафки⁵.

У Борхеса есть пара эссе о каббале, разделенных полувеком, но содержательно и методологически очень близких; вообще каббалой он интересовался: прочел, хотя, разумеется, в переводе, две центральные книги каббалы — «Зогар» («Книгу сияния») и «Сефер йецира» («Книгу творения») и следил за публикациями Гершом Шолема⁶. Я не хочу критически обсуждать эссе Борхеса — хочу лишь в рамках нашего сюжета обратить внимание на одну любопытную особенность. Автор ставит каббалистические представления в один ряд с исламским отношением к Корану, говорит о христианском понимании Священного Писания, о влиянии гностиков (гностикиков вообще очень любил), высказывает соображения в области тринитарного богословия, но странным образом совершенно изымает каббалу из еврейского контекста. То есть делает ровно то же, что и с рассказом об Элимелехе.

Значит ли это, что Борхес не прав? Не думаю, что такая постановка вопроса вообще правомерна. Борхес строит проекцию рассказа на собственную и весьма специфическую культурную плоскость, и проекция эта, будучи содержательно нивелирована, включается в его структурную типологию. То же самое происходит с текстами Блуа⁷ и Честертон — в контексте антологии они теряют свою духовную перспективу.

В эссе о Честертоне Борхес вообще рассматривает католичество писателя как нечто, весьма незначительно повлиявшее на его творчество. Он говорит о нем снисходительно и мимоходом. Честертон, по его мнению, — такая же жертва своего католичества, как Киплинг своего империализма. Репутация авторов мешает читателям увидеть, что представляет собой текст на самом

⁴ Эссе о Кафке, а также упоминаемые ниже эссе о каббале, Л. Блуа, Честертоне и других собраны в издании: Борхес Хорхе Луис. Сочинения в трех томах. Т. 1 — 3. М., «Полярис», 1994.

⁵ Впрочем, в эссе о Честертоне он совершенно неожиданно, обращаясь к Кафке, в примечаниях дает ссылку на центральную книгу каббалы — «Зогар», где есть «образ многих дверей, идущих одна вслед другой и преграждающих грешнику путь к блаженству».

⁶ Гершом Шолем (1897 — 1982) — профессор Еврейского университета в Иерусалиме, один из ведущих в академическом мире специалистов по каббале, автор ряда фундаментальных работ по еврейской мистике.

⁷ Леон Блуа назван в примечаниях к «Антологии...» «еретиком» — определение, уж во всяком случае в качестве справки, чрезмерное.

деле, — как на самом деле, знает непредубежденный Борхес. Однако менее всего его можно упрекнуть в снобизме: просто его проекция горизонтальна, а не вертикальна.

В сущности, проективная культурология — излюбленное занятие Борхеса, и в рамках построенного им мира такой подход закономерен. Он не нуждается в естественном контексте — он выстраивает его сам, набирая бусинки из распушенных ожерелий в свое собственное. Антология фантастики демонстрирует это с исключительной внятностью. Но такими примерами пронизано, в сущности, все творчество Борхеса.

Именно этой проблеме посвящен его знаменитый концептуальный рассказ «Пьер Менар, автор Дон Кихота», повествующий о некоем (вымышленном) старшем современнике Борхеса, слово в слово переписавшем «Дон Кихота». Борхес анализирует идентичные фрагменты текстов Сервантеса и Менара и находит в них бездну различий, как смысловых, так и чисто филологических: «Столь же яростен контраст стилей. Архаизирующий стиль Менара — иностранца как-никак — грешит некоторой аффектацией. Этого нет у его предшественника, свободно владеющего общепринятым испанским языком своей эпохи».

Борхес завершает своего «Менара» следующим пассажем: «Этот прием насыщает приключениями самые мирные книги. Приписать Луи Фердинанду Селину или Джеймсу Джойсу „О подражании Христу“ — разве это не внесло бы заметную новизну в эти тонкие духовные наставления?» О чем речь! «Заметная новизна» конечно же была бы обеспечена. «Автор» задает вопрос, исполненный академической серьезности, — Борхес, естественно, с улыбкой (торжество приема: ведь речь идет об одном и том же вопросе).

В мире Джойса, начинающего «Улисса» сильным постмодернистским аккордом — пародией на евхаристический канон, — «тонкие... наставления» Фомы Кемпийского оказались бы действительно «населены приключениями». Кстати, если уж речь зашла о Дон Кихоте: бритвенная чашка, имитирующая у сановитого Быка Маллигана потир, хорошо рифмуется с дедушкой чашки — бритвенным тазиком, используемым героем Сервантеса в качестве шлема.

В одном интервью Борхес сказал, что «думать, что наше поведение может привлечь внимание Бога, думать, что мое собственное поведение... может привести к вечным мукам или вечному блаженству, кажется мне абсурдным». Точка зрения не хуже и не лучше прочих. Хотя находились ведь мыслители, которых, в отличие от Борхеса, абсурд все-таки нимало не смущал. Проблема, однако (в данном случае), в кардинальном разрыве, даже в пропасти, разделяющей понимание жизни Джойсом и Фомой Кемпийским, Борхесом и Элимеlexом. Естественно вспомнить и Иова, явным образом не разделявшего мнение Борхеса насчет того, куда направлено или не направлено внимание Бога.

Религиозные интересы Борхеса носили исключительно интеллектуальный и культурологический характер. Бог был для него объектом большой теологической игры, Бог был всегда хорошо отрефлектированный «Он», скорей уж даже «он». Религиозный экзистенциалист и диалогический мыслитель, Бубер воспринимает Бога не как объект, но как субъект: он говорит о принципиально не объективируемом отношении «я» — «Ты». Бубер противопоставляет ни к чему не обязывающую веру в некоторую догматическую конструкцию доверию — живому, личностному, не нуждающемуся в догматических определениях отношению с Богом. В хасидском рассказе Его можно вызвать на суд и выставить иск. Благочестивый хасид Элимелех делает это вослед за любимым Борхесом Иовом и оказывается более успешен в тяжбе, нежели его библейский предшественник.

В борхесовской антологии есть фрагмент из посвященной конфуцианству лекции американского синоведа Джайлса — «Отрицающий чудеса».

«Чжу Фу-дэ, отрицавший чудеса, умер; всю ночь при покойном бодрствовал его зять. На рассвете гроб с телом поднялся в воздух и остался висеть в двух пядях от пола. Благочестивый зять пришел в ужас. „О почтенный све-

кор, — взмолился он, — не разрушай моей веры в то, что чудеса невозможны». Тогда гроб медленно опустился, и зять Чжу Фу-дзе вновь обрел веру».

Этот забавный эпизод — хорошая иллюстрация к оппозиции Бубера. Чжу Фу-дзе (равно как и его зять, чья вера подверглась тяжким испытаниям) может верить в то, что чудеса есть, или в то, что их нет, — такая вера может формировать его понимание мира, при столкновении с реальностью она может привести к острому кризису представлений, которые я бы назвал естественнонаучными, такая вера, как мы видим, может привести даже к молитве, но она не предъявляет к верующему равным счетом никаких внутренних требований. В заостренно иронической форме эта мысль высказана ап. Иаковом: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут» (Иак. 2: 19).

Борхес, надо полагать, прекрасно сознает коллизию несовпадения (по слову Бубера) «двух типов веры», однако его проекция обладает замечательными уравнительными свойствами. Замечу мимоходом об играющем на том же поле Павиче. Один из писавших о нем дал бойкое и в то же время точное определение: «Борхес, Маркес и Кортасар в одном флаконе». В насыщенном пряностями (Маркес и Кортасар) «Хазарском словаре» начисто отсутствует вертикальное измерение. Исторические герои Павича, жившие в мощном духовном поле, определявшие свою жизнь религиозным императивом, искусно превращаются писателем в сказочных персонажей «Тысячи и одной ночи». Межрелигиозные различия сводятся к вариации узора, а успеху постмодернистского экуменизма способен помешать лишь еще более эффективный экуменический интернационал демонов. Искусно драпированная сцена оказывается все той же проекцией Борхеса.

Превращения, которые претерпели равноапостольные Кирилл и Мефодий, Иегуда га-Леви и другие герои богатого сюжета, напоминают борхесовскую метаморфозу Элимелеха — правда, в отличие от неутомимого в фантазии Павича Борхес до своего героя и пальцем не дотронулся — ну разве что произвел руками некоторые воздушные пассы. Столь важные в романе Павича сновидческие сюжеты также восходят (в частности) к Борхесу. Он обращается к ним в своем творчестве и в коллекции фантастики не жалеет для них места.

Борхес был самого высокого мнения о своей антологии: «Не исключаю, что именно ее среди немногих избранниц спасет когда-нибудь новый Ной от нового потопа...» Бубер вряд ли бы с ним согласился, но, в конце концов, все зависит от литературных вкусов нового Ноя. Как известно, Ной старый интересом к литературе не отличался и, судя по всему, прекрасно обходился вообще без чтения. Какую бы книгу вы взяли на необитаемый остров? А никакую! И такой ответ, признаться, очень мне симпатичен. Конечно, библейское умолчание не позволяет категорически утверждать, что Ной не пронес на ковчег какой-нибудь детектив времен растления плоти, но, во всяком случае, интерес этот не был зафиксирован. Да и с чего это Борхес взял, что литературные вкусы нового Ноя будут совпадать с его собственными? Впрочем, он же только скромно сказал «не исключаю».

Да, кстати, возвращаясь к фантастическому эпизоду Айрленда с точки зрения возможности многообразия интерпретаций. В сущности, он может быть понят в рамках совершенно иного жанра — как притча. Мужчина пугается, что он обречен оставаться до конца жизни с этой вот женщиной. Она исчезает, и он остается в полном одиночестве за дверью, которую не в состоянии открыть. Впрочем, это не имеет ни малейшего отношения к хасидизму.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

ДВА ПОЛУОСТРОВА — ОСТРОВ

Олег Юрьев. Полуостров Жидятин. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 1 — 2.

Роману Олега Юрьева «Полуостров Жидятин» суждено быть непрочитанной книгой. Да, возможно, и книгой-то ему стать не придется, поскольку непрочитанные произведения не всякий издатель рискнет заряжать в переплет. Нет, будь имя автора на слуху, попади он в букеровскую шестерку, тогда, конечно, можно печатать, а там, глядишь, со временем и прочитается, бог милостив. Но скорее всего, упокоится ему под обложками малотиражного «Урала», позабытому, позаброшенному. И в грустную минуту прощанья позвольте почтить непрочитанного какими-то словами.

Так уж устроено восприятие большинства читающих, что у них в голове всякое литературное произведение непременно должно укладываться в некие более-менее привычные жанровые и композиционные каноны. Чтобы знать, как к нему относиться, читать до конца или отодвинуть — не мое. Поэтому, чтобы не мучить покупателя и помочь ему поскорей раскошелиться, на массовых книжках указывают: «Современный детектив», «Любовный роман», «Антология сатиры и юмора». Гораздо сложнее с мейнстримом. Сплошь и рядом приступать к чтению приходится «втемную» и уже по ходу пьесы классифицировать ее по узнаваемым сюжетным и стилистическим ориентирам, чтобы заняла она свое место в соответствующей мозговой ячейке. При этом возникают определенные читательские ожидания. И хуже нет того случая, когда ориентиры не срабатывают, или их нет, или за ориентиры приняты какие-то совсем посторонние, а то и вовсе ложные знаки. В этом случае читатель, обманувшийся в своих ожиданиях, даже не пытается раскусить сюжетную скорлупу, чтобы добраться до ядра. Так появляются непрочитанные книги, оказавшиеся не в своих ячейках, безродные, облепленные уничижительными ярлычками скорых на расправу рецензентов.

«Полуостров Жидятин» — случай совершенно особенный. Это *многоразовый* роман, повторное прочтение его доставляет, пожалуй, даже большее удовольствие, чем первое. Олег Юрьев применяет довольно редкий композиционный прием. Роман состоит из двух частей, из двух вроде бы самостоятельных и самодостаточных повестей, зеркально повторяющих одна другую. Два мальчика, которым сегодня завтра исполняется по тринадцать лет, лежат вечером, болеют, под одинаковыми одеялами на разных этажах одного дома, точнее, пакагуза, вспоминают события, иногда одни и те же, думают о своем, немного страдают. Вот и все, если, не заглубляясь, быстренько проскользнуть по поверхности текста.

Эка невидаль! — воскликнет искушенный читатель. — Акутагава, «Ворота Расёмон»! И будет не прав, поскольку попался на ложный сигнал. События, свидетелями и участниками которых оказались мальчики, не дают повода для романного пространства, это всего лишь эпизоды жизни. Опубликованные в разных номерах «Урала», нарочито разъятые и разведенные, словно питерские мосты белой ночью, повестушечки таким образом еще больше усиливают авторскую игру, расходясь во времени и пространстве. И даже возникает идея: буде кому придет в голову мысль все-таки издать «Полуостров Жидятин» отдельной книгой, так пускай напечатает двумя одинаково оформленными книжечками, не рассчитавшимися на первый-второй и упакованными в единый супер. Тем более, что вторая часть романа в журнальной публикации снабжена сноской: «Окончание/начало романа. Начало/окончание см. в № 1/2000». Мало того, О. Юрьев дает читателю подсказку-ориентир — дважды слитно повторяет в подзаголовке слово «роман», причем второе зеркально перевернуто, а буква «н» у них общая. Ее ведь как ни зеркаль, она всегда равна себе. И действительно, две взаимно зеркальные новости о двенадцатилетних пацанчиках на грани тринадцатилетия, связанные единством места и времени, событиями, моментами жизни и массой других зеркальных совпадений, вроде бы настолько независимы одна от другой, что могут читаться в любом порядке.

На самом деле последовательность двух частей жестко обусловлена, и читать их надо именно в том двухступенчатом порядке, как выстроил автор. Потому что первая повесть-ступень — это разгонный блок, который выводит на орбиту вторую, головную часть, а сам отстыковывается, поскольку задачу свою выполнил. А единый стыковочный узел — первый абзац первой части, служащий отправной точкой обеих повестей. Вот он весь:

«— Слышь, Семеновна, такое чего расскажу... отпадешь, старая, тут же, вот те крест... Того мальчонка знаешь, зашморканного? ну того, с пакгауза который — по три раза на дню за „Пионерской правдой“ ко мне шляется... Ну да знаешь — тихенький такой!.. Так вот: считай, уже недельник его тут не было, с гаком... или того доле, И НИКТО ЕГО НЕ ВИДЕЛ.. — и продавщица Верка, большим лицом белея, обширной прической желтея из сумеречной глубины ларька „Культовары. Продукты. Керосин“, ногтем мизинца (в пику заостренным и в черву уклеенным фольговыми сердечками) протолкнула шматок зернисто-черного зельца (на торце дрожже проткнувшийся и тут же заросший) сквозь горло трехлитровой банки изпод березового сока (наклоненное к ней с внешнего прилавка, окованного радужно-синеватой жостью). — И вообще чего-то не видать... Тебе куском или порезать? ... Не иначе как эти, пакгаузные-то жидята, закололи... к паске ихней. — И она, подпернув марлевые нарукавники, торжественно расширила на мгновенье утратившие голубизну глаза. Невидим за лысым платком и драповой спиной Семеновны, я присел на корточки и, стараясь облачками дыхания не пятнать сияющие задники ее галош, сызнава начал удавливать и ушелкивать обведенные длиннопетлыстыми разводами крепления моих курносых лыжек „Карелочка“. Крепления скользили, срывались и больно били по замороженным пальцам».

Здесь все авторские заявки-сигналы налицо. Понятно, что пойдет густая проза, плотная кристаллическая решетка образов, когда поверх одного кристаллизуется вторичный, и все это пронизано неактуальными подробностями. Подобная избыточность, навязывающая свой неторопливый темп чтения, обычно неизменно раздражает газетных критиков, и так опаздывающих к следующему номеру. Совершенно ясно, что изложение идет от лица мальчика, а следовательно, вот вам очередное «Детство в провинции» — алкаши, смерть бабушки, деревянные игрушки, банальный сексуальный ликбез, кровь из разбитого носа и первые шаги в суровом мире взрослого лицемерия. А предельно жестко объявленная еврейская тема, тоже, впрочем, активно разрабатываемая современной русской литературой, обещает всякие страхи. Но редко кого настораживает дураковский ларек, где одновременно продают продукты и керосин, ведь только тот, кто лет тридцать пять назад сам ходил с плотным жестяным бидончиком в лавку на отшибе, знает, что продукты и керосин — две вещи абсолютно несовместные.

Поначалу читательские ожидания оправдываются. Мальчик по фамилии Язычник лежит под грудой одеял, у него ангина, остается только прислушиваться к тому, что происходит вокруг, и размышлять. Он думает о пропавшем соседском малом и боится, что это их, евреев, обвинят в убийстве и придут громить. Парадокс в том, что на полуостров Жидятин, в погранзону, семейство спряталось на период *междуцарствия* после смерти К. У. Черненко.

Как всякий *литературный* подросток, мальчик обладает не по возрасту зорким взглядом опытного художника, замечает всякую мелочь вокруг, обыгрывает каждое интересное словцо, цитирует взрослых и из множества мелких, но точных деталей созидает свою вселенную. Но, будучи литературным *ребенком*, он не в меру наивен, а то и глуповат. И бывалый читатель быстренько припоминает аналог — Саша Соколов, «Школа для дураков». Тем более прямым отсылком периодически звучит считалочка: жили-были три китайца — Як, Як-Цидрак... Мало этого, посмеиваясь исподтишка, Олег Юрьев похлопывает сообразительного читателя по плечу, например, так: пограничные собаки «оторвали постромки и теперь в состоянии *между волком и собакой* живут по всему запретному лесомассиву...». Разумеется, ничего общего, кроме плотного текста, у этих авторов нет. Если герой «Школы для дураков» каталогизирует окружающий мир, то маленький Язычник активно пересоздает окружающую действительность, умело используя методы постмодерна и соцарта: на Краснознаменном Балтийском море находятся авиаматка «Повесть о

настоящем человеке» и незскладренный миноносец «Тридцатилетие Победы», который скоро переименуют в «Сорокалетие», а финскую границу охраняет овчарка Куусинен, по радио по просьбе зарубежных слушателей повторяют репортаж с похорон Черненко, все время звучит песня «Миллион алых роз», в клубе и на погранзаставе показывают из раза в раз один и тот же фильм — «В джазе только девушки». Творчески нахальный мальчик собирается, когда вырастет, стать писателем и написать повесть «Полуостров Ж.». Этим намеком успокаиваются читательские ожидания жаждавших биографического *я родом из детства*. Еврейская же тема ограничивается родней, переругивающейся на идиш, фразами с одесским акцентом и наличием евреев среди погранцов и мореманов. А когда между ними происходит *махаловка*, русский матрос Яшка Кицлер даже лупит пограничника латунной бляхой, прям как в романе С. Каледина «Стройбат», а потом в качестве моральной компенсации татуирует по оттиску якорь. Что касается притеснений, то они в пределах обычных пацановских разборок, и гораздо больше издевательств приходится терпеть Исмаилке Мухамедзянову.

В общем, погрома не случилось, и чьи-то читательские ожидания не сбылись. И в целом концовка первой части какая-то неправильная — сплошные детские фантазии и разноязыкая болтовня в радиоэфире. Чего бы ради выделять интервалами каламбур: «Лестницы бывают двоякого рода: 1) якобы лестницы и 2) лестницы для всякого-якого»? Это что, игра в «Угадай мелодию»? Так мы это запросто: «Лестница Якова» — импортная развлекательная телепрограмма, а на страницах «Полуострова Ж.» почти все персонажи Яковы или Яковлевичи (-ны), есть тот же Як-Цидрак и даже «Ну, сынку, сыграй-ка нам с Якко какой-нибудь „Капризец“ Паганини, а мы подивимся, чему тебя научили твои большевики!» Это если не трогать конкретную лестницу, которая ведет на чердак пакгауза. И получается, что каламбур со всякими-якими — сигнал-ориентир, означающий, что автор сыграл с читателем по-крупному. И весь постмодернистский стёб — модная нынче игра в римейки и цитаты, которые напрятаны в тексте, как в журнале «Пионер» на картинках-загадках в сплетениях ветвей прятались мальчики-футболисты и девочки с собачками. И даже не игра, а настоящая проверка на литературный педикулес — ну-ка, что вы прочитали после похорон К. У. Черненко?

А на чердаке пакгауза, куда ведет лесенка со скрипучей шестой ступенькой, лежит под грудой пограничных одеял белобрысый мальчик Жидята. Всю вторую часть романа уже *он* вспоминает, прислушивается, размышляет и боится погрома. Ведь это их, жидята пакгаузных, могут обвинить в похищении малόго у русских квартирантов. Мальчик по случаю своего тринадцатилетия кремневым острым сколышем сделал себе обрезание, как положено по его жидовскому обычаю, и сейчас болеет. А вообще-то, если читатель никогда не слышал о *ереси жидовствующих*, он воспримет вторую часть как извращенную фантазию автора и *не прочтет*. На Жидовском Носу обитает в старом пакгаузе чуждая всем реликтовая секта — баба Рая, три ее *девки*, полудиот Яша и внук — жидовский князь, поскольку прямо от тех новгородских корабельщиков свои поколенья числит: «Их Захарка-жидененок жидовской вере научил и принял в жидовский народ, в лоно Аврама, Исака и Якова. И еще Субботинных тоже, Замысловатых, Еретициных, Промышленных и Поганкиных, новгородских тоже торговых людей, но те при Николае-кесаре обратно все перевернулись в русскую веру, в языческую, а нашу Захаркину напрочь откинули и почитай всё об ней позабыли. А мы свою веру содержим издревле и всегда ее укромно втайне шабашим, а что при Николае-кесаре перевернулись якобы в забобоны и ходим к попу Егору в церковь и в клуб Балтфлота на русское кино про Душечку Ковальчик — так это для отвода глаз...»

Великолепен архаичный язык автора, на котором думает мальчик Жидята, причудлива картина мира в его реликтовом сознании. «...Где у нас Рим? Он у нас от пакгауза на зюд-зюд-ост, от меня же, как я лежу, об левую руку. Это у язычников город великий, зовется от них также Питер-город, Ленин-город и просто: город...» Ерусалим соответственно Хельсинки, он же Гельсинки, там сидят чухонские хананейские люди. «Где чухонец прошел, там жиду делать нечего, шутил начпогранзаставы капитан татарин Юмашев, пока (уже месяца четыре тому) не потерялся в запретном лесомассиве». Отношения секты с соседями — хуже некуда. «Говорят

они речью не знаю какой, — мы ее с середины на половинку разбираем: слова есть похожие, а склад весь не тот, как у нас. Забобонская речь, одно слово, русская. Они нас с бабой Раей и девками всех ненавидят, и Яшу тоже, невесть чего про нас говорят и заглазно евреями дразнят, черным русским словом. Это они так нашу нацию и веру бранят, одно слово, скобари — такое у них свойство».

Всякое событие второй части — так или иначе отражение аналога из первой. И «Миллион алых роз», и тяжелый авианесущий крейсер «Повесть о настоящем человеке», то есть фон, отражаются один к одному. С поступками иначе. Маленький Язычник, например, добывает у финских туристов Библию с *параллельным текстом* для мужа старшей сестры, а Жидята крадет Библию у забобонского попа для бабы Раи. И в конечном счете становится понятно, что один и тот же мальчик, русский еврей (еврейский русский), отражается в параллельных зеркалах — новом и старом, с побежавшей волнами мутноватой амальгамой. Но две части романа больше все-таки похожи на колоды карт в разном оформлении. То есть все масти и значения совпадают, а их графическое исполнение разное. И читатель, именно читатель, а не автор, автор только колоды выложил, — так вот, именно читатель врезает колоды одну в другую и мысленно раскладывает параллельный пасьянс, с удивлением отмечая — опять сошлось. Более того, таким способом можно даже вычислить имена подростков, безымянных на страницах романа.

Но после прогулки по ленте Мёбиуса, когда, пройдя ее вовне-изнутри, оказываешься снова в исходной точке, уместно задать вопрос: о чем роман? Действительно, не ради демонстрации умения густо и образно писать, стилизовать и творить миры, не ради проверки литературной эрудиции профессионального читателя и не только ради показа интересных композиционных возможностей — слишком уж задевает «Полуостров Жидятин» за живое и больное. Он о взаимном неприятии тех, кто говорит, молится, живет по-другому, не как «мы».

Виктор МЯСНИКОВ.

Екатеринбург.



УХОД ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА

Александр Нежный. Мощи. Повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 9.

Земля же тогда стала безвидна и пуста.

На календаре начало двадцатых, еще вчера существовала Россия. И в ней — провинциальный град Сотников, «с шестью его храмами, женским Рождественским монастырем на окраине, возле Святого источника, дающего жизнь незамерзающему ручью»... А в другом монастыре, в недалеком граде Шатрове, покоятся мощи святого угодника Божия Симеона.

Пока еще покоятся; и храмы пока стоят. Но уже вырваны языки у колоколов, а храмы все энергичнее забирает новая власть — под тюрьмы и иные свои учреждения...

Автор обращается к трагедии Русской Церкви не впервые, ему принадлежат повести «Допрос Патриарха», «Комиссар дьявола», «Плач по Вениамину». Эти книги насыщены документами, они ценны прежде всего как осмысление *реалий* той поры. Еще долгие десятилетия историки будут раскапывать все новые судьбы: век был богат на героев и палачей. И раскопкам этим будет, возможно, сопутствовать успех: прагматическая эпоха ценит точность фактов.

Но не эпоха ли ставит под вопрос само *качество* интереса к такой конкретике? Ведь нынче легко представить себе, что книга о священномученике Вениамине, митрополите Петербургском, будет иметь в нашем обществе тот же успех, что и жизнеописание известного реформатора и либерала — Лаврентия Павловича Берии. Равнодушно-одинаковым взором будет заглядывать в эти труды постобразованец — почему бы и нет? Разве и то, и другое — не часть нашей героической исто-

рии? А коли возникнут споры о каких-то там нравственных оценках — подытожить их несложно, есть безотказный демократический критерий: мнение большинства.

Подлинный интерес к предмету предполагает, однако, любовь к правде, независимую от этого критерия.

Перед нами в повести — два обычных дня российской провинции. И в первый из них не происходит никаких событий. Просыпаются священники Боголюбовы, Александр и Петр. Готовятся к службе; а на другом конце города Сотникова с тоской и отвращением отрывает голову от подушки младший брат их, дьякон Николай...

Крупный план, замедленные съемки. И мы ясно видим, как треснула, прежде чем рухнуть, страна. Как смятение проникало в души. Как запустение шло следом за ним.

Вот отец Александр вспоминает, как они с братом спорили о «Двенадцати» Блока. «Нашел апостолов, гремел Петр. Бандиты. И Господа сделал у них главарем! Революция, робко возразил ему Александр, все меняет. Петр прищурился. „И Христа?“ Старший брат вздохнул, но не дрогнул. „Христос был в церковном плену, а революция Его освободила“».

Освободительные идеи делают доброго отца Александра нерешительным и слабым; правильные же из них выводы делает Николай. Профессиональным басом ревет он «проклятьем заклеянного» в компании грудастых комсомолочек и бритых бандитов в шрамах. «Ты с опиумом давай кончай, — наставляет дьякона друг Ванька. — Нечего тебе болтаться туда-сюда. Либо там, либо здесь. Понял?!»

«„Понял, понял“, — бормотал Николай. Как не понять?! У кого сила, у того и правда. Заповедь новую даю вам: грызите друг друга. Маркс, Энгельс, Ленин — троица революционная, слава тебе».

И вскоре дьякон отречется от Христа. Трусливо исчезнет из храма и из города, не попрощавшись с отцом и братьями, не заплатив долги. Он проявится в каком-нибудь другом городе и в другом качестве, усвоивший новую заповедь священнослужитель. Домыслить его будущее нетрудно, но в книге этого нет, она о другом: о священниках и их пастве. О тех, кто еще выстоял пока в добываемой стране — и выстоит, даст Бог, до конца.

«Некогда святой Игнатий Богоносец называл себя пшеницей Господней и говорил, что хотел бы стать чистой мукой в зубах диких зверей, ожидающих его в римском Колизее», — вспоминает, стоя на солее храма, отец Петр. «Был Клавдий, римский трибун, которому по долгу службы надо было казнить святого Хрисанфа, а стал мучеником Христа ради и пошел на смерть со своими сыновьями. Был... Ах, Василий Андреевич... подобным свидетельствам воистину нет числа. А мы разве другие люди? Не того же Бога дети? Он позовет — и разве мы не пойдём к Нему?» Так говорит священник бывшему директору гимназии, впервые после десятилетней жизни вне Церкви пришедшему на исповедь.

Отец Петр живо напоминает прихожан Катакомбной Церкви, их было еще не так мало и в начале девяностых. Они не могли, подобно герою повести, вести дискуссии о культуре и вере; но поразительная цельность и здравость отличала их. Эти люди никогда не путали белое с черным — нечастое качество в плюралистические дни. За плечами «катакомбников» были подсоветские десятилетия; но они никогда не болели. Умирили они от старости, когда приходил отмеренный Господом срок, — несомненные убедительные примеры влияния духа на плоть...

Но вернемся от ассоциаций, порождаемых повестью, к ней самой. Во второй половине текста замедленная камера автора останавливается на новой картине: Шатров. Сангарский монастырь. Вскрытие мощей.

Борьба с «опиумом» велась красными апостолами в разных видах и формах. Вплоть до изошренных. Верующих распинали. С них сдирали кожу; их топили в нечистотах; четвертовали; неспешно разрезали на куски... Так бывало; но в повести этого нет. В ней — другое.

«Товарищи» ведут себя во время процедуры довольно добродушно. Они даже соглашаются, по требованию священников, не касаться мощей святого — и их вскрывает заботившийся прежде о раке с гробом отец Маркеллин. Медленно, тщательно мощи раздевают, фотографируют. Протоколируют результаты работы.

Никакой крови, никаких жертв. И если победители плюют в череп святого — то это другой святой и другой монастырь, наблюдающие за вскрытием миряне

лишь вспоминают об этом. И если революционные стрелки дают в церкви залп — то от него не страдают ни священники, ни миряне: меткие пули попадают в рот Богоматери. И если умирает подле раки отец Маркеллин — то умирает он сам по себе, выстрелы еще не прозвучали. И даже похитить мощи и увезти их в Москву большевики не решаются: по окрестным лесам еще бродят вооруженные тамбовские крестьяне...

Автор повести не показывает того, что *бывало*, пусть и не раз. Он пишет о том, что *было всегда*, что длилось семьдесят лет: об уничтожении души народа.

Одна из самых страшных сцен повести — пьянка в городской гостинице. В ней остановились и комиссары, и подоспевшие в Шатров ко вскрытию Боголюб-вы. Работа завершена, и окосевшие «товарищи» вваливаются в чужой номер, к священникам. «Служителей культа» горячо поздравляют «с окончательным и бесповоротным торжеством разума». И только отец Петр прерывает унизительную сцену, вышвыривая революционеров за порог.

Мощи до времени оставлены в Шатрове. Но в заключительной сцене, в видении отца Александра, святой Симеон покидает город.

Герои необычной повести выписаны отчетливо, история века словно заложена в них: отец Петр так и видится среди «непоминающих», бывший дьякон — апостатом, приносящим человеческие жертвы «революционной троице». А отец Александр... Может, он и согласится считать «своими» радости оскверняющего храмы революционного народа. Но он не отречется при этом от Христа. Для осмысления всей трагичности и сложности истории Русской Церкви не пришло еще, наверное, время: повесть Нежного — лишь одно из углубленных размышлений о ней.

Мы воздержимся, по некомпетентности нашей, от анализа художественных достоинств произведения. Но главное очевидно: крупный публицист, прекрасно знающий церковную тему, болеющий ею, донес до читателя свои мысль и чувство. Критический «порог восприимчивости» превзойден с лихвой; и если повесть эта не вызвала в обществе никакого движения — то причиной этому само общество, а никак не повесть.

Публикация в «Звезде» была замечена лишь «Независимой газетой» — изданием, известным своим обостренным вниманием к книжным и журнальным новинкам: статья о ней появилась 18 октября прошлого года. Месяц спустя повесть упомянул обозреватель «Известий» Александр Архангельский: он констатировал полное равнодушие к ней читающей публики. Но, может, убывают в наши дни зримые знаки внимания к истории, к литературе о ней?

Не совсем так: вспышки общественного интереса еще возможны. Пару лет назад, для примера, оживленно обсуждалось исследование В. Голованова «Тачанки с Юга» — о батке Махно. Это яркая книга. Но трудно уже вспомнить сегодня: о чем, собственно, можно было в этой теме дискутировать, спорить?

Есть один несокрушимый критерий, определяющий исторические пристрастия нашего общества. Он очень прост: давно и прочно сложившийся советский менталитет. Воспитанные на воспевании красных бандитов граждане с любопытством листают труды о бандитах зеленых: новинка, сенсация. Но такая удобная, привычная новинка: не требующая напряжения ума. Ни — тем более — движения души.

Церковной теме, неувоенной и враждебной, удалось, впрочем, несколько оживить обывателя; было это в начале девяностых годов. Но возбуждение проходит, трясина успокаивается; желание же взглянуть в чужой и чуждый мир так и не появляется. Лишь церковная история продолжила в совдеповской пустоте историю России — той России. Большинству до этого, естественно, мало дела.

Между тем время уходит, и рубеж тысячелетий может оказаться для нашей памяти роковым. А точнее сказать — завершающим. Дело, конечно, не в какой-либо «мистике круглых цифр»: всякое событие может произойти годом раньше или позже. Но в конце века люди подводят итоги. Так, Президент Федерации произвел отделение этой новой страны от России — и именно в ней, в новой, мы встречаем в этот раз Рождество. А бывает, что расчеты с минувшим веком сводит вроде бы и сама судьба.

Удивительный некролог помещен в одиннадцатом номере журнала «Посев» за 2000 год: с его страницы дышит столетие. Вера Ловзанская (1904 — 2000) в шест-

надцать лет пришла к епископу Варнаве. И началась жизнь: с конца двадцатых Вера — член полуподпольной общины в Нижнем (в общине много молодежи и кроме нее). Она осуществляет связь со старцами Зосимовой пустыни, с Алексеем Лосевым. С 1928 года — тайный монастырь в Кызыл-Орде; в 1930-м по доносу монастырь раскрыт, но удается уехать... Так шла жизнь. Последний обыск у инокини Серафимы провели во время «перестройки», в 1986 году...

Это — живая история, и она безвозвратно уходит от нас. Верней, она уже ушла, и свидетелей давно не осталось: 96 лет отнюдь не средний срок человеческой жизни.

Жаль, однако: ведь Россия все-таки существовала. Неужели у нас исчезнут даже воспоминания о ней?

Валерий СЕНДЕРОВ.



НЕ НАПРАСНО

Сергей Гандлевский. Порядок слов. [Стихи, повесть, пьеса, эссе]. Екатеринбург, «У — Фактория», 2000, 431 стр.

Не многие устаиваются при жизни издать полное собрание сочинений — и поделом: плодовицы-с. Сергей Гандлевский известен другим — невероятной творческой скупостью при никем не оспариваемом поэтическом таланте и оспариваемом многими таланте прозаическом. Вышедшую в Екатеринбурге книгу — с известной натяжкой, конечно, — можно посчитать своего рода ПСС Сергея Гандлевского, учитывая, что в нее вошли, кажется, все опубликованные им ранее вещи — то есть то, что он сам захотел обнародовать. Поскольку литературное положение Гандлевского отнюдь не таково, чтобы он вдруг что-нибудь захотел, а кто-нибудь взял, да ему в этом и помешал.

Гандлевский, похоже, все-таки лучший современный поэт (несмотря на славу Тимура Кибирова, удостоившегося этого звания в Интернете). У Гандлевского не бывает явных огрехов «непопадания в слово» (возможно, его муза потому так скупа на новые строки, что он не позволяет ей безответственной резвости). В принципе, муза Гандлевского и сама по себе довольно строга — несмотря на все тевольности, которые являются в его поэтических строках. «Когда волнуется желтеющее пиво...», «Не жалею, не зову, не плачу, / Не кричу, не требую суда...», «Алкоголизм — хоть имя дико, / Но мне ласкает слух оно...», «Аптека, очередь, фонарь / Под глазом бабы...», «Стоит одиноко на севере диком / Писатель с обросшею шеей и тиком...», «Мне не хватало кликов лебединых...» — весь этот культурный «сор» необходим Гандлевскому, чтобы взломать замок на двери в мир рифм и размеров.

Как уже объяснил сам Гандлевский в «Критическом сентиментализме» и частично в «Выбранных местах из переписки с П. Вайлем» (тут же и опубликованных): «Писать „на голубом глазу“ всегда было не просто, но сейчас практически невозможно. Такое время. Оно не сложнее других, но его сложность — в *этом*. Чуткие к языковым изменениям авторы, владеющие живой и реальной речью, увеличивают коэффициент литературной рефлексии в силу самой чуткости, а не в угоду моде. Объективности ради я допускаю, что завтра кто-то придет и напишет что-то могучее и простодушное, но верится с трудом» («Выбранные места...»).

Декларируя принадлежность к «критическому сентиментализму» (интересно, кого еще, положе руку на сердце, может он причислить к своей когорте?) и отмежевываясь от поэтов «пафосно-одического» и «паниронического» направлений, Гандлевский прежде всего оговаривает свободу от обязательств перед тем и другим: «Смешно — смеяться, горько — плачу или негодую». Любопытно, что в чистом виде ни одна из заявленных эмоций в его поэзии не встречается. Как, впрочем, и никакая другая — *в чистом виде*. Они и не могут встретиться — поскольку автором туда голенькими не допускаются. Поэзия Гандлевского — это поэзия глубоко и долго отрефлектированных эмоций, прошедших строжайший учет и контроль с

фиксацией точного времени, места, обстоятельств рождения и дальнейшего существования. Эмоция обработана и подана так, чтобы, оставаясь личной собственностью пережившего ее субъекта, она апеллировала к персональному опыту и эмоциональному багажу потребителя поэтического продукта.

Гандлевский ценит и любит самые что ни на есть бытовые пустяки: часы, кровать, баночку драже с истекшим сроком годности, альбом колониальных марок, будильник, обоев клетку голубую и лыжи за комодом — «все разом». Но это не то, что доступно осязанию-обонянию-лицезрению сейчас, все это — лишь эфемерные призраки прошлого, уходящего и ушедшего. И потому главная эмоциональная составляющая его поэзии — это сиюминутно переживаемая тоска по невозвратному.

Сами взаимоотношения с жизнью окрашены у него в ностальгические тона. Мотив смерти — даже не названной по имени, обозначенной какими-нибудь полунамеками — кочует от стиха к стиху. Гандлевский как скупец перебирает свои сокровища, отнятые памятью у времени-смерти. «Овеществить» их заново он может только одним — подобрав максимально точные слова описания. Словесный образ у Гандлевского сродни магическому заклинанию. Только это не «остановись, мгновенье», а «вернись...».

Любопытно при этом, что и прошлое выглядит в его стихах как бы не вполне осуществившимся. Возможно, за счет того, что ценность прошлого осознается с опозданием, задним числом. Как будто Гандлевский пытается оправдать ушедшее постфактум, вчитать, вписать в него смысл, которого в нем или не было, или он проявился только при обзоре с дальнего расстояния. Возможно, это необходимо ему, чтобы в каком-то смысле оправдать самого себя.

Стихотворение, завершающее книгу, служит не просто эпилогом, но своего рода описанием личного поэтического метода, версифицированной энциклопедией стихотворного мира Гандлевского.

всё разом — вещи в коридоре
 отъезд и сборы впопыхах
 шесть вялых роз и крематорий
 и предсказание в стихах
 другие сборы путь неблизок
 себя в трюме а у трюме
 засохший яблока огрызок
 се одиночество само
 или короткою порою
 десятилетие назад
 она и он как брат с сестрою
 друг другу что-то говорят
 обоев клетку голубую
 и обязательный хрусталь
 семейных праздников любую
 подробность каждую деталь
 включая освещенье комнат
 и мебель тумбочку комод
 и лыжи за комодом — вспомнит
 проснувшийся и вновь заснет

Совершенно иначе обстоят дела с его прозой. Собственно, скандальную известность приобрела одна «Трепанация черепа», а драматический опыт — одноактная пьеса «Чтение», года полтора-два назад печатавшаяся в «Звезде», — прошел решительно никем не замеченным. (Эссеистику, как жанр самый тонкий и почти неземной, мы оставляем в стороне.) «Трепанация...», опубликованная когда-то «Знаменем», вызвала бум. О ней судили и рядили, и восхваляли и ругали, пеняя автору, что дал нелицеприятные оценки известным личностям под их собственными именами, не потрудившись нарядить их в каких-нибудь персонажей. Обида понятна — даже те, кого Гандлевский не упоминал вовсе, не могут одобрить самого строителя своего имиджа, и сторонние комментарии тут явно ни к чему. Гандлевский между тем, отвечая на эти обвинения, заметил, что писал об известных литераторах и их деятельности на литературном поприще, частной же их жизни никак не касался, поскольку не знает ее и нисколько ею не интересуется.

Оставляя в стороне этот спор славян между собою как не самый существенный, заметим, что качество самой *прозы*, если говорить о «Трепанации черепа», служит аргументом скорее в пользу оправдания.

«Трепанация черепа» написана на редкость гармонично. Она строится на очень ясной метафоре: человек на пороге возможной смерти просматривает заново свою жизнь, вроде как перебирает фотографии, и что-то пытается в этой жизни разглядеть и, может быть, понять, и, кажется, что-то понимает.

Исповедально-захлебывающаяся интонация (со сноской на качества *современного* исповедника — ироничного и к себе, и к окружающему миру, *внешне* ироничного, по крайней мере, так что исповедальность выходит изрядно при том же и литературно отрефлектированной), в которой выдержана «Трепанация...», — это самый что ни на есть адекватный тон — и для предмета разговора, и для времени, когда этот разговор происходит. Настоящее время требует прямоты высказывания. И определенная прямота в «Трепанации...» есть. То есть в той мере, в какой она доступна изможденному культурным грузом современному писателю, какового этот груз обязывает к настороженному балансу между откровенностью и художественной условностью.

Современный читатель и современный писатель оба слишком много прочли, чтобы быть совершенно простодушными — как Руссо, или наивными — как Диккенс. Чувства, которые мы испытываем, ничем не отличаются от тех, которые испытывали люди и сотню, и тысячу лет назад. И тогда и теперь человек сталкивался с неизбежностью смерти и, стоя перед роковым барьером, всякий раз пытался понять, что мешало переживать каждый миг этого случайного и краткого бытия во всей его полноте. В «Трепанации...» Гандлевский идет тем же путем, что и в стихах, — он оборачивается к прошлому, пытаясь восстановить его полноту теперь, задним числом, вылавливая из него ускользнувший в свое время смысл.

В тексте упомянута картина: изображено два несомещающихся пространства, в одном — женщина прихорашивается перед зеркалом, в другом — мужчина сидит, обхватив голову руками, — «все не то». Гандлевский пробует совместить оба этих состояния в плоскости одного текста. И не то чтобы он делает какой-то поражающий воображение вывод — все не напрасно, «*все то*». Но этот вывод органично вытекает из самого построения текста, поддержанный в первую очередь его собственной художественной природой. Поэтический талант Гандлевского имел в «Трепанации...» прекрасную возможность развернуться во всю силу, потому что такими реалистичными ни выходов ли бы выписанные им сцены и диалоги, сквозь весь этот «реализм» сквозит самая настоящая поэтизация жизни, через которую, кстати, и происходит самое существенное — в данном тексте — ее оправдание.

Гандлевский ищет гармонии — и находит ее. Описывая «свой круг» — богемных шалопаев, — он, может быть, и приукрашивает *действительно бывшее*, отсекая не подходившие для его задачи реальные качества и поступки окружавших его поэтов и собутыльников, опуская мизерательные подробности и умалчивая о том, что было по-настоящему некрасиво. Зато разыскивает в своей пробудившейся после операции памяти все, что может служить ко славе этого круга, — ловкое словцо, неконформизм, забавные сценки. Скорее всего, ему хочется изобразить этот круг столь симпатичным именно потому, что это уже отошедшая в прошлое молодость, потому что теперь он глядит на него извне.

Если смотреть сторонним взглядом, то ничего особенно привлекательного в «Трепанации черепа» не предложено: застолья, похмелья, сдача бутылок, несколько пьяных драк, нелепая пьяная же дуэль, несколько смертей — все по той же причине... И все-таки: «Я имею честь принадлежать, — и сейчас я не паясничаю, а говорю вполне серьезно, — действительно, имею честь принадлежать к кругу литераторов, раз и навсегда обуздавших в себе похоть печататься. Во всяком случае, в советской печати». И это тоже правда этого далеко не идеального круга, и в ней, может быть, кроется его своеобразное достоинство. Несмотря этой фразой начинается пассаж, выводящий в конечном счете к шестидесятиникам, иные из которых признавались, что готовы на все, «только б его не разлучали с читателем». Круг, описанный Гандлевским, был безусловно больным — но и пытающимся преодолеть самые скверные симптомы общей литературной и социальной гнилости.

В прожигании жизни тогда было свое фрондерство. Вряд ли оно оказалось так уж душеполезно само по себе, однако и выбор был не столь велик.

Описывая этот не слишком красивый хоровод бражников и блудниц, Гандлевский отыскивает необходимую интонацию, в которой сливается и его сентиментальная привязанность к былому, и ироническая отстраненность — от него же, и культурный фон, который может оправдать соединение этих разнонаправленных сил, — «там полным ходом продолжался карнавал, потерявший, как учит нас Бахтин, свой всенародный характер. Но и такой, ущербный, он был люб мне, раз он приветил меня».

«Трепанация черепа» заканчивается молитвой. Сергей Гандлевский — пусть не автор, пусть лирический герой — просит у Господа самых простых вещей: хлеба насущного и если не любви, то по крайней мере нормальных отношений с близкими. И еще — чтобы после смерти понять, почему в земной жизни далеко не всему находится объяснение. Это хороший конец. Даже и с точки зрения композиции...

И вот, однако, пьеса. В мастерской бездарной художницы вокруг стола с водкой в ожидании писателя, который придет читать свой опус, какие-то зияющие пустотой личности говорят друг другу ненужные, бессмысленные слова. Он приходит и начинает читать экспозицию к пьесе Гандлевского «Чтение».

Тот же автор, тот же язык. Тот же, кажется, внутренний мир. И вдруг — все не то, все не то. Что случилось? Вернемся к «Критическому сентиментализму»: «Шаткая, двойственная позиция. Есть в ней и высокая критика сверху, и насмешка, а главное — любовь сквозь стыд и стыд сквозь любовь». Чего же не хватило «Чтению», чтобы стать в тот же ряд с «Трепанацией...», со стихами? Да того самого главного — любви. Ни в тексте, ни за текстом. Вот он и получился — писанным умелой рукой, цепкой памятью на словечки и детали, натуральным языком — и совершенно пустым.

В принципе, «Чтение» очень ценная вещь. Она как бы оттеняет все позитивное, что может породить метод Сергея Гандлевского. Она показывает, что мастерство — это еще полдела. Или четверть. Или сколько там. А главное — действительно — не в этом.

Мария РЕМИЗОВА.



ЦЕНОЮ ЖИЗНИ

Марек Хласко. Красивые, двадцатилетние. Повести и рассказы. Переводы с польского К. Старосельской и др. М., «Иностранная литература», 2000, 543 стр. (Серия «Иллюминатор»).

Вышел в свет на русском языке однотомник повестей и рассказов Марека Хласко (1934 — 1969), писателя, имя которого у нас, да и в самой Польше долгие годы оставалось под запретом. Судьба этого молодого прозаика уникальна. Пожалуй, никому из собратьев Хласко по перу не выпадала такая бурная и насыщенная драматическими событиями жизнь.

Он пронесся по литературному небосклону как метеор. Его дебют — сборник новелл «Первый шаг в облаках» — был принят читателями и критиками на ура. Из молодых прозаиков Хласко оказался самым ярким.

Шумному успеху Хласко благоприятствовала и сама атмосфера в польском обществе, возникшая к моменту его дебюта — в 1956 — 1957 годах. В Польше хрущевская оттепель привела к смене всего высшего партийного руководства, на волне широкого общественного подъема к власти пришел Владислав Гомулка, до того времени несколько лет проведенный в заключении. Соответственно догматические принципы соцреализма советского образца были дружно отвергнуты новым руководством Союза польских писателей.

В этих условиях начинающий прозаик с обостренным вниманием к судьбе рядового, заурядного человека, к его «мелким» житейским проблемам и конфликтам пришелся очень кстати. Польским читателям наскучила соцреалистическая преснятина. Первая книга Хласко за короткий срок выдержала три массовых издания

и была удостоена Литературной премии польских издателей как самая популярная новинка 1957 года.

Рассказы Хласко подкупали читателей своей искренностью, исповедальной нотой. Сам автор, выходец из бедной семьи, рано познал грубую изнанку жизни, неустроенность и убогость быта, запомнившуюся ему еще по впечатлениям детства, совпавшего с периодом фашистской оккупации.

Сейчас некоторые из этих рассказов воспринимаются иначе: повседневная жизнь, запечатленная без прикрас, с конфликтными взаимоотношениями персонажей, — это нечто само собой разумеющееся. Но тогда писательское внимание, сосредоточенное на людях, чем-то ущемленных, оказавшихся на обочине жизни, воспринималось как откровение, особенно после пухлых и унылых романов на производственные темы, которые в Польше презрительно именовались «продукцийняками».

Пожалуй, одно из главных достоинств Хласко-новеллиста — его поразительное умение фиксировать живую, разговорную речь действующих лиц. «Ten facet ma usho!» — сказал мне как-то с явным оттенком гордости за своего юного коллегу один из писателей старшего поколения, с которым мы заговорили о феномене Хласко. А смысл этой фразы сводился к тому, что у парня абсолютный слух.

Перечитывая рассказы этого сборника, из нынешней временной перспективы замечаешь, что почти в каждой вещи содержится зерно трагизма. Романтическое, светлое начало рассыпается, никнет при столкновении с пошлой повседневностью. Стремительный «спуск» героя с романтических вершин к реальной прозе жизни заканчивается горьким крушением идеалов.

Вот, к примеру, типичный для Хласко рассказ «Первый шаг в облаках», давший заглавие всей книжке. Где-то на окраине Варшавы в летний воскресный день встречаются парень с девушкой. Укрывшись от посторонних глаз, они занимаются любовью. Парень говорит подружке нежные, возвышенные слова о том, что для него минуты их близости — первый шаг в облаках и т. п. Но их любовное свидание грубо обрывают трое местных мужиков, томящихся в этот воскресный день от безделья. Это они выследили несчастную парочку, жадно вслушивались в ее разговоры, а потом скабресными репликами и грязными ругательствами заставили влюбленных обратиться в бегство, опошлив и оскорбив их чувство.

Нередко получается так, что герои Хласко не могут найти взаимопонимания, они словно говорят на разных языках, не слыша друг друга, хотя ими движет обоюдная сердечная привязанность.

Вот еще один из рассказов Хласко, к сожалению, не вошедший в русский его однотомник. Рассказ называется «Солдат», а в центре его опять молодая пара: женщина, дождавшаяся жениха, и сам он, только что вернувшийся с полей сражений в родные места. Молодые люди гуляют по улицам небольшого местечка, потом выбираются за его пределы, ближе к природе. Женщина грезит о будущем, о семье, о доме, который так хорошо смотрелся бы в этих местах. Но по ходу рассказа обнаруживается, что вернувшийся домой солдат, ее жених, все еще пребывает во власти фронтовых воспоминаний и, по сути, не слышит и не чувствует того, о чем вслух мечтает его невеста. Он, что называется, отравлен войной. С воодушевлением оглядывая окрестность, он, схватив женщину за руку, восклицает:

« — Ты только представь, какое здесь идеальное место для обороны! Можно несколько недель удерживать этот рубеж!..

— Нет! — в отчаянии закричала женщина. — Нет!

Солдат вздрогнул, оживление на его лице погасло. И он впервые с момента возвращения домой увидел, что на этой земле растет рожь, что земля распахана плугом, что люди трудятся на ней, никого не убивая... И внезапно в первый раз за все это время ощутил чудовищную усталость, почувствовал, что он стар и ужасно одинок...»

О Мареке Хласко некоторые польские критики писали как о каком-то бловне судьбы, которого, мол, просто слепой случай вынес на гребень литературной славы, где он, однако, надолго не удержался. Собственно, в подобном тоне прозвучала и наделавшая много шума статья в печатном органе ЦК ПОРП — газете

«Трибуна люду» — «Примадонна одной недели», которая, по сути, отрезала для Хласко возможность вернуться на родину из Франции, куда он поехал по путевке польского Министерства культуры.

Дело еще и в том, что Хласко во время пребывания в Париже нарушил существовавшее тогда табу. Две своих повести — «Кладбища» и «Следующий в рай», — отклоненные польскими издательствами по идеологическим соображениям, он передал «Институту литерацкому» — издательству, которое функционировало при польском эмигрантском журнале «Культура», выходившем под редакцией Ежи Гедройца. А последний для высшего партийного руководства в Варшаве являлся идеологическим врагом номер один.

В результате на долгие годы для Хласко наступили тяжелые времена. В Польше его перестали печатать. Два фильма, снятых по его сценариям, положили на полку. Когда же проштрафившийся писатель поспешил вернуться на родину, в посольстве ПНР в Париже ему отказали во въездной визе, предложив дожидаться соответствующего распоряжения из Варшавы, которое так и не поступило. В конечном итоге Хласко пришлось устроиваться на Западе: он попросил политического убежища в ФРГ, потом перебрался в Израиль к одному из друзей, где вынужден был братья за любую, самую тяжелую, вредную и грязную, работу, ибо его литературный талант в этих краях никого не интересовал, тем более что тематика его произведений была связана с Польшей, ее проблемами.

Хласко заметался, он переезжает из страны в страну — из Израиля в ФРГ, потом в Италию, затем в США и снова в Западную Германию, где его и настигает внезапная смерть: он гибнет от передозировки снотворного (в последнее время писатель страдал от бессонницы), однако некоторые полагают, что это было завуалированное самоубийство. С этой версией, на мой взгляд, трудно все-таки согласиться. Ведь Хласко, которого, как уже упоминалось, называли баловнем судьбы, никогда таким не был, и его нелегко было сломить последующими тяжкими неурядицами.

Во всех устных рассказах о Хласко необходимо, думается, отделять подлинное от недостоверного и случайного, а подчас и явно сочиненного о нем, иногда с его же собственной подачи. Одна из таких устойчивых легенд — что он был человеком богемы, неисправимым алкашом и скандалистом.

Собственно, отголоски этой легенды угадываются и в автобиографической повести «Красивые, двадцатилетние», которая открывает русский однотомник Хласко. В этой повести, часто со щемящей, ностальгической ноткой, писатель вспоминает и живописует свои юношеские загулы с многочисленными литературными и прочими друзьями. Но, пожалуй, не следует все это слепо принимать на веру.

Нужно помнить, что повесть писалась в сложных, порой отчаянно трудных для автора условиях эмигрантской жизни. Работа над воспоминаниями была для него своего рода бегством от действительности, бальзамом, врачующим душевные травмы. Пора юности рисовалась ему в романтической дымке, и эту юность он невольно поэтизировал, изображая ее в лирическом, а иногда и юмористическом ключе. Постоянное же стремление Хласко к перемене мест, переезды из страны в страну — свидетельство того, что и в Европе, и на Ближнем Востоке, а позже и за океаном, где в одной из летних школ США он не без успеха осваивал профессию авиаинструктора, писатель не находил успокоения. В письмах к матери он с горечью признается: «...из года в год я скитаюсь по разным странам, живу в различных отелях, а я уже не молод, и мне хочется иметь где-то угол, где можно было бы собрать все свои книги и знать, что я останусь здесь до тех пор, пока есть такое желание...» В этих письмах к матери, появившихся в печати после смерти их автора, Хласко раскрывается как любящий и преданный сын, который не столько ищет у матери поддержки, сколько сам утешает ее в дни жизненных невзгод. Нетрудно заметить по письмам и то, что Хласко — глубоко верующий человек.

А наряду с этим он творил о себе легенды противоположного свойства, в которых выступал в роли прожженного циника, крутого мужика, даже о матери отзывавшегося, мягко говоря, без должного почтения. Мой приятель, польский писатель Александр Минковский, побывавший в Израиле в начале 60-х годов, рассказывал

мне впоследствии, как разыскал там Хласко, чтобы передать ему от матери то ли привет, то ли письмо (точно уже не помню), и как тот ошарашил его фразой: «Что, эта старая курва не могла мне прислать бутылку водки?» Таким путем он создавал подчас свой «имидж», противоречащий реальному облику.

В принципе же Хласко принадлежал к разряду тех писателей, что способны рассказать только о том, что сами пережили. В этом смысле вошедшие в рецензируемый однотомник повести, условно говоря, израильского цикла, такие, как «В день смерти Его», «Обращенный в Яффе», «Расскажу вам про Эстер», — в сравнении с более ранними вещами что-то безвозвратно утратили.

Конечно, весь жизненный материал, как обычно у Хласко, пропущен автором через себя. В судьбах неприкаянных его героев легко угадывается сам автор. В одной из вещей он даже выступает под собственной фамилией («Обращенный в Яффе»). Но в «израильских» повестях отсутствует тот живой разговорный язык, неповторимый варшавский жаргон в речах персонажей, который был неотъемлемым атрибутом его прежних произведений. По сути те же, герои Хласко здесь вырваны из родной почвы. При этом писатель опускает своих маргинальных героев еще ниже по социальной лестнице. Это уже профессиональные преступники, сутенеры, вымогатели, киллеры, проститутки, но выступают они, так сказать, на фоне библейского пейзажа. Естественно, подобный пейзаж придает известную экзотичность повествованию. Но не более того. Язык персонажей здесь нарочито стертый, безликий, что, впрочем, и закономерно: они съехались сюда из разных уголков земли и объясняются между собой на некоем усредненном волапуке из английских, русских, еврейских и польских слов.

Основу сборника, однако, составляет, как уже говорилось, автобиографическая повесть Хласко. Написанная за два-три года до его внезапной кончины, она в этом томе воспринимается как итоговая в его творчестве. Сам тридцатидвухлетний автор, заканчивая эту вещь, не без иронии замечает, что он еще молод и писать мемуары ему рановато. Но судьба распорядилась иначе. Более ничего крупного создать он не успел. При этом Хласко сумел многое рассказать «о времени и о себе»...

В одном из первых печатных откликов на этот том прозы Хласко («Ex libris НГ», 2000, 29 июня) его автобиографическую повесть сравнивают с плутовским романом, а самого автора видят таким «польским Довлатовым». По-моему, и то и другое утверждение абсолютно неверно. Плутовской роман должен изобиловать комическими положениями и сценами, здесь же преобладают эпизоды, исполненные драматизма, а нередко и трагизма. Довлатов, конечно, замечательный и обаятельнейший прозаик, но Хласко при всем том более глубокий психолог, находящийся под сильным влиянием Достоевского, чего он, кстати, и не скрывает...

Марек Хласко, сам того не желая, оказался жертвой большой политики. К моменту, когда Хласко отправился в Париж, гомулковский курс на определенную демократизацию страны начал существенно меняться. Самая популярная в те времена газета «По prostu», в которой Хласко, кстати, начинал как очеркист, газета, которая активно поддерживала Гомулку, позже по его же указанию была закрыта. Партийным властям этого показалось мало. Чтобы остудить критический пыл польской прессы, поспешили закрыть и объявленный к выпуску, но так и не увидевший света журнал «Европа». В нем Хласко должен был возглавлять отдел прозы, а быть главным редактором — Ежи Анджеевский, автор романа «Пепел и алмаз».

В этой ситуации «проступок» Хласко пришелся для властей очень кстати. По «баловню судьбы» ударили. Удар был нанесен наотмашь. В газетных статьях содержался весь джентльменский набор тогдашних идеологических «страшилок»: «агент ЦРУ», «американский шпион», «литературный отщепенец».

Хласко наказали, можно сказать, дважды. Ему не только не разрешили вернуться на родину, но попытались вообще вычеркнуть из польской литературы. Даже после его скоропостижной смерти в Висбадене 14 июня 1969 года над ним еще свыше полутора десятилетий тяготел заговор молчания. Казалось, было сделано все, чтобы вытравить из памяти нескольких поколений читателей имя Марека Хласко. И вот результат: когда в начале — середине 80-х его «Избранные произведения» (сначала в четырех, а потом в пяти томах) вышли в свет, то пятитомник

«литературного отщепенца» за короткое время выдержал два переиздания. Получилось так, как сказано в одном из писем к матери самим Хласко. Сообщая ей, что не намерен больше униженно вымаливать прощение у властей, он пишет: «Надо уметь ждать, сохраняя достоинство, мужество и надежду...» И он дождался своего часа — правда, ценою жизни.

Сергей ЛАРИН.



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ

Олег Проскурин. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., ОГИ, 2000, 368 стр.
(«Материалы и исследования по истории русской культуры». Вып. 6).

«Книга, которую держит в руках читатель, не вполне обычна по теме, жанру и названию и потому требует некоторых предварительных пояснений», — этими словами открывается книга Вадима Эразмовича Вацура «Записки комментатора». Эти же слова в большой степени относятся и к книге О. А. Проскурина, посвященной памяти недавно ушедшего от нас замечательного ученого.

Жанр исследования Проскурина определить и вправду не просто. В том вошли девять «этюдов» разных лет (или, как называл эту форму Ю. Г. Оксман в письмах к М. К. Азадовскому, «исследования-миниатюры»), пять из которых печатаются впервые. Однако перед нами и не сборник статей, и не монография. Это своего рода комментарий — комментарий не к конкретным текстам (хотя и к ним тоже), а к эпохе. Точнее всего об этом сказано опять же у Вацура: «В расхожей чеховской формуле „важен не Шекспир, а примечания к нему” ирония, право, напрасна: без „примечаний” неискушенный читатель вряд ли что-нибудь поймет и в самом Шекспире, — или, что еще хуже, поймет совершенно превратно, о чем не будет даже догадываться... Подобно археологу, историк литературы должен осторожно и кропотливо раскапывать целый культурный слой, сохраняя то, что ему оставила история, и не привнося в него чуждых ему элементов».

Именно этим «филологическим раскопкам» и посвящена книга.

Вместе с тем рассказ об этих «раскопках» ведется автором (сознательно или нет) в жанре детектива: каждый из девяти этюдов — не только исследование филолога и комментатора, но и своеобразное расследование. Выбор жанра оправдывается ходом мысли, построением «повествования», структурой проскуриных этюдов: вначале задается вопрос («Кого и зачем цитировал адмирал Шишков...», «За что Константин Батюшков не был принят в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», «Почему в „Вестнике Европы” смеялись над покойником...»), затем собираются все, на первый взгляд, самые незначительные детали — «улики», из которых начинает складываться контекст; иногда могут демонстрироваться ложные ходы «расследования» (развенчание литературоведческих и исторических мифов — одна из важнейших установок книги), и наконец, после долгих перипетий, на глазах увлеченного читателя совершается открытие.

Жанровая сложность «Литературных скандалов...» во многом определяется и темой, которая также требует «предварительных разъяснений»: «Предлагаемые вниманию читателей очерки посвящены в основном той сфере, которую принято называть „литературной жизнью” или, в русской традиции, „литературным бытом”».

Определить понятие «литературный быт» не так просто, как может показаться, и дело здесь в том, что отношения между различными «культурными рядами» постоянно меняются, о чем писал еще создатель самого понятия — Б. М. Эйхенбаум: «В одни эпохи журнал и самый редакционный быт имеют значение литературного факта, в другие такое же значение приобретают общества, кружки, салоны». Проскурин выбирает такую эпоху (вернее, «эпохи» — «карамзинскую» и «пушкинскую»), когда все это играет решающую роль в формировании литературы. Школьные курсы истории русской словесности посвящены только творчеству крупных писателей — «генералов» и не учитывают деятельность других менее известных и

талантливых сочинителей, не учитывают внутрилитературные связи, литературную полемику, вопрос читательского ожидания — одним словом, учебный курс не включает, быть может, самое интересное — механизм создания литературного произведения, тот «котел», в котором создаются будущие крупные писатели. Именно это называется «литературным бытом», и именно этому посвящена книга.

Проскурин рассматривает проблему изучения «литературной жизни», сформулированную формалистами еще в двадцатые годы, разумеется, учитывая и работы Ю. М. Лотмана о «поэтике бытового поведения», и исследования западных структуралистов и представителей школы «нового историзма», но очевидного предпочтения не отдает никому. За исключением одного ученого — В. Э. Вацура.

Практически одновременно с выходом книги в сорок втором номере журнала «Новое литературное обозрение» появилась статья Проскурина «Две модели литературной эволюции: Ю. Н. Тынянов и В. Э. Вацура», которая может служить своего рода предисловием к «Литературным скандалам». Объединяет всех трех исследователей мысль А. Кизеветтера: «Литературное движение... было гораздо более дробным и изобиловало осложнениями, которые далеко не укладывались в вышеуказанную рамку (борьбу классицизма и романтизма. — Ф. Д.)». Однако если Тынянов предлагает другую, пусть и более осложненную, схему, то Проскурин вслед за Вацура вообще отвергает «схематизм и редукционизм» и отказывается от «статичности в осмыслении компонентов эволюционной модели». Для него главным оказываются «безделки», «мелочи из запаса памяти». И если для Тынянова, полагает Проскурин, «настоящее искусство — это искусство сдвинутых конструкций, больших форм, ораторского слова, грубых вещей, шероховато затрудненного выражения, то есть искусство, ликвидирующее всю эту мелочь и весь этот „эстетизм“», то его книга — именно об этом «соре» и «эстетизме», о «скандалах». Тыняновскую схему литературного развития (противостояние карамзинистов и шишковистов) Проскурин дробит до предела.

Название своей книги автор, очевидно, позаимствовал у того же Тынянова: «Архаисты с их борьбой против эстетизма и маньеризма были, так сказать, прирожденными полемистами, причем полемические их выступления принимали обычно форму скандала. Литературные скандалы закономерно сопровождают литературные революции». Но для Проскурина «скандалистами» являются как раз карамзинисты, члены литературного общества «Арзамас», с выступлениями которых «ни одно из выступлений „младоархаистов“ не сравнится по степени скандального резонанса и по степени влияния на литературную жизнь эпохи». «Арзамасоцентризм» «Литературных скандалов...» очевиден, он определяет и сам выбор материала — текстов, прежде всего связанных с литературной игрой.

Проскурин пишет: «Значительная часть историй, рассказанных в этой книге, посвящена литературно-журнальным полемикам». Кому-то это может показаться малосущественным и не имеющим отношения к «великой русской литературе». Однако, не говоря уже о том, что подобные филологические расследования бесконечно увлекательны, без них мы никогда не поймем, «откуда пошла есть» русская литература, ведь именно «в сердцевине этого клубка — серьезные литературно-эстетические разногласия, свидетельствующие о чрезвычайно сложных и динамических процессах, происходивших в недрах литературы».

Итак, в книге девять историко-литературных очерков (или новелл, или записок комментатора). Первый из них — «У истоков мифа о „новом слоге“» — посвящен одному из важнейших текстов эпохи — «Рассуждению о старом и новом слоге Российского языка» А. С. Шишкова. Как показывает Проскурин, миф о «новом слоге» создает Шишков, говоря о «множестве», «сотнях» книг, из которых он якобы приводит примеры «нового слога» — «несвойственных языку нашему речей». Проскурин впервые устанавливает источник цитат, которые приводит автор «Рассуждений о старом и новом слоге», — это книга забытого ныне литератора-любителя Александра Васильевича Обрезкова, в 1802 году издавшего свое удивительное произведение — «Утехи меланхолии»¹. Плодовитый Александр Васильевич воспро-

¹ У Проскурина он значится А. Ф. Обрезков, как ошибочно было напечатано на титуле «Утех меланхолии».

изводит ряд традиционных, модных сентиментальных тем, создает образ героя-меланхолика, который ходит по «нагому элементу» (осенняя земля) и «нежится в ароматических испарениях всевожделенных близнецов»... Шишков, выдавая подобное курьезное сочинение за образцы вредного «карамзинизма» (представители которого сами готовы были исползовать незадачливое сочинение для «возбуждения здорового смеха, для благорастворения селезенки»), тем самым хитрит — дискредитирует истинных карамзинистов. Так с помощью своего рода фальсификации создается миф о «новом слоге» и манерном карамзинизме, «успешно заместивший собой историческую реальность». Достаточно важно, что книга открывается этим «апологетическим» этюдом: демонстрируя «подлог» Шишкова и показывая происхождение «карамзинского» мифа, автор тем самым разрушает и миф научный...

Разнообразие действующих лиц, появляющихся в других главах, способно создать у читателя ощущение собственного присутствия в «пушкинской эпохе»: юный Константин Батюшков, пока лишь только «наплывающий на русскую поэзию» и пытающийся пробиться в «большую литературу» — стать членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств; тайные интриги в этом обществе (настолько тайные, что появился целый исследовательский миф, который развенчивает Проскурин); А. Е. Измайлов с тремя полемическими баснями, в подтексте которых стоит целая история с участием Шишкова, С. Глинки и князя Шаховского — история, в которой домашняя жизнь XIX века «превращается в своего рода литературные факты, заставляя и их служить задачам литературной борьбы»; Вильгельм Кюхельбекер, со своим неожиданно резким выпадом против того же Измайлова и его журнала «Благонамеренный»; Николай Остолопов с бесконечным набором всевозможных литературных игр, которые вдруг становятся тесно связаны с текущей политикой; жестокие эпиграммы (вместо эпитафий: «Нет спора, что Бибрис богов языком пел. / Из смертных бо никто его не разумел») Вяземского и Батюшкова, появившиеся после смерти талантливого (однако принадлежавшего к лагерю шишковистов) поэта Семена Сергеевича Боброва — «Бибриса» — и надолго определившие его литературную репутацию...

Казалось бы: кому, кроме немногих специалистов, могут быть интересны все эти подробности, эти люди, которых давно уже нет на свете, давно отшумевшие свое журнальные споры? Но Проскурин так строит свои «новеллы», так закручивает сюжет, что невозможно закрыть книгу, не узнав, что же имел в виду Пушкин, когда писал: «Не мадригалы Ленский пишет / В альбоме Ольги молодой; / Его перо любовью дышит, / Не хладно блещет остротой...» И почему «домашний» журнал «Благонамеренный», издаваемый Измайловым, так и не смог поладить с журналом Николая Полевого «Московский телеграф» и что из этого вышло. И какая литературная игра заключена в блестящей арзамасской речи будущего министра просвещения С. С. Уварова — речи, наполненной массой аллюзий, показывающей, что за подобными «безделками» стоит целое литературное направление, влияние которого было гораздо серьезнее, чем может показаться. И наконец: каким образом «лидер революционных демократов» Виссарион Григорьевич Белинский оказался связан с Третьим отделением и какие, действительно, «революционные» (хотя и небеспорные) выводы можно сделать, увидев в «железном» веке — сороковых годах XIX столетия — отражение и возвращение «пушкинской эпохи»... Последняя мысль, кстати, не только многое проясняет в истории литературы, но и «выдает» самого Проскурина: своего рода «тоска» по пушкинской эпохе ощущается на протяжении всей книги, «тоска» по «арзамасскому братству».

На фоне несметного количества сочинений, посвященных пушкинскому юбилею, книги Проскурина резко выделяются: он не спекулирует на фигуре Пушкина и его современников, не стремится обнаружить в их стихах отражения национальной идеи или свидетельство величия «родных пенатов». В вышедшей чуть раньше книге «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест» (М., «Новое литературное обозрение», 1999) Проскурин выступает как осведомленный читатель, демонстрирующий остальным, что решающее влияние на Пушкина оказывали тексты, которые возникали в его окружении, тексты, наиболее близкие по времени. А теперь этот же осведомленный читатель показывает, сколь велико влияние литературного быта на развитие словесности. Важнейшая идея, объединяющая обе книги, — «ма-

нифестация литературности». Значение этой идеи Проскурин старается пояснить во вступительной статье к «Литературным скандалам пушкинской эпохи». Однако если в «Поэзии Пушкина...» подобное теоретическое введение действительно необходимо, то в «Литературных скандалах...» его появление достаточно неожиданно, ведь в этой книге практически нет ничего нового в смысле теории. Дело в том, что, четко очерчивая расстановку сил в современном литературоведении, Проскурин стремится определить и свое место в нем: «Сводя в книгу очерки разных лет, я не без некоторого удивления обнаружил, что мои устремления прямо противоположны тем подходам, что господствуют сейчас и в западной неомарксистской методологии, и в отечественной „либеральной“ литературной социологии». Между тем, как мне представляется, в гораздо большей степени положение, которое занимает Проскурин в современном литературоведении, определяется посвящением книги памяти Вацуру. И Проскурин, продолжающий традицию Вацура — Гиллельсона (а в каком-то смысле и «Бесед о русской культуре» Ю. М. Лотмана), проливающий «умственные плотины», во многом оказывается наследником автора «Записок комментатора».

Пересказывать проскуринские «этюды» дело неблагодарное — такое количество деталей, неожиданных поворотов и «подводных течений» они в себе заключают. Однако в какой-то момент может возникнуть вопрос: насколько целесообразно заниматься «газетно-журнальной шумихой» (по выражению М. М. Бахтина) и «литературной болтовней»? Чем объяснить выбор именно этих «сюжетов» для исследования? Как оправдать подобную, казалось бы, «игру в бисер»? А ее и не надо ничем оправдывать. В какой-то момент действительно замечаешь, что Проскурин, делая те или иные выводы, основывается лишь на одном, прямом, или же на нескольких косвенных доказательствах. Однако за подобной «игрой» стоит достаточно серьезная идея, в принципе та же, что и в книге «Поэзия Пушкина»: «Изучение литературного быта... намечает перспективы не для демистификации литературы, не для редукции ее до пункта пересечения противоборствующих социальных сил, а для изучения путей „текстуализации“ культуры — явления, осмысление которого является насущной задачей современных гуманитарных дисциплин».

А потому столь важны, сколь и интересны записки комментаторов, пытающихся, по словам Вацура, «восстановить по крупницам духовный мир прошлого, запечатленный в литературе».

Филипп ДЗЯДКО.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

+8

Русская кавafiана. В трех частях. Составитель С. Б. Ильинская. М., ОГИ, 2000, 656 стр.

Тихо, почти незаметно вышло первое русское издание Кавафиса: 1984 год, небольшая книжка стихов (он вообще написал немного — в «каноническом своде» 153 стихотворения) «галантливого, но, к сожалению, практически неизвестного в России греческого поэта, жившего в Александрии», — так сообщили бы в аннотации. Имидж для тогдашней публики практически никакой. И вот через шестнадцать лет второе, уже триумфальное издание его стихов. Одно название этого монументального тома чего стоит: «Русская кавafiана!» В томе три части: стихи (все стихи Кавафиса), очерк жизни и творчества, написанный С. Ильинской (по объему и степени проработанности материала — монография), и в третьей части — впечатляющее собрание статей и эссе, посвященных великому александрийцу (ав-

торы: Р. Якобсон, П. Колаклидис, Иосиф Бродский, В. Н. Топоров, С. Б. Ильинская, Т. В. Цивьян).

Контекст для столь эффектного «явления Кавафиса русскому читателю» постепенно вызрел в слове «Средиземноморье», ставшим за эти годы необыкновенно популярным. Культурный слой, охваченный этим понятием, почти беспределен — от египетских папирусов, от Ветхого и Нового Завета, от Блаженного Августина до Пикассо и Гауди. Если не вся наша европейская культура вышла из средиземноморской, то язык, на котором она говорит, уж точно оттуда. А до чего красив и эффектен, как «эстетичен» этот средиземноморский миф! В нем для каждого найдется свое — от аляповатого Семирадского или лубка с Платоном и Сократом (Сенеккой с Луцилием), прогуливающимися в беседах «под миртами», до графики Миро, романов Камю, фильмов Висконти. Короче, слово это обречено было перейти из лексикона специалистов по истории культуры в культовый жаргон новейшей генерации интеллектуалов, озабоченных своей эстетической продвинутостью. Слово «Средиземноморье» стало почти обязательным в нынешних эстетических декларациях. От собрания поэтов и книжников (культурологов и литературоведов) на крыше дома Ольги Медведевой в Иерусалиме — собрания, оформленного манифестом Александра Гольдштейна, похожим на культурологическую поэму, до нашего вполне московского «Крымского клуба». Даже в манифесте «Ферганской школы» декларируется опора на эстетику Средиземноморья (знать бы, что это такое!). Мало кто из нынешних поэтов рискнет сегодня не процитировать древних хотя бы в эпиграфе — античные имена и библейские образы развешаны в стихотворных строчках, как елочные игрушки.

Естественно, что ситуация потребовала персонификации понятия в какой-то фигуре. И похоже, фигурой такой становится Константинос Кавафис, проживший практически безвыездно свою «бессобытийную внешне и драматичную внутренне» жизнь в средиземноморской Александрии; удаленный, но не слишком (1863 — 1933) во времени; не изведавший не только славы, но даже мало-мальски достойной его известности. «Мифологические возможности» этой фигуры отчасти реализовал Лоренс Даррелл, как бы подсветивший созданный в «Александрийском квартете» образ города недавним присутствием в нем гениального поэта с глухой славой.

Имя Кавафиса в последнее время начало становиться у нас чем-то вроде пароля для посвященных — именем легенды о поэте, подарившем поэзии современный язык средиземноморской культуры, язык почти универсальный (здесь кивают на Бродского, заметившего, что переводы из Кавафиса почти не уступают оригиналу, скорее наоборот, что таково свойство его поэзии).

И нынешнее явление Кавафиса под стать его сегодняшней легенде: оно вполне респектабельно (книга вышла под патронажем кафедры византийской и новогреческой филологии МГУ, а также Министерства культуры Греции) и при этом выглядит более чем «продвинуто» (издана книга самым престижным и модным московским «проектом ОГИ»).

...И если слышится в сказанном мною выше какая-то ирония, то это над собой. Я и сам увлечен и заморожен «Средиземноморьем» во всем его «дискурсе» — от Семирадского с Сенеккой до Лоренса Даррелла. А выход этого великолепно — во всех отношениях — изданного тома Кавафиса действительно считаю культурным событием.

Афанасий Куликов. Книга о художнике. Автор текста Олег Хромов. Макет и художественное оформление Игоря Балашова. Автор концепции Дмитрий Бакатин. Составители Д. Бакатин, Е. Лесин. М., «Белый берег», 2000, 184 стр.

Это книга о страшной и одновременно обыкновенной судьбе русского провинциального художника в первой половине XX века. Провинциального только по месту проживания (город Малоярославец). Афанасий Куликов, ученик Серова и Коровина, оказался достойным охранителем в малоподходящие для этого времена культуры русской пейзажной школы начала века (Жуковский, Остроухов, молодой Юон). «Страшная судьба» — это по нашим сегодняшним меркам; по временам,

когда жил Куликов, — почти благополучная: не расстреляли, не сгноили в лагере, а поводы были, приходилось писать и что-то вроде объяснительных записок в компетентные органы; реализовался, конечно, не полностью, но кому это тогда удавалось (посмотрите на живопись баловня судьбы зрелого Кончаловского — грустное зрелище), а Куликов мог даже позволить себе роскошь защищать внутреннюю свободу художника: при своей почти нищей и социально бесправной жизни, в одиночку тащивший на себе дом и большую семью, нашел в себе мужество отказаться, например, от чести возглавить после смерти Грекова его мастерскую батальной живописи. Нет, пожалуй, не страшная — обычная жизнь русского художника в советское время. Крестьянский мальчик, ушедший на заработки в город, упорством и непомерным трудом пробивающийся в художники, сначала иконописные мастерские, потом ВХУТЕМАС с учебой у лучших художников России. Была еще запланирована поездка в Европу для самоусовершенствования, но не пришлось: начавшаяся война, а потом революция заперли его в Малоярославце практически на всю оставшуюся жизнь. Трудную, скудную на житейские, но отнюдь не на творческие радости. Свидетельство — его полнокровная, открытая радости жить живопись не только молодой горячей поры, но и конца сороковых — глухих и тяжелых лет надорвавшегося в борьбе с обстоятельствами художника (одним из последних эпизодов была история с гонораром за двухлетнюю работу над росписями Елоховского собора в Москве: долго оттягивавшуюся выплату работодателя произвели как раз в день объявления денежной реформы).

Книга замечательна во многих отношениях. Прежде всего она впервые представляет так широко Куликова-живописца (а не только графика, создателя своеобразного стиля «советского лубка» 20-х годов, каковым он был известен искусствоведам), и потому главный ее автор, разумеется, сам Афанасий Куликов. Соавтором же этой книги я бы назвал автора ее проекта Дмитрия Бакатина — правнука художника, ставшего в наше время генеральным директором одной из крупных инвестиционных компаний и нашедшего для своего замысла искусствоведа, художника, издателя («Пришло время и для моей семьи собирать камни»). Приглашенный для этой работы искусствовед Олег Хромов выполнил свою работу безупречно, начав ее фактически с нуля — с разбора вместе с сыном художника (и тоже художником) Владимиром Куликовым семейных архивов, записи воспоминаний родственников, изучения хранящихся в семье работ Афанасия Куликова. Да и сама по себе книга — произведение искусства, и полиграфического и дизайнерского.

Марк Твен. Записные книжки. Перевод с английского А. Старцева. М., «Вагриус», 2000, 110 стр.

Одна из трех выпущенных «Вагриусом» в его новой серии «Записные книжки» (см. ниже), книга адресована не только специалистам-филологам, но и так называемому широкому читателю. В некотором роде эксперимент. Трудно сказать, согласился ли бы, ознакомившись с выборкой, сделанной в свое время его биографом А. Пейном, на публикацию такой книжки сам автор. Скорее всего — да. У Твена всегда была закуска профессионального газетного фельетониста, и он вполне оценил бы «газетную стоимость» этих записей. Записи его — это в большей степени рабочие наброски писателя Марка Твена, а не дневник Сэмюэля Клеменса. В них почти не чувствуется интонации дневника, большинство записей имеют черты самостоятельной прозаической миниатюры: «Из всех божьих созданий только одно нельзя принудить к повинению — кошку. Если бы можно было скрестить человека с кошкой, это улучшило бы людскую породу. Но повредило бы кошкам». Записи путевых впечатлений тоже выполняются в фирменном твенновском стиле: «У геттингенских студентов страшно изуродованные лица. Встретишь человека и не знаешь, ветеран он франко-прусской войны или просто получил высшее образование». Даже самое личное, домашне-интимное записывается так, как если бы автор, сидя в зрительном зале, рассматривал себя на сцене: «С утра дал клятву, что не буду браниться. Утро провел на палубе, наблюдая восход солнца. Тихое умиротво-

ряющее зрелище. Сошел в каюту, умылся, надел чистую рубашку, побрился... ни разу не выругался! Собрался идти завтракать. Вспомнил о микстуре сам, без подсказки... Налил микстуру, держа бутылку в одной руке, мензурку — в другой, а пробку в зубах. Продолжая держать мензурку, потянулся, чтобы взять стакан. Уронил мензурку. Поднял мензурку, снова налил микстуру, поставив предварительно стакан на умывальник. Только налил, пароход качнуло... мой стакан разлетелся вдребезги, дно, впрочем, осталось цело. Поднял его, чтобы выкинуть в иллюминатор: выкинул вместо него мензурку. Тут я дал себе волю. Миссис Клеменс, стоя в дверях, наблюдала всю эту сцену: „Лучше не старайся, все равно тебе не исправиться”».

Антон Чехов. Из записных книжек. Составление и предисловие Т. Кореньковой. М., «Вагриус», 2000, 110 стр.

Самая распространенная характеристика записных книжек Чехова: записи, содержащиеся почти в образцовом порядке, что-то вроде мастерской художника, куда посетителю можно приглашать. Что мастерская, это очевидно, здесь мы найдем записанные в две-три фразы сюжеты знаменитых ныне рассказов («Крыжовник», «Душечка», «Анна на шее» и др.), множество фраз и высказываний, которые мы уже встречали в чеховской прозе. Но вот пригласил бы хозяин по своей воле гостей в эту мастерскую, далеко не очевидно. Думаю, не пустил бы: получив предложение «Вагриуса» издать свои записные книжки отдельной книгой для чтения, отказался бы. Причин было бы несколько. Прежде всего стилистическая (а значит, и художественная) недоработанность текста (сравниваю с тем, что Чехов отдавал в печать), непроясненность для постороннего мысли, которую имеет в виду автор («Чем культурнее, тем несчастнее»), или вот такие, вырванные из определенных контекстов, выглядящие нестерпимо общими прописными истинами максимы: «Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически».

Главная же причина — это изначально записывалось и предназначалось только для себя. Записные книжки Чехова похожи на мастерскую, в которой шла: а) первичная писательская работа, б) постоянная работа душевная, так сказать, самостроительство. Очень трудно избавиться от ощущения, что автор как бы примеряет на себя содержащееся вот в таких записях: «Он сам иногда ловил себя на самодурстве», «Крестьяне, которые больше всех трудятся, не употребляют никогда слова „труд”». Или обращенное, несомненно, к себе:

«Любить непременно чистых — это эгоизм; искать в женщине того, чего нет во мне, — это не любовь, а обожание, потому что любить надо равных себе».

«Боже, не позволяй мне осуждать или говорить о том, чего я не знаю и не понимаю».

Беда этой книжки еще и в отсутствии комментария — хотя бы предположений, относится ли, по мнению составителя, очередная запись к личным заметкам или это заготовка для характеристики какого-то из будущих персонажей. Различать это принципиально важно, когда встречаешь такие, например, фразы: «Ездить с женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром» или «Голодная собака верует только в мясо». Разумеется, чтение этих записных книжек волнует не только, так сказать, «литературоведческим» волнением, — интимная «домашность» записей (достаточно сравнить их с письмами Чехова, в которых он несравнимо опрятнее, вывереннее и в слове, и в душевном жесте) тем не менее придает удивительную энергию и убедительность суждениям, в других контекстах способным произвести впечатление выспренных:

«Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела».

«Умирает в человеке лишь то, что поддается нашим пяти чувствам, а что вне этих чувств, что, вероятно, громадно, невообразимо высоко и находится вне наших чувств, остается жить».

И все же, читая эту книгу подряд, я испытывал чувство неловкости. Место этим записям в 17-м томе восемнадцатитомника издательства «Наука».

Альбер Камю. Записные книжки. Перевод с французского О. Гринберг, В. Мильчиной. Составление, предисловие, примечания С. Стахорского. М., «Вагриус», 2000, 206 стр.

В отличие от Марка Твена, для которого записная книжка — как бы продолжение газетного листа, или Чехова, продолжавшего в записях для себя душевную и писательскую работу, записные книжки Камю по тональности похожи на письмо к другу, очень близкому, очень избранному. Здесь Камю и блистательный стилист, и обаятельный сердечный собеседник, и трудолюбивый, тщательно выстраивающий мысль философ. Формулировки его не беглы или небрежны, они отточены (школа французских литературных традиций, где эссеистика и афоризм не на последнем месте); даже самые универсальные, безразмерные понятия выглядят наполненными: «Оправдание абсурдного мира может быть только эстетическим».

Или: «Смысл моего творчества: такое множество людей лишены благодати. Как жить без благодати? Нужно приложить усилия и сделать то, чего никогда не делало христианство: заняться проклятыми». С самим собой так не говорят, предполагается гипотетический слушатель, конфидент. Он и присутствует между строк, поддерживая интонацию доверительного сообщения и часто останавливая автора у опасной черты, за которой — шеголяние эффектностью парадоксально выстроенных максим: «Любовь, которая не выдерживает столкновения с реальностью, — это не любовь. Но в таком случае неспособность любить — привилегия благородных сердец».

Новой, принадлежащей уже нашим литературным временам, выглядит в записях Камю сосредоточенность на собственно литературе и вопросах эстетики. Разумеется, о ремесле своем писали и старшие, но писали более скупое, более, если можно так выразиться, целомудренно. В записях же Камю чуть ли не каждое пятое высказывание порождает именно писательская рефлексия. И, разгоняясь на этой волне, писатель простодушно выговаривает иногда вещи, о которых лучше бы помолчать: «Проблема заключается в том, чтобы обрести (вернее, выстрадать) умение жить, а это труднее, чем приобрести умение писать. В конечном счете великий художник прежде всего тот, кто постиг великое искусство жизни...» Но если это для пишущего проблема, то почему он вообще пишет? Постановка вопроса почти комичная по степени саморазоблачения, если логически продолжить и мысль и интонацию, неизбежной станет рекомендация учиться жить, чтобы потом об этом писать.

Слава богу, к Камю это не относится — судя по тому, как он писал, сам процесс жизни ему удавался вполне:

«Небо голубое, поэтому заснеженные деревья, склоняющие свои белые ветви низко-низко надо льдом, кажутся похожими на цветущий миндаль. В этом краю глаз не может отличить весну от зимы. У меня роман с этим краем, иначе говоря, у меня есть причины и любить его, и ненавидеть. А с Алжиром все наоборот — я люблю его беспредельно и сладострастно отдаюсь этому чувству. Вопрос: можно ли любить страну, как женщину?»

Похоже, что для «Записных книжек писателя» как самостоятельного литературного жанра интонация доверительной беседы автора с другом самая плодотворная — позволившая Камю сочетать стилистику эссе, философской максимы и приемы художественной (исповедальной, лирической) прозы. Из трех книг, выпущенных «Вагриусом» в серии «Записные книжки», книжка Камю в отличие от книг Марка Твена и Антона Чехова выглядит самодостаточной, то есть не требующей для восприятия дополнительного контекста.

Лариса Шульман. Чего уж там... Повести и рассказы. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 364 стр.

Вернуться к этой книге, уже упомянутой нами в «Библиографических листках» (2001, № 1), заставили некоторые соображения о стилистике современной — да и вообще художественной — прозы. Видно, как много культуры и труда вложено автором в повести и рассказы раздела «Блаженные картинки XX века — бредовые картинки XX века», названные в аннотации к этой книге «экспериментальными», —

гротеск психологический, исторический, стилистический, с элементами литературной пародии и кавээновского капустника. Это все приемы остранения, использованные для выявления внутреннего содержания уже как бы известного литературе жизненного материала, попытка достичь первичности. И читается эта проза с интересом и сочувствием к усилиям одаренного прозаика. Но вот я дохожу до выделенного в отдельный блок цикла «Северные рассказы», и что-то странное происходит с восприятием — то, что я только что прочел, и, повторяю, прочел с интересом, и что, видимо, издательство сочло достоинством выпускаемой книги (неожиданность, экспериментальность в использовании «экспрессивного речевого потока, скороговорки, сказа»), начинает вдруг выцветать и казаться, страшно вымолвить, литературной вторичностью. Потому что все это: и острота и неожиданность, свежесть и первоизданность изображаемого мира — вдруг возникает под пером писателя словно без каких-либо дополнительных усилий в ее «Северных рассказах». Здесь почти нет (точнее, не чувствуется) литературных приемов остранения — изображается вроде бы самое обычное, заурядное, и делается это как бы «в лоб». Скажем, высадка пассажира с теплохода на берег северной летней ночью и необязательный, случайный, в сущности, разговор с деревенской соседкой («Легкие руки»). Но отпущенное здесь писателем на волю собственное проживание и видение этого «житейского сора» делает картину почти фантастической. То есть чем истовее, честнее, подробнее описывается «в лоб» это обыденное, тем необыкновенней оно становится. Не бывает двух явлений одинаковых, жизнь всегда неожиданна — трюизм, но попробуйте дотянуться до его полноценного художественного воплощения, попробуйте избавиться от наработанного литературного — не языка, а взгляда. Точнее, не избавиться, а подчинить себе и своему. В рассказах этих Шульман отнюдь не выглядит литературно-простодушной, наивно-простоватой. Для того чтобы вот так, «простой», «описательной прозой», достичь эффекта такой значительности, нужны и настоящая культура, и по-настоящему талантливая рука.

Курт Воннегут. Времятрясение. Роман. Перевод с английского В. А. Обручева, И. В. Свердлова. М., ООО «Фирма „Издательство АСТ“», 2000, 288 стр.

Последняя из прозаических книг писателя, изданная в США в 1997 году, — воннегутовский вариант лирико-философской автобиографической прозы с элементами фантастики, иронии. Повествование писатель ведет в соавторстве-диалоге с Килгором Траутом, своим алтер эго из прежних книг. Вполне реальный жизненный материал уложен в рамки игры с художественным временем. Закадровым обстоятельством, определившим стилистику повествования, характер чувствования, строй мысли, стал некий катаклизм, завихрение в пространственно-временном континууме, который перебросил повествователя из 2001 года в 1991-й, и писатель (вместе с читателем) проживает эти годы как бы заново, как бы вспоминая его, это десятилетие, прожитое-написанное, в жанре дежа вю. Автор обнаруживает, что ничего изменить не в силах; даже зная заранее о тягостных последствиях того или иного поступка, нельзя избежать его повторения, то есть каждый обречен на ту жизнь, которую проживает, — это может быть и мучительным испытанием, но менять здесь ничего не следует.

Владимир Матусевич. Записки советского редактора. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 256 стр.

Внутриредакционная, а значит, внутрилитературная жизнь конца советской эпохи, наблюдавшаяся из редакций журналов «Наш современник» (1978 — 1981) и «Октябрь» (1981 — 1984), издательства «Советский писатель» (1986 — 1992). Типы, сюжеты, стиль отношений, идеология, быт. Чтение шокирующее. Персонажи книги — в большинстве своем по-прежнему действующие лица на литературной сцене. Но это не книга разоблачений, это просто дневник, писавшийся в свое время для себя, а сегодня его автору показавшийся (и абсолютно справедливо) неожиданно актуальным. Чтение ностальгическое и одновременно отчуждающее от ностальгии. Да, та эпоха минула — книга дает возможность заново ощутить патологическую

узость горлышка, в которое просачивалась на страницы советской печати собственно литература; заново пережить омерзение при виде людей, под знаком борьбы с инородцем и иноверцем сражавшихся тогда за журнальные страницы и позиции в издательских планах. Эпоха минула, но люди остались. Пырастали и новые — наследники, так сказать. Жаль, не прочитают книги Матусевича «юные ленинцы» и «кураевцы» из литературно-интернетовского поколения, а если и прочитают, то вряд ли допустят мысль, что одежды, которыми они так гордо эпатируют сегодня отсталую, зашоренную либеральными и демократическими идеями интеллигенцию, — одежды эти отнюдь не с плеча Флоренского или Розанова, как им кажется (точнее, не только с их плеча), что этот секонд-хэнд достался им в первую очередь от советской литературной номенклатуры, мстящей живой литературе и культуре за свое творческое бесплодие, за творческую, человеческую, душевную бездарность.

-2

Максим Д. Шраер. Набоков: темы и вариации. Перевод с английского Веры Полещук при участии автора. СПб., «Академический проект», 2000, 384 стр.

Аннотация обещает «оригинальное исследование», «основанное на архивных материалах, вводящее в обиход доселе неизвестные документы», «написанное легко и увлекательно». Последнее подтверждается оглавлением: «Набоков и Чехов: от „Дамы с собачкой“ к „Весне в Фиальте“», «Набоков и Бунин. Поэтика соперничества», «Еврейские вопросы в жизни и творчестве Набокова», «Почему Набоков не любил писательниц» и так далее. Что касается «входящих в обиход неизвестных доселе документов», то нам, увы, пока не до жиру — более чем за десять лет бурного развития отечественного набоковедения так и не появилось более или менее полной биографии Набокова на русском языке. И потому книга Шраера обладает определенной ценностью прежде всего из-за обильно привлекаемого биографического материала, использования писем и высказываний Набокова, развернутых цитат из мемуаров его знакомцев, из-за прослеженных автором сюжетов литературных взаимоотношений Набокова с современниками. Только книгу эту нужно научиться читать, вернее, работать с нею. Ну как минимум обрести навык не обращать внимания на ее литературоведческую составную. Если это исследование и производит впечатление «оригинального», то только причудливым сочетанием кондовой архаичной логики анализа с моднейшими структуралистскими терминами. Например: «Структуры треугольного желая определяли поэтику Чехова на всем протяжении его писательской карьеры». Роскошная фраза — как сопрягаются в ней словосочетания «поэтика Чехова» и «на протяжении писательской карьеры»! А «структуры треугольного желая» чего стоят?! Возможно, в психологических штудиях структуралистов термин Рене Жирара, на которого здесь ссылается Шраер, и имеет какой-то смысл, но в данном контексте производит, уж простите, эффект комический. Тем более, что все последующее употребление этого «треугольного желая» или «треугольника желая» вполне допускает замену понятным словосочетанием «любвный треугольник», определяющим фабулу произведения. Не более того.

Еще цитата, без комментариев — о чеховской «Чайке»: «На аллегорическом уровне треугольник желая, изображенный в пьесе, — не что иное, как состязание между символизмом и натурализмом...»

И вообще в книге представлен чуть ли не весь набор того, что отпугивает читателя от современного литературоведения. Скажем, принципиальная самостоятельность концепций, навязываемых материалу исследования. Или навык упрощать многомерные эстетические понятия до уровня их буквального (словарного) значения. И разумеется, пафос «онаученности», позволяющий торжественно преподнести самое элементарное: «Чехов отказался от сюжетной завершенности, позволяя читателю самому додумывать и решать, какой должна быть концовка, — и это-то и

оказалось его радикальным новаторством». Тут особенно не поспоришь, только чего-то не хватает. Не совсем ясно в данном случае, что автор понимает под сюжетом художественного произведения, неужели только фабулу?

Нет, автор не всегда так элементарен, он обращается и к самому сложному — вслед за своими единомышленниками утверждает, что «посредством стихов и прозы Набоков делится с читателем трансрациональным знанием об иных мирах, существующих по ту сторону обыденной реальности», что в некоторых рассказах есть «проблески идеализированного иномирья» и что у Чехова в отличие от Набокова «метафизика преподносится в еще более завуалированной форме, так что ее замечаешь только при очень внимательном прочтении» (запомни, читатель: при очень внимательном прочтении). Не знаю, уместно ли здесь задать автору вопрос, как он себе представляет взаимоотношения Набокова и реальности и вообще что такое реальность для художника? И что же тогда такое метафизика?

Вернемся к простым материям. Например, объясняя внутреннее родство Набокова и Чехова, автор видит почти абсолютное тождество в содержании рассказов «Толстый и тонкий» Чехова и «Встреча» Набокова, а также уверен, что чеховское отношение к русским интеллигентам как людям порядочным, но никчемным удивительно приложимо к героям Набокова из рассказов «Облако, озеро, башня» или «Василий Шишков». Ну кажется так человеку, что с этим поделаешь. Имеет право высказать это человек. Так же как и я имею право закрыть книгу, дочитавшись до этих сравнений. Но прочим закрывать не советую, у этой книги, повторю, есть и достоинства...

Борис Гиленсон. Хемингуэй и его женщины. М., «ОЛМА-Пресс», 1999, 415 стр.

В принципе книжки с подобными названиями и выпущенные в такой серии («Любовь в их жизни») читать не надо — кич шибает на расстоянии. Но здесь как бы случай особый — книгу сочинил специалист по американской литературе, автор монографии и множества публикаций о Хемингуэе во вполне респектабельных, заслуживающих доверия изданиях. И второе: всю писательскую жизнь Хемингуэя мучили две проклятые темы, два почти навязчивых мотива — преодоление страха (страха смерти) и женщина в жизни мужчины, их взаимное притяжение и дальнейшее противостояние. И здесь почти любая работа специалиста будет обладать ценностью — хотя бы просто добросовестно выстроенная с обильным цитированием источников. Тем более, что возможности для исследователя здесь, как я понимаю, огромны — чуть ли не все жены и подруги писателя оставили в литературе свои версии взаимоотношений с ним, плюс обширнейшая биографическая и мемуарная литература; плюс письма и записи писателя, плюс его художественная проза. То есть здесь у специалиста почти не может быть полной неудачи. Увы. Оказывается, может. И еще какая.

Прежде всего в книге Гиленсона мало нового, того, о чем у нас не писалось. И похоже, что бедность новых сведений автор попытался компенсировать «художественностью» описаний: «...она могла находиться с Эрнестом, пока весь госпиталь был погружен в сон. Влюбленные предавались объятиям и поцелуям»; «Она пленила его откровенностью, тем, что она доверилась ему беззаветно и просила быть с ней правдивым во всем...». А вот портрет Хемингуэя глазами его будущей второй жены: Хедли «сразу же отметила среди гостей молодого человека с внешностью киногероя, обезоруживающей улыбкой и темными пронзительными глазами». Представления же Гиленсона о внутреннем мире Хемингуэя обескураживают своей примитивностью: «Возможно, ему понравились ее рыжеватые волосы и стройные ноги». Такой же уровень чтения в душах других персонажей: «Хедли на пороге тридцатилетия опасалась, что так и не выйдет замуж, пока судьба не послала ей прекрасного принца в лице обаятельного и высокоодаренного Хемингуэя».

Игривость описаний наводит на мысль, что автор рассматривал свою тему исключительно в аспекте «клубнички». Вот, скажем, изображается история любви Хемингуэя к Марте Гелхорн: 1937 год, Испания, бомбежки, фронты, отель «Флорида». И именно там и тогда Хемингуэй пишет свою «Пятую колонну», помещая

возлюбленную героя пьесы Дороти — капризную, избалованную, душевно ограниченную журналистку-дилетантку — практически в те же декорации, в которых развивался реальный роман реальных Хемингуэя и Марты. Избавиться от мысли, что прототипом Дороти стала Марта, невозможно. Что это? Писательский цинизм? Месть Марте за собственный страх перед женщиной и перед любовью? Или, наоборот, такая вот парадоксальная форма защиты своей любви, предполагающая изживание негативного через творчество? Автор не только не пытается разобраться в этой психологической и творческой проблеме, но, кажется, не замечает ее вовсе.

Вообще сопряжение жизни писателя и его творчества — отнюдь не самая сильная сторона книги. Скажем, о взаимоотношениях Хемингуэя и Джейн Мейсон можно прочесть такое: «Джейн была... бесценным партнером для Хемингуэя... умела стоять за штурвалом, обращаться с удочками и спиннингами... Видимо, это обстоятельство отразилось на характеристике Марджори, героини рассказа Хемингуэя „Что-то случилось“, о которой сказано: „Она любила ловить рыбу. Она любила ловить рыбу с Ником“... Это как? Каким образом?! Рассказ о Марджори вошел в книгу Хемингуэя «В наше время» (1925 год), а знакомство с Джейн Мейсон происходит в 1932 году. Уж такие-то факты профессиональный исследователь обязан удерживать в памяти! И кстати, рассказ Хемингуэя в переводе Н. Волжиной (Гилленсон цитирует по этому переводу) называется «Что-то кончилось», а не «Что-то случилось».

Впрочем, чтение этой книги было вознаграждено — чтобы смыть тягостное от нее впечатление, я взялся перечитать давно не читанные рассказы Хемингуэя. И они далеко не так плохи, как уверяют нас снобы.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

О поэзии «Улова» — осень-2000, Владимир Строчков и Дмитрий Унжаков; о понятиях «Гипертекст» и «Портал» в Интернете; сайт «Современная русская поэзия»; Кавафис в русском Интернете; «GIF.RU Искусство России» и родственные ему сайты.

Вначале — обещанный разбор поэзии, представленной на сетевой литературный конкурс «Улов — осень 2000 года» (<http://rating.rinet.ru/ulov/2000o/poetry.html>). Были предложены подборки 27 поэтов. При распечатке — около четырехсот страниц текста. Есть много стихотворений хороших, несколько отличных, есть подборки (по крайней мере для меня — две: Строчкова и Унжакова), создающие ощущение присутствия за ними собственного поэтического мира. Еще больше, скажем так, интересных или оригинальных текстов. Но и, разумеется, есть подражательное, натужно-поэтическое. Общий уровень представленного на конкурс достаточно высок, и, на мой взгляд, проза осеннего «Улова» выглядит бледнее. Я перечислю здесь несколько имен, которыми помечены вполне достойные внимания читателя подборки: Владимир Строчков, Бахыт Кенжеев, Глеб Шульпяков, Александра Петрова, Владимир Губайловский, Илья Плохих, Мария Галина, Дмитрий Унжаков, Юлий Гуголев, Александр Месропян, Сергей Морейно, Всеволод Некрасов, Алексей Гамзов, Шамшад Абдулаев. Характеризовать каждого из них двумя-тремя фразами бессмысленно. Поэтому попробую передать общее впечатление от чтения этих стихов. А это, прошу прощения у участников конкурса, удобнее делать, отталкиваясь от слабых и подражательных, — наиболее характерное лучше всего передает шарж.

Первое и самое очевидное: в последнее десятилетие в поэзии сменились «поэтические ориентиры» — наивная истоиво-«поэтическая» любовно-пейзажная лирика уступила место философской лирике, так сказать, «высокобой», обильно унавоженной реминисценциями и скрытым цитированием из культуры от античности до Ренессанса; задействован, разумеется, русский золотой и серебряный век; и все

это сочетается с шеголяньем житейскими, так сказать, прозаизмами. Плотность упоминаний символов прошлой культуры в поэзии «Улова» почти угарная: «Переведи меня, Катулл, / хоть восемь строк о свойствах страсти», «Ариадны нить так поглощает Лабиринт», «ключ Ипокрены», «где Прокруст, венценосный ушкуйник, / крепкий отцеубийца Зевс, / Гера гордая с тютчевским кубком», «прозвенел Фазтон», «будто лязжка Икара», «Меж розами Парни и розами Малерба», «закатив глаза, Эвтерпа», «с орфическим напевом на устах», «нежный Мандельштам... Петрарку прелагал и холил Алигьери», «из ладони Евфала»...

«Ветхий Завет», «Песнь песней», «младенец Сущий», Господь, Мария, царь Соломон, святые Панкратий, Паоло, Себастьян, брат Франциск...

Афродита, Венера, Эвридика, Саломея, Пигмалион, Гомер, Евклид, Эзоп, Клеопатра...

Рим, Иерихон, Иерусалим, Константинополь, Антиохия, Босфор, Тулуза, Египет, Сахара... И нередко эти слова-символы гудят, как написал один из авторов «Улова», «будто буйволлов трепетный рой», заглушая собственный голос поэта.

Такой же плотной кажется и частота обращения к знакомым, а иногда и просто заезженным мотивам, по крайней мере у троих в этом списке я встретил вариации на тему «ночь, улица, фонарь, аптека».

Подчеркнуто настойчива устремленность авторов за грани обыденного («Млею, млею и камлаю / на сухом червленом солнце, / на твоей спине и тени / ветхонового завета: / плачь, бесполоый неврастеник») и необыкновенная короткость, почти фамильярность, в обращении лирического героя к ангелам и Создателю («Я вышел в край, где ангелы крутились / и тот священник с животом огромным / невыносимым пламенем лучился. / И Бог приветствовал меня спокойным громом»). Ну а используемый при разработке подобных мотивов словарь и образные ряды — уж просто невозможной одухотворенности и изысканности: «О, Господи, святая сила с нами. / Людские взгляды розового лона / небесной памяти пошли голубоватыми снегами!»

И тут же рядом — слова типа «блин», «бля» и проч. и соответственно поэзия «нижепоясная». Вообще чем резче, экстравагантнее новый прием в поэзии у талантливого поэта, тем нелепее, претенциознее, мягко говоря, выглядит он у эпигона: «...любовь / оказалась короткой. / Стянулась мгновенно. Лопнувшая резинка / от трусов или чего там. / О, его трусы я знаю прекрасно...» (далее — про его трусы, продолжать не буду). Нет, это не стих Павловой, разбивающий поэзией жизни человеческого тела «поэтичную корку» на слове. Не имеющие «павловского контекста», меня, например, строки эти заставляют поежиться.

...Не буду лукавить, имея на столе четыреста страниц стихотворного текста, всегда можно надергать пятнадцать — двадцать строк для шаржа. Но шаржирую я несомненные все-таки достоинства: стихи авторов «Улова» позволяют говорить о ничем не стесненной, свободной жизни сегодняшней поэзии, вбирающей в себя самые разные культурные традиции, лишенной идеологической зашоренности и стремления обслужить гипотетического читателя. И слава богу, что они «взыскуют» и культуры, и духа, и живой жизни.

Поскольку это конкурс, то неизбежны какие-то оценки и рейтинги. На этот раз мой личный выбор почти совпал с мнением жюри конкурса: лауреат — Владимир Строчков. Особых возражений нет и против второй позиции — Бахыт Кенжеев, и трех поэтов, разделивших третье место, — Юлия Гуголева, Сергея Морейно и Глеба Шульпякова.

В приведенном выше списке «знаковых» для нынешних поэтов культурных имен и символов есть пара выписок и из Строчкова. Но Строчков использует эти культурные знаки не как навоз, способный обеспечить проращивание почти любого семени. Он дает свое проживание времени, создает свой образ мира и соотносит этот образ с классическими. Здесь не иждивенчество у культуры, а диалог с нею.

А вообще странная судьба — один из лидеров новой поэзии, автор единственной пока книги «Глаголы несовершенного вида» (СПб., 1994), широко печатающийся сейчас в журналах, но при этом органичнее смотрящийся в нынешнем литературном Интернете, принадлежит, строго говоря, к поколению, уже как бы давно не актуальному в литературе, — «студент-технар» шестидесятых, интеллигент-

ный циник-романтик, мрачно-ироничный кухонный диссидент», сосредоточенно живший все эти годы собственно поэзией. Была, значит, в нем независимость от штампов времени. То, что Строчков делает в поэзии, сам он называет «неполитическим авангардом». Непростая по нашим временам позиция — несколько вроде бы не политизированный авангардист Всеволод Некрасов, занимавшийся больше материей стиха, тем не менее воспринимается как один из самых политизированных поэтов, — его политикой была литературная политика демонстративного противостояния официозу. Строчков умудрился избежать и этой формы политизированности. Я бы не стал называть его авангардистом. Черты «авангардной поэзии» есть, разумеется, в его стихах, но ударение в этой формулировке я бы поставил на втором слове. Кстати, на конкурс была представлена целая книга стихов Всеволода Некрасова, я прочитал ее с уважением, но не более того — уж очень все-таки стремительно становится архаикой авангард, только авангардностью исчерпывающийся. Ну а для знакомства со стихами Владимира Строчкова рекомендую его персональную страницу на сайте Александра Левина (<http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/STROCHKOV/index.html>). Тут же подборки стихов по годам, с 1993 года, и ссылка на «Вавилон», где выставлены стихи, писавшиеся до этого и собранные в книгу «Глаголы несовершенного вида» (<http://www.vavilon.ru/texts/strochkov/>). Здесь же у Левина висит целая монография Дарьи Суховой «Поэт и слово», посвященная Строчкову и писавшаяся как дипломная работа на филфаке Петербургского университета (<http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/SUHOVEI/Str-0.html>); очень даже добросовестная работа, напрасно Строчков уподобил своих критиков рачкам, ползающим по его ладони.

Полагалось бы поговорить о Кенжееве, Гуголеве, Морейно и Шульпякове, но, мне кажется, первый в представлениях не нуждается, трое других представлялись мною в WWW-обзорах и «Библиографических листках».

Поэтому сразу перейду еще к одному «дискурсу», обозначившемуся в стихах осеннего «Улова», — это стихи, написанные как бы в расслабленной, не предполагающей особой серьезности интонации, с подчеркнутой заземленностью образа и простотой слова. Но с простоватостью, надо сказать, лукавой, способной ошарашивать вдруг открывшейся за «простеньким» образом глубиной и богатством смыслов. Черты этой поэтики есть у Юлия Гуголева, есть у Ильи Плохих («Когда спаниели / выходят за двери, / не знаю я, птицы они / или звери: / если они разбегаются, / уши у них развеваются / и (наблюдаю сквозь пыль я) / двигаются, как крылья»), но говоря это, в первую очередь я имею в виду стихи Дмитрия Унжакова:

Смотрит холодно январь,
наклонив ко мне фонарь,
и, как мошка в янтаре,
стынет сердце в январе.

Собрание стихов этого практически неизвестного еще широкому читателю нижегородского поэта можно прочитать в сетевых публикациях «Нового мира» (<http://novosti.online.ru/pictures/magazine/nm/ungak.jpg>).

Закончив этой фразой краткий отчет о поэзии осеннего «Улова», я полез в Интернет проверить сноски и ухнул туда, как водится, на час. Невозможно бывает устоять перед искушением щелкнуть мышкой по заманчивой ссылке. Но часовое блуждание по разным сайтам оказалось, так сказать, теоретически плодотворным, — я сформулировал для себя и хочу предложить здесь читателю еще одно определение модного в Интернете слова «ГИПЕРТЕКСТ». Так вот, гипертекст — это просто-напросто маршрут вашего гуляния по интересующему вас сектору Интернета, связанному сносками. Маршрут наполовину произвольный, зависящий от круга и характера ваших интересов и только во вторую очередь спровоцированный составителями этих сносок, расставляющими их как капканы в местах вашего возможного появления. И соответственно все мои интернетовские «путевые заметки» из прошлых обзоров прошу считать описанием гипертекстов.

Ну а теперь описание очередного «гипертекста».

Итак, прямо из таблицы поэтов «Улова» (см. в начале обзора) я шелкнул по ссылке «Вавилон», а там зацепился взглядом за выделенное название сайта «Современная русская поэзия», шелкнул по нему и закачал первую страницу, но не сайта, а портала «Современная русская поэзия» (<http://rema.ru:8101/poems/>). Это новое слово в наших обзорах, и потому сделаем на нем небольшую остановку. Понятие сравнительно свежее, но уже широко вошедшее в интернетовский обиход. Существует масса определений этого понятия, и, чтоб не запутаться, я предложу самое простое и очевидное: портал — это титульная страница сайта или сервера, откуда можно открывать страницы не только этого сайта (сервера), но и множество родственных по теме страниц на других сайтах. Портал — это что-то вроде узловой станции, перекрестка ссылок, компактного, тщательно процеженного тематического каталога. При этом портал остается полноценной титульной страницей и того сайта, на который вы попали. Для примера — вот эта самая «Современная русская поэзия», титульная страница которой обладает еще и свойствами портала. У этой страницы есть, так сказать, эксклюзивная для данного сайта составная и составная порталная. Начнем с эксклюзивной.

Она представляет творчество нескольких поэтов, с точки зрения создателей сайта, определяющих лицо современной поэзии. Точку зрения создателей сайта, думаю, разделят многие. Вот список: Алексей Парщик, Иван Жданов, Александр Еременко, Виктор Соснора, Виталий Кальпиди, Юрий Арабов, Илья Кутик, Дмитрий Пригов, Нина Искренко, Сергей Гандлевский, Александр Сопровский, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Бахыт Кенжеев, Виктор Кривулин, Константин Кедров, Вадим Степанцов, Алина Витухновская, Михаил Орлов, Алексей Цветков, Дмитрий Быков, Ольга Седакова, Лев Лосев, Елена Шварц, Сергей Карсаев, Максим Амелин, Владимир Гандельсман, Игорь Иртеньев, Полина Барскова, Светлана Кекова, Александр Лаврин.

Перед нами одна из самых представительных антологий современной русской поэзии. Именно антология — между тем как наиболее близкий по уровню представленного сайт «Вавилон» сочетает стремление к антологичности еще и с попыткой концептуального построения картины современной поэзии: там почти везде чувствуется рука составителя (Дмитрия Кузьмина). И потому «Вавилон» выглядит во многом авторским проектом, в отличие от «Современной русской поэзии». Я честно пытался найти на сайте что-то вроде манифеста или декларации о намерениях и, не обнаружив такового, решил, что автор концепции, дизайна и поддержки сайта Александр Ивашнев, видимо, сознательно обошелся без всего этого. На титульной странице сайта — имена поэтов с кратким представлением (использованы отрывки из критических статей), шелкнув по имени, вы попадаете на персональную страницу поэта с его фотографией и подборкой стихов. Это все, повторяю, эксклюзивная составная сайта «Современная русская поэзия». А свойства интернетовского портала придают странице пять позиций в верхней строке: «Весь Бродский», «Поэзия Урала», «Манифесты», «Турниры», «Download mp3». Шелкнув по «Поэзии Урала», вы откроете титульную страницу «Антологии современной уральской поэзии» (<http://rema.ru:8101/poems/proekt/ural/zast.htm>), изданной в 1996 году Виталием Кальпиди и фондом «Галерея» и выставленной в Сети тем же Александром Ивашневым в 1999-м. В списке авторов, стихи которых представлены в этом разделе, около пятидесяти имен, от Дмитрия Бавильского до Нины Ягодинцевой. Раздел «Download mp3» (<http://rema.ru:8101/poems/proekt/voice.htm>) предлагает возможность скачать на ваш диск, а потом воспроизвести живые голоса читающих стихи Виталия Кальпиди, Романа Тягунова и Антона Колобянина. На странице «Манифесты» (<http://rema.ru:8101/poems/proekt/teory.htm>) представлено несколько наиболее громко прозвучавших в последнее время поэтических манифестов. Скажем, манифест «куртуазных маньеристов», составленный Вадимом Степанцовым и названный им «Российская эрата и куртуазный маньеризм» («На рубеже XVII и XVIII веков под звуки маршей пленных шведских оркестров стали прибывать в Россию веселые античные божества, которым уже тесно было в покоренной ими Европе. Растревоженная Петром Великим неповоротливая Русь, привыкшая к изможденным астеническим ликам византийских святых...» — это нача-

ло текста, щелкнув по которому вы получаете его полностью и вдобавок доступ к текстам маньеристов, помещенным на различных сайтах), или манифест Константина Кедрова «МЫ — МЕТЕМЕТАФОРИСТЫ» (я до сих пор считал, что во втором слове не «е», а «а»).

Я же щелкнул по первой позиции «Весь Бродский» и тут же перенесся на персональную страницу, или персональный сайт, Бродского в «Библиотеке Максима Мошкова» (<http://lib.ru/BRODSKIJ/>) — элемент того самого портала, о котором я сказал выше. Нет смысла продельвать огромную работу по выкалыванию на страницах своего сайта текстов «всего Бродского», логичнее и естественнее прорезать дверь в специально для этого созданные и полностью укомплектованные библиотечные помещения родственного сайта.

На Бродском я не задержался — перелистывая страницы, я попал в раздел «Переводы Бродского», щелкнул на Кавафиса и оказался на другом посвященном творчеству Кавафиса сайте (<http://hem.boom.ru/cavafi/kavafindex.htm>). Официальное название сайта: «Константинос@Кавафис.ru». На титуле представлено содержание первой вышедшей в России книги Кавафиса «Лирика» («Художественная литература», 1984). Из помещенного внизу страницы примечания: «В настоящем издании почти полностью представлен канонический свод стихотворений Кавафиса. Этот свод был составлен самим поэтом и полностью опубликован после его смерти в 1935 году под названием „Стихотворения“». Здесь же доступ ко всем представленным стихам, а также — к статье С. Ильинской «Поэтический мир Константиноса Кавафиса, снабженный фотографиями и рисунками поэта. На отдельной странице — два десятка стихотворений в переводах Геннадия Шмакова и под редакцией Бродского, а также переведенное Бродским стихотворение «Дарий». Надо полагать, в ближайшее время здесь появится корпус текстов недавно выпущенного издательством ОГИ монументального тома «Русская кавафиана» (о нем см. в «Книжной полке» этого номера).

Разохотившись, я впечатал в окошко «Поиск» имя Кавафис, чтобы посмотреть, что еще посвящено ему в русском Интернете, но, просматривая предложенные мне адреса, понял, что сверх помещенного на «Константинос@Кавафис.ru» я ничего не найду. И потому я открыл сайт «GIF.RU», заинтересовавшись пометкой «Портал геокультурной навигации». Вот полное его название — «GIF.RU Портал геокультурной навигации. ИСКУССТВО РОССИИ» (http://www.gif.ru/russia/image/top_01d.gif). Похоже, это один из самых представительных порталов в нынешнем Интернете, посвященных современному искусству. Информация о проекте, содержащаяся на первой странице: «„Искусство России“ — новый сетевой проект оргкомитета Всероссийского фестиваля „Культурные герои 21 века“, проходившего осенью 1999 года, и галереи Марата Гельмана при поддержке Сергея Кириенко. На этом информационном портале будут представлены участники современного художественного процесса со всей России, их работы и отзывы о них критики и прессы...»

Разделы портала под строчкой «Алфавитный указатель»: «Люди», «Места», «События», «Тексты», «Издания», «Сайты». А также список городов, о культурной жизни которых можно узнавать, отправляясь в Интернет с этой страницы: Астрахань, Владивосток, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Калининград, Кемерово, Кострома, Красноярск, Курган, Липецк, Москва, Муром, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Рунет, Самара, Санкт-Петербург, Сургут, Тверь, Тольятти, Хабаровск, Ярославль. В этом списке может удивить обозначение Рунет — это уже не «гео-», а только «культурный адрес»: то есть местом обитания и творческой деятельности личности или творческого объединения следует считать русский Интернет.

Щелкнув по названию какого-либо города, вы, естественно, открываете страницу с информацией о его культурной жизни. Открыв страницу Нижнего Новгорода и просмотрев помещенные здесь анонсы разного рода литературных событий и проектов, я наткнулся на имя Евгения Стрелкова, знакомое мне по очень приметному — тексты, графика, дизайн — журналу «Дирижабль». Щелкнул по имени — открылась справка и фотография этого интересного художника, дизайнера,

литератора (<http://www.gif.ru/nng/strelkov.htm>), а уж из этой справки я вышел на отдельный сайт с представленным там дизайнерским проектом «Дирижабль» — сугубо интернетовская форма изобразительного искусства, сочетающая текст с графическими композициями (<http://www.dirizhabl.sandy.ru/strelkov/>).

Вернувшись на порталную страницу «GIF.RU», я щелкнул по кнопке «Люди» — открылся список почти из пяти сотен имен художников, фотографов, музыкантов, литераторов, модельеров, искусствоведов, критиков и т. д. Каждый из них представлен на «GIF.RU» персональной страницей, с которой есть выходы уже на их сайты. К этому списку внизу подвешен еще один: список творческих объединений, около сотни позиций.

Страница «Издательства» (http://www.gif.ru/russia/image/page_izdat.gif) представила книжное издательство «GIF» — это уже третье интернетовское, я упоминал про издательскую программу «Вавилона»: серия «Книги из Сети» издательства «АРГО-РИСК» (<http://www.vavilon.ru/metatext/gazhur.gif>) и издательство Житинского «Геликон Плюс» (<http://www.helicon.spb.ru/>). На странице представлены аннотации к книгам, выпущенным издательством «GIF», которые, кстати, можно тут же прочитать или скачать из Сети. Поскольку информации об этих книгах не было в «Библиографии» «Нового мира», а книги могут заинтересовать наших читателей, я процитирую несколько аннотаций:

«Неофициальная столица. М., „GIF“, 2000.

Издана в рамках проекта „Неофициальная столица“, который проходил в конце апреля — начале мая 2000 года в Санкт-Петербурге. Это своего рода „золотые страницы“ культуры Петербурга, каталог наиболее интересных явлений питерской культуры и людей, ее представляющих, отражение их восприятия города и их восприятия городом.

Сказки для идиотов. М., „GIF“, 2000.

Сборник рассказов Бориса Акунина, написанных специально для газеты „Неофициальная Москва“ и опубликованных издательством „GIF“ отдельным сборником.

Москва. Территория-2000. М., „GIF“, 1999.

Это книга, в которой Андрей Битов, Сергей Гандлевский, Вячеслав Глазычев, Анжей Захаричев фон Брауш, Геннадий Иоозефовичус, Мирослав Немиров, Антон Носик, Людмила Петрушевская, Игорь Сид, Александр Шабуров и другие приезжие москвичи рассказывают о своих разнообразных впечатлениях от жизни в Москве.

Неофициальная Москва. Гид, каких не было. М., „GIF“, 1999.

Эта книга про неофициальную, непарадную Москву. В ней рассказывается, какие в городе есть интересные места, где выставляют самые хорошие картины, где читают стихи, где исполняют и слушают правильную музыку, где продают и покупают правильные книжки.

Ну а в целом портал «GIF.RU» представляет в большей степени изобразительное искусство, чем литературу. Об этом сужу и по содержанию сайта, и по отрывку из декларации его создателей: «Проект „GIF.RU“ — это наш манифест оптимизма и наш „протокол о намерениях“. Вопреки убогой культурной политике современное искусство в России развивается. Вопреки изоляционистским тенденциям в обществе русские художники и литераторы говорят на интернациональном языке современной культуры. Мировые тенденции так или иначе отражаются в искусстве не только Москвы и Питера, но Екатеринбурга и Калининграда. Все то, что могло состояться усилием личностей, — состоялось. Не было лишь одного — культурной политики, без которой невозможно обратное — влияние русского искусства на мировой художественный процесс (<http://www.gif.ru/cult/guelman.htm>)».

Сноску на «GIF.RU» я, естественно, поставил в свое «Избранное», рядом со сноской на один из самых удобных, то есть «широкозахватных», порталов нашего Интернета «Современное искусство в Сети» (<http://www.guelman.ru/culture/>). Рекомендую вам сделать то же самое. Перечислить здесь возможности, которые предоставляет портал «Современное искусство в Сети», связывающий несколько десятков высокопрофессиональных сайтов, посвященных искусству, значило бы вытес-

нить все остальное из моего обзора. Характеристику этих двух масштабных интернетовских проектов я бы закончил пространной выдержкой из статьи Макса Фрая «Интернет» в «АРТ-азбуке» («АРТ-азбука» — серьезная и одновременно ироничная мини-энциклопедия современного искусства в Интернете и Интернета как искусства — также расположена на сервере «GIF.RU»: <http://www.gif.ru/azbuka/i.htm>). Итак, Макс Фрай:

«Для актуального искусства Интернет, по-моему, стал идеальным информационным пространством: все, что, по мнению художника, критика, куратора или художественной институции, подлежит репрезентации, может быть репрезентировано немедленно, без искажений и без особых затрат (в принципе любой желающий может за неделю научиться делать более-менее приемлемые веб-сайты и самостоятельно поддерживать и регулярно обновлять свой индивидуальный проект, затрачивая на это всего несколько часов в неделю. А при минимальном количестве постоянных сотрудников можно уже делать великие дела. Первым это понял Марат Гельман. Осенью 1998 года он начал делать еженедельные „Новости от Марата Гельмана“ на одном из новостных порталов; ближе к зиме открыл собственный проект „Современное искусство в Сети“ по адресу www.guelman.ru, который тут же начал „обрастать“ дружественными проектами. Сначала появились „Курицын-weekly“ от культового литературного критика Славы Курицына (www.guelman.ru/slava) и „Яркевич по пятницам“ (www.guelman.ru/yark.htm); примерно в то же время и ваш покорный слуга на собственном опыте убедился, что научиться азам веб-мастерства — плевое дело (результаты можно обнаружить по адресу www.guelman.ru/frei, только имейте в виду: я там все больше о сетевой литературе пишу).

Сейчас „Современное искусство в Сети“ — это самый настоящий портал, объединяющий несколько десятков Интернет-проектов в области актуальной культуры. Я сам приложил руку к созданию Информационного агентства „Культура“ (www.guelman.ru/culture) (еженедельный мониторинг центральной и региональной „культурной“ прессы, публикация наиболее интересных материалов с авторскими комментариями ведущих) и (весьма опосредованно, но все же)... портала „Искусство России“ (www.gif.ru). Мне больше нравится подзаголовок „Искусство против географии“. На этом сервере (как можно понять из названия) размещены материалы о художественной жизни в разных российских регионах: люди, события, организации, критические тексты... Но, конечно, в первую очередь люди, художники из разных городов России. Для них этот ресурс нередко единственная возможность быть „на виду“, обнародовать свое портфолио, рассказать о проектах и найти не только дополнительную аудиторию в лице своих коллег из других городов (думаю, не нужно объяснять, как важно это для художника, живущего в провинциальной изоляции где-нибудь в российской глубинке), но и дополнительные возможности для самореализации.

Не менее важно, конечно, чтобы у художников, где бы они ни жили, имелась возможность постоянно быть в курсе последних событий, новых тенденций и прочих небесполезных вещей. И таковая возможность имеется — по крайней мере у тех, кто может хотя бы время от времени пользоваться Интернетом. В Сеть регулярно выкладываются свежие номера „ХЖ“ <http://www.guelman.ru/xz/>, „Максимки“ <http://www.guelman.ru/maksimka/>, „Кабинета“ <http://kabinet.jump.ru/>, „Места печати“ <http://www.geocities.com/SoHo/Exhibit/6196/mesto.htm> (понятно, что владеющие иностранными языками могут читать и зарубежные журналы, коллекцию ссылок на которые добросовестно собрал все тот же Гельман); существуют и сетевые ресурсы, не имеющие бумажных аналогов (в частности, „Русский журнал“ — www.russ.ru; „Вести.Ру“ — www.vesti.ru), которые предоставляют своим читателям высококачественную культурную информацию.

Вообще ресурсов, посвященных актуальному искусству, в русскоязычном Интернете великое множество, в пору отдельный каталог составлять. Важно отметить, что они есть и количество их постоянно возрастает. Тенденция типа.

А иногда мне кажется, что наша увлеченность Интернет-проектами (и их успех у пользователей) — свидетельство того, что информация об искусстве постепенно становится „важнее”, значительнее самого факта существования искусства — возможно, не только для зрителей, но и для самих участников процесса. Это не „хорошо” и не „плохо”, просто есть над чем подумать».

Последний пассаж статьи Фрая очень, как говорится, репрезентативен для умонастроения значительного количества теоретиков современной культуры в Интернете, да и не только в Интернете. Это провокативное заявление, тут действительно есть о чем подумать и с чем поспорить. Но об этом уже в следующих WWW-обзорах.



В январе 2001 года при Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН создана Комиссия по изучению творчества Ф. М. Достоевского. Комиссия будет работать как общественное объединение, во взаимодействии с Обществом Достоевского России и Международным обществом Достоевского; в ее состав входят известные исследователи творчества Достоевского и молодые талантливые ученые. При Комиссии, на базе аспирантуры ИМЛИ, будет осуществляться подготовка аспирантов.

Заседания Комиссии будут проходить раз в месяц, по пятницам. На заседаниях будут заслушиваться и обсуждаться доклады российских и зарубежных исследователей творчества Достоевского. Комиссия планирует издание серий «Дополнения к комментарию произведений Ф. М. Достоевского»; «Современное состояние изучения произведений Ф. М. Достоевского» (первая книга серии «Роман Ф. М. Достоевского „Идиот”. Современное состояние изучения», объемом 35 п. л., подготовленная при участии ученых России, США, Канады, Великобритании, Японии, Италии, находится в печати). Начинается работа над книгой «Достоевский и XX век». Под эгидой Комиссии будет выходить и уже известный любителям творчества Достоевского альманах «Достоевский и мировая культура» (главный редактор — К. А. Степанян).

Кроме научных, Комиссия ставит перед собой просветительские задачи: организуется лекционная группа, на создаваемом сайте Комиссии будет открыта страница «В помощь школе». Комиссия готова к сотрудничеству со школами, институтами, театральными коллективами, киногруппами, издательствами, фондами, благотворительными организациями, любителями творчества Ф. М. Достоевского. Председатель Комиссии — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН Татьяна Александровна Касаткина. По всем вопросам, связанным с работой Комиссии, обращаться по адресу: 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а. Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Т. А. Касаткиной. E-mail: imli@au.ru (с пометой: Касаткиной).

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ОКТЯБРЬСКИМ ДНЯМ 1917 ГОДА В ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну.

А. Солженицын.

В 1914 году правительство России издало постановление о прекращении продажи водки на период войны и о сосредоточении всего производства этилового спирта для технических нужд фронта и медицинских целей. На частных винокуренных и спиртоочистительных заводах и казенных винных складах скопилось огромное количество спирта. Правительство понимало, что в случае возникновения в местах расположения этих заводов каких-либо беспорядков спиртовые запасы могли стать причиной серьезных осложнений. Поэтому уже в июле 1914 года в акцизные управления было направлено распоряжение: при обострении ситуации водку и спирт уничтожить. А в августе 1916 года Министерством внутренних дел были утверждены «Правила о порядке уничтожения, по чрезвычайным обстоятельствам, спирта, вина и других крепких напитков», с приложением практических указаний о технических приемах и способах уничтожения¹. Рекомендовалось: к работам по уничтожению напитков привлекать преимущественно женщин; не допускать огласки, работы производить предпочтительно в ночное время. Спирт предписывалось сливать в канализацию, причем с возможно большим количеством воды «для ослабления крепости спускаемого спирта и предотвращения образования в канализационных трубах спиртовых паров». В тех случаях, когда канализационные трубы выходили не в пруд, озеро или реку, а в овраг, следовало у выхода канализационной трубы взрыхлить землю, набросать навоз, «чтобы усилить поглощение спиртовой жидкости и затруднить собиранье ея». Водку, разлитую в бутылки, предлагалось слить в бочки, перекачать в цистерну, а затем уничтожить тем же способом, что и спирт. В исключительных случаях водку разрешалось уничтожать вместе с посудой. Разбитые ломами, лопатами и палками бутылки предписывалось обильно поливать водой из пожарных рукавов, дабы в посуде этой не сохранилось остатков спиртных напитков. В тех случаях, когда это не представляло опасности в пожарном отношении, спирт можно было сжигать в специально вырытых ямах..

К счастью, ни в 1915, ни в 1916 году к столь решительным мерам прибегнуть не пришлось. Однако к лету 1917 года участились сообщения из разных городов страны о погромах винных складов, магазинов и погребов, о толпах пьяных солдат, о массовых отравлениях спиртом.

Утром 20 октября 1917 года в Ярославль пришла шифрованная телеграмма из Петрограда: в наш город планировали переправить ценности Государственного банка. Разместить их решили в помещении Ярославского казенного винного склада (ныне ликеро-водочный завод «Ярославский»). Управляющему акцизными сборами Ярославской губернии предписывалось в десятидневный срок освободить склад от спирта и водки. Спирт предлагалось вывезти в Москву, снабдив местные аптеки и лазареты полугодовой нормой; оставшийся спирт денатурировать и перевезти в другое, безопасное, помещение; водку — уничтожить. В тот же день было созвано экстренное совещание под председательством губернского комиссара Б. В. Дюшена. На совещании присутствовали начальник местного гарнизона, начальник милиции, представители акцизного ведомства. Выяснилось, что об отправке спирта в Москву в указанный в телеграмме срок не могло быть и речи: ак-

¹ Здесь и далее цитируется дело, хранящееся в Государственном архиве Ярославской области (ф. 140, оп. 1, д. 773).

цизное управление не располагало необходимыми для этого цистернами. Найти безопасное помещение для хранения запасов спирта также было невозможно. К тому же настроение в городе было крайне тревожным и каждую минуту легко могло вылиться в погромное движение. Поэтому участники совещания пришли к заключению, что единственным выходом из создавшегося положения является уничтожение всех наличных запасов спирта и водки.

В тот же день, в девятом часу вечера, начался спуск содержимого цистерн через канализацию в Волгу. Все работы проводились в ночное время и держались в глубокой тайне. В ночь с 25 на 26 октября последняя цистерна с ректификованным спиртом была спущена в Волгу. Но, несмотря на принятые меры предосторожности, к концу операции по городу стали распространяться слухи. Вечером 26 октября около склада собралась большая толпа солдат. Сорвав железные ворота, солдаты ворвались в отделение денатурации и стали расхищать остатки денатурированного спирта, которые не успели вывезти в казенные лавки. Воинский караул склада не оказал толпе никакого сопротивления. И только вызванная милицией автомобильная рота остановила погром. Однако утром 27 октября уже вся улица около склада была запружена солдатами. Проникнув на территорию склада, несколько сот солдат стали хозяйничать во всех его отделениях, ища спирт. Продолжавшийся 28, 29 и 30 октября погром принял грандиозные размеры. Из-за неосторожного обращения с огнем несколько раз вспыхивал пожар. Все имущество склада было или расхищено, или уничтожено. Причем караул теперь «не только не оказывал никакого сопротивления толпе солдат, но и сам, напившись пьян, принимал участие в расхищении казенного имущества». Сообщая о происшедшем в Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей, управляющий акцизными сборами Ярославской губернии высказал предположение, «что разгром склада воинскими частями, по всей вероятности, не принял бы столь широких размеров, если бы обстоятельства, сопровождавшие этот разгром, не совпали с восстановлением большевиков в Петрограде и Москве, каковое движение нашло себе отклик и среди войск местного гарнизона».

В ночь на 31 октября 1917 года было совершено нападение на Рыбинский казенный винный склад. И хотя благодаря решительным мерам порядок был быстро восстановлен, акцизные надзиратели не исключали возможность новых погромов в будущем, «и, быть может, даже в ближайшем, если с фронта под влиянием голода и большевистской пропаганды двинутся беспорядочные массы солдат». Рыбинским Революционным комитетом, которому принадлежала в те дни вся власть в городе («Организация эта не большевистская, хотя в состав ее входят и заведомые большевики»), были разработаны и предприняты меры к охране склада. В распоряжении Комитета имелись пулемет и два паровоза, находящиеся все время под парами, чтобы их можно было немедленно двинуть к складу в случаях прибытия к нему толпы погромщиков. На самом складе устроены были приспособления для впуска пара в здание цистерн и в ректификационное отделение, держали наготове пожарные рукава для разгона толпы холодной водой. Однако у членов акцизного надзора не было уверенности в том, что воинский караул и рабочие склада смогут отражать нападение толпы: «Скорее всего они позаботятся лишь о спасении своей жизни». А поскольку «в случае ухудшения общих политических условий и возникновения народной смуты надежды сохранить склад при условии сохранения и спирта нет никакой», было принято решение спирт вылить. Нам неизвестно, было ли это решение выполнено. Но в архивных документах содержатся сведения о том, что в декабре 1917 года Рыбинский склад вновь подвергся нападению. Сгорели главное здание и здание цистерн склада. Пострадали от погрома и все другие постройки склада, в том числе и жилой дом.

С 28 по 30 ноября 1917 года толпа вооруженных солдат бесчинствовала в г. Романове-Борисоглебске. Объектами их нападений стали в первую очередь ренсковые погреба.

Тревожная обстановка создалась и в г. Мышкине. По городу поползли слухи о готовящемся погроме в Введенскую ярмарку. На предложение властей уничтожить все спиртные напитки, чтобы избежать хотя бы пьяных разгулов, владельцы рен-

сковых погребов охотно согласились. Ярмарка началась 16 ноября и, по свидетельству очевидцев, совершенно не удалась: не было ни народа, ни товаров. По мнению надзирателя акцизных сборов, уничтожение спиртного предупредило погром: 11 декабря толпа солдат местного гарнизона и жителей города произвела обыск всех питейных заведений, но ничего не нашла, даже «погреться». «Все были убеждены, что, будь напитки налицо, удержать солдат от соблазна никто бы не сумел».

В г. Пошехонье уездный комиссар, опасаясь погрома ренского погреба купца В. Ф. Шалаева, отдал распоряжение в кратчайший срок продать все находившиеся там водочные изделия. Первые дни незнакомые купцу люди получали водочные изделия по запискам от комиссара. Когда же число покупателей значительно возросло, комиссар распорядился отпускать напитки без всяких записок. Это привело к тому, что с раннего утра у ренского погреба выстраивалась огромная очередь, в которой, благодаря вооруженному воинскому караулу, некоторое время сохранялся порядок. Но когда несколько солдат проникли в подвал самовольно, толпа не выдержала, и начавшаяся мирно распродажа переросла в погром. По сообщению акцизного надзирателя, владелец погреба, «нервно потрясенный всем происшедшим, бросил магазин и погреб на произвол судьбы и в самый разгар распродажи куда-то уехал и не возвращается до настоящего времени». Комиссар в первый же день погрома тоже покинул город.

31 декабря 1917 года надзиратель 9-го участка г. Ярославля сообщал в акцизное управление: «Довожу до сведения Вашего Превосходительства, что вина и прочие напитки в конце ноября с. г. были в ренском погребе Ракова, отобраны большевиками, с заявлением Ракову, что если он будет требовать за них вознаграждения, то будет арестован».

Подобные сообщения поступали и из других мест. К концу 1917 года практически все спиртные запасы в Ярославской губернии были или расхищены, или уничтожены.

М. Д. ДАНИЛОВА,
заместитель директора по научной работе
Государственного литературно-мемориального
музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха».



АЛЬФА-БАНК ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОГАТЬ ПИСАТЕЛЯМ

Альфа-банк совместно с Московским Литфондом продолжает благотворительную программу поддержки московских писателей, работающих над новыми произведениями. Уже третий год подряд 15 авторов, представивших наиболее интересные проекты на ежегодный конкурс Московского Литфонда, будут получать в течение года — с 1 ноября 2001 по 31 октября 2002 года — ежемесячные стипендии Альфа-банка. Рассматривает заявки Экспертная комиссия, состоящая из главных редакторов ведущих литературно-художественных журналов.

Благотворительная акция Альфа-банка, которая стала уже традицией, реально помогает рождению новых талантливых произведений и появлению новых имен в литературе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Антология современного рассказа, или История конца века. М., «Издательство Астрель», «Издательство „Олимп”», 2000, 448 стр., 3000 экз.

Собрание рассказов молодых писателей конца 90-х годов из круга авторов журнала «СОЛО», творчество которых, по мнению редактора этого журнала и составителя сборника Александра Михайлова, «будет отличать новую русскую прозу в веке наступающем». В сборнике представлены Айвар Валеев, Иван Макаров, Андрей Бычков, Елизавета Лавинская, Павел Лемберский, Софья Купряшина, Сергей Саканский, Николай Полянский и другие.

Юрий Буйда. Желтый дом. Щина. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 496 стр.

Новая книга современного прозаика, лауреата премии им. Аполлона Григорьева 1999 года, написанная в изобретенном автором жанре «щина». «Этот суффикс не имеет аналогов в других языках, он... такое же наше достояние, как широга природы, плохие дороги и много водки без закуски. Тема национального своеобразия не просто традиционно важна для русской словесности, но стала одним из ее навязчивых состояний» (из издательской аннотации).

Витольд Гомбрович. Фердиадурка. Роман. Перевод с польского А. Н. Ермонского. СПб., «Кристалл», 2000, 322 стр., 10 000 экз.

Витольд Гомбрович. Фердиадурке. Роман. Перевод с польского С. Н. Макарецва, Ю. Беляева. СПб., «Амфора», 2000, 350 стр., 5000 экз.

Витольд Гомбрович. Космос. Роман. Перевод с польского С. Макарецва. СПб., «Амфора», 2000, 231 стр., 6000 экз.

«Вторая волна» изданий входящего в наш культурный обиход творческого наследия одного из самых известных польских писателей XX века. Первой волной были журнальная («Иностранная литература», 1991, № 1) публикация «Фердиадурке», книжное издание романа «Порнография», рассказов из цикла «Девственность», отрывков «Дневника» в переводах Юрия Чайникова (М., «Лабиринт», 1992), а последующие отрывки из «Дневника» (также в переводе Ю. Чайникова) печатались в «Новом мире» (1996, № 11; 1998, № 2).

Издательство «Амфора» предложило новый оригинальный перевод «Фердиадурке». «Кристалловское» издание содержит новую редакцию первого, уже печатавшегося в «Иностранной литературе» перевода; текст сопровождается двумя предисловиями: Ивана Мосина «Путешествие из Петербурга в Москву с Витольдом Гомбровичем, или О превратностях судьбы некоторых книг» и Андрея Ермонского «Тревожное обаяние пана Витольда». Роман «Космос», последний роман Гомбровича, впервые выходит на русском языке.

Лев Лосев. Стихи. Проза. Екатеринбург, «У-Фактор», 2000, 624 стр.

Кроме стихов, отобранных автором, проза: «Жратва. Запретный распределитель», «Меандр» (книга в жанре «фантастических мемуаров», заголовок одной из глав — «Пьяный Ленин, голый Сталин, испуганный Хрущев»).

Лукиан. Сочинения. В 2-х томах. СПб., «Алетейя», 2001. Том 1 — 480 стр. Том 2 — 538 стр.

Двухтомник вышел в серии «Античная библиотека. Источники» и впервые полностью представляет все художественные тексты. За основу взято двухтомное издание «Academia» 30-х годов, но переводы уточнены и переработаны Зайцевым (недавно умерший ученый, автор замечательной книги «Культурный переворот в древней Греции», в свое время отсидевший в лагерях, до самой смерти оставался главой петербургской школы классической филологии).

Александра Петрова. Вид на жительство. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 129 стр.

Вторая книга стихотворений (первой была «Линия отрыва» — СПб., «Северо-Запад», 1994) бывшей петербуржанки, ныне жительницы города Рима, вышедшая в издательской серии «НЛО» — «Премия Александра Белого». Включает в себя стихотворные циклы «Линия отрыва», «Шаг в сторону», «За скорость двести», «Барышня и сарацин», «Подземный Рим», а также два эссе — «Небесная колония» и «Вид на жительство», написанные в жанре отчасти культурологической, отчасти лирико-автобиографической прозы об Иерусалиме и о Риме. Из предисловия Александра Гольдштейна: «Случай Александры Петровой выходит из рамок частного происшествия, он иллюстрирует доподлинную литературную потребность... вырваться за грань привычного мира, превозмочь его тесноту, отчуждаться от родного слова, — и все для того, чтобы войти с ним в новую близость... Как петербургскому поэту своего поколения, Петровой предстояло говорить усталым невским слогом... она переломила назначение, из пленницы став беглянкой... теперь этот голос, опробованный в неожиданных, жестких, внеположных русскому миру акустических средах, без подсказки и помощи отворивший двери клетки... нашел в себе себя-другого и выработал отвечающую этому опыту благозвучную, неблагополучную речь».

Ален Роб-Грийе. Дом свиданий. СПб., «Симпозиум», 2000, 492 стр., 4000 экз.

Избранное составили: роман «Дом свиданий», киноман «В прошлом году в Мариенбаде», цикл рассказов «Мгновенные снимки», теоретические статьи из сборника «Новый роман».

Юрий Трифонов. Дом на набережной. Роман, дневники. Составление и публикация О. Трифоновой. М., «ЭКСМО-Пресс», 2000, 608 стр., 7000 экз.

Основной объем этого тома составила выборка из дневников и рабочих тетрадей писателя. Журнальный вариант книги печатался с продолжениями в «Дружбе народов». Дневниковые записи начинаются 1934 годом и заканчиваются 22 февраля 1981 года, за месяц до смерти. Текст дневника перемежается вставками, написанными вдовой и в данном случае биографом писателя Ольгой Трифоновой, комментирующей, уточняющей, дополняющей обстоятельства места, времени и разного рода житейских и творческих условий, в которых делалась та или иная запись.

Елена Фанайлова. С особым цинизмом. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 136 стр.

Книга стихов лауреата премии Андрея Белого 1999 года, изданная в вышеупомянутой серии. Какого-либо особого цинизма в стихах не обнаружил — нормальные стихи, вполне подходящие под определение, данное В. Курицыным на последней стороне обложки: «Страстные, буйные, болезненные и при этом умные».



Эммануэль Левинас. Избранное. Тотальность и Бесконечное. Составление С. Я. Левит. Перевод с французского И. С. Вдовиной, Б. В. Дубина, Н. Б. Маньковской. Послесловие А. В. Ямпольской. М. — СПб., «Университетская книга», 2000, 416 стр., 3000 экз.

Вторая книга современного философа, выходящая в России (о первой, «Время и другой. Гуманизм другого человека». СПб., 1998, см.: «Новый мир», 1999, № 9, «Библиография»). Новое издание, вышедшее в серии «Книга света», содержит основной его труд «Тотальность и Бесконечное», а также: «Ракурсы», «От бытия к иному», «Философия, справедливость и любовь». В качестве приложения помещена статья Жака Деррида «Насилие и метафизика», посвященная Левинасу: «Мысль очень давно сидит на сухой отмели. Та водная стихия, в которую необходимо ее вернуть, это — снова — греческая стихия, греческая мысль о бытии. Именно в этой глубине заставляет нас содрогнуться мысль Эммануэля Левинаса». Эммануэль Левинас (1905 — 1995), родом из Прибалтики, прошел через гитлеровский концлагерь, принадлежал к школе «диалогистов», испытал влияние Бубера, Розенцвейга и традиционной еврейской мысли. Актуализировал тему «Афины и Иерусалим». На корешке вышедшей книги стоит цифра 1, предполагающая появление и второго тома.

Ирина Левинская. Деяния апостолов на фоне еврейской диаспоры. СПб., «Логос», 2000, 352 стр.

Монография, написанная отечественным специалистом по древним языкам и культурам на английском языке для оксфордской научной серии, посвященной деяниям апостолов, очень быстро ставшая одной из самых популярных в Англии и США и признанная наиболее авторитетной в затронутом вопросе, а теперь переведенная автором на русский язык.

Мераб Мамардашвили. Мой опыт нетипичен. СПб., «Азбука», 2000, 400 стр., 7000 экз.

Издание статей, докладов, заметок и бесед Мераба Константиновича Мамардашвили (1930 — 1990). Содержание сборника определено темой — «вопросом о природе философии и о пути, ведущем к ней». Сборник подготовлен к семидесятилетию со дня рождения и десятилетию со дня смерти философа. Составитель и автор вступительной статьи Ю. Сенокосов. Текст этой книги предполагается подвесить к выходу этого номера журнала на персональную страницу Мераба Мамардашвили, открытую в Интернете на сайте сетевого «Нового мира» (http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi/merab/atitul.htm) и содержащую текст книги Мамардашвили «Эстетика мышления».

О. Мраморнов. Продолжение литературы. М., ИД «Муравей-Гайд», 2000, 160 стр.

Нечастая по нынешним временам книга работ современного критика — шесть литературно-критических эссе, материалом которых стало творчество Боратынского, Тютчева, Бунина, Ходасевича, Пастернака, Шолохова, Солженицына. Автор, чувствующий себя продолжателем философско-религиозной традиции осмысления истории и содержания русской литературы, то есть в известной мере отказывающийся от эстетического анализа в пользу философско-религиозного и общественно-публицистического, предлагает свои формулировки сути искусства и того, что он называет «парадигмой человека»: «Художник, которому сопутствует одиночество или изгнание и который находится в неизбывном противоречии с миром пользы, власти и обладания, своим искусством сообщает нам нечто важное, не дающее распасться человеческому единству. Искусство не может уйти от общности», «Не бунт, а диалог двух правд — земной и небесной. Иов стучал и достучался. Библейский Иов — вот парадигма человека. Первообраз и мета человеческой общности».

П. А. Флоренский. История и философия искусства. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. Составление игумена Андроника (А. С. Трубачева). Вступительная статья О. И. Генисаретского. М., «Мысль», 2000, 446 стр., 5000 экз.

Почти весь объем книги занимает работа «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях» (курс лекций, прочитанных во ВХУТЕМАСе в начале 20-х годов). Опубликованная ранее (М., «Прогресс», 1993), она быстро стала библиографической редкостью. Кроме того, в томе опубликованы статьи по организации музейного дела и теоретические работы (впервые): «Закон иллюзий», «Значение пространственности», «Абсолютность пространственности», «Лекции по анализу перспективы».

Фр. В. Шеллинг. Философия откровения. Том 1. Перевод с немецкого, статья и примечания А. Л. Пестова. СПб., «Наука», 2000, 700 стр., 2000 экз.

Вошедшая в том поздняя работа философа составлена им на основе лекционного курса, в котором он пытался восстановить и утвердить утраченные религиозные ценности. Книга эта в советские годы считалась печальным казусом, омрачившим финал жизни философа, и первое появление ее на русском следует считать событием.

Борис Эйхенбаум. Мой временник. Маршрут в бессмертие. М., «Аграф», 2000, 384 стр.

«Временник» Эйхенбаума конца 20-х годов был уникальным авторским моножурналом, где научные, политические, мемуарные, автобиографические и прочие мотивы переплетены в тонкую художественную ткань дневникового типа. Именно эта книга всегда считалась «уликой», свидетельствующей о внутреннем саркастически-враждебном отношении «формалистов» к советской власти. Переиздается впервые.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Вести.Ру», «Вопросы литературы», «Время MN», «Время новостей», «Гуманитарный экологический журнал», «Даугава», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Комментарии», «Континент», «Кулиса НГ», «Лимонка», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Мурманский берег», «Наш современник», «Наша улица», «НГ-Наука», «НГ-Политэкономика», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Новая Польша», «Новое литературное обозрение», «Огонек», «Октябрь», «Посев», «Пределы века», «Русский Журнал», «Труд-7», «Фас», «Фигуры и лица», «Хранить вечно»

Артем Арутюнов. Кто был настоящим отцом Ленина. Тайна семьи Ульяновых раскрыта? — «Независимая газета», 2000, № 241, 21 декабря <<http://www.ng.ru>>

Владимир Ильич был (оказывается/будто бы) Владимиром Ивановичем. Иван Сидорович Покровский — домашний врач Ульяновых. Неубедительно, но соблазнительно.

Дмитрий Балашов. Россия на рубеже третьего тысячелетия. Вступительная статья Станислава Панкратова (Петрозаводск). — «Наш современник», 2000, № 12 <<http://read.at/nashsovr>>

«Не дай, Господи, нам узреть за собственным концом конечную гибель человечества!» Анализ исторического момента сквозь призму гумилевской теории этногенеза. Автор, известный исторический писатель, убит в прошлом году.

Эдвин Бернбаум. Горы и святая власть. Перевод с английского А. Елагина и В. Борейко. — «Гуманитарный экологический журнал». Издатели: Киевский эколого-культурный центр, Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП (WCPA/IUCN). Журнал издан при поддержке Фонда МакАртуров. Киев, 2000, том 2, выпуск 1 <<http://www.in.com.ua/~kekz/human.htm>>

«Из всех характеристик ландшафта, горы наиболее драматично внушают чувство благоговения...» Глава из книги американского альпиниста и культуролога — «*Sacred mountains of the world*» (1998).

Павел Басинский. Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит... — «Литературная газета», 2000, № 50-51, 20 — 26 декабря <<http://www.lgz.ru>>

«...[Борис] Екимов сел и написал повесть [„Пиночет“] о том, что реально происходит с Россией и что с ней будет происходить, хотим мы или нет... Это история о том, как человек с равнодушным сердцем берет в руки кнут и заставляет и без того нищих людей возвращать наворованное. Заставляет их работать без обещаний скорого процветания... Россия — это колхоз, в котором все плохо лежит, даже и то, что уже расхвачано и трижды переделено. Так вот, сперва положите на место, а потом реформируйте. Я знаю, что эта формула у многих вызывает страх...»

К. Батозский, Н. Павленкова (Евпатория, Крым). Я возвращаю себе Россию. Иван Шмелев и крымские караимы в Париже. — «Литературная Россия», 2000, № 48, 1 декабря <<http://www.litrossia.ru>>

Корреспондентка И. С. Шмелева — Елизавета Семеновна Гелелович (Дуван), из древнего караимского рода Дуванов. Авторы статьи отмечают, что Дувановская — одна из красивейших улиц Евпатории — названа так в 1907 году в честь отца Елизаветы Семеновны — Семена Эзровича Дувана, который дважды избирался на пост городского головы.

Александр Белинский. Государственный преступник. Публикация, вступительная заметка и примечания Лидии Белинской и Александра Гордина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 11 <<http://novosti.online.ru/magazine/zvezda>>

Фрагмент воспоминаний школьного учителя А. И. Белинского (1886 — 1977), в основе которых лежат его лагерные записи 30-х годов.

Андрей Битов. Вычитание Зайца. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 12.

Короткая пьеса «Занавес» и эссе «Пушкинский лексикон» — новые битовские тексты к 175-летию *выбега/выпрыга* того самого Зайца, который встретился на дороге Пушкину и которому ныне заслуженно поставлен памятник в Михайловском. «Идея

[памятника] давняя — в разговорах на брежневских кухнях она рождалась в одной общей застойной голове, — рассказывает Битов в газете „Время новостей” (2000, № 193, 25 декабря). — Я ходил с подписным листом на зайца — все считали, что на водку себе собираю».

Ольга Брилева. За Пятачка! — «Вести.Ru» <<http://www.vesti.ru/2000/12/03>>

Перепечатка в сетевых «Вестях.Ру» из бумажного журнала «Фас». Суть дела: английская мусульманская община требует убрать изображения Пятачка (*Pigle*) из магазинов детской одежды и аксессуаров «*Mothercare*». Далее цитирую Ольгу Брилеву: «Я знаю, как легко задеть чувства верующего. С точки зрения правоверного мусульманина, европейский мир полон вещей отвратительных: начиная со слишком откровенных женских изображений и употребления спиртного и завершая мерзкими святотатственными картинками, на которых изображен Аллах, а Иса ибн Марьям представлен Его сыном и одновременно Им самим. Плюс еще гяуры домешивают к этому какого-то Святого Духа. Чувства мусульманина мне понятны... Ну что нам этот Пятачок? А люди чувствуют себя оскорбленными до глубины души. Как-то даже глупо ссориться из-за какого-то выдуманного поросенка. Зато наши новые сограждане-иноверцы успокоятся. Так вот, нет — не успокоятся. Повторюсь: наш мир полон вещей, неприемлемых для мусульманина. И у него, попавшего в наш мир, три выхода: плюнуть и отправиться восвояси; перестать быть правоверным мусульманином; переделать этот мир по своему вкусу. И евромусульман не устраивают первые два варианта. Они вплотную занимаются третьим. Мусульмане — ребята упорные и могут добиваться своего столетиями. Точнее, это раньше им приходилось добиваться своего столетиями, ибо христиане тоже были ребята упорные. А теперь европейцы в большинстве своем далеко не христиане. И если за Пятачком наступит очередь Девы Марии — кто встанет на ее защиту? Европа остервенело защищала бы свои материальные ценности, но не такие мусульмане дураки, чтобы их атаковать. Эта корова им самим еще пригодится. Но среди духовных ценностей европейской цивилизации нет ни единой, по которой не потоптались сами европейцы... Если уж можно подвергнуть сомнению Христа — то почему не Пятачка? Мы привыкли одеваться как пожелаем, перехватывать рюмочку, жениться по своей воле, говорить, что думаем, украшать одежду и игрушки наших детей любимыми героями книг и мультяшек. Все это свободы на первый взгляд мелкие и ничтожные, они стали нам уже незаметны — как воздух, которым мы дышим. Но без этого воздуха мы жить не сможем. И эти свободы намного важнее, чем право голосовать за кандидата в президенты. Путин и Тони Блэр уйдут, а Пятачок пребудет. Герой детских книжек и мультяшек важнее президентов. Пятачок жертвует своим зеленым шариком, чтобы обрадовать ослика Иа-Иа, — вот пролог к рассказу о Франциске, обнимающем прокаженного, о Мартине, рассекающем свой плащ мечом, чтобы отдать половину нищему, о Христе, который идет на смерть, чтобы вернуть людям радость встречи с Господом. Кто не знает, как положить зеленый воздушный шарик свой для друга своего, не поймет, как положить жизнь свою за други своя».

Юрий Буртин. Исповедь шестидесятника. — «Дружба народов», 2000, № 12 <<http://novosti.online.ru/magazine/druzba>>

«Свое миропонимание студенческих лет [конец 40-х — начало 50-х годов] я имею все основания квалифицировать как сталинское...» Первый из задуманного, но так и не законченного цикла автобиографических очерков. Очерк «В школе Твардовского» см. в февральском номере «Дружбы народов» за 2001 год.

Андрей Ваганов. Древнейшая книга славянской цивилизации. — «НГ-Наука», 2000, № 11, 20 декабря <<http://www.ng.ru>>

В июле 2000 года на Троицком раскопе в Новгороде археологи нашли древнейший русский манускрипт, датированный не позже 1010 года, — три деревянные дощечки, покрытые воском и полностью исписанные псалмами царя Давида. До сих пор самым древним на Руси памятником старославянской письменности считалось Остромирово Евангелие, датированное 1056 — 1057 годами.

Алексей Варламов. Стерилизатор. Первый лауреат «Антибукера» бросает вызов последнему лауреату. — «Литературная газета», 2001, № 3, 17 — 23 января <<http://www.lgz.ru>>

Алексей Варламов утверждает, что «Коронация» Акунина/Чхартишвили, удостоенная Антибукеровской премии за 2000 год, представляет собой *сознательный, провокационный и назлый пасквиль на императора Николая Александровича*. «Николая Второго можно любить или не любить, считать его виновным за отречение от престола, за революцию и Кровавое воскресенье <...> — все можно. Но только, зная судьбу последнего русского царя, ерничать, иронизировать и издеваться над его религиозностью и одиночеством способен лишь человек, посторонний в нашей культуре. <...> То обстоятель-

ство, что ни этой боли, ни любви, ни просто человеческих чувств к расстрелянному большевиками человеку и его семье у Б. Акунина нет, его частное дело, „*privacy*“, так сказать. Но свое „*privacy*“ есть и у людей, для которых после причисления Государа к лику святых Русской православной церковью он имеет, говоря языком светским, особый статус, и порочить его память, измышлять гадости и представлять его бессердечным лицемером означает лично этих людей оскорбить. <...> Канонизированный Архирейским собором царственный страстотерпец людскому суду и писательским наветам неподвластен, и оскорбленными оказались чувства тех, кто обращается к своему заступнику и ходатаю с молитвой, кто ставит свечи перед его иконами в храмах, заказывает молебны и называет в его честь своих детей. Я понимаю, что кому-то это поклонение кажется глупым и несерьезным, кого-то оно смешит, раздражает или даже злит. <...> [Но] есть вещи, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть ни объектом холодной умственной игры, ни блестящей сти-, вернее, стерилизации, ибо обретаются они в человеческом сердце и, извлеченные из него, погибают. <...> Легкий, но побуждающий к размышлениям писатель плюет в то, что дорого определенному числу жителей „этой страны“ и людям, много лет назад из нее изгнанным. Как и тогда, либеральной интеллигенции нет от этого поругания дела, как и тогда, она жаждет острых развлечений за чужой счет...»

Не хочется отвечать Варламову, новомирскому автору, между прочим, в его же духе: мол, статья его представляет собой провокационный пасквиль (тем более, что сам вхожу в антибукеровское жюри, являясь тем самым одним из гадких либеральных интеллигентов, присудивших премию недостойному беллетристу). Не хочется потому, что и мне дорого то, что так неуклюже пытается защищать Варламов. И то, что он защищает, действительно нуждается в защите, но противник выбран совсем неудачно. Если Варламов понимает (а я уверен — понимает), что такое в нашей Церкви есть чин *страстотерца*, то он не может не знать, что жизнь и смерть страстотерца могут соотноситься весьма непростым образом. В приключенческом романе Акунина Николай Александрович появляется как второстепенный персонаж — молодой, даже не Государь еще, а наследник, как раз вступающий на престол. В 1992 году в той же «Литературке» (от 11 марта) в заметке «Рушди и мы» я сам предостерегал от эстетских игр с религиозными святынями, но в том-то и дело, что Акунина можно упрекнуть самое большее в недостаточном почтении к молодому царю (но не к казненному большевиками и канонизированному нашей Церковью страстотерпцу), что никак не является оскорблением, во всяком случае — намеренным оскорблением чувств верующих (я имею право судить об этом в не меньшей степени, чем Варламов). А представить себе Г. Ш. Чхартишвили *плюющим* хоть на что-либо, я, извините, вообще не могу. За раздражением Варламова слишком уж прочитывается совершенно закономерное творческое неприятие одним современным прозаиком другого современного прозаика (подчеркиваю — творческое, ибо нет оснований подозревать Варламова в пошлой зависти к коммерческому и читательскому успеху акунинского проекта). Кстати, недавно вышел из печати так называемый *альтернативно-исторический* роман другого, менее известного, автора, в котором царская семья вообще спасается от большевистской казни, и это, на мой взгляд, более адекватный предмет для размышлений в предложенном Варламовым ключе.

Б. Б. Вахтин. Необходимые объяснения с самим собой. Публикация Н. Б. Вахтина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 11.

Начало незаконченной работы (январь 1980 года): удивительно, какое сильное впечатление произвели на известного ученого-китаеведа и прозаика Бориса Вахтина (1930 — 1981) дикие фантазии Н. Ф. Федорова.

Александра Веселова. Не-Муму. — «Русский Журнал» <<http://russ.ru/krug/gazbor>>

«Крестьяне для охотника-писателя [Ивана Тургенева] — такой же материал, как животные — для художника».

Марина Вишневецкая. «Проза — это когда...». Беседу вела Инга Кузнецова. — «Вопросы литературы», 2000, № 5, сентябрь — октябрь <<http://novosti.online.ru/magazine/voplit>>

«...Любая придуманная история рассказывает о жизни не больше, чем рябь воды об обитателях океана. То есть сюжет — это, видимо, такая необходимая условность, что-то вроде линейной перспективы. Все между собой сговорились и решили, что только это и может организовывать пространство, что глазу (читателя/зрителя) данное удобство облегчает восприятие... И я не могу с этим не согласиться. Но и согласиться с этим я тоже не могу».

Сергей Гандлевский. Конспект. Беседу вела Анастасия Гостева. — «Вопросы литературы», 2000, № 5, сентябрь — октябрь.

«Недавно я прочел „Улисса“ и ахнул. Я его не читал, потому что решил, что это книга для высококолых. При моей неприязни к высококолости вообще я решил, что пусть они, умники, и читают. А увидел я, что это довольно простая книга и очень насыщенная».

Александр Гордон. «Я думаю, сегодня Америка в муках выбирает своего последнего президента». Беседу вел Александр Никонов. — «Огонек», 2000, № 46, декабрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

О дурной американской школе, об антисемитизме в США и о том, что долларовая пирамида рухнет в 2001 году. Цитата: «...правительству любой страны сложно иметь дело с образованным и вооруженным народом. Поэтому они (американские власти. — *А. В.*) делают все, чтобы народ был менее образованным и менее вооруженным... Когда писалась Конституция, народ и армия США были вооружены одинаково. Причем тогда конфликт между армией, то есть правительством, и народом разрешился бы в пользу народа, потому что армия была незначительной. Теперь же армия США вооружена по последнему слову техники. Народ же вооружен в лучшем случае неавтоматическими винтовками. И все равно правительство его боится! И им есть чего бояться! Десять лет назад народные милиции были только в трех консервативных штатах — Техасе, Алабаме, Индиане. А сейчас милиции организованы во всех 50 штатах. Под ружьем стоят 400 000 человек. Белых. Консервативных...»

Александр Грудинкин. Общество утратит память? — «Знание — сила», 2000, № 11 <<http://www.znanie-sila.ru>>

Скачкообразный прогресс устройств, считывающих информацию, обгоняет перевод уже накопленной информации на новые носители и в будущем угрожает преемственности знаний и традиций. С гораздо более долговечными книгами и фотокарточками, *непосредственно воспринимаемыми человеческими органами чувств*, (было) как-то спокойнее.

Владимир Губайловский. Андрей Вознесенский в Интернете. — «Независимая газета», 2000, 6 декабря.

«На человека, хорошо адаптированного к сетевой среде, поэма Вознесенского [«*гу*»] действительно производит впечатление, похожее на голливудские фильмы про Россию. Многовато баладаек и самоваров, то бишь www... сайтов, чатов, хакеров... [Но] это действительный Рунет со всеми его недостатками и ошибками, которые воспроизведены с несколько преувеличенной старательностью». Факт публикации поэмы (на сайте — www.ozon.ru) вселяет в критика сдержанный оптимизм.

Диалог в «открытом пространстве». Переписка Жоржа Нива с Александром Архангельским. Перевод писем Жоржа Нива с французского Л. Цывьяна. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 11.

«...Но меня, когда я перечитывал этот фрагмент [3 Цар. 19: 7 — 12], более всего потрясла мысль, что спасено будет небольшое число людей. То есть то, чего мы сейчас не принимаем. Либо будут спасены все, включая и почитателей Ваала, либо никто. Эту крайне современную тему нам открыл Достоевский в „Легенде о Великом Инквизиторе“. И надо четко видеть, что сегодня мы склонны счесть правым именно Великого Инквизитора. Кстати, а не испытывал ли подобного соблазна и сам Достоевский?» (из письма известного слависта Жоржа Нива, ориентировочно сентябрь — ноябрь 1998 года).

Евгений Добренко. Россия, которую мы обрели. Русская классика, сталинское кино и прошлое в его революционном развитии. — «Вопросы литературы», 2000, № 5, сентябрь — октябрь.

«Увидеть в сталинском кино повседневное прошлое (а не только царей, великих полководцев, композиторов и ученых) можно только в... экранизациях русских классиков». См. также статью Евгения Добренко «Три матери» («Искусство кино», 2000, № 8) о трех экранизациях знаменитой горьковской повести — В. Пудовкина, М. Донского и Г. Панфилова.

Н. Донцов. Наш европейский враг. — «День литературы», 2000, № 21, декабрь <<http://www.zavtra.ru>>

Означенный в названии враг — это французы. Эпиграф к статье взят из Шедрина: «Бегают куцые, да лягушатины жрут».

Александр Дугин. Новый социализм. — «Завтра», 2000, № 52, 26 декабря <<http://www.zavtra.ru>>

Лекция, прочитанная в МГУ: либерализм — это рынок, догматический социализм — это план, а альтернативная теория, прости Господи, нового социализма основана на *зависимости экономики от общества*.

Никита Елисеев. Клерк-соловей. — «Вопросы литературы», 2000, № 5, сентябрь — октябрь.

О поэзии Сергея Стратановского. Вопреки двусмысленному названию — позитивно. На основе доклада, прочитанного критиком на семинаре «Ленинградский самиздат 50 — 80-х годов».

Всеволод Емелин. Песни аутсайдера. Из стихов, написанных после 1991 года. — «Кулиса НГ», 2000, № 17, 29 декабря <<http://www.ng.ru>>

«Смерть бригадира», «Баллада о белых колготках» и другие жестокие романсы и баллады. Очень хороша, неожиданна и серьезна «*Колыбельная бедных*»: «Из леса выходит / Серенький волчок, / На стене выводит / Свастики значок. / Господи, мой Боже! / Весь ты, как на грех, / Вял и заторможен, / В школе хуже всех. / Ростом ты короткий, / Весом ты птенец. / Много дрянной водки / Выпил твой отец. / Спи, сынок, спокойно, / Не стыдясь ребят, / Есть на малохолных / Райвоенкомат. / Родине ты нужен, / Родина зовет. / Над горами кружит / Черный вертолет... / Редкий русский волос, / Мордочки мышей. / Сколько полетело вас, / Дети алкашей, / Дети безработных, / Конченых совков, / Сколько рот пехотных, / Танковых полков...» *Может быть, так — чего мы уже не можем себе представить — звучал в XIX веке Некрасов?*

Д. Затонский. А был ли Франсуа Рабле ренессансным гуманистом?.. — «Вопросы литературы», 2000, № 5, сентябрь — октябрь.

«Естественно, что роман Рабле, как и всякий постмодернистский текст...»

«**Звезды у меня нет.**» Константин Леонтьев и его покровители. — «Хранить вечно», 2000, № 2, 1 декабря <<http://www.ng.ru>>

Автографы публикуемых писем К. Н. Леонтьева (1831 — 1891) хранятся в РГАЛИ и в Отделе рукописей РГБ. Публикация, предисловие и комментарии Сергея Сергеева (письмо № 2 — публикация Романа Гоголева).

Екатерина Зотова. Образцовые неудачи. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2000, № 46, декабрь <<http://www.1september.ru>>

Стихотворение Пастернака «Хмель» (1953) как очевидная — для Екатерины Зотовой — *творческая неудача* и даже как «*массовая литература*». Это не очевидно для Марины Павловой, которая в этом же номере газеты спорит с Екатериной Зотовой.

Андрей Zubov. Между отчаянием и надеждой: политические воззрения А. И. Солженицына 1990-х гг. — «Посев», 2000, № 12 <<http://www.webcenter.ru/~posevru>>

«Тогда те, кто согласились на коммунизм, умерли. И мы — дети мертвецов. А те, кто погибли (Колчак, Корнилов. — А. В.), защищая святыню и честь России, — они живы... Все они погибли, но такая смерть и есть жизнь. Но мы, увы, не их дети. И потому мы сами мертвы не физической, но страшнейшей ее *метафизической* смертью...»

Из архива Евгения Винокурова. Публикация и комментарии И. Винокуровой и А. Колчинского. — «Вопросы литературы», 2000, № 6, ноябрь — декабрь.

Воспоминания Евгения Винокурова (1925 — 1993) об Эренбурге («Илья Григорьевич рассказывал мне, как... вернувшись из-за границы, увидел Мавзолеем Ленина и был потрясен. „Мы считали, что нэп — это дорога к Западу, к образованию народа, к цивилизации, а это же *Egnet*“...»), а также десять не очень интересных писем Анастасии Цветаевой к Винокурову. Эти материалы вошли в сборник «Евгений Винокуров. Жизнь, творчество, архив» (М., РИК Русанова, 2000). *Евгений Михайлович некогда заведовал в «Новом мире» отделом поэзии. Я ходил на его поэтический семинар в Литинституте.*

Из неизданной переписки И. В. Сталина с членами Политбюро ЦК ВКП(б) (1931 — 1936). Публикация Сергея Константинова. — «Хранить вечно», 2000, № 2, 1 декабря.

Публикуемые письма хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), в фонде Лазаря Кагановича (ф. 81, оп. 3). Полностью переписка Сталина и Кагановича с 1931 по 1936 год (более 800 писем) готовится к публикации сотрудниками РГАСПИ в издательстве «РОССПЭН».

Интуиция: девять лет выдержки. Ольга Морозова: «Книжная серия убивает литературу». Беседовал Глеб Шульпяков. — «Ex libris НГ», 2000, № 48, 21 декабря <<http://exlibris.ng.ru>>

«Классический нон-фикшн в России — это литературоведение, потому что литература — реальность, доступная для нашего читателя: взял книгу с полки и т. д. Любой другой нон-фикшн — стиль жизни, кулинария, путешествия, биографии, путеводители — это роскошь, которую могут себе позволить только обеспеченные люди... А

фикшн и массовая литература — это литература бедных», — считает директор издательства «Независимой газеты» Ольга Морозова.

К 65-летию В. Э. Вацура. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 11.

В юбилейную/мемориальную подборку входят следующие материалы: Мариэтта Турьян, «Служенье муз не терпит суеты...»; В. Э. Вацура, «Пушкинская шутка. Русский спиритуалистический сонет романтической эпохи. (Из сонетного творчества И. И. Козлова)»; В. Э. Вацура, «Ю. Н. Тынянов и А. С. Грибоедов. (Из наблюдений над романом „Смерть Вазир-Мухтара“)»; О. Супрунок, «Из дневника аспирантки».

Сергей Казначеев. Ад маргинальности. Как современную русскую словесность низвели до условий растительного существования. — «Ex libris НГ», 2000, № 48, 21 декабря.

Автор, преподаватель Литературного института, предлагает избавить нашу литературу от ига маргинальности через восстановление единого Союза писателей под единым русским руководством.

Рейн Карасты. Отечественный шкаф. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 11.

«Мнимые величины» Николая Нарокова (я читал этот роман в начале 90-х, *ничего не помню*) в контексте Оруэлла, Замятина, Брэдбери и Хаксли.

Юрий Караш. Российская орбитальная станция готова стартовать на Марс. Наша страна ближе всех подошла к осуществлению пилотируемой экспедиции на Красную планету. — «НГ-Наука», 2000, № 11, 20 декабря.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала проект экспедиции к Марсу, которую можно осуществить в ближайшиe десять лет (длительность полета — два с лишним года с учетом времени на орбите Марса, стоимость — около 10 млрд. долларов или 1 млрд. долларов в год).

В. Кардин. «Легенды и факты». Годы спустя. — «Вопросы литературы», 2000, № 6, ноябрь — декабрь.

История нашумевшей в свое время новомирской статьи Кардина «Легенды и факты» (1966, № 2).

Эндрю Карри (*U.S. News & World Report*). Деклассированные классики? Перевел Илья Кун. — «Русский Журнал» <www.russ.ru/ist_sovr/other_lang>

Вышедшая в ноябре 2000 года книжка Аристофана — часть большого проекта, в рамках которого издательство *Harvard University Press* выпустит в свет переработанные переводы — с полным сохранением сексуальной раскрепощенности оригиналов — знаменитой пятисоттомной серии *Loeb Classical Library*, основанной в 1911 году. «[До сих пор] создавалось впечатление, — говорит Александр Сенс, профессор классической филологии из Джорджтаунского университета, — что древние греки были как две капли воды похожи на представителей британского высшего общества: все, как один, аристократы, которые собираются вместе, садятся в кружок и размышляют о прекрасном». А сегодняшних американских студентов шокирует в античных комедиях гомофобия, неуважительное отношение к этническим меньшинствам, женоненавистничество и терпимость по отношению к рабовладению, то есть вещи, которые викторианский читатель проглатывал не моргнув глазом.

Николай Климонтович. Далее везде. Главы из книги. — «Октябрь», 2000, № 11 <<http://novosti.online.ru/magazine/October>>

«МетрОполь» и *подметрополье*. Начало см.: «Октябрь», 2000, № 4.

Кирилл Кобрин. Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо третье. — «Октябрь», 2000, № 11.

Игорь Померанцев. Александр Леонтьев. Валерий Черешня. Первые два письма см.: «Октябрь», 2000, № 5 и 8.

Николай Ковалев. Из книги воспоминаний «В продолжение любви». — «Мурманский берег», Мурманск, 2000, № 6.

«Послевоенная школа [в Ленинграде] была ужасна...» Автор — художник, с 1967 года живет в Мурманске.

Игорь Кондаков. «Где ангелы реют». Русская литература XX века как единый текст. — «Вопросы литературы», 2000, № 5, сентябрь — октябрь.

«Кто это написал: „Мы живем, под собою не чуя страны...“, „Я хочу быть понятой моей страной...“, „Моя страна со мною говорила...“ и „Когда такие люди / в стране в советской ест!“? Об одной и той же стране ведь идет речь, об одних и тех же людях! Неужели не один поэт это написал? Когда мы читаем: „Он вдруг повернул колесо руле-

вое / сразу на двадцать румбов вперед”, а рядом: „Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, / скрипучий поворот руля”, — разве не об одном и том же корабле, разве не об одном и том же рулевом говорится? Разве о разных поворотах?..» Кроме Мандельштама/Маяковского речь идет о Фадееве/Платонове, Шолохове/Бабеле и прочих интересных *перекличках*. Кстати, у Маяковского — «на двадцать румбов вбок», а не «вперед».

Виктор Конечский. Последний рейс. — «Знамя», 2000, № 12 <<http://novosti.online.ru/magazine/znamia>>

«Последний раз я был в Арктике четырнадцать лет назад. Тогда же и была задумана книга об этом воистину последнем для меня рейсе 1986 года — в 1987 году я из пародства уволился... Книгу эту я так и не написал».

Наум Коржавин. В соблазнах кровавой эпохи. Из книги воспоминаний. — «Дружба народов», 2000, № 12.

«Как это ни странно звучит, но тогда, в 1944 году, в военной Москве существовала и набирала силу (восстанавливалась?) молодежная литературная жизнь...» Первые две части воспоминаний см. в «Новом мире» (1992, № 7, 8; 1996, № 1, 2). Полный текст всех пяти частей см. в сетевом журнале «Новый мир»: http://novosti.online.ru/novyi_mi/redkol/kor

Аркадий Корзнев, Александр Мелихов. «Бессильно лекарство — поможет железо». — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 12.

Психириургия — мифология и реальность. Роман Кена Кизи и последующий фильм Формана «Пролетая над гнездом кукушки» как апофеоз *антипсихиатрической кампании*, которая привела, например, к тому, что в Англии были отмечены резко возросшие расходы на тюрьмы: в них стали заключать тех, кого раньше отправили бы на лечение (в больницу нельзя, а в тюрьму можно). Один из соавторов настоящей статьи (Корзнев) — практикующий психиатр, другой (Мелихов) — инженер человеческих душ, который прослушал полный курс психиатрии в одном из ленинградских мединститутутов.

См. также беседу этого второго, Александра Мелихова, с Татьяной Бек («Глумление над собственным отчаянием» — «Вопросы литературы», 2000, № 6).

Геннадий Красников. «Роковая зацепка за жизнь...». — «Москва», 2000, № 12 <<http://www.moskva.cdru.com>>

О Есенине. Споткнулся на такой неловкой фразе: «Мы знаем, как благородно и мученически свято умирала в Ипатьевском подвале идея монархии», — там *не идея* умирала.

Владимир Крупин. Сталинская дача. Рассказ. — «Наш современник», 2000, № 12.

Писателя пригласили к Черному морю на конференцию, посвященную единению религиозных и светских усилий в борьбе за нравственность общества: «Да, тут сбывается мечта масонов — преподнести религию частью мировой культуры. И я, получается, все это (показанную гостям двусмысленную „феерию на библейские темы”. — *А. В.*) одобрял. То есть я куплен за поездку к морю, за самолет, кормление, за сталинскую дачу. Кстати, пора на ужин...»

Андрей Крылов. О трех «антипосвящениях» Александра Галича. — «Континент», № 105 (2000, № 3).

Почти академические разыскания (иногда любопытные) вокруг маловысокохудожественных текстов. Местами очень смешно: «Не будем долго останавливаться на возможных истинных причинах, побудивших нобелевского лауреата [Солженицына] отказаться от встречи [с Галичем], которая могла стать знаменательной в истории русской литературы...»

Юрий Кублановский. «Мы живем под собою не чужа страны». Поэтические итоги уходящего столетия. — «Труд-7», № 242, 28 декабря 2000 — 3 января 2001 <<http://www.trud.ru>>

«Все вышеупомянутые выдающиеся поэты жили в те, теперь уже баснословные, времена, когда, казалось, поэзии ничего не грозит, что она будет существовать всегда...»

Сергей Куняев. Русский беркут. Документальная повесть. — «Наш современник», 2000, с № 4 по № 10, № 12.

Апологетическое/нелицеприятное жизнеописание поэта Павла Васильева: сквозь историю о том, как нерусские люди затравили русского беркута, неумолимо проступает расказ о том, как упорно он сживал себя со свету (что никак не оправдывает его убийц).

Диакон Андрей Кураев. Здоровый клерикализм. — «Москва», 2000, № 12.

«Очень много в „социальной концепции” [Русской Православной Церкви] написано не от лица сообщества людей, стремящихся к власти, а от лица сообщества, готовящегося к новой волне гонений на себя...» Обзор этого важного документа см. в настоящем номере «Нового мира».

Александр Кушнер. Магический рубеж. Размышления накануне третьего тысячелетия. — «Литературная газета», 2000, № 52, 27 — 31 декабря.

«Короче говоря, если у кого-то возникает ощущение упадка поэзии в России... то связано это не с перспективами русского стиха, а с неумением отличить без подсказки времени, все расставляющего по местам, настоящие вещи от подделки в текущей литературе».

Андрей Лебедев. Современная литература русской диаспоры во Франции? — «Новое литературное обозрение», № 45 (2000) <<http://www.nlo.magazine.ru>>

Жанр: инвентаризация. Вопросительный знак в названии не случаен.

Семен Липкин. Странный луч. Стихи. — «Знамя», 2000, № 12.

«В том государстве странном, / Где мы живем, / Мы заняты обманом / И плутовством, / Мы заняты витийством / Там, где живем, / Мы заняты убийством / И воровством...»

Геннадий Лисичкин. Россию истощает имперский вирус. — «Литературная газета», 2000, № 52, 27 — 31 декабря.

«Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь...» (Лев Толстой — о Петре I), которому в России поклоняются почти так же, как недавно еще Ленину-Сталину. Историкам пора сказать о Петре свое веское слово, считает Г. Лисичкин.

Лоренс Даррелл, или Путь эгоцентрика. Составление и предисловие Вадима Михайлина. — «Иностранная литература», 2000, № 11 <<http://novosti.online.ru/magazine/inostran>>

В традиционной рубрике «Литературный гид» напечатаны стихи Лоренса Даррелла, фрагменты его книги «Горькие лимоны», три рассказа из сборника «*Sauve qui peut*» (1966), письма к Генри Миллеру 1935 — 1964 годов, два интервью писателя 1972 и 1986 годов, краткая летопись его жизни и творчества, а также эссе известного натуралиста и путешественника Джеральда Даррелла «Мой брат Ларри».

«Лучший из возможных миров — тот, который еще возможен». Философия иномыслия, считает Михаил Эпштейн, наиболее близка русской культуре. Беседовал и комментировал Игорь Шевелев. — «Время MN», 2000, № 221, 27 декабря <<http://www.vremyamn.ru>>

Михаил Эпштейн преподает в американском университете Эмори в Атланте. С весны 2000 года он регулярно рассылает по электронной почте (в рамках проекта «Дар слова»: <http://emory.edu/INTELNET/dar0.html>) своим подписчикам *новые слова*: «...я хочу показать, что они не просто имеют право на существование, но были бы полезны тем, что раздвигают границы мыслимого, а значит, и осуществимого в жизни. Один пример. Слова „любовь“, „любить“ не позволяют различать множества оттенков соответствующих чувств и отношений. Ну почему бы не ввести слово „любя“ (с ударением на первом слоге) для обозначения физической близости, плотской любви, любви как игры и наслаждения? Или слово „любя“ для описания состояния всеобщей любви, любви как космической стихии (ср. „зыбь“, „глубь“)?..»

В Сети начал выходить журнал, разрабатывающий основы культуроники: «Веер будущностей. Техно-гуманитарный вестник» (<http://www.fuga.ru/veer>), одним из соредкторов которого является Эпштейн. В журнале выставлена его речь «Амероссия. Двукультурие и свобода», связанная с получением им в Нью-Йорке новой *эмигрантской* премии «*Liberty*» за выдающийся вклад в *русско-американскую* культуру.

Т. Г. Масарик. От Белинского к Уварову. Перевод с чешского Виктории Каменской и Олега Малевича. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 12.

«Вскоре Достоевский уже разделяет искаженный, ошибочный взгляд на прогрессивные направления...»; «...обосновывая свое отношение к народу („народничество“) и свое отношение к „почве“ („почвенничество“), Достоевский допускает большое количество ошибок...»; ну и так далее. Глава из третьего тома книги *того самого* Масарика «Россия и Европа».

«**Массовая литература может быть возвышенной**». Беседу вела Алена Солнцева. — «Время новостей», 2000, № 182, 6 декабря <<http://www.vremya.ru>>

Говорит Б. Акунин (Г. Чхартишвили): «Мне нравится Стивенсон, я его [„Остров сокровищ“] и сейчас перечитываю с удовольствием. Это написано просто и красиво. А читается это сейчас как детская литература, потому что за сто лет изменился человек, его взаимоотношения со словом, с жизнью и фактурой, физиологией жизни... Можно сейчас написать „Остров сокровищ“ так, что его будут читать взрослые образованные люди, и их за уши не оторвешь... То, чем я занимаюсь, следовало бы назвать попыткой Реабилитации Сюжета, который в XX веке был совершенно подавлен формой и рефлексией».

Об ошибках и анахронизмах у Акунина см. язвительную статью Елены Чудиновой «Смерть статуи Ахиллеса» («Фас», 2000, № 47, 48, окончание следует).

Владимир Набоков. Что всякий должен знать? — «Литературная газета», 2000, № 49, 6 — 12 декабря.

Малоизвестный памфлет 1931 года — против фрейдизма. С послесловием Анатолия Иванова о том, почему Набоков не любил Фрейда. Рядом напечатана полемическая статья психофизиолога, доктора биологических наук Михаила Богословского, который надеется, что фрейдизм (как модное и финансово выгодное «религиозное учение») будет отброшен наукой вслед за теорией Лысенко и опытами Лепешинской.

Анатолий Найман. Сэр. — «Октябрь», 2000, № 11, 12.

Сэр — Исая Берлин. См. также — Игорь Шайтанов, «Русское интервью Исая Берлина» («Вопросы литературы», 2000, № 5).

«Не наука виновата, а люди». Беседа со Станиславом Лемом. Беседу вела Эва Ликовская. — «Новая Польша», Варшава, 2000, № 11 (14).

«Прежнюю [польскую] интеллигенцию истребили Гитлер и Сталин, а недобитые — эмигрировали. Результаты ощущаются [в Польше] до сегодняшнего дня: уровень науки, культуры, политики — хуже некуда», — говорит Лем.

Андрей Немзер. Измаил взят. Лауреатом премии *Smirnoff*-Букер стал Михаил Шишкин. — «Время новостей», 2000, № 182, 6 декабря.

Девятый русский Букер отправится в Швейцарию, где и сочинялся роман «Взятие Измаила» («Знамя», 1999, № 10, 11, 12). Книга прочитана Немзером как страстное, но неприемлемое для критика (и одновременно члена букеровского жюри) *оправдание эмиграции 90-х*: «Признавая незаурядный талант Михаила Шишкина, понимая, как много во „Взятии Измаила“ живой боли... я боюсь, что награждение его романа усилит и без того мощную тенденцию духовного капитулянтства».

Андрей Немзер. Против неба — на земле. — «Время новостей», 2000, № 192, 22 декабря.

«Мало кто пишет сейчас по-русски так красиво и самозабвенно, как Алан Черчесов»; но — «можно ли выдержать пятьсот с лишком страниц такого повествования [„Венок на могилу ветра“] — неспешного, вязкого, требующего постоянного напряжения?» Критик считает, что — нужно.

Андрей Новиков. Мы все же возникли! — «Литературная газета», 2000, № 52, 27 — 31 декабря.

«Можно считать символической катастрофой, что именно Визбор сыграл в „Семнадцати мгновениях весны“ роль Бормана. Это не актерская метаморфоза, это что-то другое: символическое перевоплощение. Мы видели советского разведчика Штирлица в эсэсовской форме, и — чего греха таить? — он нам нравился больше наших собственных мудаков-чиновников. Коммунизм как бы преодолевался через фашизм».

Хож-Ахмед Нухаев. Давид и Голиаф, или Российско-чеченская война глазами «варвара». — «НГ-Сценарии», 2000, № 11, 10 декабря <<http://scenario.ng.ru>>

«Как это ни покажется кощунственным, хочу отметить, что русские... помимо всего своими усердными бомбардировками и артобстрелами решили проблему, которую чеченцам, ради возвращения к Истине, пришлось бы рано или поздно решить самим — деконструировать Грозный, который, как и любой город, был гнездом разврата и растления, смешения и ассимиляции, нес нам гнилое дыхание цивилизации. Грозный был зародышем государства в Чечении (так! — *А. В.*), его фундаментом, так как любой город по своей сути является архетипом всякого государства — полисом... Именно города, отчуждая людей друг от друга и от естественного образа жизни, исправно и бесперебойно „штампуют“ „биологическое сырье“ для государства, все эти скопища отделившихся от родственников людей, живущих в искусственной среде...» Самая, пожалуй, странная/неожиданная/оригинальная статья о чеченской войне. Автор — бывший начальник разведки у Дудаева, вице-премьер в правительстве Яндарбиева.

О России, о Пушкине, о времени и о себе. Размышляет писатель, председатель Пушкинской комиссии РАН Валентин Непомнящий. Беседу вел Александр Шуплов. — «Фигуры и лица», 2000, № 21, 14 декабря <<http://faces.ng.ru>>

Известный пушкинист рассказывает среди прочего о своей типологии христианских культур/цивилизаций: «...западное христианство (католицизм, протестантизм) — „рождественское“, а восточное (главным образом Россия) — „пасхальное“... В „рождественском“ понимании, Христос родился (и умер) для того, чтобы я *жил* лучше. В „пасхальном“ понимании, Христос умер (для этого и родился!), чтобы я *был* лучше. Это грубо сформулировано, я понимаю, но — для ясности... Чтобы успокоить оппонентов,

скажу: мы, русские люди, часто гораздо хуже своей системы ценностей. А западный человек, надо думать, во многом лучше своей...»

Об Иосифе Бродском. — «Новое литературное обозрение», № 45 (2000).

Лев Лосев, Константин Поливанов, Роман Тименчик, Александр Жолковский, Людмила Штерн, Ольга Седакова и другие — разборы, воспоминания, мнения.

Михаил Одесский, Давид Фельдман. Литературная стратегия и политическая интрига. «Двенадцать стульев» в советской критике рубежа 1920 — 1930-х годов. — «Дружба народов», 2000, № 12.

Ильф, Петров и социальный заказ. «Двенадцать стульев» как *антипроцукстский* роман. См. также эссе Бенедикта Сарнова «Ильф и Петров на исходе столетия» («Литература», 2000, № 47, декабрь).

Глеб Павловский. Беловежская годовщина. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru>>

«Беловежье — это больше не „распад СССР“, потому что СССР для России больше неактуален. СССР — это просто невыгодная для России сделка, обернувшаяся для нас плохим управлением. Россия отказывается быть постсоветским (либо антисоветским) государством. Россия — это просто Россия, с которой необходимо считаться». Одновременно статья напечатана в «Независимой газете» (2000, № 234, 9 декабря).

Александр Панченко. «Не знаем меры ни в рабстве, ни в свободе». Беседу вела Юлия Кантор. — «Известия», 2000, № 236, 18 декабря <<http://www.izvestia.ru>>

Среди прочего о том, что в России исторически нет не только экономистов, но и философов; по мнению академика, Соловьев, Бердяев и проч. — не философы, а поэты.

Борис Парамонов. Возвращение Лолиты. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 12.

«Конечно, статья Морин Дауд [„Нимфетка у сетки“ в „Нью-Йорк таймс“] — не о [теннисистке Анне] Курниковой, это только подходящий повод для некоего тонкого разговора... Нет, статья эта — о кризисе американского феминизма и созданной им системы мироотношения, стиля жизни, диктуемого некоторыми правилами нынешней политической корректности. Смысл статьи — провал или, скажем так: спотык феминизма, его философии и его практики. Американские мужчины — хотя бы и подростки — продолжают интересоваться в женщине прежде всего внешностью, а не профессиональными ее достижениями, а женщины все так же — как будто никакого феминизма и не бывало — интересуются преимущественно мужчинами, любовью и оргазмами...»

Эд. Поляновский. Век-волкодав. — «Известия», 2000, № 245, 29 декабря.

Пусть останутся улицы Ворошилова и Буденного, но пусть одновременно будут проспект Деникина и набережная Колчака, — потомки должны знать, что *когда-то в России была Гражданская война.*

Последняя беседа с Яном Карским. (Запись с видеокассеты). — «Новая Польша», Варшава, 2000, № 11 (14).

Ян Карский (1914 — 2000) — довоенный дипломат, во время войны — узник советских лагерей, затем — легендарный курьер, осуществивший связь между польским подпольем и эмигрантским правительством в Лондоне; после войны жил в США. «Границу на Одере — Нейсе мы получили только по милости Сталина. Он не уступал [англичанам и американцам] и настаивал: полякам это полагается. Разумеется, у Сталина были свои планы — он хотел посорить немцев с поляками на вечные времена. Но западные границы нам обеспечил». См. также текст интервью: http://www.russ.ru/ist_sovr/other_lang

Михаил Ремизов. Пишите музыку. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/polemics>>

«В „Рождении трагедии“ Ницше провозглашал: „Музыка есть подлинная идея мира, драма же только отблеск этой идеи“... В гимне Александрова слухом либерала инстинктивно отторгается именно некая идея, *музыкальная идея нашего мира* (впрочем, лишь одна из возможных). Сначала он ее ненавидит, лишь затем он аргументирует. Аргументирует как умеет — в основном привычно нагромождая затертые до дыр слова. Но даже будь это талантливо — итог все равно один: музыкальный вопрос превращают в драматургический (если угодно — драматизируют). А драма, господа, — поистине „только отблеск“...»

См. также статью Максима Соколова «Как достигнуть небывалого национального единства» («Огонек», 2000, № 46): «Конечно, александровско-михалковское изделие все равно не будет гимном России. Так себе, поденка. Россия — слишком великая страна, чтобы долго жить с этим постыдным недоразумением, от которого через несколько лет

не останется ничего, кроме неприятного воспоминания русских Иванов, помнящих родство. Только жалко этих нескольких лет».

Ср. с мнением Николая Сванидзе («Труд», 2000, № 234, 16 декабря), который против гимна Александрова, но решение принято и поэтому — «если бы „Мурку” утвердили гимном России, я и под „Мурку” бы вставал».

«Но мы не желаем помнить, — сожалеет прозаик Андрей Дмитриев („Известия”, 2000, № 239, 21 декабря), — о повседневных унижениях, с которыми мы повседневно мирились и которые составляли существо советской жизни, были ее воздухом, сопровождали любое дело, были смыслом быта и подлинным стержнем общественных отношений. Музыка, как никакое из искусств, будит чувства. В тех из нас, чья память достаточно отважна или недостаточно защищена, музыка советского гимна воскресит чувство унижения. Законопослушные не из боязни, но по убеждению, мы будем вставать при звуках этой музыки и чувствовать, что нас поднимают, взяв руками за лицо».

Ср. все вышеизложенное с прохановской передовицей в газете («Завтра», 2000, № 48, 28 ноября): «...непотребство — подгонять гимн Великой Красной Империи под сиюминутную нужду обглоданной и оскверненной страны, которая выглядит как эпитафия на гробе Советского Союза».

Мария Ремизова. Карикатурный Апокалипсис. — «Независимая газета», 2000, № 237, 15 декабря.

«„Ужас победы” [Валерия Попова] — это отповедь художника окружающему бесчинству. Какое, по мнению художника, носит самый что ни на есть всеохватный характер. На всем обозренном им пространстве не нашлось буквально ни одной мелочи, ни самой малюсенькой букашки, которая не вызвала бы его желчного сарказма... „Ужас победы” — это такой Апокалипсис, только, естественно, комический и довольно камерный, так сказать, домашний — вроде кошки».

Мария Ремизова. Один — плюс два журнала, или Судьба редактора в России. — «Независимая газета», 2000, № 238, 16 декабря.

Беседа с Игорем Виноградовым в связи с его 70-летием. В частности, о том, как в 50-х годах они с Александром Лебедевым (впоследствии автором известной книги о Чадаеве) были членами редколлегии журнала «Молодая гвардия»: «Но просуществовали мы там очень недолго, начальство было достаточно мракобесным, во главе идеологического отдела ЦК комсомола стоял впоследствии большой диссидент, а тогда очень даже правверный Л. Карпинский, и он много способствовал нашему изгнанию».

Артос Саркисянц. Вторая эпоха глобализации завершается. В мире намечился процесс экономической, валютной и финансовой дезинтеграции. — «НГ-Политэкономия», 2000, № 18, 26 декабря <<http://www.ng.ru>>

«Это уже вторая неудавшаяся попытка глобализации. Первая имела место в 1850 — 1910 гг... Закончилось все это войнами, революциями, анархией, милитаризмом, Великой депрессией, обвалами на финансовых рынках и свертыванием мировой торговли...»

В. Сахаров. Миф о золотом веке в русской масонской литературе XVIII столетия. — «Вопросы литературы», 2000, № 6, ноябрь — декабрь.

Масонский «золотой век» — это «не только время, но и место, причем реально существующее, в отличие от традиционных утопий».

Георгий Свиридов. Разные записи. Тетрадь № 2 (1977 — 1979). Вступительная статья Александра Белоненко. — «Наш современник», 2000, № 12.

«Подобно тому, как некогда Швейцария поставляла в разные страны наемных гвардейцев, обученных несению караульной службы, и фактически своего рода военную прислугу (от которой впоследствии произошли обыкновенные швейцары для охраны подъездов), теперь [наш — *зачеркнуто*] Советский Союз (а фактически это начала еще предреволюционная Россия) поставляет для значительной части мира своего рода музыкальных гвардейцев — хорошо обученную музыкальную прислугу: [способную — *зачеркнуто*] пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, дирижеров, композиторов, состоящих на службе у своих „хозяев”, исполняющих их поручения как по линии творческой, так и по линии чисто артистической. Само собой разумеется, эта „интеллигентная” прислуга в известной степени говорит об „интеллигентности” пригласившего их хозяина (но только в известной степени). Работа сия, впрочем, хорошо оплачивается, ибо прислуга такая является несомненной роскошью, а не предметом первой, второй или третьей необходимости» (запись от 11 июля 1979 года).

См. также небольшую подборку его записей 1977 — 1981 годов в газете «Труд» (2000, № 236, 20 декабря): «Прожив 66 лет, я вижу, что мир хаотичен не первородно, т. е. это не первородный хаос, а сознательно организованный ералаш, за которым можно различить контуры той идеи, которая его организует. Идея эта — ужасна, она сулит

гибель всему, что мне дорого, что я любил и люблю, всему, что я сделал (и что будет истреблено за ненадобностью), и самому мне».

См. также публикацию записей Георгия Свиридова в журнале «Москва» (2000, № 11, 12).

Ольга Славникова. Села муха на варенье, или Похвальное слово литературному редактору. — «Октябрь», 2000, № 12.

Современные инвективы против института *редакторов* напоминают Славниковой борьбу с воробьями в Китае: редактор, может быть, и не во всем хорош, но без него все пожрет долгоносик. См. также статью Ольги Славниковой «Я люблю тебя, империя» — увлекательный обзор отечественной социальной фантастики («Знамя», 2000, № 12).

Алексей Смирнов. За деревьями. — «Вопросы литературы», 2000, № 6, ноябрь — декабрь.

Этюд о поэтическом цикле Цветаевой «Деревья» (1922 — 1923).

Лоренс Стерн. Письма. Вступительная статья, составление и перевод с английского А. Ливерганта. — «Вопросы литературы», 2000, № 5, 6.

Последний раз письма Лоренса Стерна (1713 — 1768) переводились на русский язык еще до войны А. Франковским.

Александр Твардовский. Рабочие тетради 60-х годов. Публикация В. А. и О. А. Твардовских. Подготовка текста Ю. Г. Буртина и О. А. Твардовской. Примечания Ю. Г. Буртина и В. А. Твардовской. — «Знамя», 2000, № 12, продолжение следует.

«Маршак — жуткая картина угасания не только чувства элементарной самокритичности, но просто разума...» (из записи от 30 мая 1964 года). Начало публикации см. в № 6, 7, 9, 11.

Тютчевские штудии Н. В. Недоброво. Вступительная статья, публикация и комментарий Е. Орловой. — «Вопросы литературы», 2000, № 6, ноябрь — декабрь.

Рукопись Н. В. Недоброво «О Тютчеве» (около 1910 — 1911 года).

Линн Уайт-младший. Исторические корни нашего экологического кризиса. Перевод с английского Л. Василенко. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2000, том 2, выпуск 1.

«Величайший революционер духа в западной истории св. Франциск... [попытался] заменить идею безграничного господства человека над тварью (в этой идее автор видит корни экологического кризиса. — А. В.) другой идеей равенства всех тварей, включая и человека. Он потерпел неудачу». Статья американского экософилософа, опубликованная в 1967 году в журнале «*Science*», вызвала дискуссию между христианскими священниками и природоохранителями. См. полный текст статьи в сборнике «Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности» (М., 1990).

Следующий век, считает наш соотечественник Андрей Битов («Время МН», 2000, № 223, 29 декабря), должен быть экологическим — «эпохой эсхатологической цивилизации, осознающей конец света как реальность и исходя из этого строящей свою веру и пристойное поведение „человека разумного“...»

Николай Устрялов. Фрагменты. (О разуме права и праве истории). Публикация и предисловие Олега Воробьева. — «Хранить вечно», 2000, № 2, 1 декабря.

Фрагменты из записной книжки знаменитого евразийца Н. В. Устрялова (1890 — 1937) ранее печатались в парижской «Смене вех». Письма Устрялову 1920 — 1934 годов, фрагменты которых публикуются в этом же номере газеты, хранятся в фонде Н. В. Устрялова архива Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии. «То, что Вы пишете о роли Рериха, меня не удивляет, — это шарлатан, и шарлатан вредный» (из письма Ю. А. Ширинского-Шихматова к Н. В. Устрялову от 30 ноября 1934 года).

Г. Федоров. Воспоминание о прекрасном. — «Лимонка». Газета прямого действия. 2000, № 158, декабрь.

Стихи в «Лимонке»: «Ночью был арестован / сосед мой, артист Эфрос. / Я радостно этим взволнован — / я написал донос. / Писал на бумаге плотной, / не вилами по воде. / Я помогу охотной / рыцарям НКВД... / Сотрем мы их в лагерной пыли, / не в меру „веселых ребят“. / Мы лес-то пока не рубили, / и щепки еще полетят!»

Лазарь Флейшман. Андрей Синявский. — «Даугава», Рига, 2000, № 5, сентябрь — октябрь.

Фрагмент беседы профессора Стэнфордского университета Лазаря Флейшмана с сотрудником Русской службы Би-би-си Натальей Рубинштейн — о том, как он, Флейш-

ман, в ноябре 1962 года слушал на филологическом факультете Латвийского университета лекцию московского гостя Андрея Синявского. Тут же, к 75-летию со дня рождения Синявского, напечатано его письмо от 17 ноября 1964 года к Павлу Тюрину: «Вообще тенденция, осязаемая в Вашей теории, сблизить искусство с наукой — не вызывает у меня сочувствия...»

Сергей Шерстюк. Из «Книги картин»; Из дневников (1990 — 1997); Джазовые импровизации на тему смерти; *Rock-and-roll*. — «Комментарии», № 19 (2000) <<http://www.rema.ru:8101/komment/comm/19/19.htm>>

Отобранные и подготовленные к печати Игорем Клехом фрагменты дневников художника Сергея Шерстюка, умершего через девять месяцев после гибели в огне его жены, мхатовской актрисы Елены Майоровой (см. также в журнале «Октябрь», 2000, № 8).

Василий Шульгин. Рапорт в пять тысяч метров. Из книги «1919 год». Предисловие и публикация Александра Ушакова. — «Хранить вечно», 2000, № 2, 1 декабря.

Над книгой «1919 год» Шульгин работал в 1923 году, она так и осталась в рукописи, хотя была подготовлена к изданию. Машинописный текст отдельных глав с авторской правкой находится в ГАРФе, в личном фонде Шульгина.

Асар Эппель. Фук. Рассказ. — «Октябрь», 2000, № 12.

См. также его рассказ «Пыня и юбия» («Дружба народов», 2000, № 11).

Михаил Эпштейн. Фигура повтора: философ Николай Федоров и его литературные прототипы. — «Вопросы литературы», 2000, № 6, ноябрь — декабрь.

Николай Федоров и Акакий Акакиевич.

Лидия Яновская. «Королева моя французская...». — «Даугава», Рига, 2000, № 5, сентябрь — октябрь.

Отрывок из книги Лидии Яновской «Записки о Михаиле Булгакове», вышедшей в израильском издательстве «Мория» в 1997 году, — в частности, о русско-еврейской родословной Елены Сергеевны Булгаковой.



АДРЕСА: исторический и правозащитный журнал «Карта»: <http://www.hro.org/editions/karta>



ДАТЫ: 14 апреля исполняется 100 лет со дня рождения литературоведа Наума Яковлевича Берковского (1901 — 1972); см. статью Бориса Парамонова «Добычин и Берковский» («Звезда», 2000, № 10); 19 апреля (2 мая) исполняется 100 лет со дня рождения одного из «серапионовых братьев» — Льва Натановича Лунца (1901 — 1924).

Составитель Андрей Василевский.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Апрель

25 лет назад — в № 4 за 1976 год напечатана повесть Марка Харитоновича «День в феврале».

45 лет назад — в № 4 за 1956 год напечатано стихотворение Владимира Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой».

70 лет назад — в № 4 за 1931 год напечатано стихотворение Бориса Пастернака «Другу» [авторское название — «Борису Пильняку»]: «...Напрасно в дни великого совета, / Где высшей страсти отда ны места, / Оставлена вакансия поэта: / Она опасна, если не пуста».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

* *
*

Врага я зорко чую за собою,
Хотя немного у меня врагов,
И сам-то рад я уступить без бою
Мою любовь — пристанище и кров...

Но не услышу я и не замечу,
Хоть напряжен до боли глаз и слух,
Когда пройдет с улыбкою навстречу
Иль тихо вслед меня окликнет друг...

Уж лучше друга верного обижу,
Чем попаду врагу в несъятый рот.
...Увы, метла панельная мне ближе,
С которой я ночую у ворот...

По крайности мы с нею друг у друга
Не вырвем ничего из-под руки,
Я — луг косил, она — цвела средь луга,
А потому и здесь мы земляки...

Здесь у нее и у меня приметы:
От неба — взгляд, улыбка — от зари...
...И словно хвост от бешеной кометы
Из улиц в переулки — фонари!..

Из переулков в улицы — погоня!..
Кто друг?.. Где враг?.. В чем жизнь и что судьба?..
...Метутся огненные кони...
...Гудит булыжная труба...

И не спастись, не скрыться и не крикнуть,
Разбившись головою о помост,
Как к этим синим ключьям не привыкнуть,
Где нет ни крыл заоблачных, ни звезд...

«Новый мир», 1927, № 1.

SUMMARY



This Issue publishes the end of the novel «The Justification» by Dmitry Bykov and a story «Stepa Marat» by Yury Buyda. You can also read the new, third part of Aleksander Solzhenitsyn's «essays of expatriation» «The Seed Got Between the Two Millstones».

The poetry section of this Issue includes new poems by Viktor Kulle, Vladimir Salimon and Vladimir Zakharov.

In his article «The Church's Point of View on the Healing of the Society» the priest Aleksander Gostev reviews and analyses the document «The Principles of the Social Conception of the Russian Orthodox Church», accepted at the last Archbishops' Council.

Under the heading «Polemics» the article «The New Research Using the Old Prescriptions» by the priest Vladimir Vigilyansky is published.

The literary critique is represented by articles «The Russian Reader — over the Japanese Novel» by Tatyana Kasatkina and «Borges' Projection» by Mikhail Gorelik.

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 101999, ГСП-9, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru; по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://novosti.online.ru/magazine/novy_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г. Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.12.2000 г. Подписано к печати 26.02.2001 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 800 экз. Зак. 2105. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» УД П РФ, 101999, ГСП-9, г. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

**Премия присуждается с 2000 года автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).**

**Правом выдвижения произведений на премию
обладают критики, издатели и творческие организации.**

**Жюри формируется из сотрудников «Нового мира»
и независимых экспертов.**

**Состав жюри 2001 года и денежное содержание премии
будут объявлены дополнительно.**

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии
состоится в декабре 2001 — январе 2002 года.**

**Контактные телефоны:
(095) 209-57-02, 209-91-81.**

E-mail: butov@aha.ru, seva@mail.cnt.ru